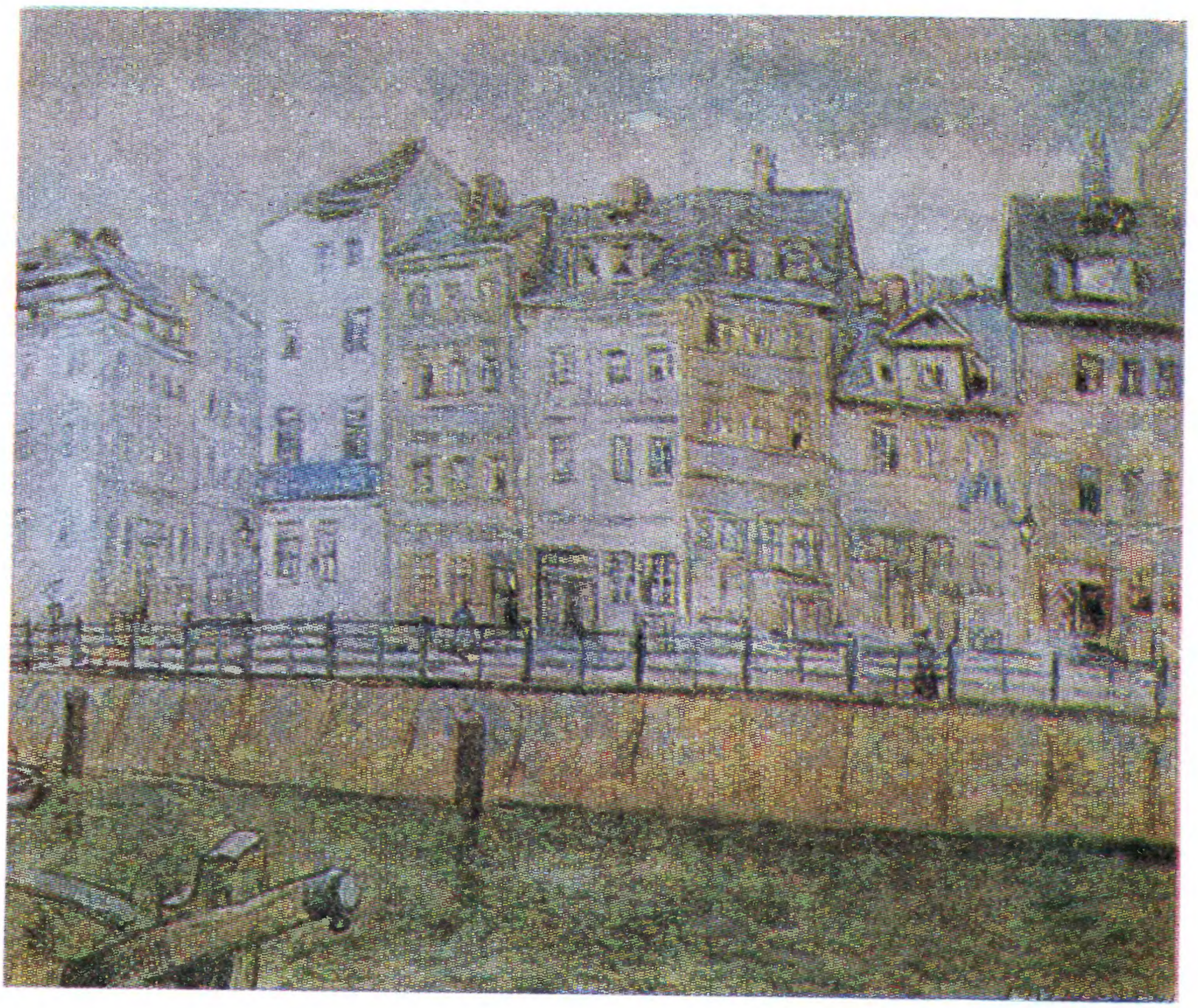
ISSN 0130–6545

1. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



«Вид на Фридрихсграхт»

Цветные иллюстрации номера — работы немецкого художника Отто Нагеля

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

январь

1

1986

Содержание

АНДРАШ ФОДОР — Стихи *(Перевод с венгерского Натэллы Горской, Андрея Старостина. Вступление Елены Малыхиной)* 3

РОБЕРТ СТОУН — Флаг на заре *(Роман. Перевод с английского К. Чугунова)* 10

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС — Стихи *(Перевод с английского Андрея Сергеева, Григория Кружкова. Вступление А. Саруханян)* 91

КРИСТА ВОЛЬФ — Кассандра *(Повесть. Перевод с немецкого Э. Львовой. Вступление Т. Мотылевой)* 100

Критика

Ю. УВАРОВ — Достойные лучшей участи *(Рабочий класс в современной французской прозе)* 172

Отклики, встречи, впечатления

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ — Отстоять человека *(Размышления о фестивальной литературной жизни)* 179

Редакцию посетили...
Синтио Витьер и Фина Гарсиа Маррус 183

Писатель и время

К 175-летию со дня рождения У. М. Теккерея

Е. ГЕНИЕВА — «С насмешливым умом и добрым сердцем...» 184
У. М. ТЕККЕРЕЙ — «Милосердие и юмор» и др. статьи *(Перевод с английского Т. Казавчинской)* 191

Публицистика

С. П. КАПИЦА — «Научиться думать по-новому» *(Глобальные последствия ядерной войны)* 199

Документальная проза

ФАРЛИ МОУЭТ — Море истекает кровью *(Главы из книги. Перевод с английского И. Левидовой и Ю. Родман. Вступление И. Л.)* 207

Антирубрика

ГРЭМ ГРИН — Никто не виноват *(Набросок киносценария. Перевод с английского А. Михалева)* 231

Советская литература за рубежом 236

Среди книг

Издано в СССР

По страницам произведений писателей социалистических стран.
И. Кивель — Преемственность и новаторство *(Верность. Эстафета поколений)* ✦ В. Климовский — Старый Добош и другие *(Чехословацкая повесть. 70—80-е годы)* ✦ Наталья Староселъская — «...Возвожу время» *(Тадеуш Ружевич. Стихотворения и поэмы)* ✦ Ю. Брагин — Не подлежит забвению *(Грозные годы)* ✦ М. Басманов — Лицом к правде *(Средний возраст. Современная китайская повесть)* ✦ Еремей Парнов — Счастливый Новый год! *(Нгуен Кхай. Встреча в конце года)* 237

Из месяца в месяц 248

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы немецкого художника ОТТО НАГЕЛЯ «Старый художник» и «Улица старого Берлина в тумане».

© «Иностранная литература», 1986

АНДРАШ ФОДОР

■

С венгерского

Любовь и вера сделали Андраша Фодора поэтом. Любовь и доверие ко всему сущему — к родному краю и бескрайнему миру со всеми его красками и звуками, к восходам и закатам, деревьям и травам. Но прежде всего к человеку, который трудится, творит, который есть «чудо» — неповторимое и неповторяющееся чудо в глазах поэта. Его зоркие глаза пристально всматриваются в жизнь, не упуская ни мгновения, ни самой малой малости, и видят не только их, эпизоды, мгновенья, а чутко улавливают их причины и связи, порождающие их закономерности и вытекающие из них явления огромного масштаба. Стихотворение «Зал ожидания, апрель 1945-го», завершающее нашу подборку, может быть, одно из самых характерных произведений венгерского поэта в этом смысле. В нем особенно явно проступает и беспощадная правдивость бытовой детали, и мудрое осмысление целого, глубинного:

И где нам знать,
что за окном подслеповатым
в туманной дымке серой
рождается сейчас
тот самый день,
который позже назовут
зарею новой эры.

(Перевод Н. Горской)

Сопряженные друг с другом, любовь и вера всегда порождают оптимистическое видение мира. Андраш Фодор, несомненно, оптимист. Отнюдь не безмятежный, беспечальный. Подлинный. Он верит в спасительную силу дружбы не потому, что не встречался с предательством — просто сам он к предательству не способен. Он верит в осмысленность, извечность жизни, хотя и знает, «что хрупкая оправа жизни... сломаться может каждый миг» (см. стих. «Но все же...»). Именно это знание делает поэта сильнее и тверже, он тоже стремится внести свою лепту в общее дело — противостоять агрессивным силам, угрожающим человечеству войной. Поэт, с тревогой озираясь «среди магнитных бурь и страхов», хочет прожить каждый миг так, «как если б сердце... ядром вселенной было, прочным, вечным» («Гравитация»), ибо именно чувство ответственности делает человека человеком.

Сравнивая первые сборники стихотворений Андраша Фодора с более поздними, нельзя не заметить нарастания темы тревоги за наш земной мир, за самую жизнь на земле. Лирические, мягкие зарисовки, растворение в любовании природой, красотой во всех ее проявлениях, столь характерные не только для раннего периода

АНДРАШ ФОДОР — FODOR ANDRÁS (род. в 1929 г.)

Венгерский поэт, трижды лауреат премии Аттилы Йожефа. Начал печататься в конце 40-х годов. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Домой» («Hazafelé», 1955), «Трезвое утро» («Józan reggel», 1958), «Зов тишины» («A csend szólitása», 1968), «Вторая бесконечность» («Másik végtelen», 1970), «Пленник времени» («Az idő foglya», 1974), «Забег надежды» («Reményfutam», 1985) и др., а также двух сборников очерков и эссе: «Курьерская почта» («Futárposta», 1980), «Слово, музыка, образ» («Szó, zene, kép», 1983).

Публикуемые стихи взяты из сборника «След на камне» («Könyomat», 1982), антологий «Стихотворения» («Szép versek», 1970, 1983), журнала «Латохатар» за 1982, 1983, 1985 гг.

творчества поэта, но, кажется, для самой сущности его душевного склада, все реже становятся самоцельным поэтическим заданием. Прекрасные и точные, они появляются иной раз и сейчас («Краски») и звучат гимном совершенству мира, но теперь сознание поэта все нестерпимее мучит жестокая угроза этот мир потерять. И Андраш Фодор создает одно за другим стихотворения, которые сплошь — страдание, тревога, предупреждение. Но и при этом — вера. Давая интервью по поводу выхода в свет одного из лучших своих поэтических сборников (названного спортивным термином «Remenyfutam» — «Забег надежды»), Андраш Фодор сказал: «Стихии покуда не вырвались на волю, поэтому я и сегодня сохраняю надежду: у человека еще есть шанс. И я верю — он может посвятить свою жизнь осмысленной, полезной для всех людей цели. Именно благодаря человеку, способному к служению высокой цели, существовало человечество до сих пор — на него я и ныне возлагаю надежду. Верю, что он преградит путь уничтожению. Впрочем, то же самое я мог бы выразить и так: по-прежнему считая человека чудом, я верю в чудо».

За плечами Андраша Фодора сорок лет творческого пути, он известный поэт, автор многих сборников стихов. При этом нельзя не сказать хотя бы нескольких слов и об эссеистике Фодора. Эта проза, изящная, внешне безыскусная, подчинена одной идее: помочь современникам глубже проникнуть в творческие замыслы и вернее понять художественные свершения людей искусства дня вчерашнего и дня сегодняшнего. В Венгрии вышло уже два солидных тома его талантливых очерков, художественных зарисовок, статей, касающихся важнейших областей культуры. Юность Фодора, родившегося в задунайском, далеком от столичной жизни селе, пришлась на послевоенные годы, годы бурных социальных сдвигов и строительства новой Венгрии. В этой общественной обстановке он мог учиться у самых замечательных педагогов и получил прекрасное, разностороннее образование; жадно вбирая новые знания, Фодор, с присущей ему душевной щедростью, очень рано научился и делиться приобретенным с читателем. Его чуткость и бескорыстная любовь к искусству давно уже сделали его выдающимся ценителем и пропагандистом не только чисто литературных явлений, но также и музыки, и изобразительного искусства. Собранные в две книги, эти его произведения являют собой поистине энциклопедию современной культурной жизни Венгрии.

Особое место в последней из упомянутых книг занимает художественный перевод. Это не случайно, так как сам Андраш Фодор работает в области художественного перевода давно, с увлечением, убежденный в том, что перевод художественной литературы взаимно обогащает народы, помогает им понимать друг друга. Одной из первых его переводных работ была поэма «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина. В статье «Как я стал переводчиком» Фодор пишет: «Мне, тогда студенту-филологу, полагалось посетить типографию. И вдруг ко мне подошел наборщик — оказалось, он, знавший русский язык, набирал это двуязычное издание Пушкина — и сказал: «А вы молодец, перевели «Руслана и Людмилу» близко к подлиннику». Мог ли я желать признания большего!»

Андраш Фодор переводил с первых шагов своего литературного пути — его первые переводы вышли раньше, чем его собственные стихотворения,— переводит и сейчас. Среди его авторов —Чосер и Бернс, Лонгфелло, Китс и Шелли, Дилан и Рильке. Но, пожалуй, больше всего занимался он переводом русской классической и современной советской поэзии. Пушкин, Некрасов, Бунин, Есенин, Маршак, Твардовский, Мартынов, Евтушенко... Этот список можно было бы продолжить. В уже упоминавшейся статье Фодор писал: «Начиная с пятидесятых годов я, пусть еще не как оригинальный поэт, но как молодой переводчик, все чаще появлялся в самых различных антологиях. Интерес, более глубокий, чем просто интерес к решению сложной задачи, ощущение наибольшей ответственности у меня вызывал в те годы — наряду с Чосером, Бернсом, Шелли и Пушкиным — Некрасов. Я все более сознательно стремился следовать произведшему на меня огромное впечатление учению Бартока о духовном братстве народов Восточной Европы. Меня подстегивало сознание, что... мы так мало знаем поэзию соседствующих с нами народов».

Андраш Фодор в расцвете творческих сил. Он много пишет, печатает стихи и эссе, часто выступает перед читателями. Человек с молодой, открытой всему талантливому, новому душой, он напряженно работает с молодежью, радуется притоку в социалистическую литературу Венгрии новых дарований. Ведь это — завтрашний ее день.

ЕЛЕНА МАЛЫХИНА

Город-победитель

1

Западный ветер порой налетает,
качает тонкие деревца
и затихает в пыли.
Слышится голос — и в осени мирной
звучат войны отголоски:
— Отсюда вот немцы шли...

Призрак былого —
заводь, поросшая ряской...
Вдруг скорбным гротеском — словно во сне —
похоронной процессии лента,
черная в голубизне.
Родные идут за гробом.
Горестны и суровы
женщины в темных платках.
И вечернее солнце
пляшет на геликонах,
и льются стоны из медной утробы
и растворяются в небесах.

2

Ночью бьет по глазам
универмаг неоновым залпом.
Когда-то в его подвале
был арестован Паулюс.
...В углу, на бетонном полу,
спят обгорелые балки.
Израненный лысый холм
спит под небесной периной.
Уткнувшись в дупло тишины,
грохоты спят и взрывы...
И — простреленная 165 раз —
шинель генерала Глазова спит
в музейной витрине.

3

Теплоходы от пристани отвалили
и выбежали на простор,
и рассыпал баян над ними
заливистый перебор.
Пассажиры машут платками —
палуба не видна.
И все громче баян играет,
и все круче волна.
Протарахтела моторка,
разбивая музыку вдрызг.
И венчает живая кошка
колоннады карниз.
Вниз по Волге скользит степенно
могучий лес строевой,
ярко-желтый песок смеется
вместе с пеной береговой.
Сизоватая пряжа дыма,
блеклых небес океан.

© Fodor András, 1971, 72, 82, 83, 85.

Пролетают деревья мимо,
роняя листвы шафран,
Мальчик под их крылами —
поэзии светлой душа —
в зеркальную воду бросает
камешки не спеша.
И ничто его не встревожит —
ни пуля, ни взмах кнута.
Не замутненная черным горем
радости чистота.
Чудо жизни, вольной, великой...
В чутком мареве тишины
оплетаются повиликой
руины войны.

Катится в горловину моря
большая река.
По ней плывут теплоходы,
над ней — облака.
А на палубах плещут песни,
и — как яркий мак,—
торжествуя над смертью, реет
победителей стяг.

Краски

Налилась шафраном зелень
над озерной бирюзой.
Умброй тронутые кроны
дышат хмурью грозовой.

Вечер сдергивает с моря
золотой покров зари,
но на синем шелке долго
пляшут янтари.

Млечно светится скамейка
средь сгустившихся теней,
силуэт влюбленных четко
черным вычерчен на ней.

Дымно-рыжие кюветы,
густо-красный окоем,
и мой лоб опрыскан светлым
звездным серебром.

Но все же...

Агнеш Немеш-Надь

Понятно даже чайкам,
что их полет
таит в себе паденье.
И нам бы должно помнить,
что хрупкая оправа жизни,
играющей озерным изумрудом,
сломаться может каждый миг.
И многоцветный, многошумный мир
обуглится до черноты
и онемеет.

И все-таки в захлебе счастья
друг друга песнями
кольцуют птицы.
И поколенья разноперых трав
из черной бездны рвутся ввысь,
гонимы бешеным инстинктом.
Но все же нам вовеки не привыкнуть
что каждое рожденье —
противоборство двух
несовместимых ритмов:
бушующего шума и безмолвья,
сияющего дня и мрака,
и что взлелеянная нами,
обласканная солнцем плоть —
всего лишь пища алчной смерти.

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Гравитация

Спокойствие так шатко, так хрупка
кора планеты нашей,
но все же каждый миг прожить стараюсь
я так, как если б сердце —
у основанья нитей, к вам идущих,
трепещущее,
как противовес,—
как если б и среди
магнитных бурь
заботы неизбывной, страхов,—
сердце
ядром вселенной было —
прочным, вечным.

Колокол

Знакомый вечер. Из дверей театра,
толпясь, привычно люди выходили,
неспешно, беззаботно.
Смешавшись с ними,
я тебя догнал,
в безмолвной нежности
за плечи обнял
и вдруг подумал:

полна ты безымянной, странной силы...
Быть может, ты сама не знаешь, как,
когда пришла она.
Волшебный дар, в котором больше тайны,
чем в торжестве любви.

И все,
что ускользнуло от забвенья,
от бездны времени:
тепло души
и жар страстей — как Землю
стеклянный атмосферный
колокол —
хранит безмолвно
эта сила.

Перевод АНДРЕЯ СТАРОСТИНА

Тревожный сон перед тем, как начать новую книгу

...Сынок, ты будешь играть на рояле
на выпускном балу.
Любимую выбери пьесу —
чтоб по сердцу была...

— Да-да! — я шепчу.— Какая высокая честь!
И признаться не смею,
что не умею играть на рояле.
Но все же играть берусь,
потому что мелодия в сердце моем,
ее каждый день повторяю —
твержу наизусть.

Все будет прекрасно,
одно лишь
стараюсь понять:
как для начала
нужную клавишу мне отыскать.

Праздник в школе, в спортивном зале.
В меня впиваются сотни глаз.
На шведской стенке пристроился кто-то,
яблоку негде упасть.

Ну что же, вперед, к роялю —
прямо в зубастую пасть!
Вот они, клавиши-зубы — чернота, белизна...
Но молоточки, взлетев, пустоту встречают.
Не натянуты струны...
Мертвая тишина.

Зал ожидания, апрель 1945-го

Обшарпанные стены, испарений смрад,
сквозь чад едва мерцающие лампы,
носилок ряд, на подоконниках,
на лавках, на полу вповалку люди спят,
сутулятся узлы — все вперемешку,
все навалом.
Пропахший кислым потом,
перегаром, юфтью, салом,
гудящий ульем зал вокзала...

Ко мне прижалась незнакомка —
девушка из Яко.
Поеживаясь зябко,
она невнятно шепчет что-то,
но до меня доходит лишь морзянка
тугого завитка волос,
передающего таинственные знаки
голубоватой тонкой жилки,
пульсирующей на виске.

Гул голосов, обрывки разговоров,
отрывочные вести о сожженных селах,
разграбленных домах и закромах,
о беженцах,
прошедших ад войны.

Крестьянка из моей деревни —
она все исходила вдоль и поперек,
по лагерям разыскивая мужа —
не проронив слезы,
с жестокой точностью сказаний древних
рисует жуткую картину,
как нашего учителя в саду нашли,
в застывшей луже крови,
как прятали двенадцать дней
под грудой кукурузы
и наконец-то погребли —
за неименьем гроба —
в двух корытах заскорузлых.

А двери хлопают, снует народ,
солдаты и путейцы входят и выходят,
но неизвестно никому,
пойдет ли поезд и куда пойдет.

Продрогнув до костей,
мы все ж упорно ждем
предсказанных надеждой новостей.

И где нам знать,
что за окном подслеповатым
в туманной дымке серой
рождается сейчас
тот самый день,
который позже назовут
зарею новой эры.

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

■

РОБЕРТ СТОУН

Флаг на заре

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

Отец Эган кончил писать, встал из-за стола и прошел не очень твердой походкой в дальний угол комнаты, где у него стояла бутылка «флор-де-канья». Его кабинет освещался лампой Колмена; движок он выключил ради экономии топлива. Ставни были открыты, и с моря тянуло приятной свежестью. У Фредди, в кафе «Курятник», расположенном дальше у дороги, справляли свадьбу; оттуда доносились звуки музыки — по радио Пуэрто-Альварадо передавали регги [1] — и пение гостей, сопровождаемое ритмичными ударами в стальные барабаны и постукиванием глиняных кружек. Эган отпил рому, и перед его мысленным взором возник Бегинаж в Брюгге — огромный свод, украшенный рельефами, витражи с изображением святой Урсулы и ее дев, великолепные красные с золотом колонны. Много, много лет минуло с тех пор.

Настольное распятие бросало тень на книги и счета, лежавшие возле пишущей машинки. Эган сделал второй глоток и, глядя на крестообразную тень, вдруг подумал, что его кабинет чем-то напоминает рабочую комнату врача-еретика эпохи Возрождения, отвергнутого своим временем, но выжившего благодаря вере в бога и в дух святой.

Книга, над которой работал отец Эган, не встретит одобрения церкви, ее сможет опубликовать только светское издательство. Когда она выйдет из печати, Эгану запретят читать проповеди. Он будет протестовать, подаст прошение в Рим, хотя бы для того, чтобы придать этому делу больше огласки. И когда Рим с гневом осудит его, он перейдет в невидимую церковь Духа, чья паства, живущая в мучительно агонизирующем мире, жаждет слов утешения.

Из-за этой-то книги отец Эган и пристрастился к спиртному. В течение тридцати с лишним лет службы в девоционистском ордене он был воздержан по части выпивки; но писалось ему трудно, да и жизнь миссионера — добровольного изгнанника день ото дня становилась все нестерпимей. Шесть раз он переписывал книгу и довел себя до такого изнеможения, что без алкоголя уже не мог обойтись. Но и без этой работы жизнь казалась ему невыносимой. Что касает-

© 1981 by Robert Stone

[1] Регги (реггей) — простая ритмичная музыка в стиле «рок» вест-индского происхождения. *(Здесь и далее прим. перев.)*

РОБЕРТ СТОУН — ROBERT STONE (род. в 1937 г.)

Американский писатель и журналист. Служил матросом на военных кораблях США, работал в армейской печати. Автор романов: «В зеркалах» («A Hall of Mirrors», 1967, премия Фолкнера за лучшую первую книгу. Русский перевод опубликован в «ИЛ», 1973, № 4—6), «Чернорабочие войны» («Dog Soldiers», 1974; удостоен Национальной премии по литературе). Роман «Флаг на заре» вышел в Нью-Йорке в 1981 г. («A Flag for Sunrise». New York, Alfred A. Knopf). Печатается в журнальном варианте.

ся веры, то мрак его души был для нее слишком тяжелым испытанием, которое она едва ли сможет выдержать. И если она умирает, остается только надеяться, что семя ее уцелеет, прорастет, обновится, закалится под тропическим солнцем, и она, подобно фениксу, вновь возродится на земле Текана.

Он хотел выпить еще глоток, но передумал и вернулся было к письменному столу, как вдруг услышал рокот мчавшегося по прибрежной дороге джипа; он прислушался — машина приближалась. Наконец взвизгнули тормоза, мотор умолк, и стало слышно, как по ступенькам лестницы, ведущей с берега на веранду, поднимается человек.

— Ну, принесла нелегкая,— пробормотал отец Эган. Он проворно схватил бутылку с ромом, отнес ее в душевую, задернул занавеску и прикрыл дверь. Потом взял в рот мятную лепешку и вышел на веранду.

В ночном небе сияла полная луна, впереди, прямо перед ним, сверкал океан. Гребни коралловых рифов, белевшие за ними барашки волн были окаймлены серебристыми тенями, и даже песчинки на берегу чуть заметно поблескивали. В том крыле здания, где помещалась амбулатория и где жила сестра Джастин Фини, сквозь бамбуковую штору пробивался свет масляной лампы.

У подножия лестницы стоял джип, а на веранду поднимался человек, напевая ту же мелодию, что доносилась из кафе Фредди. Он двигался очень медленно, останавливаясь на каждой ступеньке и стараясь попадать в ритм регги. На последней ступеньке поднял руки, игриво помахал ими, как крыльями, и, пошатываясь, шагнул на веранду. Увидев фигуру отца Эгана, освещенную бледным светом луны, он вздрогнул и слегка попятился.

Он был в просторной белой guayabera [1] и темных штанах. С гвардейского плетеного ремня, которым он небрежно подпоясался, свисала кобура с пистолетом. Волосы гладко зачесаны назад; метис, родом не из прибрежных районов, а из внутренней части страны. Эган узнал в нем лейтенанта Национальной гвардии Кампоса, но без мундира и совершенно пьяного. Отец Эган сжался от страха.

— Святой отец,— сказал лейтенант Кампос. Он перекрестился и приложил пальцы к губам, точно Эган был для него предметом поклонения. — Благословите меня. — Кампос заговорил по-испански. — Благословите меня, ибо я согрешил.

Эган выдавил из себя слова приветствия:

— Добрый вечер, друг мой лейтенант. Могу ли я быть вам полезен?

— Да,— сказал Кампос. — Вы должны сейчас же ехать со мной.

Отец Эган невольно отшатнулся. В груди у него похолодело. Кампос глядел на окно Джастин Фини. Луна неумолимо заливала их своим светом. Оба слегка покачивались от хмеля. В «Курятнике» Фредди по-прежнему гремела музыка.

— А монашка где? — грубо спросил Кампос.

— Думаю, спать легла,— с притворной веселостью ответил отец Эган. Боже милостивый! — подумал он. Нас хотят арестовать.

— Нет-нет,— возразил Кампос. — Потому что свет горит, видите? Не спит она. И кто знает, о чем она думает. — Лейтенант говорил громко, перекрывая доносившуюся издалека музыку, но в комнате сестры Джастин Фини все было по-прежнему: ни звука, ни движения. Кампос нахмурился, икнул и снова повернулся лицом к священнику.

— Поедете со мной,— приказал он тоном полицейского. — Пошли.

— Час уж очень поздний,— сказал священник. — Разве обяза-

[1] Крестьянская блуза *(исп.)*.

тельно сейчас? — При свете луны он заметил, что умные глаза Кампоса горят бешеным огнем.

Кампос положил руку ему на плечо.

— Пошли!

— Простите, лейтенант. Одну минуту. — Эган вернулся в свою комнату и взял на всякий случай столу и требник.

Они молча спустились по лестнице на берег. Кампос подошел к джипу и открыл священнику дверцу.

Дорога, пролегавшая по плотному песчаному грунту, то и дело пересекала заполненные водой впадины; из-под колес разлетались фосфоресцирующие брызги. Эган сидел, придерживая зубами столу, зажав между колен требник и ухватившись за бортовой поручень джипа. Лейтенант гнал машину на предельной скорости; временами он что-то бормотал себе под нос, но священник ничего не мог разобрать. Он не притормаживал, завидев впереди животных. Если бы какая-нибудь корова, ослепленная светом фар, замешкалась и не успела убраться с дороги, лейтенант, не задумываясь, сбил бы ее в канаву и, выбравшись задним ходом на дорогу, снова помчался бы как ни в чем не бывало дальше.

Минут через двадцать они приехали на полуостров, к дому лейтенанта. Несмотря на то что в стране так силен стадный инстинкт, Кампос жил один, без семьи и без прислуги. Подъездную дорогу преграждала металлическая изгородь, на воротах висел замок. Кампос вышел из машины и, не заглушая мотор, отпер ворота; потом, въехав, запер их снова.

Отец Эган, тяжело дыша, вылез вслед за Кампосом из джипа. Многовато у лейтенанта замков, подумал священник, пока тот отпирал парадную дверь; для жителя взморья это необычно.

В дом Эган вошел первым; ему стало немного жутко от сознания, что в темноте следом за ним идет Кампос.

Движок у лейтенанта работал, внутри его коттедж имел очень опрятный вид. На стене висел парадный портрет президента республики. Пухлые щеки, подрумяненные ретушью, раскрашенный пастелью мундир — все выдержано в характерных для Текана тонах. Уродливые уши президента на портрете не просматривались. Рядом с портретом висело в рамке свидетельство о присвоении Кампосу лейтенантского звания и фотография, тоже обрамленная, на которой совсем молодой Кампос был запечатлен в кругу товарищей по гвардейскому училищу.

Под портретом, свидетельством и фотографией стояли два книжных шкафа. В одном из них хранились своды законов, полки другого были заполнены американскими детективными журналами, расставленными по названиям: «Тру», «Стартлинг», «Инсайд» и «Андерграунд детектив». Эгану казалось, что тут собраны тысячи журналов. На другой стене висел портрет Джона Кеннеди, под ним стояло нечто похожее на электрический морозильник; рядом было окно — единственное застекленное окно между Пуэрто-Альварадо и границей,— из которого открывался вид на залитую лунным светом гладь океана. Недалеко от окна, в нише, стояла рация. Из динамика вылетали обрывки фраз на карибском диалекте: «...в Белизе, друг... Ну, ты же знаешь... Это английский порт... они спуску не дадут...»

Эган повернулся лицом к хозяину дома; тот уже держал бутылку «флор-де-канья» и протягивал ему стаканчик. Он с благодарностью выпил, но от рома ему не стало легче. Кампос опустился в плетеное кресло рядом с рацией и спросил на ломаном английском, не хочет ли священник выпить еще.

— Да, спасибо,— смущенно ответил отец Эган.

Кампос медленно наполнил стаканчик и протянул ему; Эган вдруг почувствовал, что лейтенант может в последнюю секунду отнять руку со стаканчиком. Он представил себе ядовитую усмешку

на лице Кампоса, и в этот самый момент лейтенант и вправду ядовито усмехнулся.

Эган взял стаканчик и залпом осушил его.

— А вы... — начал лейтенант. — Вы... того... не педераст? Не maricón?

Эган был так ошеломлен, что моментально протрезвел. Он вперил в лейтенанта негодующий взгляд. За десять лет, прожитых в этой стране, ни один человек, даже пьяный баптист, еще ни разу не обращался к нему с таким вопросом.

— Лейтенант,— проговорил он сдержанным тоном,— почему вы так со мной разговариваете?

— Что знаю, то знаю,— сказал Кампос. — Знаю, что вы в порядке. Я хочу вам покаяться.

Отец Эган попытался собраться с мыслями.

— Но, лейтенант... Разве сейчас время для исповеди? После выпивки? — Он заставил себя добродушно рассмеяться.— Ну сами подумайте...

Лейтенант медленно поднял руку, показывая, что дальнейшие разговоры бессмысленны.

— Нет. Я хочу вам покаяться. Чтобы это осталось в тайне.

— Не могу же я... — Эган хотел объяснить лейтенанту, что не может отпускать грехи пьяному. Что в таких случаях трудно быть уверенным в искренности раскаяния. Он выпил еще стаканчик.

Лейтенант Кампос встал, пристально посмотрел на Эгана, шагнул к красному морозильнику и открыл дверцу. Легким кивком приказал Эгану подойти ближе. Священник медленно приблизился, не сводя глаз с Кампоса. Лейтенант с видом человека, который стоически переживает свое горе, заглянул в морозильник. Эган со страхом проследил за взглядом лейтенанта и увидел неощипанную индейку, множество бутылок с пивом, а в глубине — какую-то зеленую ткань. Он в недоумении обернулся к Кампосу, но тот стоял, закрыв глаза и нервно покусывая губу. Эган нагнулся, отодвинул несколько заиндевевших бутылок в сторону, и его взгляд упал на канадский флаг с изображением кленового листа. Отец Эган был родом из канадской провинции Онтарио, и ему сначала подумалось, что лейтенант Кампос спьяну решил таким образом выразить ему свою признательность и сыновнюю почтительность. Когда-нибудь об этом можно будет рассказать забавную историю. Но, взглянув на лейтенанта, Эган тотчас понял, сколь далеко его невинное предположение от реальности. Он долго всматривался в содержимое морозильника и за беспорядочным нагромождением кубиков льда, громадной индейкой, пивными бутылками с отклеившимися этикетками заметил, наконец, в углу человеческую ступню, отчасти скрытую под кусками льда. Присмотревшись внимательней, увидел и лодыжку с потемневшим следом небольшого пореза. Верхнюю часть ступни охватывал ремешок сандалии, какие носят в Южной Америке. Между двумя пальцами краснел маленький ватный тампон.

У отца Эгана подогнулись колени. Чтобы устоять на ногах, он оперся рукой на кубики льда и тут увидел влажный желтоватый пучок волос и дальше — загорелый лоб. Ниже лба — переносица, усеянная веснушками, и глаз — голубой, с потемневшим белком; этот глаз — тусклый, безжизненный, как у мертвого животного,— потряс священника до глубины души.

Еле волоча ноги, Эган отошел от морозильника.

— О, господи. — Он доплелся до стены и, дрожа от отвращения и страха, прислонился к ней под портретом президента.

На губах лейтенанта появилась печальная улыбка. Он повернулся к Эгану; улыбка становилась все шире, пока не начало дергаться лицо. Глядя на это лицо, Эган чувствовал, что перед ним человек, который при очевидном своем безумии прекрасно его понимает.

— Святой отец,— сказал лейтенант,— исполняйте свой долг. Вы должны быть хладнокровны и мужественны. И милосердны. — Он подошел к Эгану ближе. — Сила Христова велит.

Сила Христова? Что это такое? У Христа, казалось отцу Эгану, сил не больше, чем у него самого, он же ослаб настолько, что еле стоял на ногах. Панический страх накатил на него, точно приступ лихорадки, и он подумал, что сейчас сойдет с ума.

— Как это случилось? — спросил он наконец.

Лейтенант Кампос закатил глаза, переадресовывая вопрос небесам. Эган заставил себя снова подойти к морозильнику. Легкими движениями пальцев — заученными движениями священника — он сдвинул с трупа часть льда и бутылок.

Это была юная белокурая девушка в шортах цвета хаки и в бойскаутской рубашке с пришитым к ней канадским флагом. На груди — ножевая рана.

Теперь Эган испытывал не столько отвращение, сколько жалость. Видимо, она давно здесь лежит, подумал он, сдерживая дрожь. Вдали от Великих озер, от лиственниц, от улиц, обсаженных вязами.

— Какова причина ее смерти, лейтенант?

— Я вам расскажу. Вы все узнаете. — Он налил себе еще рому и протянул бутылку Эгану.

— Нет, спасибо,— сказал священник.

Заметив на книжном шкафу свою столу и требник, он машинально взял их, опустился в кресло-качалку и приложил ладонь ко лбу.

— Кто она такая?

— Хиппи,— торжественно объявил Кампос. — Наркотики. Распутство.

«Свинья!» — мысленно выругался Эган.

— Нет, я хочу знать ее имя, лейтенант. Разве при неи не было паспорта? Вы, конечно, понимаете, что у нее есть родные?

Кампос сел за стол возле рации и стал писать. Потом протянул Эгану желтую карточку, на которой печатными буквами было написано: ДЖЕНЕТ ФОГАРТИ АЛЬБЕРТА,— и с трудом произнес вслух эти три слова.

Эган молча теребил края столы. Судя по имени, девушка вполне могла быть католичкой. И все же сперва надо обслужить живого, решил он, снова взглянув на Кампоса. Он поцеловал столу и надел ее себе на шею.

— Ладно, лейтенант. Начинайте вашу исповедь.

К его замешательству, лейтенант Кампос, подойдя, опустился перед ним на колени. Осенил себя крестом и набожно сложил перед собой ладони. Эган отвернулся.

— Она была хиппи,— сказал лейтенант Кампос.

— Так.— Голос у Эгана дрожал. Теперь — этот страшный вопрос. Вопрос, который может стоить ему жизни: — Вы убили ее?

— Нет! — крикнул Кампос.

Священник в испуге отшатнулся.

Лейтенант поднялся с колен, отряхнул брюки и зашагал по комнате.

— Она занималась подводной охотой, понимаете? А это не разрешается. Все знают, что не разрешается.

— Разумеется,— сказал Эган.

— Слушайте. — Лейтенант пододвинул кресло ближе к Эгану и сел. — Слушайте, что я вам скажу! У нее в Плайя-Тате под пирсом было спрятано подводное ружье. Нам мэр сообщил. Мы пошли туда и увидели ее. С ружьем.

— Понятно,— сказал священник.

— Мы окликнули ее. Она сделала вид, что испугалась. Стала

вертеться перед нами, как потаскушка. Мы сказали: «Ладно, если она нас дразнит, то и мы ее немножко подразним».

Эган живо представил себе картину: испуганная девчонка барахтается в воде, пытаясь перебраться через прибрежные кораллы на узкую песчаную отмель, на берегу пьяные гвардейцы с пистолетами, а Кампос стоит на полусгнившем пирсе и хохочет.

— И она утонула?

— Умерла,— неопределенно ответил Кампос.

— Ясно.

— Я принял командование на себя,— сказал лейтенант. — Ответственность-то на мне. Велел им разойтись. Ну, и... одел ее. Больше ничего у нее и не было. Я сохранил ее для церемонии.

— Для какой церемонии? — Впрочем, понятно, для какой, подумал Эган. Смерть произошла при подозрительных обстоятельствах.

Кампос тихо засмеялся; в глазах его стояли слезы.

— Когда это случилось? — спросил Эган. Можно было и не спрашивать, подумал он.

— Зимой.

— Напрасно вы оставили ее здесь,— сказал Эган. — Ее родные ничего не знают, так что представьте себе их состояние. Вы должны были понимать, что нарушаете свой долг.

Он посмотрел в глаза Кампосу; в них нарастала угроза.

— Не думайте, что мне было легко,— сказал лейтенант. — Трудно. Очень трудно — держать ее все время здесь.

Эган невольно прислушался к гудению движка.

— Что же вас заставило держать ее при себе? — Он считал важным задать этот вопрос в тактичной форме. Не стоит лишний раз напоминать лейтенанту Кампосу о его малодушии и нарушении служебного долга. — Одиночество?

Но тактичности Кампос не оценил. Его лицо окаменело.

— Что вы о нем знаете?

Эган молча опустил голову.

— Когда я задаю вам вопрос, отец Эган, вы должны отвечать. Что вы о нем знаете?

Отец Эган задумался.

— Вы... вы maricón! — Кампоса качнуло в его сторону. — Вам-то откуда знать? Maricón! Как вы можете меня спрашивать?

— Вы же хотели исповедаться,— напомнил Эган.— Вот я и спрашиваю.

— Верно, хотел,— сказал Кампос. — Только все должно оставаться в тайне, понятно? Это значит, что вы будете держать язык за зубами. За зубами, понятно?

— Я знаю, что такое тайна исповеди,— заверил его Эган.— То, что вы мне говорите, не подлежит оглашению.

— А на попов и религию мне на ...плевать. Я мужчина, а не баба и не maricón. Держите язык за зубами.

— Можете быть уверены,— сказал Эган, и тут же ему пришло в голову, что он поторопился.

— Послушайте.— Голос лейтенанта подобрел.— По-моему, мне не стоит держать ее здесь. Это нехорошо.

— Согласен,— сказал Эган.

— Согласны? В таком случае можете забрать ее.

— Что?

— Можете забрать ее.

— Я? Но, дорогой лейтенант, как я могу...

— Это обязанность церкви! — рявкнул Кампос.

— Нет, это обязанность полиции... — начал Эган, но лейтенант не дал ему договорить:

— Не объясняйте мне, какие у меня обязанности. Думаете, я не

знаю, что происходит? Эта монашка... не настоящая она монашка. Вы что, дураком меня считаете?

— Я вас не понимаю.

Кампос вдруг ухмыльнулся.

— Ну, действуйте! — Он заговорщицки тронул священника за рукав. — Мы вам ее отдаем. Вы священник. Заберите ее, сделайте это для меня — и тогда все будет хорошо.

Он прошел в угол комнаты, достал нейлоновый спальный мешок и сказал:

— Давайте вытащим ее оттуда.

— Нет, я ухожу,— решительно заявил Эган.

Он встал и вышел через парадную дверь на крыльцо, залитое лунным светом, но лейтенант догнал его.

— Вернитесь! Я вам приказываю.

Эган повиновался.

— Ради бога,— взмолился он. — Без меня вы с этим лучше справитесь. А я буду молчать.

— Я не какое-нибудь животное,— сказал Кампос. — Верю в божественную силу. Верю в загробную жизнь.

— Да-да, конечно.

— Ладно. Чтобы снять камень с сердца, я передаю ее вам. — Он подошел к морозильнику и взялся за конец мешка. — И не вздумайте снова убегать.

Отец Эган бессильно упал в кресло и отвернулся. Кампос, чертыхаясь, возился в морозильнике; наконец он сказал:

— Все в порядке. Теперь давайте вместе.

Эган повернул голову: на полу валялись куски льда и бутылки с пивом. Мешок наполовину высовывался из ледяного шкафа. Он был похож на короткого коричневого питона, проглотившего ягненка. Тело, очертания которого безошибочно угадывались под стеганой тканью, лежало на металлическом краю; концы же мешка свободно свисали.

Эган, точно во сне, подошел к морозильнику. Лейтенант Кампос смахнул со лба пот.

— Беритесь с той стороны.

Священник не двигался.

— Беритесь с той стороны! — заорал Кампос. — Трус! Maricón!

Эган отпустил свободный конец мешка и просунул руки под середину, где лежало тело. Сквозь ткань оно ощущалось как глыба льда.

Они вынесли мешок из дома и погрузили на заднее сиденье джипа. Измученному Эгану казалось, что он сейчас потеряет сознание. К тому же и тяжести такие он носить не привык.

Пока они ехали обратно, Эган из последних сил держался за поручень. Ветер рвал на нем столу, туго натягивая ее на шее.

— Не могу поверить, что все это на самом деле,— подумал он вслух.

— Нечего тогда вам было идти в священники,— сказал лейтенант Кампос.

У подножия лестницы, ведущей в миссию, они вытащили мешок из машины и положили на твердый песчаный грунт. В «Курятнике» Фредди было по-прежнему шумно, слышались надоедливые глухие удары барабанов.

Лейтенант Кампос, слегка качнувшись, тронул Эгана за плечо.

— Делайте что положено. У каждого свой долг.

Отец Эган посмотрел вслед удаляющемуся джипу; у его ног на светящемся песке темной кучей лежал мешок.

На некотором отдалении от лестницы находился эллинг с небольшим причалом; там у них обычно стоял на швартове обшитый стек-

лопластиком вельбот. Эган поглядел по сторонам, торопливо подошел к эллингу и убедился, что вельбот действительно у причала. Двигатель был на месте, гребные винты подняты над ватерлинией. Возвратившись к мешку, он ухватил его за углы и потащил. Каждый шаг давался ему с огромным трудом, а барабаны у Фредди насмешливо вторили его тяжелому дыханию. На полпути к вельботу он поднял глаза: по берегу в сторону причала нетвердой походкой двигались двое засидевшихся на свадьбе гостей. Эган быстро присел около своей страшной ноши, потом распластался на песке среди гниющих пальмовых листьев.

Путники шагали в ногу, свои ботинки они несли в руках. Оба были в темных костюмах, белых сорочках и при галстуках; они что-то негромко напевали. Проходя мимо пирса, шагах в ста от спального мешка, возле которого лежал отец Эган, один из них вскочил на деревянный настил и стал танцевать. В одной руке у него были ботинки, которыми он размахивал над головой, а другой он делал волнообразные движения в сторону океана. Босой ногой он шлепал по доскам в ритме барабанного боя, и после каждого шлепка из-под мостков выплескивались мелкие фосфоресцирующие брызги. Когда танец кончился, танцор и его товарищ снова в ногу зашагали к Французской гавани.

Эган выждал, пока они скроются из виду, потом с трудом поднялся и поволок мешок дальше.

По местному обычаю, эллинг не запирался; войдя внутрь, он взял с полки два тяжелых якоря и моток проволоки. Сбросил их в вельбот и спустился сам. Погрузил гребные винты в воду. Последним усилием стащил с мостков спальный мешок, который упал к его ногам с таким грохотом, что Эган испугался, не пробило ли дно. Потом он отвязал канат, и течение подхватило вельбот.

Сжав зубы, он дернул пусковой шнур и взял курс на дальний риф — оглядываться он не решался. Отплыв на полкилометра, повернул на север, обогнул первую гряду кораллов — теперь он уже радовался, что светит луна,— потом снова поплыл на север и вскоре проскочил мимо второй гряды. Когда он заглушил двигатель, вельбот подняло на высокой волне и понесло обратно к берегу. Глубина здесь достигала нескольких сот метров.

С глазами, полными ужаса, отец Эган расстегнул «молнию», опустил в мешок оба якоря и обкрутил его проволокой. Остаток проволоки спутался в клубок.

Он опустил в воду пустой конец мешка, затем стал на колени и, действуя двумя руками, как ковшом, начал понемногу переваливать обледенелую массу за борт. Он очень боялся что мешок не утонет, но мешок сразу же, без единого всплеска пошел вниз и исчез в черной пучине. Ни на палубе, ни на поверхности океана не осталось и следа того, что было здесь всего несколько секунд назад.

Отца Эгана изумила легкость, с которой ему удалось все это проделать. Ему казалось, что он обрел способность смотреть на мир совершенно по-новому.

Когда он снова включил двигатель, у него вдруг возникло желание уйти в открытое море, чтобы встретить зарю за много миль и от миссии, и от этой республики. Но он сдержал свой порыв и направил вельбот к берегу. Проплывая мимо прибрежного рифа, он заплакал.

Чем ближе к берегу, тем яснее становилось его сознание, точно на него снизошло божественное озарение. Ему страстно захотелось, чтобы эта ясность и спокойствие остались с ним навсегда. И тут раздался его собственный голос, голос христианина-гуманиста, живущего в порочном мире. Он вслух вспоминал случившееся, подробно объяснял его. Он принуждал себя повторять это объяснение снова и снова, чтобы не сойти с ума.

— Я сам ее похоронил,— объяснял отец Эган.— Но сказать об этом, конечно, никому не могу.

В день отъезда Холливелла в Центральную Америку его жена должна была отвезти одного молодого параноика на уик-энд за город. Жена Холливелла состояла в общественном патронаже при больнице штата. Ранним утром она отвезла дочерей в школу, после чего отправилась прямо в больницу за параноиком, чтобы доставить его домой, к родителям, жившим в предместье Уилмингтона.

Сборы свои Холливелл заканчивал один; с женой они простились еще вечером. Заперев чемодан и поставив его у парадной двери, он пошел на кухню и приготовил себе крепкий коктейль «Кровавая Мэри». Потом вернулся со стаканом в гостиную и долго глядел в окно на согнувшуюся под тяжестью снега магнолию и истерзанную, обглоданную ветром, покрытую коркой льда рябину.

Пожалуй, она немножко влюблена в этого типа, думал Холливелл, а он отнюдь не безопасен. Однако за нее можно не беспокоиться. У нее есть голова на плечах.

Его самолет вылетает из аэропорта имени Кеннеди на следующее утро, так что весь предстоящий день он проведет в Нью-Йорке, где сперва пообедает с Марти Ноланом, а потом снимет номер в своей любимой гостинице и подумает, как скоротать вечер. Никаких знакомых в Нью-Йорке у него не осталось. Часа в четыре он позвонит жене и узнает, все ли у нее в порядке.

Он допил то, что было в стакане, и налил еще, решив обойтись без завтрака. Когда он положил на заднее сиденье «вольво» свой чемодан и тронулся в путь, то был уже настолько под хмельком, что остановился у табачного киоска и купил первую за этот месяц пачку сигарет. До самого выезда на шоссе он непрерывно курил.

Дорога к шоссе, как и дорога в Уилмингтон, по которой должна была ехать его жена, пролегала через сосновый лес и болота. Всякий раз, когда он проезжал над водопроводной трубой или над замерзшей речушкой, ему в голову лезли мысли о жене, которая, может быть, лежит сейчас в лесу мертвая, ее красно-белый шарф закручен вокруг шеи, а окровавленные пальцы вцепились в ствол дерева.

Выехав на шоссе, он включил радио. Станция «Дабл-ю-дабл-ю-ви-эй» рекламировала освященные крестики и религиозные брошюры. Холливелл покрутил ручку настройки и после рекламы услышал довольно необычную музыкальную передачу, в которой рассказывалось о молодом футболисте.

Этот парень играл в школьной команде защитником; его команда встречалась с командой из соседнего города, причем к середине матча гости имели преимущество в два гола. Во время перерыва этого парня в раздевалке не оказалось, к выходу на поле он опоздал. «Где тебя черти носят?» — спросил взволнованный тренер, человек неплохой, но грубый. Отругав футболиста, он вытолкнул его на поле.

И тут началось что-то потрясающее, незабываемое. Парень играл как одержимый, ничего подобного болельщики в этом провинциальном городке еще не видели. Противник был растерян, тренер смотрел на своего питомца с благоговением и терзался угрызениями совести. После матча среди всеобщего ликования тренер незаметно отозвал молодого защитника в сторону и спросил, что с ним такое случилось.

«Видите ли, сэр, мой отец был слепой»,— объяснил парень. Оказалось, что его слепой отец последнюю неделю был при смерти. Сын регулярно звонил в больницу и вот во время перерыва узнал, что отец скончался.

Тренер нервно кашлянул. Почему же все-таки защитник вдруг так заиграл?

«Понимаете, сэр,— тихо сказал футболист,— ведь теперь он в первый раз увидел, как я играю».

Когда передача кончилась, Холливелл почувствовал, что плачет — слезы текли и по щекам, и по усам, капали на галстук и на недокуренную сигарету. Он остановился на ближайшей площадке для отдыха и, не заглушая мотора, глядел сквозь ветровое стекло на зеленые мусорные баки, пока не перестал плакать.

Нельзя пить по утрам. Всего полтора часа как выехал из дому, а уже есть что рассказать жене. Она посочувствует. Надо приберечь эту историю до возвращения домой, если, конечно, они оба вернутся живыми. Сентиментальными становимся, подумал он, вытирая гигиенической салфеткой глупые слезы. Что ж, сорок лет — солидный возраст. Да и семейная жизнь в тихом пригороде расслабляет.

Она становится жестче и энергичнее, а я — сентиментальнее; два класса, две культуры. Нет. О передаче он ей расскажет, а о том, что расплакался за рулем, пожалуй, умолчит.

На заснеженной лесной опушке за площадкой для отдыха и зелеными мусорными баками появился по-городскому одетый молодой негр с бумажным свертком в руках. Он шел в сторону шоссе. Заметив «вольво» и сидящего в нем Холливелла, негр быстро повернул обратно и скрылся в сосновом лабиринте. Холливелл вздохнул, включил зажигание и поехал в Нью-Йорк обедать.

Часом позже он был уже на Нерроуз-бридж; вдали виднелись освещенные январским солнцем портовые сооружения и силуэты небоскребов Манхэттена.

Проезжая пустошами Бейонна, он ощутил прилив бодрости и вообще чувствовал бы себя довольно сносно, если бы не сильное желание выпить. Он знал, что сегодня день возлияний: утренний «посошок» привел старый механизм в действие. Впрочем, при своей теперешней умеренности он вполне может позволить себе небольшую слабость.

Он повернул на север по Белт-паркуэй и влился в поток машин. Он не был в Бруклине уже много лет, и его охватило радостное волнение, как в новом, незнакомом городе. Ресторан находился на Корт-стрит; к нему прилегала платная стоянка, вдоль которой рос сумах, так что Холливелл нашел его без труда. Стряхнув с пиджака пепел, он перенес чемодан в багажник и отдал ключи служащему-пуэрториканцу.

Ресторан назывался «У Макдермотта» и занимал три огромных зала с дубовыми панелями, зеркалами и запыленными потолочными вентиляторами. Как славно, что «У Макдермотта», подумал Холливелл. Позже ему казалось, что именно перспектива пообедать в центре Бруклина и побудила его согласиться на встречу с Марти Нолаком.

Метрдотель в смокинге провел его к круглому столику, на котором рядом со смятой салфеткой стоял недопитый мартини. Холливелл тоже заказал мартини и с удовольствием оглядел зеркала и дубовые панели. Коктейль принесли, Холливелл сделал первый глоток и увидел вышедшего из уборной Марти Нолана. При виде Холливелла его полное лицо расплылось в улыбке. Холливелл встал и пожал ему руку.

— Герр профессор,— сказал Марти Нолан.

Ладонь у Марти была влажная, от роговых очков с толстыми стеклами тоже чуть не валил пар, и хотя в ресторане совсем не было жарко, на лбу у него под светлыми курчавыми волосами блестели капельки пота.

— Рад видеть тебя, Марти,— сказал Холливелл.

Нолан поднял стакан.

— Я рад, что ты нашел время приехать. Большая честь для меня.

— Ну что ты. Мне и самому хотелось повидаться.

С Нолаком Холливелла связывали давние и крепкие узы. Оба они в пятидесятые годы учились в Регисе, иезуитской средней школе, куда принимали самых способных ребят из городских начальных приходских школ. Оба окончили в шестидесятые годы престижные светские университеты. И оба служили во Вьетнаме.

Марти оглядел поверх очков зал ресторана.

— Жутко скучаю по Бруклину,— сказал он.— Я ведь тут родился, если ты помнишь.

— Помню, конечно. Но служишь-то в Вашингтоне?

— Да, в тех краях. А сюда мать проведать приехал.

Холливелл справился о здоровье матери. Ему хотелось спросить также, есть ли у Нолана жена, но он постеснялся.

— Мама в порядке. Держится.

— Великолепное заведение.— Холливелл показал рукой на зал.— Вот он, старый Бруклин.

Они попросили еще мартини и бутылку барбарусса. Холливелл заказал себе бифштекс и салат, а Нолан — телятину.

Пока официант откупоривал бутылку, Нолан спросил:

— Слышал? Сегодня утром умер Поль Робсон.

— А я думал, он умер еще лет десять назад в России.

— Сегодня утром,— повторил Нолан. Встретив его тяжелый взгляд, Холливелл вспомнил, что так же Марти имел обыкновение смотреть и в молодые годы.— По радио сообщили.

— Ну что ж,— пожал плечами Холливелл, принимаясь за бифштекс.— Не знаю, как я должен на это реагировать.

— Я вовсе не хочу, Фрэнк, чтобы ты злорадствовал. В конце концов, все люди смертны. Просто старые времена вспомнились. Надо бы на похороны сходить.

— Официально?

— Не говори глупостей. Просто надо бы сходить. Посмотреть.

— А от ФБР, по-твоему, кто-нибудь будет? Чтобы всех сфотографировать?

— Не думаю. Впрочем, кто их знает.

Холливелл, склонившись над тарелкой, снова почувствовал на себе взгляд Нолана.

— Как твои дела, Фрэнк? Доволен жизнью?

Холливелл кивнул и перестал жевать.

— В декабре старшая дочь обожглась немного. Прыгала с приятелем через костер.

— Вот как нынче женятся?

Холливелл налил Марти и себе вина.

— Ну, а как ты, Марти? Не женился?

— Еще во Вьетнаме. Ты разве не знал? Венчались в сайгонском соборе.

— Я в то время, наверное, уже уехал,— сказал Холливелл.— Интересная женщина?

— Очень.

Холливелл оживился.

— Вьетнамка?

— Нет. Из Вустера. Да мы уже разошлись. Детей нет.

Холливелл сочувственно кивнул головой.

— А ты вот в Компостелу едешь,— сказал Нолан.— По своим делам?

— Я сам эту поездку устроил. Попросил своих друзей из тамошнего университета пригласить меня. А ты откуда знаешь?

— Получил письмо от Оскара Окампо. Пишет, что ты туда едешь.

Холливелл понял, что сейчас начнется главное — то, ради чего Марти пригласил его. Мог бы и раньше догадаться, что это все не

просто так, подумал он. Но он не даст вывести себя из равновесия: это ведь всего лишь игра, оборотная сторона его дружбы с Ноланом, легкая пикировка между джентльменами. Ни тот, ни другой не отнесется к ней слишком серьезно.

— Что это Оскар вздумал писать тебе? Я считал его левым.

— Он и есть левый. Но мы не враги. У нас с ним диалог.

Оскар Окампо — игрок и волокита — был антропологом и занимал не особенно обременительную должность при государственном университете Компостелы. Холливелл всегда считал его страстным поборником революции.

— Когда-то мы с ним горячо спорили,— сказал Холливелл. Но потом Оскар, видно, остыл. Обработали, значит, его — пообещали деньги или выгодное место в Штатах. Какой позор, подумал Холливелл, да и сам Окампо, должно быть, тяжело это переживает. — Чего доброго, через пару лет ты попросишь меня устроить его здесь на работу.

— Фрэнк... Что, если я попрошу тебя оказать нам услугу, когда ты будешь в тех краях?

Холливелл не спеша намазал рогалик маслом, потом сказал то, что заранее готовился сказать:

— Если ты меня об этом попросишь, Марти, то мне придется сообщить своим коллегам. Наша ассоциация приняла решение не оказывать вам никаких услуг.

— Ваша ассоциация,— усмехнулся Марти Нолан,— это сборище длинноволосых бунтовщиков. Либералы, Фрэнк. Красная сволочь.

— Все антропологи — братья,— сказал Холливелл.

— Можно поинтересоваться, как ты голосовал, когда принималось это решение?

Холливелл положил рогалик на тарелочку.

— Воздержался. В принципе я был «за», но чувствовал себя скомпрометированным. Тем, что делал во Вьетнаме. Оказывал услуги.

— Господи, Фрэнк,— невозмутимо сказал Марти.— Да ты честный человек.

— Вот так. Есть новости из Хошимина?

Марти задержал на нем взгляд и допил вино.

— Не густо. Арестовали членов Хоа-Хао [1]. Многие из них были нашими друзьями, но никто не потрудился выручить их из беды. Ну, что я могу сказать? Думаешь, я озлобился? Нет. Но я и не раскаиваюсь. Противники наши дрались отлично, они заслужили победу.

— Если бы ты и озлобился, я не стал бы тебя осуждать. Досталось тебе изрядно, и держался ты молодцом.

Марти положил вилку на стол. О еде оба уже забыли.

— Я хочу рассказать тебе, Фрэнк, что сейчас происходит на Юге. Тебе наверняка будет приятно узнать.

Холливелл пожал плечами; Нолан перегнулся к нему через стол, глаза его добродушно, но в то же время загадочно поблескивали.

— Вот мы с тобой здесь сидим, а в Техане, на восточном побережье, некоторые наши соотечественники оказались в тяжелом положении — и в общественном, и в духовном плане.

— Пусть уж сами как-нибудь выкручиваются,— сказал Холливелл.

— Я только хочу знать, каковы их намерения.

— Спроси Оскара, каковы их намерения,— он ведь у вас на содержании, правда? А мне, налогоплательщику, начихать.

— Эх, Фрэнк! — Марти возмущенно фыркнул и откинулся на спинку стула.— Информация — большая сила. Она углубляет взаимопонимание, преодолевает разобщенность и вносит ясность в отноше-

[1] Южновьетнамская религиозно-политическая секта, сотрудничавшая с американскими разведывательными службами.

ния. Чем больше люди знают о делах друг друга, тем меньше в мире недоразумений.

— Я еду в Компостелу. А этот чертов Текан мне ни к чему. Омерзительная крысиная нора.

— Чепуха,— сказал Марти.— Текан — чудесная страна. Магазины там американского образца, и президент говорит по-английски не хуже нас с тобой.

— И сам чудесный малый.

— А как же! Член клуба «Ротари» [1].

— Марти, отвяжись.— Холливелл поискал глазами официанта.— В Текан я не поеду и никаких услуг вам оказывать не буду.

Подошел официант, и Нолан заказал виски с ликером на двоих. Помощник официанта убрал со стола тарелки с остатками еды.

— Есть в Текане на Карибском побережье местечко под названием Французская гавань. В нескольких милях от Пуэрто-Альварадо. В течение последних тридцати лет американские девоционисты держат там миссию, но они еле сводят концы с концами и хотят ее прикрыть. Теперь там остались только старик священник и монахиня-медсестра. Мы запросили девоционистов; их архиепископ в Новом Орлеане очень скрытен, но похоже, что эти типы домой не вернутся.

Подали коктейли; Марти поднял свой стакан.

— Вот и началась церковная дипломатия, как в средние века,— продолжал он.— Архиепископ обещает больше не посылать им денег, но тем не менее посылает. Священник и монахиня обещают немедленно вернуться, но не возвращаются. Знают о них и правители Текана — настоящие параноики.

— И притом кровожадные,— сказал Холливелл.

— Согласен, они кровожадные троглодиты, и это мы привели их к власти. Пусть так. В Текане подозревают, что священник и монахиня причастны к подрывной деятельности, но толком ничего не знают, да и с церковью не хотят связываться.

— А что говорят ваши осведомители?

— Говорят, что это люди подозрительные, комми и все такое. Но они ничего другого вообще не говорят. Видишь ли, в Текане особые условия, там еще пятидесятые годы не кончились. Наш посол — кретин, мракобес. А полиция хватает людей даже за чтение Вольтера.

— Еще один уголок свободного мира.

— Избитая фраза, Фрэнк. Прибереги ее для собрания своей ассоциации, и тебя когда-нибудь изберут ее председателем.— Он с обиженным видом допил коктейль.— Послушай, дружище. Я хочу знать, что у этих людей на уме. Они мои соотечественники, бывшие единоверцы, а теперь путаются там с Эль Торо. Надо же в конце концов вытащить их оттуда.

Холливелл заказал еще два коктейля.

— Ты едешь в Компостелу. А получить теканскую визу и съездить во Французскую гавань — это уж проще простого. Поплавай, поныряй с аквалангом. Недалеко развалины древнего царства, сможешь там пошататься. Только учти,— торопливо добавил Нолан, не давая Холливеллу возразить,— что информация об этих людях нужна лично мне. Не столько моему ведомству, сколько мне самому. И получить ее хотелось бы не от осведомителя и не от кого-нибудь из правых, а от человека, способного трезво разобраться в этом деле. Ты всех выручишь.

— Последний раз, когда я находился в подобной ситуации, дело обернулось довольно скверно.

— А ты чего хочешь? Чтобы в мире все было идеально? Скажи мне, профессор: ты уже не считаешь, что человек должен стоять на чьей-то стороне?

---

[1] Американский клуб бизнесменов.

— Считаю.

— Тогда на чьей стороне ты? Неужели ты и вправду думаешь, что люди с той стороны способны разрешить социальные противоречия и навести порядок? Утром — рабочий, днем — охотник, вечером — ученый? Неужели ты в это веришь, Фрэнк?

— Нет.

— Так вот, друг: или мы, или они. Как всегда. Они требуют абсолютной справедливости, мы — относительной. Вот почему наша сторона в конечном счете лучше.

— А ты веришь, что она лучше?

Марти пожал плечами.

— Конечно, верю. И ты веришь. Но я тебя вербовать не собираюсь, да и речь идет не о какой-нибудь серьезной операции. Я уже сказал, что́ мне от тебя нужно: немного информации. Может, эти двое в Техане знают то, чего не знаем мы.

— А ты взял бы да и написал им письмо. Сообщите, мол, что вас там держит.

Нолан тяжело вздохнул и опустил свои узкие плечи.

— Принесите-ка мне коньяку,— сказал он официанту.— Два коньяка.— Он отвернулся от Холливелла, окинул взглядом зал, обшитые деревом потолки, набрякшие недобрые лица посетителей, которых стало заметно меньше.— А я-то нарочно пригласил тебя сюда, думал, что в такой обстановке никому не захочется становиться в позу.

— Дело, должно быть, в нас с тобой, Марти. Обстановка не виновата.

Подали коньяк. Нолан уже без церемоний взял рюмку.

— Этот разговор действует на меня угнетающе,— сказал он,— ибо напоминает мне, что мы живем в стране полного единодушия. Я хочу сказать: двадцать лет назад мы все единодушно одобряли Уильяма Дженнингса Брайана [1], отца Флэнагана [2] и свой традиционный яблочный пирог. Секуляризацию,— он изобразил пальцами знак равенства,— приравнивали к коммунизму. Модернизм — к безбожию. Большевизм... Всех «яйцеголовых» объявили марионетками коммунистов, а лояльных американцев надо было искать в Фордеме или в Дарлингтоне, штат Южная Каролина. Но вот нам набили морду во Вьетнаме, пал Сайгон, и все переменилось. И уже «холодную войну» начал Трумэн, а не Хисс [3], не Розенберги и не кто-нибудь другой. Опять полное единодушие.

— Да,— сказал Холливелл,— что может быть лучше полного единодушия!

— Точно. Видишь ли, жить в нашей стране все равно что смотреть кино: если наберешься терпения, можно дождаться счастливого конца. Радуйся, пока не начнут показывать другой фильм. Глупая страна во многих отношениях.

— Разве патриотично так рассуждать?

— А, ерунда,— отмахнулся Нолан.— Патриотизм — устарелое понятие.

Они молча допили коньяк. Когда подали счет, Холливелл придвинул его к себе.

— Мы живем в первобытном обществе,— продолжал Нолан,— но люди этого не понимают. Возьми любой номер «Таймс», и ты найдешь там кучу таких глупостей, что только пальчики оближешь.

---

[1] Уильям Дженнингс Брайан (1860—1925) — государственный деятель США. Трижды (в 1896, 1900 и 1908 гг.) безуспешно баллотировался на пост президента. В 1913 — 1915 гг. — государственный секретарь в кабинете В Вильсона. В 1925 г. выступал в качестве обвинителя на антидарвинистском «обезьяньем процессе».

[2] Эдвард Джозеф Флэнаган (1886—1948) — религиозный и общественный деятель США.

[3] Элджер Хисс (род. в 1904 г.) — сотрудник внешнеполитического ведомства США, обвиненный в государственной измене.

А если отбросить декларации, оправдания и словесную шелуху, называемую идеологией, ты увидишь, как одно стадо шимпанзе затевает драку с другим.

Холливелл заплатил по счету кредитной карточкой «Банк-американард». Нолан даже не сделал попытки помешать ему.

— Извини,— сказал Холливелл.— На этот раз не могу.

Они вышли вместе и постояли у ограждения автомобильной стоянки. Порыв холодного ветра поднял и закрутил по тротуару столб пыли, и Нолан прикрыл глаза рукой.

— Может, еще передумаешь, когда будешь там. Так что, если позволишь, я снова обращусь к тебе через третье лицо.

Холливелл молча усмехнулся, и они пожали друг другу руки. Когда он уже ехал по Бруклинскому мосту, до него дошло, что в последних словах Нолана звучала угроза. Его вдруг обдало холодом одиночества. В сущности, у него нет убеждений, и не питает он надежды ни на свое будущее, ни на будущее человечества. Живет почти без друзей и, уж конечно, без союзников. Один.

Он ехал в сторону Манхэттена. Прямо перед ним с неумолимой жестокостью вырастали громады новых зданий. Он был подавлен и настолько пьян, что не думал об опасности. Возвращение в жилые кварталы Манхэттена утомило и взбудоражило его. Он с облегчением отдал ключи от «вольво» швейцару и, поднявшись наверх, сразу же заказал бутылку виски. Когда виски принесли, он сел, задрав ноги на подоконник и глядя на крыши домов.

Однажды в майский день они с Марти Ноланом прогулялись пешком по Второй авеню от библиотеки на Восточной семьдесят девятой улице до самого моста и, перейдя на другой берег, очутились в баре на Кларк-стрит. Это было году в пятьдесят пятом. Долгие часы прошли у них в разговорах.

Немного погодя он расположился на двуспальной кровати и набрал свой домашний номер. Услышав голос жены, закурил сигарету.

— Ну, все в порядке,— сказал он.— Благополучно вернулась.

— Я же говорила, можешь не волноваться. Он принял лекарство еще в больнице и всю дорогу дремал.

— Стало быть, не бесновался и вел себя прилично?

— Клевал носом. Когда подъехали к их дому, даже не сообразил, где он.

— А вообще-то он соображает?

— Еще как. Очень живо на все реагирует.

— А кто его родители?

— Весьма состоятельные люди. Дом на вид довольно богатый. Приглашали меня к себе, но я отказалась. Обратно они привезут его сами.

— Такие, значит, дела.

— Именно.

— А я пообедал с Марти. Хорошо выпили.

— Да уж по голосу чувствую. Что собираешься делать?

Холливелл налил себе виски с холодной водой. За окном в синем небе над Манхэттеном плыли кудрявые январские облака.

— Может, пройдусь по Восьмой авеню. Потрачу две десятки на девочек.

— Шутка?

— Да,— сказал он.— Конечно.

— Жаль, что я не с тобой сейчас. И жаль, что мы не едем вместе

— Марти сказал, что сегодня утром умер Поль Робсон.

— Господи! Наверное, злорадствовал?

— Кажется, да.

— Слушай, а он тебя просил о чем-нибудь?

— Было у него такое намерение. Но я категорически отказался.
— Он понял, что ты рассердился?
— Я не рассердился.
— Хватает же у людей наглости.
— Я тебя люблю. Береги себя.
— И я тебя люблю. Ты тоже береги себя.

Он подвинулся на край кровати и, потягивая виски, стал вспоминать разговор с Ноланом. Потом включил телевизор. Показывали фильм о второй мировой войне. Он посмотрел немного и заснул при мерцающем свете экрана, на котором мелькали охваченные пламенем фигурки немцев.

— Ни на минуту не допускаю,— сказала сестра Мэри Джозеф,— что все заканчивается могилой.

Сестра Мэри и сестра Джастин Фини сидели на веранде и пили чай со льдом. Сестра Джастин хмуро смотрела на залитое солнцем море. Категорический тон Мэри Джо выводил ее из себя.

— Не будем касаться богословия.

— А кто говорит о богословии?

— Ты,— сказала Джастин.— «В райской обители у господа бога есть будешь сытно, вкусно и много».

Сестра Мэри Джозеф жила в горах в районе озера Тапа и приехала сюда, чтобы образумить Джастин. Сама она находилась совсем в другом положении: ее орден пользовался влиянием, умел приспосабливаться, ее амбулатория спасла немало жизней. Прибыв во Французскую гавань, она сразу же поняла, что местные жители сторонятся миссии, что с отцом Чарли Эганом происходит что-то скверное и что доходившие до нее слухи о девоционистах — не просто болтовня.

— А все так и будет, малышка,— сказала Мэри.

Джастин сощурила свои голубые глаза от яркого света и подперла кулаком подбородок. Сестра Мэри Джо встала и взяла со стола чайные стаканы.

— Если прагматический подход тебя устраивает больше — пожалуйста. Сидишь ты здесь без пользы. Никто в тебе не нуждается. Ну что, дошло наконец? — Но злорадство, с которым Мэри Джо обрушила эти жестокие слова на бедную Джастин, тотчас сменилось чувством раскаяния.

Когда она ополаскивала в кухне стаканы, туда вошел отец Эган; шаркая ногами, он рассеянно подошел к холодильнику, в руке у него была мухобойка.

— Как живете, святой отец? — спросила сестра Мэри, оглядев его с ног до головы.

— Дорогая Джо,— сказал Эган.— Живу я великолепно.— Он налил в стакан воды и неопределенно усмехнулся.— Как славно, что вы решили навестить нас.

— Обычный визит,— сказала она.— По-прежнему работаете над своей книгой?

— Да, все кропаю, кропаю, кропаю,— ответил священник и удалился к себе.

Вытерев стаканы, Мэри Джо вернулась в столовую и взяла из черной сумки стетоскоп. Потом постучалась в дверь к отцу Эгану и вошла.

Священник сидел у открытого окна; на полу возле его ног стояла начатая бутылка «флор-де-канья». Под окном на косогоре копошились цыплята, какая-то женщина с мачете рубила подорожник.

— Мы ведь с вами старые друзья, святой отец,— начала сестра Мэри.— Так что можем говорить откровенно.

— Да,— сказал Эган.— Мы старые друзья, Джо.— Улыбка на его лице растаяла, он оглянулся назад.— И я не допущу, чтобы она вас тиранила. Нечего вам ее слушать.

— Ерунда. Джастин — хорошая девушка.—Мэри расстегнула ему пуговицу и приложила к груди воронку стетоскопа.— Давайте-ка о вас поговорим.

Сердце билось слабо и с перебоями. Эгану всего шестьдесят с небольшим, а сердце у него как у глубокого старика.

— А что, если вы бросите пить?

— Вот я и попался,— вздохнул отец Эган.

— Да, Чарли, попались. Потолстели, обрюзгли. Ручаюсь, что у вас и печень увеличена. От любой простуды можете слечь.

Она подняла с пола бутылку и поставила на стол рядом с распятием.

— Домой вам надо, святой отец. При такой жизни вы долго не протянете.

Отец Эган почесал ухо и выглянул в окно.

— Да и вообще, что вам обоим тут делать? — продолжала сестра Мэри.— У вас же есть указание закрыть миссию. Разве служителям церкви не положено делать то, что им велят?

— Да, конечно,— ответил отец Эган.— Но я хотел сначала закончить книгу...

— Глупо,— сказала монахиня.— Если вы хотите закончить книгу, закрывайтесь немедленно. Вот что: я дам Джастин таблетки для вас. Принимайте вместо рома каждые четыре часа. Только «вместо», а не «вместе», иначе вам крышка.

— Благодарю вас, Джо,— отрешенно сказал отец Эган, и Мэри Джо охватила тревога

— Храни вас бог, Чарли. Молитесь за меня.

Она вернулась в столовую, спрятала стетоскоп в сумку и вышла на веранду. Сестра Джастин сидела в прежней понурой позе, глядя на море, и Мэри Джозеф показалось, что она плачет. Мэри Джозеф была не из тех, кого легко растрогать. У озера Тапа сестре Мэри не раз приходилось из чувства долга утешать некоторых молодых и не слишком закаленных посланцев Корпуса мира. Она прощала им слезы: Текан — страна суровая, а они такие молодые, да к тому же американцы. Первый раз без роликовой доски, любила говорить она. Но вид плачущей сестры-монахини вызвал у нее чувство стыда и гнева. Пусть женщины Текана проливают слезы, им-то всегда есть о чем плакать.

— Ясно как божий день,— заявила она, уже забыв, что совсем недавно осуждала себя за суровость,— если бы я жила здесь и нуждалась в поддержке, то, конечно, не стала бы рассчитывать на ваш странный орден. Обратилась бы прямо либо к адвентистам седьмого дня, либо к Армии спасения, либо еще к кому-нибудь из тех, кто знает, что делает.

— К Армии спасения? — возмутилась Джастин.— Да там же одна правая сволочь, псалмопевцы, сукины дети. Повесили на стену портрет президента, подлизываются к Гвардии и работают на ЦРУ.

Неожиданно для себя Мэри Джозеф вспыхнула.

— Как у тебя язык поворачивается такое говорить?

Джастин опустила глаза. Мэри Джо подождала, пока она успокоится, потом села рядом.

— Послушай, Джастин! Самый факт, что у тебя много свободного времени для хандры, говорит о твоей праздности. Черт возьми, детка, сейчас не время заниматься самокопанием.

— Какое же это самокопание? — спросила Джастин.— Разве мне безразлично, что здесь люди голодают, а в Америке вертят задницами в похабных танцах?

Сестра Мэри фыркнула.

— Возможно, я глупо выразила свою мысль. Но тебя-то это разве не волнует?

— Волнует, если это правда. Только откуда мне знать? Мое дело — раздавать лекарства. И твое — тоже. Ничего другого от нас не ждут. А ты, между прочим, типичная девоционистка. Вечно вы умствуете, горячитесь, а со здравым смыслом у вас напряженно.

Сестра Джастин поправила прядь волос, выхваченную ветром из-под клетчатого ситцевого платка.

— Сыта я по горло и этим орденом, и своим положением сестры милосердия.

— Значит, пора тебе возвращаться домой,— сказала сестра Мэри. От слов Джастин ее покоробило.— Джастин! Сейчас происходят важные перемены. Церковь снова поворачивается лицом к Иисусу. Это здорово, и этим нельзя пренебрегать.

Джастин заслонила рукой глаза.

— Если бы я посоветовала тебе молиться и взывать к богу о помощи,— продолжала сестра Мэри,— ты бы снова сказала, что я обещаю сытную еду в райской обители?

Сестра Джастин отвернулась и поджала губы, стараясь остановить слезы. Мэри Джозеф уже не сердилась на свою плачущую юную подругу.

— Или это для тебя больше ничего не значит?

Джастин молча покачала головой.

Какая же она красавица, подумала Мэри Джо. Монашеский орден, к которому принадлежала сама Мэри, ни за что не рискнул бы принять в свои ряды такую хорошенькую и своевольную девушку. Но это было бы неразумно: за шесть лет Джастин показала себя прекрасным знатоком катехизиса, хладнокровной и умелой медицинской сестрой, а ее силе и бодрости мог позавидовать кто угодно. Трудно поверить, что все это соединилось в одном человеке.

— Здесь неподходящее место для личных переживаний,— сказала Мэри.

— Я знаю.— Джастин приложила к щеке носовой платок.

— А теперь — дела практические: всю эту территорию перекупила фруктовая компания, и вы не можете без конца путаться у нее под ногами. Да и слухи про вас ходят не слишком приятные. Архиепископ беспокоится.

— Тварь ползучая,— сказала Джастин.— Он даже не христианин. Помесь Великого Инквизитора с ольмекским жрецом.

Сестра Мэри напустила на себя серьезный вид, но не выдержала и расхохоталась.

— Джастин, ты хулиганка.

Джастин перестала хмуриться и улыбнулась.

— Да, он не Бинг Кросби,— весело сказала сестра Мэри.— Но он представляет здесь церковь, а это кое-что значит. Хочешь верь, хочешь нет, но он оберегает вас от местных властей.

Джастин Фини встала и подошла к краю веранды.

— Дай мне несколько дней и не говори пока ни с кем. Я должна обдумать свои планы.

Мэри Джозеф нахмурилась. Какие еще планы, когда человеку нечего делать.

— Ладно. Через неделю сообщи мне, что ты решила, и назови дату отъезда. Если тебе понадобятся люди, постараюсь прислать ребят из Корпуса мира, они помогут.

— Спасибо, Джо. Спасибо за участие.

Мэри Джозеф взяла свою черную сумку. Ей хотелось коснуться щеки Джастин или обнять ее, но она сдержалась. Она приучила себя не давать воли чувствам.

— Слушай, ты работала здесь долго и работала отлично. Так

что не считай себя неудачницей. Гони мрачные мысли. Займись делом, начинай сборы.

Джастин кивнула.

— Бог любит тебя, Джастин. Ты у него на особом счету. Он поможет тебе.

— Ладно, Джо.

Едва сестра Мэри Джозеф шагнула вниз по лестнице, как ей стало не по себе. В нетерпеливой улыбке Джастин она прочла слово «погибла», и это слово мрачно отозвалось в ее чистой бесстрашной душе. Она обернулась и сказала:

— Слушай, у меня есть одна штука для Чарли Эгана — понимаешь? Надо, чтобы он вернулся домой живым. Могу я тебя попросить?..

— О чем разговор.

Идя к своему «виллису», сестра Мэри увидела, что со стороны пальмовой рощи, отделяющей «Курятник» Фредди от берега, приближается «тойота». В человеке, сидевшем в ней, Мэри узнала отца Годоя, теканского священника из Пуэрто-Альварадо. «Тойота» остановилась, отец Годой вышел из машины. На нем были отглаженные хлопчатобумажные брюки, синяя рубашка из шотландки и дорогие солнечные очки. Он поздоровался с сестрой Мэри за руку и, не успела она рта раскрыть, начал говорить по-английски обычные любезности. Он улыбался, и от этого его длинное худое желтоватое лицо сделалось еще длиннее. Должно быть, очень сексуальный, подумала она. Священников-интеллектуалов сестра Мэри недолюбливала, а местных служителей церкви считала мягкотелыми, избалованными и отсталыми.

— Решили заглянуть к нашим друзьям, святой отец?

— Верно, верно! — воскликнул он, будто не поняв вопроса.

— Я слышала, у вас тут на побережье псих какой-то завелся. Детей убивает.

— Да, говорят,— ответил Годой.— Местные жители полагают, что это иностранец.

— Уж лучше бы так,— сказала монахиня.— Надеюсь, людей предупредили, чтоб были осторожны?

— Все уже знают. У нас это быстро.

— Ну, пока,— сказала сестра Мэри, залезая в машину.— Если что, дайте знать.

— Всего доброго. Всего доброго всем.

Возле пальмовой рощи она остановилась; не заглушая мотора, наклонилась к щитку, закурила сигарету, затянулась. Потом оглянулась назад. Годой стоял на верху лестницы рядом с сестрой Джастин. Лица обоих были обращены к океану.

— Ну и ну! — пробормотала она, включая передачу.— Вот уж парочка небесных созданий.

Отец Годой громко восхищался красотой океана и внушал сестре Джастин, как ей повезло, что она живет на побережье. Ей стало неловко.

— Хотите чаю? — спросила она.

— Нет-нет, благодарю.— Он весело огляделся вокруг, и Джастин смутилась еще больше, подумав о бездействующей миссии.

— Сам-то как? — тихо спросил Годой.

Знакомое выражение заставило ее улыбнуться.

— Неважно. Довольно мрачен и не всегда благоразумен. Не так давно среди ночи плавал куда-то в вельботе. Зачем — ума не приложу.

— Странно,— сказал Годой.— Несколько настораживает.

— Выпейте чаю, а?

— Мне пора ехать. Сегодня в городе шествие.

— Ну надо же! — воскликнула она.— Совсем вылетело из голо-

вы! Сколько здесь живу, еще ни разу не пропускала, а вот сегодня забыла.

— Вечером я могу отвезти вас туда. На гулянье. Я сейчас еду за детьми служащих компании. А на обратном пути захвачу вас. Хотите?

— Еще бы! А вас это не затруднит?

— Нет, что вы. Собственно, я и приехал сюда только затем, чтобы пригласить вас.

— Спасибо.— Джастин засмеялась.

— Великолепно,— сказал священник.— Тогда я сейчас отправлюсь, а в начале седьмого мы за вами заедем.

— Чудно!

— Ну, до вечера,— сказал он и, застенчиво улыбнувшись ей на прощание, стал спускаться с лестницы.

— Чудно!

Чудно, чудно, уныло повторяла она про себя. Черт побери, какой дурой я становлюсь!

Униженная, растерянная, она смотрела на Годоя, который уже садился в машину. Чтобы не встретиться с ним взглядом, когда он повернется, она поспешно ушла с веранды.

Потом она занялась уборкой: подмела полы в амбулатории, опрыскала белье, начавшее пахнуть плесенью, облазила все закоулки, где могли завестись многоножки или скорпионы. Часом позже из деревни пришел человек и принес красного окуня и корзину креветок; Джастин сошла вниз и расплатилась с ним. Человек сообщил, что мать и дочь Эррера, которые стряпали и прибирались в миссии, несколько дней не появятся. Они и до этого некоторое время не появлялись, как и две молодые женщины (Джастин в шутку называла их босоногими докторами), которые помогали ей в амбулатории и которых она сама обучила грамоте. Впрочем, работы для них все равно не было.

Спустя немного времени мимо проехал лейтенант Кампос, в его посеребренных солнечных очках мелькнуло отражение Джастин.

Она почистила окуня, помыла креветки, потом пошла к себе и приняла душ. Надела чистую прохладную юбку цвета хаки и красную клетчатую рубашку, а голову повязала красным шарфом. Вернувшись на кухню, обнаружила там отца Эгана — тот разбавлял ром холодной колодезной водой.

— Мы сегодня друзья? — спросила она.

— В чем-то, Джастин, мы всегда друзья. Но в чем-то мы не можем ими быть.

Джастин промолчала. Старик, как всегда, изъясняется загадками. Она взяла рыбину, подержала в руках, потом положила обратно.

— Сестра Мэри говорит, что нам нужно уезжать отсюда. Вы, вероятно, знаете.

— Да,— сказал священник.— Разумеется, это зависит от вас.

— Почему все зависит от меня? — спросила она, вытирая руки полотенцем.— А вы? Что с вами-то происходит?

— Не судите меня строго,— сказал отец Эган.— Я в меру моих слабых сил буду этому противиться. Вы же — девушка здравомыслящая, поэтому от вас все и зависит.

— Зачем вы столько пьете?

— Не обращайте внимания,— сказал отец Эган.

Она пристально посмотрела на него.

— Вы так странно себя ведете, что я теряюсь в догадках. А после этого ночного плавания стали еще хуже. Вы хотя бы это мне объяснили.

— Это секрет,— сказал Эган.— Дальше — тишина.

Сестра Джастин тряхнула головой, словно боясь, как бы его безумие не передалось ей.

— Я уже чувствую себя не здравомыслящей, а полной идиоткой.

— Ну и напрасно,— сказал Эган.— Хотите знать мое мнение?

— Конечно.

— По-моему, вы очень умны, высоконравственны и обладаете всеми достоинствами, которые должны быть присущи монахине. Вас одолела уверенность в собственной правоте, и вы решили сделать невозможное. В этом нет ничего плохого, Джастин. За всем этим — прекрасная традиция.

— Вы сами поощряли меня.

— Да. Я тоже хотел остаться. И я уважаю вас, хотите верьте, хотите — нет.

— Я думала, что справлюсь.

— Потому что в ордене очень вас ценят и не хотят с вами расстаться. Никто вас никогда не неволил. Вот вы и избаловались, моя дорогая.

— Ничего подобного! — Она сердито скрестила руки на груди и стала в дверях спиной к Эгану.— После этих курсов я работаю как проклятая ради куска хлеба. По-вашему, это монастырское житье?

Услышав сдержанный скрипучий смешок, она обернулась.

— Что, я какую-нибудь глупость сказала?

— Вас избаловали морально. Ваши добрые намерения всегда воспринимались всерьез. Как же это прикажете называть? — Он поднес стакан с ромом к носу, понюхал и отпил.— Религиозные женщины всегда намного моложе своих лет — Мэри Джо, например. С религиозными мужчинами — хуже. Они всю жизнь дети. Да и сама жизнь — это детский сад.— Он пожал плечами.— А уж о религии и говорить нечего.

Джастин удивленно посмотрела на него. Старик заговорил парадоксами. Впрочем, все люди его поколения — поклонники Честертона [1].

— Вы перестали читать молитву,— вспомнила она неожиданно для себя.— Давным-давно перестали.

— Она неправильно написана.

— Вы это серьезно? — улыбнулась Джастин.

— Мессу отслужу, если попросят. Приобщу святым тайнам. А молитва моя остается между мною и богом, и по-ихнему я не стану читать. Понимаете, она неверно написана.— Эган устремил на нее пугающий взгляд.— Они все исказили. Все.

— Сдаюсь,— сказала Джастин.

— Любопытно, что вам моя ортодоксальность не безразлична. Вы, конечно, не веруете?

— На этот вопрос я не могу ответить.

— А между тем отвечать на него вы обязаны каждодневно,— сказал Эган.

Она подошла к кухонному столу и занялась рыбой. Лучше всего было бы зажарить ее и подать с соусом из перца, лука и зеленых овощей. Но Эган предпочтет, наверное, отварную, так что придется готовить из нее суп, добавив креветок. Какая жалость. Красный окунь.

Окунь был порезан на суп; Эган удалился к себе.

Джастин снова вышла на веранду и, ухватившись за перила, подалась вперед, к мягкой синеве океана. Начинался отлив, солнце только что скрылось за зелеными зубчатыми холмами позади миссии.

Полнейший, абсолютный идиотизм, подумала она.

Созерцая эту картину, она испытывала то же душевное состояние, какое испытывала бы, наверное, во время молитвы. Ничего нет. Только море, темнеющие бездны, хищные глаза. И лишь сердце стучит тихо-тихо, взывая к опустошенной, одинокой и безутешной душе. Оно бьется только для нее и ни для кого больше, бессмысленно

[1] Гилберт Кит Честертон (1874—1936) — английский писатель.

перегоняет кровь. Ей так захотелось умереть, что голова закружилась, словно от сладкого дурмана.

Полуоглушенная отчаянием, она продолжала стоять, ухватившись за перила, и тут увидела парня, шедшего по берегу со стороны деревни; он был босой, бородатый, светловолосый, в белой рубашке без ворота и в полинялом комбинезоне. Когда он подошел ближе, она заметила, что рубашка у него заношенная, а руки в грязи и со следами засохшей крови. Видно было, что этот человек в беде, и Джастин почувствовала безотчетную радость. Наверное, это один из тех молодых североамериканцев, что скитаются по Перешейку. Впервые они появились здесь прошлой весной. Некоторые из них пристрастились к наркотикам и алкоголю. Джастин решила позвать парня в дом и помочь ему, пока его не выследили люди Кампоса.

Она уже ступила на площадку лестницы, как вдруг обратила внимание на голову парня. Такого неровного ежика не встретишь даже у самого отпетого бродяги, а на макушке выстрижено почти наголо, словно тонзура. Когда Джастин спускалась на берег, парень обернулся; она увидела его лицо и резко остановилась.

Несмотря на молодую походку и осанку, лицо у него было старческое, кожа не загорелая, а красная, словно дубленая, и покрытая глубокими морщинами. Массивные надбровья и широкие скулы придавали верхней части головы квадратную форму; непомерно длинный и тонкий вздернутый нос. Не то эльф, не то гном, не то резная деревянная кукла; похож на Пиноккио, только злющий. Его голубые, явно не англосаксонские глазки глядели с такой ненавистью, какой Джастин еще не видела.

Джастин напомнила себе, что на ней мирская одежда. Но даже люди, верящие, что встреча с монахиней приносит несчастье, никогда так на нее не смотрели.

Он открыл рот, она внутренне сжалась, готовясь услышать угрозу или ругательство. Судя по искаженной физиономии, он действительно что-то крикнул, но совершенно беззвучно. Когда оскаленные зубы впились в нижнюю губу, она догадалась, что одним из слов, обращенных к ней, было слово «Schwein» [1]. Из других слов Джастин уловила «Du» [2]. С немецким языком она познакомилась лишь во время туристской поездки в Австрию и все же не сомневалась, что родной язык этого человека — немецкий. Schwein, Du.

— Тварь! — долетело до нее, и она по-настоящему испугалась.

Парень пошел дальше, в сторону Пуэрто-Альварадо. Его широченные плечи под грязной рубашкой напоминали воловье ярмо.

Джастин вернулась на кухню и помешала в кастрюле суп. Должно быть, этот парень — из секты меннонитов [3]; на юге, во внутренней части страны, есть несколько их поселений. В Техане их не так много, одну группу меннонитов она встретила несколько лет назад в столице, на центральном автовокзале. Тогда они произвели на нее впечатление застенчивых, улыбчивых людей, очень опрятных и дружелюбных.

Час был поздний. Небо и море стали нежно-голубыми, зеленые заросли на склонах холмов побледнели. Джастин не спеша направилась к выходу на веранду, наслаждаясь свежим ветерком.

На всем берегу, от рощи и кафе Фредди до дальней южной точки, не было ни души. Исчезнувший из виду парень казался теперь призраком, сотворенным из ее страхов; ненависть, тевтонский дух порождают кошмары и полную трагизма историю. Не из ее ли отчаяния возникло это видение?

Когда у подножия лестницы остановился джип, в котором сидел

---

[1] Свинья *(нем.)*.

[2] Ты *(нем.)*.

[3] Протестантская секта, возникшая в XVI веке в Нидерландах. Самыми существенными чертами христианина меннониты считают смирение, отказ от насилия, нравственное самосовершенствование.

Годой с группой мальчиков, она с благодарной улыбкой сбежала вниз. Детей было шестеро, все карибы с индейским разрезом глаз и с копной жестких прямых волос, что отличает карибов от других темнокожих обитателей побережья.

— Buenas[1], — сказала она.

— Buenas,— ответили мальчики и засуетились, освобождая для нее место. Младшие дети улыбались, двое старших восхищенно разглядывали ее. Она села рядом со священником.

— Ну, едем? — спросил Годой.

— Вперед,— весело сказала сестра Джастин.

Вдоль шоссе тянулись вереницы возвращающихся с плантаций рабочих с мачете на плечах; вместе с ними шагали усталые дети с вязанками дров за спиной — топливом для приготовления ужина. Около ручьев и колодцев трудились женщины: одни снимали с камней сушившееся на них белье, другие наполняли рыжеватые кувшины питьевой водой и, поставив их на голову, спешили домой. Но в основном люди шли в Пуэрто-Альварадо, чтобы поспеть хотя бы к концу гулянья.

Проезжая мимо бамбуковых, крытых соломой хижин, Годой сигналил, и какой-нибудь мальчик махал им рукой, а дети, сидевшие в джипе, важничали, воображая себя хозяевами автомобиля.

Шоссе вело в глубь материка через банановые и ананасовые рощи на вершину Пико-Хилла, откуда был виден океан и далекие портовые причалы, потом опять спускалось вниз, к обширной территории, застроенной желтыми нумерованными домами фруктовой компании, и заканчивалось на окраине города возле лачуг из жести, картона и дерева. Из центра города доносился треск хлопушек и рев динамика с грузовика, нанятого сирийским торговцем для праздничной рекламы.

Проехав по мощеной улице с навесами для автомобилей и крашеными заборами, они миновали «Гранд-отель» и заправочную станцию «Тексако», потом свернули на многолюдную площадь. Годой медленно провел свой джип сквозь толпу и поставил его у церковной ограды за велосипедной стоянкой. Едва машина остановилась, мальчики выскочили из нее и исчезли в толпе.

Годой проводил их взглядом и посмотрел на часы.

— Весь фокус теперь будет в том, как вернуть их обратно,— сказал он с грустной улыбкой.

Они прошли вдоль цепи гвардейцев в касках и обогнули паперть.

В центре площади стояла увешанная бумажными гирляндами сейба, под ее ветвями расположились престарелые музыканты в черных фраках. С двух сторон площади между деревьями висели японские фонарики, сама же площадь была запружена народом. Люди имущие слушали транзисторные приемники, юные родители прижимали к себе крошечных отпрысков, дети, пришедшие самостоятельно, сновали в толпе. Мальчишки-чистильщики собрались недалеко от фонтана и, рассевшись со своими ящиками вдоль газона, ждали, не бросит ли кто окурок, не уронит ли монетку или кошелек.

Пришли и девицы из портовых заведений; они постелили газеты и уселись кружком, напевая под музыку, звучавшую из ближайшего радиоприемника, и передавая друг другу книжки комиксов.

Вокруг фонтана стояли, разбившись по сословиям, подростки. Мальчики не сводили глаз с проституток, а девочки более или менее скромно поглядывали на мальчиков.

Были там девочки в джинсах в обтяжку и теннисках с надписью: «Поцелуй меня, дурачок» — и девочки в школьной форме, заменявшей им праздничные платья. Были и почти белокожие скучающие юноши в рубашках итальянского покроя, и неуклюжие стеснительные метисы в белых крахмальных спортивных рубашках, и черно-

[1] Здравствуйте *(исп.)*.

кожие — эти пересыпали испанскую речь искаженными английскими словами, показывали друг другу приемы каратэ, вихлялись и танцевали, вертя гибкими запястьями и сверкая белыми ладонями. У ворот муниципалитета стояли, прислонившись к колоннам, несколько гвардейцев.

Какой-то мальчик с воспаленным глазом гнал двух маленьких девочек к церкви.

— Mono malo, mono malo[1],— покрикивал он.

Джастин вспомнила, что ей уже не раз приходилось слышать, как дети обзывают mono malo и друг друга, и оборванных бродяг «англо», которые тут еще встречаются. Должно быть, какое-то новое ругательство.

У паперти местные электрики устанавливали зенитный прожектор, тянули кабель из церкви. Рядом сгрудились мужчины и подростки в бордовых капюшонах и сутанах Святого братства; во время дневного шествия они несли иконы и фигуры святых.

Джастин и Годой стояли недалеко от сейбы лицом к церкви. В воздухе пахло красным жасмином, духами и маслом для волос, но сильнее всего — тростниковым самогоном, который гуляки передавали друг другу в бутылочках из-под кока-колы.

Когда совсем стемнело, оркестр заиграл paso doble[2], а прожектор метнул в толпу ослепительный луч света. Люди, стоявшие впереди, начали пятиться, отворачиваться, заслонять руками глаза. Затем, скользнув по площади, луч стал подниматься, пока не превратился в белый огненный столб, уходящий прямо в небо. В толпе пронесся вздох ликования.

Но вот луч прожектора снова опустился на площадь, выхватывая из темноты десятки ошалелых лиц, ослепляя стариков, сидевших в плетеных креслах перед лавкой сирийца, и праздных гвардейцев, освещая афиши фильма «Желание смерти» у входа в кинотеатр. Толпа сопровождала это громкими возгласами и рукоплесканиями.

Наконец луч прожектора остановился на застекленном гробе из красного дерева, только что вынесенном на паперть четырьмя мужчинами в бордовых сутанах Братства. В гробу лежала фигура Христа — по этому случаю и состоялось в Пуэрто-Альварадо празднество.

На Христе был холщовый лоснящийся саван, украшенный потрепанным кружевом; его руки, сжимавшие лилию, покоились на груди. Голову охватывал терновый венец, а длинные волосы спутались и склеились от сочащейся крови. И волосы и кровь выглядели очень натурально, чему сестра Джастин, уже много раз видевшая эту фигуру, не переставала удивляться. Веки — тоже как настоящие; казалось, если их поднять, то увидишь темные мертвые глаза.

Когда луч света упал на тело Христа, наступила тишина, но лишь на мгновение. При виде убиенного спасителя толпа снова зашумела, голоса становились все громче, пока не заглушили погребальные звуки оркестра; послышались стоны и рыдания женщин, хриплое «Viva el Cristo!»[3], пьяные вопли правоверных.

Христос, лежавший в своем застекленном ящике, предстал взорам толпы точно таким, каким предстал бы человек, умерший сегодня в Текане от менингита, как умерла на рождество дочь надсмотрщика, или от ядовитого укуса скорпиона, или от бруцеллеза, или от полученной в порту ножевой раны. И люди — дети и родители безвременно умерших — возрадовались, исполненные веры в собственное воскресение и в воскресение детей своих, и встретили утешителя ликующими криками.

---

[1] Поганая обезьяна *(исп.)*.
[2] Пасодобль *(испанский танец)*.
[3] Да здравствует Христос! *(исп.)*.

Вокруг Джастин люди стояли на коленях. Какая-то женщина в нескольких шагах от нее, державшая в одной руке воздушный шар, а в другой — руку своей маленькой дочери, плакала об умерших,— возможно, просто из приличия или по привычке.

Джастин посмотрела на Годоя; выражение лица у него было терпеливо-отрешенное.

— Понимаете, здесь главное — свет. Как в кино.

Ей подумалось, что и она, пожалуй, высказалась бы примерно так же, хотя испытывала в данную минуту совсем иное чувство. Может быть, он это сказал только для нее, потому что ему стало стыдно за свою страну?

Через несколько минут прожектор выключили, гроб внесли в церковь и поставили в боковом алтаре. Здесь было его постоянное место, отсюда его выносили только во время шествий и на страстную неделю. У входа в церковь стояли и переговаривались между собой несколько человек, среди которых Джастин узнала отца Шляйхера, католического миссионера со Среднего Запада. Остальные духовные лица были теканцы, вернее, испанцы: настоятель собора и монсеньер из столицы, представитель архиепископа.

— Нам нужно пройти туда,— сказал отец Годой после того, как они сделали круг по площади.— Мне, во всяком случае.

Они поднялись на паперть, и пока Годой почтительно раскланивался со старшими духовными лицами, Джастин завязала беседу со Шляйхером и стоявшей рядом с ним молодой теканкой.

Отец Шляйхер был молод и, как говорили, причастен к политике. Сестра Джастин слышала также, что он неофициально приобрел через служащего Католического университета столицы редкое, еще колониальных времен издание «Дон Кихота» и, кроме того, скупал у рабочих плантаций найденные ими предметы доколумбовой материальной культуры. Ничего особенно незаконного в этом не было — всего лишь невинное хобби,— однако Джастин считала, что факты эти говорят не в пользу Шляйхера. Он вызывал у нее неприязнь; ей казалось, что с его круглого толстогубого лица никогда не сходит выражение самодовольства. Про себя она называла его ползучей тварью.

Они поговорили немного о политической жизни в Америке; Шляйхер познакомил Джастин со своей молодой спутницей, представив ее как специалиста по благоустройству городов. Когда с политикой было покончено, все обратили взгляды внутрь церкви в поисках новой темы. Внутри собралось много народа — люди плотным полукольцом стояли на коленях вокруг мертвого Cristo.

— Удивительная статуя,— сказала Джастин.— Правда, странно, что он выставлен на обозрение убитый?

— Когда я впервые ее увидел,— сказал Шляйхер,— она напомнила мне Че Гевару,— знаете, тот посмертный снимок. И до сих пор напоминает.

Теканская девушка слегка улыбнулась и кивнула.

— Интересно, из чего она сделана,— сказала Джастин.

Теканка засмеялась,— пожалуй, чуть-чуть веселее, чем следовало,— и обернулась к Шляйхеру.

— Типичный североамериканский вопрос: «Из чего она сделана?»

Засмеялся и Шляйхер, которому этот вопрос, должно быть, тоже показался типично североамериканским.

— Такая уж у меня привычка,— сказала сестра Джастин.— Помню, когда я увидела собор Парижской богоматери, мне захотелось узнать, сколько он весит. В наших краях все такие.

Девушка опять засмеялась, но уже сдержанно. Отец Шляйхер поспешил спросить, из каких она краев, но Джастин пропустила его вопрос мимо ушей. Она уже не раз на него отвечала.

— Вы учились в Штатах? — спросила Джастин у теканки.

— Да. Да, в Новом Орлеане. В университете Лойолы.

— Должно быть, увлекательное занятие — благоустройство городов,— сказала Джастин.

— Да,— осторожно отозвалась девушка.

Годой отделился от старых испанцев и поговорил немного с собеседниками Джастин. Потом он и Джастин откланялись и сошли с паперти. Наверное, отец Шляйхер спит со своей специалисткой по благоустройству. Она вздохнула, браня себя за мелкие мысли. В этот вечер она испытывала неприязнь ко всем, у кого есть какая-то цель, ко всем, кто не так одинок и не так выбит из колеи, как она.

Под деревьями их останавливали пьяные, одни просили подаяния, другие — благословения, избавляющего от кошмарных видений. Какой-то парень засвистел по-птичьи им вслед, женщина, стоявшая рядом, засмеялась.

Народ хлынул теперь за церковь, на освещенную территорию, где играла музыка; там открыли базар и аттракционы для детей. Гирлянды и фонарики с деревьев сорвали, центральная улица, уходящая к причалам компании, опустела.

— Проголодались? — спросил Годой.

Джастин совсем не хотелось есть, но она подумала, что он, должно быть, голоден, и согласно кивнула.

— Пусть мальчики повеселятся,— сказал священник.— А мы можем пойти к Чино, если желаете.

Ресторан Чино именовался «Гран мура де Чина» («Великая китайская стена»). В ресторане был маленький балкон с двумя столиками и видом на гавань.

Посетителей на нижнем этаже «Гран мура де Чина» не было; за одним из столиков жена и дочь Чино нанизывали на шнур шутихи. Джастин и Годой улыбнулись им, поднялись на балкон и сели. Годой закурил «Уинстон».

— Знаете, что сказал отец Шляйхер о статуе Христа? — спросила Джастин.— Сказал, что он похож на Че.

Годой посмотрел на нее спокойно, без улыбки.

— Отец Шляйхер так сказал? Он шутил?

— Не совсем. По-моему, он этим что-то доказывал.

— Иконография,— туманно выразился Годой, стряхивая с сигареты пепел и глядя поверх портовых огней на темное море.

Через минуту к столику подошла дочь Чино. Из-под передника девочки виднелось белое праздничное платье; она тоже ходила на площадь.

Годой заказал креветки с рисом; Джастин — бутылку пива.

— Вы, наверное, слышали о наших неприятностях,— сказала Джастин. Заметив на лице Годоя удивление, она решила, что он притворяется. Не может быть, чтобы он ничего не знал.— Будем закрываться и уезжать. Устала я спорить с орденом, да и пользы от нас тут никакой нет.

— Жаль, что вас не поддерживали. Конечно, вам трудно.

— Да, трудно неизвестно зачем ставить себя в дурацкое положение. Это мне урок на будущее.— Годой начал выводить ее из терпения.— Еще один полезный урок, черт побери.

— Должен вам сказать,— заметил священник, наблюдая за девочкой, принесшей еду и пиво,— что этим известием вы меня весьма огорчили.

— Да что вы? — раздраженно ответила Джастин.— Спасибо за сочувствие.

Какая подчеркнутая учтивость, подумала она.

— Прошу прощения,— сказал Годой.— Я еще не ел сегодня.

— Ешьте, пожалуйста.— Тщеславный фат, вот он кто. Боится и поэтому недолюбливает женщин. А то, что он с трудом понимает

простые английские выражения,— это вовсе не от плохого знания языка. Самое обычное кокетство.

— Знаете,— сказал Годой, пробуя креветку,— по-моему, вы потому так долго здесь оставались, что этого хотел я.

— Вы шутите?

— Нет. Таково мое подозрение.

— Если вы и хотели, то очень удачно это скрывали.

— Не только потому, что вы мне симпатичны,— продолжал священник.— И не потому, что вы идеал американского миссионера. По-моему, совсем не идеал.

Его прямота привела ее в изумление.

— Тогда почему же?

— Потому что я знаю ваш образ мыслей. Ваши взгляды. Знаю даже, какие книги вы у себя держите.

— Тогда и все остальные знают,— сказала Джастин, глядя, как аккуратно он кладет в рот креветки.— И меня, очевидно, ждут новые неприятности.

Он пожал плечами:

— Вы североамериканка, и это служит вам защитой. Да и архиепископ по-своему вас оберегает.

— А Кампос?

— Кампоса сейчас не бойтесь,— ответил Годой, не поднимая глаз от тарелки.

— И зачем я так старалась сохранить эту миссию? — сказала она.— Глупо.

Годой быстро взглянул на нее, глаза его потеплели.

— Не знаю, на что вы рассчитывали. Но я восхищаюсь вами. И сочувствую.

— Наивная я была, как всегда.

Он пристально посмотрел на нее.

— Вы никогда не были так наивны, как я, а ведь здесь моя родина. Вы считаете, что вас постигла неудача? Да, постигла. Но ни на что другое у нас нельзя рассчитывать. Эта страна — банкрот. Катастрофа истории.

— Вы говорите с такой безнадежностью,— сказала Джастин.

— С этого мы начинаем. Исходим из признания этого факта.

Кончив есть, священник отхлебнул глоток пива и снова закурил. Его бледные рябоватые щеки покрылись — по-видимому от пива — легким румянцем.

— Когда я учился в иезуитском колледже, я написал письмо, которым очень гордился. Письмо вашему президенту Эйзенхауэру.

— Боже правый! Доброму старому Айку?

— Да, самому Айку. И такое же письмо — лидеру нашей оппозиции Энрике Матосу, главе великой либеральной партии. В этом письме, омытом моими слезами, я писал им, что, если свободный мир хочет победить коммунизм, он должен следовать по пути Великого Искупителя, которого мы только что видели мертвым.

Годой раздавил сигарету в пепельнице и сунул в рот другую.

— Я писал Айку и Матосу,— я ведь был еще мальчишкой, понимаете? — что их лидерство должно быть духовным. Что они оставляют без внимания пороки нашей страны, а мы страдаем из-за правительства, богачей, неправильного отношения Северной Америки. В ту же неделю исчез мой отец. Вскоре он вернулся — живой. Он был иммигрант из Испании, работал в столице часовщиком. Большого вреда ему не причинили, но он сильно напугался и сказал мне, чтобы я впредь не писал писем. Вскоре из Вашингтона, из Белого дома, пришел ответ. Можете себе представить, какую панику это вызвало — мои родители, в общем, были люди довольно простодушные. А письмо вполне любезное. Благодарственное. Его подписал один из помощников. Типичное письмо.

— Стандартное,— поправила Джастин.

— Да, стандартное письмо.— Он закурил и выпустил вверх струю дыма.— При тогдашнем правительстве люди исчезали часто. Когда Матос, наша великая надежда, стал президентом, ничего не изменилось. И теперь — тоже. Когда Матос был президентом, у нас в столице был человек из вашей страны — глава вашей разведки в Текане и большой друг Матоса. В прошлом году его имя упоминалось в газетах в связи со скандалами в Вашингтоне. Теперь выясняется, что он многое знал о том, кто тогда исчезал и почему. Странно было читать о нем в газетах. Когда-то мы считали его туповатым, посредственным, почти симпатичным.

Джастин молчала.

— Я буду звать вас Джастин,— сказал Годой.

— Меня уже давно так зовут. Наверное, это и есть мое имя.

— Если вы сообщите своему начальству, что согласны уехать, как долго вы сможете не закрывать миссию?

— Здание миссии принадлежит не нам, а компании,— сказала Джастин,— поэтому долго нас терпеть не будут. Там у нас медикаменты и мебель. Через неделю мы все вывезем, и они сразу же это помещение займут.

Годой с досадой покачал головой:

— Плохо.

Не успела она выяснить, что он хотел этим сказать, как он спросил:

— Что вы собираетесь делать в Штатах?

— Не знаю. Во всяком случае, вернусь к мирской жизни. Поищу какую-нибудь работу.— Она в смущении провела рукой по волосам.— Мне страшно об этом думать.

— Я хочу, чтобы вы пока не закрывались. По крайней мере с месяц. Потяните как-нибудь. Скажите, что отец Эган очень болен и не может ехать.

— Отец Эган умрет, если останется здесь.

— Хорошо, Эгана отправьте. Но миссию не закрывайте, чего бы это ни стоило. Я помогу вам.

— Но зачем? — спросила она.

— У меня есть друзья, которые занимаются нелегальной работой. Они организуют в горах foco[1]. На какое-то время им понадобится помещение на побережье.

— Они будут сражаться?

— Не здесь. Но недалеко отсюда. Это давно назревало.— По лицу Годоя пробежала улыбка. — И вот настала пора.

— О боже! — У Джастин екнуло сердце.

— Так что вы нам нужны, если можете оказать нам помощь. Если хотите.

— Спасибо за то, что обратились ко мне. За то, что доверяете.

— Доверяю потому, что имею веские основания. А значит, и просить вас легко.

Годой смотрел на нее, и она понимала, что он старается уловить на ее лице тень сомнения.

— Нам потребуется не только помещение. Вы и сами будете нужны, если согласитесь помочь. Ну, а если не согласитесь... Что ж, я понимаю.

— Я согласна,— поспешила сказать Джастин.— Сделаю все, что смогу. И не только в миссии. Ничего другого я так не желаю.

— Я не хочу толкать вас на этот путь,— сказал Годой.— Вы сами должны принять решение.

— Семьи у меня нет,— улыбнулась Джастин.— В сущности, нет и дома. Я там, где я нужна людям. В этом отношении я везучая.

---

[1] Очаг *(исп.)*. Подразумевается «очаг революционной борьбы».

Она посмотрела ему в глаза, но не смогла ничего в них прочесть. Ей вдруг захотелось, чтобы он коснулся ее плеча, пожал руку, словом, хоть как-то дал понять, что отныне их связывает общее дело. Но он не пошевелился, и она — тоже.

— Предстоит вооруженная борьба, так что могут быть жертвы. Не буду вас обманывать.

— Я не отношусь к числу пацифистов,— сказала Джастин и тотчас поняла, насколько сухо и педантично это прозвучало. Как она выглядит в его глазах? Должно быть, он ценит ее, если обратился с такой просьбой, да еще прибавил, что она и сама будет нужна. Конечно, ценит, решила она.

Годой взглянул на часы и сказал:

— Пойдемте.

Она пошла рядом с ним к темной площади; из-за церкви доносились хриплые звуки музыки, усиленные динамиком, и шум толпы.

— Если вы останетесь,— сказал он,— может быть, нам удастся подвести вас под опеку церкви. Это было бы лучше.

— Как вам угодно.

— Сейчас не будем больше об этом. На неделе встретимся и продолжим разговор.

Джастин кивнула; ей снова стало одиноко и страшно.

Они вышли на площадь. Годой остановился и повернулся к Джастин.

— В нашей работе приходится немного меняться. Развиваясь, вы становитесь несколько другим человеком. Трудно жертвовать личным, но это к лучшему.

— Ясно.— Джастин отлично его поняла. К такому подходу она привыкла за годы взрослой жизни и другого не знала.

По другую сторону церкви за полуразрушенной стеной восемнадцатого века они обнаружили небольшую ярмарку. Между стеной и рекой расположились ярко раскрашенные передвижные аттракционы, доставленные из столицы: две карусели, небольшая «мертвая петля» с розово-лиловыми кабинами и горки, называемые «Carretera de Fortuna» [1]. С площади пришли со своими тележками два мороженщика; тут же стоял продавец воздушных шаров и человек с попугаем — предсказателем будущего, а азиат в кимоно демонстрировал группе подростков приемы каратэ. В киоске торговали содовой, пивом, темным и светлым ромом.

Встречные кланялись отцу Годою, их каменные индейские лица добрели, некоторые снимали перед ним свои соломенные шляпы.

— Когда-то ярмарка была большим событием,— сказал Годой.— Было много балаганов, фокусников. Теперь уже не то, потому что пришло кино.

— Она и теперь большое событие,— возразила Джастин.

Четверо подопечных Годоя стояли в очереди у большой карусели. Он подошел к ним, показал на часы. Мальчики замахали перед ним красными билетиками. Он пожал плечами и отвернулся. Джастин захотелось пива, но подойти к киоску, где стояли подвыпившие мужчины, она не решилась.

— Двоих не хватает,— объявил Годой.— Вот наказание.

— Ничего,— сказала Джастин.— Я подожду.

Годой отправился на поиски, а Джастин осталась около карусели. Рядом расположились мамаши; у одних дети катались, у других — стояли и смотрели.

Я кажусь ему дурочкой, со страхом подумала она. Он видит, какая я глупая.

Глядя на карусель, она погрузилась в размышления о своем внутреннем мире. Это мир глупый, но упорядоченный. Точно коридор в

---

[1] Дорога счастья *(исп.)*.

каком-нибудь солидном медицинском учреждении: на полу и стенах ни пятнышка, страдания и кровь — за белыми ширмами. Мир девственницы, частица гроба повапленного.

Мир сумрачный, великопостный, святые завернуты в саваны, храмы открыты и пусты. Очень далекий мир.

Это открытие испугало ее. Далекий мир. Далекий от чего? И страшный, как тюрьма. Как и все, что ее окружает...

Наконец, она оторвалась от своих мыслей и увидела Годоя. Позади него стояли двое старших мальчиков, которых он искал,— недовольные и, как ей показалось, слегка захмелевшие.

Музыка играла марш из старой оперетты; дети, радостные, счастливые, проносились мимо Годоя на крашеных деревянных лошадках — низкорослые, рахитичные, хилые, некоторые со следами чесотки, те самые шестьдесят пять процентов, что не умерли при рождении или в грудном возрасте,— а он смотрел на них. Даже отцы не смотрят так на своих детей, подумала Джастин. Его серые глаза тоже сияли, излучая столько любви, что Джастин бросило в дрожь.

В глазах этого священника было все то, чего она ждала от жизни: и чувство товарищества, и признание духовной близости. А дети кружились и кружились — дети campesinos, rojos, jíbaros, pobrecitos[1]. Она не могла отвести глаз от его лица.

В аэропорту Майами Холливеллу предстояло пересесть на другой самолет.

Аэропорт выглядел так, как ему и положено выглядеть в январе, в разгар туристского сезона. Картина отнюдь не унылая: шумные толпы туристов, abrazos[2], приветственные возгласы. Но под сводами, освещаемыми лампами дневного света, Холливелл почуял старое проклятие, увидел вокруг себя средоточие мира, которому до бога далеко, а до Майами — рукой подать.

Приметы этого проклятия он находил в мелких деталях: пурпурный мешочек для драгоценностей в заплеванной урне с окурками; кубинец, сверяющий стенные часы со своим «ролексом»; выражение страха в глазах элегантно одетой дамы из Южной Америки, ухватившейся за рукав своего упитанного отпрыска с «паркером» в кармане куртки.

На стене, за конторкой с надписью «Аэрочак», висела маска бога дождя майя с подклеенными к ней крыльями. За конторкой никого не было. Холливелл поставил чемодан на пол и повернулся к движущейся толпе.

Вместе с остальной публикой шли желтоглазые хиппи и нахального вида дельцы — охотники за легкой наживой. Рядом с баком для мусора валялось несколько кем-то брошенных обесцененных купюр. На грязных, выцветших красных и синих банкнотах красовались толстые морды властителей республики в треуголках и обшитых галунами мундирах. Ничтожные герои скверной истории, ожидающие прихода черного человека с метлой.

Наконец явился компостельский клерк и зарегистрировал его билет. Холливелл прошел в комнату для переодевания и сменил американскую одежду на легкий полосатый костюм и синюю рубашку с отложным воротничком. Потом он отправился в полутемный бар и заказал «Кровавую Мэри».

Холливелл не выходил из бара почти до самой посадки в самолет. От выпивки он почувствовал себя бодрее.

Во время досмотра на посту службы безопасности он вспомнил о Текане.

Усаживаясь в кресло потрепанного ДС-8 компании «Аэрочак», Холливелл порадовался, что скоро тронется в путь. В салоне пахло

[1] Крестьян, краснокожих, несчастных, бедных *(исп.)*.
[2] Объятия (*исп.*).

духами, которыми здесь торговали без пошлины, и аэрозолем от насекомых. Стюардессы подводили пальцами глаза и на прекрасном английском языке приветствовали пассажиров и объясняли правила полета. Среди пассажиров были компостельские дамы, летавшие в Майами за покупками, несколько молодых туристов и банкиров — в Компостелу всегда летало множество банкиров.

Над островами Флорида-Кис Холливелл выпил еще стакан «Кровавой Мэри» и задремал; где-то между Галфом и Белизом ему приснился сон.

Ему снилось, будто он на севере, в большом старом и нетопленом доме. Свет горит в одной-единственной комнате. Он стоит в темной прихожей, рядом с ним женщина-коллега, с которой у него когда-то был роман и которая лет пять назад покончила с собой. Они разговаривают шепотом; они боятся и чувствуют себя виноватыми, потому что и в самом деле виноваты.

В освещенной комнате есть камин, который не топится, а на каминной доске — металлический ящик, полный распечатанных конвертов и вынутых из них писем.

«Чего мы боимся?» — спрашивает Холливелл женщину.

«Ты не понимаешь»,— отвечает она.

Стоя в темной прихожей, они видят, как в освещенную комнату входит чернокожий мужчина средних лет в форме почтальона и начинает перебирать письма.

«По-моему, это моя почта»,— говорит Холливелл почтальону.

«А дом тоже ваш?» — спрашивает чернокожий.

Холливелл сердится, но он смущен. Он отрицает, что этот дом его, но не уверен, что прав.

«Поговорите вон с тем человеком»,— советует почтальон.

«Того человека» он не видит, но знает, о ком идет речь. Это корабельный кок, с которым Холливелл был знаком в Дананге; фартук и поварской колпак он помнит, а лицо — нет. Ему очень не хочется ни говорить с ним, ни даже встречаться. Он боится.

Где-то в доме слышится собачий лай.

«Они считают меня коммунистом»,— говорит он своей подруге.

«А как же иначе?» — отвечает подруга. При жизни она имела привычку нервно улыбаться, если кто-нибудь не понимал того, что ей самой казалось не требующим пояснений.

Собака продолжает лаять.

«Если будет обыск,— с тревогой говорит Холливелл,— ее пристрелят».

Тут он проснулся; самолет заходил на посадку в Белизе. Сверху город казался гораздо красивей, чем на самом деле. Рядом с ним простиралось яркое изумрудное море; вдоль берега сверкали под летним солнцем полукружья пляжей.

Холливелл хмуро созерцал это богатство тропических красок, вспоминая только что увиденный сон. Сон этот, с некоторыми вариациями, снился ему периодически уже на протяжении нескольких лет. И всегда оставлял одинаковый неприятный осадок.

Над зданием аэровокзала развевался британский флаг; возле оборудованных огневых позиций, прикрытых маскировочными сетками, околачивались голые по пояс артиллеристы с красными шеями.

Когда дверь самолета открыли, в салоне сразу сделалось душно и влажно; пальмы, орудия и выстроившиеся шеренгами грузовики напомнили Холливеллу о былом. Но сейчас перед ним лишь карикатурная тень того былого. Разве можно вообразить войну Робин Гуда с гватемальскими новобранцами из символической армии?

В Белизе вышли двое пассажиров, в руках у них были футляры со спиннингами. Самолет ДС-8 отправился дальше. Не прошло и часа, как в узкой долине — светлой и мерцающей — показался белый

город Компостела, раскинувшийся на двух холмах в окружении снежных хребтов и двух потухших вулканов.

Сойдя с самолета, Холливелл словно окунулся в июньский солнечный свет; воздух был прозрачен, как родниковая вода, высоко в небе синели горы. Стрелки часов показывали половину четвертого, термометр — семьдесят градусов по Фаренгейту.

Таможенный досмотр под наблюдением вооруженных солдат-индейцев в синей рабочей одежде был долгим и утомительным. В нем нашла отражение американская система подготовки инспекторов с поправкой на здешние представления о нравственности иностранцев. Один инспектор, старый маразматик, спрашивал всех подряд — банкиров, миссионеров, пожилых туристов,— есть ли у них марихуана. Другой, молодой идиот в очень толстых очках,— очевидно, чей-то родственник, взятый сюда, несмотря на непригодность для этой работы,— разговаривал сам с собой и во время досмотра откровенно смеялся над содержимым чемоданов прибывших пассажиров.

Компостела — страна необычная. Считается, что она проводит прогрессивную политику, и это беспокоит консерваторов в Соединенных Штатах. Когда же недовольные, введенные по наивности в заблуждение официальной риторикой, решают перейти к организованным действиям, полиция или таинственные, печально известные организации с названиями типа «Рыцари девы Марии» или «Братство Святого Духа» быстро, хотя иногда слишком уж доходчиво объясняют им, что лучше этого не делать.

Правительство Компостелы время от времени голосует в ООН против Соединенных Штатов и принимает болгарского вице-премьера. Восьмидесятилетнего национального поэта периодически посылают в Гавану за сигарами. Но компостельские дельцы — это бесцеремонные arrivistes[1], для которых главное — деньги, а остальное — дерьмо. В иностранных деловых кругах считают это правительство стабильным.

Основой международного престижа Компостелы была главным образом ее территориальная близость к Текану, где, даже по мнению самого деспотичного компостельского cacique[2], положение просто ужасно.

Носильщик, принесший из таможни чемодан, ждал, пока Холливелл обменяет валюту. Деньги в Компостеле были желтого и коричневого цвета и официально назывались гренадами, хотя в народе их называли песо и иногда морено. На бумажках достоинством в одну гренаду напечатан портрет врача-негра, который, как утверждают компостельцы, первым применил хинин для лечения малярии.

Одну такую бумажку, соответствующую сорока американским центам, Холливелл дал носильщику. Тот что-то недовольно пробурчал и ушел, так что дальше нести чемодан Холливеллу пришлось самому. Когда он вышел через стеклянные двери на улицу, ему предложили помощь мальчишки, но он отмахнулся.

Оскар Окампо ждал его на стоянке у своей маленькой «тойоты». Со времени их последней встречи он заметно растолстел. Холливелл поздоровался с ним, не переставая удивляться тому, как излишняя полнота может изменить внешность человека. Оскар стал гораздо больше похож на европейца; острая бородка придавала ему сходство с итальянским тенором в гриме Отелло.

Широко улыбаясь, Оскар взял чемодан. Погрузив багаж в машину, они обнялись.

— Рады, что снова здесь?

— Еще бы.— Вид вулкана и снежных вершин никогда не переставал поражать Холливелла. На них нельзя смотреть без улыбки.— Рад, как всегда.

---

[1] Нувориши *(исп.)*.

[2] Кацик — вождь в индейской деревне.

— La dulce cintura de América,— сказал Оскар. Так Рубен Дарио[1] назвал Центральную Америку. «Прелестная талия Америки». Это выражение было знакомо каждому школьнику, его употребляли все, причем нередко без тени иронии. У Оскара же оно всегда звучало слегка иронически и в то же время искренне.

— Вы не против, если мы будем говорить по-английски? — спросил Оскар.

— Нет, конечно,— ответил Холливелл, хотя предпочел бы попрактиковаться в испанском языке, на котором был написан и текст его выступления в университете.

— Как жизнь?

— Да вроде без перемен,— ответил Холливелл.— Все, слава богу, здоровы.

— Это хорошо. Вас взяли в штат?

Холливелл засмеялся, хотя вопрос был ему неприятен.

— Да. И в жизни тоже. Только не уверен, что на подходящую должность.

— Не прибедняйтесь.— Оскар повернул ключ зажигания.— Вам-то в жизни очень повезло.

— Ну, а вы как?

Отъехав от аэропорта, они свернули на Панамериканскую автостраду, ведущую в столицу. Оскар усмехнулся:

— Долго рассказывать. А в двух словах — за все приходится платить.

Холливелл хотел было спросить его о Марти Нолане, но удержался.

— С Лорой мы разошлись,— сообщил Оскар.

— Печальная новость,— сказал Холливелл.— Верно?

— Да я и сам не знаю.

Вдоль Панамериканской автострады тянулись загоны для скота и неогороженные луга, где паслись тощие коровы. Через несколько миль они миновали сталепрокатный завод — флагман компостельской индустрии; по соседству с ним расположилось аккуратное, опрятное здание государственной клиники, а за ним — поселок из квадратных бетонных домиков и дощатых хижин.

У въезда в город красовались цветочные часы, увенчанные статуей индейского вождя, который оказал сопротивление испанским завоевателям. Отсюда начиналась Авенида Морасон — попытка Компостелы заглянуть в собственное светлое будущее. С одной ее стороны раскинулся центральный парк с тысячью эвкалиптов, а с другой вытянулся ряд общественных зданий с пандусами и зеркальными бассейнами, в которых плавали корки папайи и личинки москитов.

За парком расположились Национальный университет, где служил Оскар, и Музей антропологии. Здесь, на левой стороне Авениды, выстроились огороженные невысокими бетонными стенами особняки с небольшими лужайками; дальше виднелись раскинувшиеся на склонах обоих холмов кварталы городской бедноты.

Приблизительно на расстоянии мили от центральной площади стоял окруженный парком с лужайками, сейбами и ручными попугаями отель «Панамерика-пласа» — пятнадцать этажей стали и подцвеченного стекла, вызов компостельским землетрясениям.

Оскар выехал на дорогу, ведущую к отелю.

— Номер для вас я заказал здесь,— объявил он.— Своего дома у меня уже нет.

— Вот те на,— вздохнул Холливелл. «Панамерика-пласа» ему не нравилась. Здесь останавливались любители роскоши, нажившиеся за счет этой страны. Заметив в конце обсаженной пальмами подъездной аллеи чистильщиков обуви и каких-то странных типов, он недоволь-

---

[1] Рубен Дарио (1867—1916) — никарагуанский поэт.

но поморщился.— Вот те на,— повторил он.— В этом отеле я еще ни разу не останавливался.

Оскар поставил машину на стоянку, взял чемодан Холливелла и, отказавшись от услуг швейцара, по-хозяйски вошел в вестибюль. Когда Холливелл подоспел к стойке портье, Оскар спрашивал начальственным тоном, готов ли заказанный им номер. С номером все оказалось в порядке.

— Устраивайтесь,— сказал Оскар,— а потом поедем ко мне, выпьем. Согласны?

— Конечно. С удовольствием.

— Хорошо. Тогда я вас подожду.

В ожидании ключа Холливелл следил глазами за Оскаром, неторопливо шагавшим по вестибюлю. У подножия лестницы, ведущей в бельэтаж, стояло стройное банановое дерево, а неподалеку низвергался прелестный искусственный водопад. Во всем остальном вестибюль был как бы продолжением аэропорта Майами.

Оскар подошел к стойке туристского агентства рядом с киоском сувениров и заговорил со служащим — высоким, похожим на европейца человеком в легком итальянском костюме. Они быстро осмотрелись по сторонам, и Оскар сунул через стойку сверток. Высокий проверил под стойкой его содержимое, а Оскар закурил и побрел к двери.

Когда Холливелл и сопровождавший его посыльный поднимались на шестой этаж, в лифте зазвучала мелодия из «Крестного отца». Посыльный расплылся в улыбке.

Номер Холливелла представлял собой уютную комнату с балконом, выходящим на плавательный бассейн. Посы́льный поставил чемодан и включил кондиционер; Холливелл дал ему две гренады. Двух уже оказалось достаточно.

Окампо ждал у лифта. Когда они шли к машине, он сказал:

— Не нравится мне здесь. Совсем не нравится.

— А мне, думаете, нравится? Но ничего страшного. Номер удобный, да и разнообразие не помешает.

Оскар сел за руль. Слуге, открывшему дверцу машины, Холливелл дал одну гренаду.

— Мне ужасно неловко,— продолжал Оскар,— но квартирка у меня крошечная, к тому же я там не один.

— Перестаньте, Оскар. Все в порядке. А у вас и без того забот хватает.

Странно, думал он. Столько лет Лора Окампо терпела и вдруг... Неужто даже в Компостеле у женщин пробуждается чувство собственного достоинства? Или она другого нашла? Не очень похоже на Компостелу.

Они проехали соборную площадь. Машину обступили нищие и продавцы лотерейных билетов. Холливелл потрогал карман, проверяя, цел ли бумажник.

— А как дети?

— Дети у Лоры. Мне не разрешают видеться с ними.

— Кто не разрешает?

— Ее родные. Шурин грозился пристрелить меня.

— Видимо, тяжело они это переживают.

— Claro,— согласился Оскар.— Очень тяжело.

Оскар жил на приозерной стороне холма Кулуку в старинной, респектабельной части города — районе булыжных мостовых и домов в колониальном стиле с дверями из красного дерева и зарешеченными окнами. Но были здесь и новые многоквартирные дома, в одном из которых обосновался Оскар. Красивый трехэтажный дом, облицованный темным деревом, удачно вписался в старинный ансамбль. Оскар поставил свою «тойоту» в гараж, и они поднялись по задней лестнице наверх. За домом раскинулся сад с фиговыми

деревьями, но стена, которой он был обнесен, напоминала тюремную.

В квартире Оскара звучала музыка Перселла; воздух пропах виски. Все было завалено книгами, частью еще в коробках. Немало было и предметов искусства доколумбовых времен — столько Холливеллу еще не приходилось видеть у Оскара.

В прошлом, насколько Холливелл мог судить, Окампо всегда бывал щепетилен, когда дело касалось древностей, попадавших к нему в руки. Он никогда не присваивал их; жадеитовая статуэтка, ожерелье для жены или для какой-нибудь заграничной подружки — вот и все, что можно было увидеть у него в доме.

Холливелл вежливо рассматривал коллекцию, а Оскар ходил по квартире, явно кого-то разыскивая.

— Фрэнк,— вдруг сказал он.— Давайте выпьем.

— Спасибо.

Входя в кухню, Оскар остановился в дверях и позвал:

— Патрик?

Сначала Холливелл не понял, к кому он обращается.

Оскар вернулся; в руках у него были два стакана со льдом и бутылка шотландского виски. Сделав небольшой крюк по комнате, он постучал донышком бутылки в дверь спальни.

Когда Холливелл брал у него стакан, из спальни вышел высокий худой юноша; длинная прядь светлых волос упала ему на лицо, и он смахнул ее.

— Это мой друг Фрэнк Холливелл,— сказал ему Оскар.— А это — Патрик Вентура.

Холливелл протянул юноше руку. Тот легко, по-европейски, пожал ее. Двадцать лет, не больше, подумал Холливелл, и такой развинченный, наверное, пьян или наглотался таблеток.

— А мой стакан где? — спросил юноша и обвел их обоих меланхоличным, томным взглядом. Оскар отдал ему бутылку, и он скрылся в кухне.

На стене напротив Холливелла висела фотография Оскара с сыновьями; мальчики сидели верхом на пони. Оскар стоял между ними и держал лошадок под уздцы.

Патрик вернулся с большим стаканом виски.

— Вы из Штатов? — спросил Холливелл.

— Я долго жил в Гастингсе-на-Гудзоне,— ответил Патрик, глядя на Холливелла все с тем же устало-нежным выражением лица.

Ну и типчик, подумал Холливелл и перевел взгляд на Оскара. Тот нервничал и был чем-то недоволен.

— Там живут родные моей матери. Но сам я родом из Чили.

— А-а, Чили,— сказал Холливелл.

— Чили-наперчили,— сказал Патрик Вентура.— Так говорят в Гастингсе-на-Гудзоне. Слыхал это выражение, Оскар? Чили-наперчили?

Оскар отрицательно покачал головой.

— Не понимаю. Тебя так дразнили?

— Именно. Постоянно.

— Странно, что мы с тобой до сих пор не говорили по-английски,— усмехнулся Оскар.

— Сантьяго неплохой был город,— заметил Холливелл.

— Он и сейчас неплохой,— возразил Патрик Вентура.

— Многие оттуда уехали. Или были арестованы.

— Патрик не занимается политикой,— сказал Оскар.

— Оскар когда-то был марксистом-ленинцем,— объявил Патрик Вентура,— а теперь он хиппи.

Холливелл быстро отвернулся, чтобы не смотреть на Оскара, и отошел со стаканом в руке к широкому, во всю стену балконному окну.

— Это же твои слова, Оскар,— капризно настаивал Вентура.

Они ушли на кухню и заговорили по-испански. Оскар стал отнимать у Патрика бутылку. Холливелл молил бога, чтобы обошлось без скандала. Если не обойдется, решил он, если этот парень выкинет какой-нибудь номер, то он сейчас же уедет. Он сделал большой глоток виски.

Оскар вернулся с бутылкой.

— Нам она нужнее, чем ему,— сказал он.— Выйдем на воздух, посидим.

Патрик стоял в гостиной, опершись на спинку дивана, его веки дрожали. Холливелл со страхом подумал, что он сейчас рухнет на пол. Оскар выключил магнитофон и, взяв с собой виски, первым вышел на балкон.

Когда они уже сидели в шезлонгах, в квартире раздался звон разбитого стекла. Оскар не повернул головы. Солнце скрылось за вершинами гор. По улице, похожей на картинку из детской книжки, поползли мягкие тени. Холливелл застегнул пиджак. С далекой Авенида Сентраль доносился приглушенный шум уличного движения.

Холливелл достал из кармана сигарету.

— Оскар, незадолго до моего отъезда мне позвонил Марти Нолан. Он о вас упоминал. Сказал, что вы с ним связаны.

— Я знаю, кто он. Но лично не знаком,— ответил Оскар, глядя куда-то в сторону.

— Вряд ли это имеет значение, Оскар.

— Прислушался я к голосу совести,— признался Окампо.— Не по душе они мне, вы знаете, что не по душе. Но какой у меня выбор?

— Какой выбор? — переспросил Холливелл.— Я не знаю.

— Они обещают мне помощь, Фрэнк. Мне ведь в Штатах работа будет нужна. А ее нынче вряд ли найдешь, вы и сами знаете. Придется же нам когда-то отсюда убираться.

— Не так уж много они могут для вас сделать. Хотя и говорят, что могут.

— Не будьте так наивны, Фрэнк. Вы не знаете, как действует ваше правительство. Они все могут.

— Даже если они и предложат вам место, вы не сможете сюда вернуться. Никогда больше не увидите своих детей. Вас ославят на всю Америку. На этих типов нельзя положиться.

— Слушайте, Фрэнк...— Оскар теребил пальцами одной руки кисть другой, словно комкал бумажку.— Я их человек.

— Они вам платят?

— Да. Негласно.

Холливелл закурил и покачал головой.

— Естественно было бы спросить, что вы для них делаете, но меня это не слишком интересует.

— Вы же работали на них,— вдруг сказал Оскар.— Во Вьетнаме.

— Вы знаете, что я работал на них во Вьетнаме. А я знаю, что вы работаете на них здесь. Вот чего стоит их негласность.— Он потушил сигарету и взял бутылку. — С Марти Ноланом мы вместе учились. А Вьетнам — это уже далекое прошлое.

— Я умею работать, никого не компрометируя. Умею извлечь для себя пользу и при этом никому не навредить.

— Позволю себе заметить,— сказал Холливелл,— что это — логика отчаяния.

— Да, я отчаявшийся человек,— согласился Оскар. — Но могу быть и... хитрым. — Он произнес это слово так, будто сделал какое-то открытие. — Хитрее, чем вы думаете. — И беспомощно, грустно улыбнулся.

— Уж лучше бы продавали туристам всякие древности.

— А я это и делаю,— сказал Оскар.— Скупаю у huaqueros[1] и перепродаю. Лишний доллар. Подрабатываю также и гидом при вашем отеле. — Он встал, облокотился на перила балкона и, глядя на тихую улицу, продолжал: — Каждый уик-энд вожу ваших соотечественников на развалины Акспана и показываю им индейцев майя. У индейцев майя замечательное свойство — они могут быть чем угодно для кого угодно. Я всегда подбираю для своих гринго таких собеседников-индейцев, каких они, на мой взгляд, заслуживают.

— Такие игры, Оскар, могут вам самому навредить.

Оскар резко мотнул головой и взял бутылку.

— Это всего лишь диалог. Обмен мнениями. Болтовня. Я всегда могу повернуть разговор в нужную сторону.

Холливелл протянул свой стакан, и Оскар налил ему виски.

— Я вас не порицаю,— сказал Холливелл. — Просто боюсь за вас. Вы же знаете, что эти люди здесь воюют.

— Дай бог, чтобы утихомирились поскорее.

— Аминь.

— Вы думаете, я всего-навсего платный осведомитель. Но ведь даже на войне, по-моему, остается возможность для диалога. Я знаю свою несчастную страну. Знаю и вашу страну. И если я способствую их контакту, что в этом плохого?

Холливелл улыбнулся.

— Я вас не убедил?

— Меня-то убедить нетрудно.

— Война нам необходима,— сказал Оскар. — Развитие общества требует. Искусство требует.

— Поеду-ка я в отель,— сказал Холливелл. — Не мое это дело.

— Они хотят, чтобы я поехал в Текан.

Холливелл молчал.

— Мне давно туда хотелось — сфотографировать стелы, они очень напоминают стелы майя, но они не майя. А чьи — мы не знаем. Может, эти люди и говорили на языке майя, но принадлежали к другой этнической группе.

— Не за этим же вас хотят туда послать.

Оскар пожал плечами.

— Там есть одна миссия. Им нужно заключение. Второе заключение. Видите, не так уж они глупы. Осторожничают.

— И вы поедете?

— До сих пор мне не давали визу. Теканской полиции прекрасно известны мои политические взгляды. Теперь друзья Нолана говорят, что визу они мне устроят. — Он поставил стакан и взялся обеими руками за перила балкона. — Но это будет шито белыми нитками, я им так и сказал. К тому же я не выношу священников и монашек. Еще со школьных лет.

Холливелл встал и потер лицо.

— Вы придете на лекцию?

— Не могу, Фрэнк. Не могу показаться им на глаза. Да и вам это пользы не принесет.

— Вы же с ними договаривались о моем приезде.

— Об этом они наверняка уже забыли,— сказал Оскар.

— Тогда приезжайте ко мне потом прямо в отель.

— Постараюсь.

Оскар из вежливости выразил готовность отвезти гостя на своей машине, но Холливелл попросил вызвать такси. Пока Оскар звонил по телефону, он ходил взад и вперед мимо спящего Патрика Вентуры. Ждать пришлось довольно долго.

---

[1] Искатели сокровищ; люди, занимающиеся ограблением древних индейских храмов *(исп.)*.

Оскар проводил Холливелла вниз. Вечером дом был похож на крепость. Вдоль дорожек горели цветные лампочки в защитных проволочных сетках; с высокой задней стены ярко светили прожекторы.

Они прошли по сухой траве к задней стене. Оскар отпер калитку, и они вышли в кромешную темень улицы.

— Вот вы меня осуждаете,— сказал Оскар,— а я мог бы вам такого порассказать... Вы не знаете, как это здесь делается.

— По-моему, делается это везде одинаково,— возразил Холливелл.— И знаю я об этом, может быть, побольше вашего.

— Ах, да,— сказал Оскар.— Вьетнам.

Из-за угла вывернулся автомобиль и медленно покатил вдоль стены. Холливелл окликнул шофера, а Оскар отступил назад, очевидно желая скрыться в темноте. Но стена, к которой он прислонился, была хорошо освещена.

— Мистер Холавал? — спросил шофер.

— Вьетнам, да? — тихо повторил Оскар.— Вьетнам.

Машина тронулась с места, и Холливелл не без смущения назвал свой отель.

Шофер уважительно повторил название.

Когда такси стало набирать скорость, Холливелл оглянулся. Оскар уже исчез из виду. Освещенная стена тянулась под углом вдоль улицы и потом терялась во мраке. Осколки стекла, рассыпанные по ее верху, сверкали, отражая свет прожекторов.

Из окна своего номера Холливелл заметил юную француженку и ее мать; красивые, стройные, они купались в бассейне, их загорелые тела, освещенные неярким предвечерним солнцем, влекли к себе чувственной красотой. Дочь плавала как заправская спортсменка, а мать наблюдала, опершись бронзовым локтем на кафельный борт и затенив ладонью глаза от солнца. В другой руке у нее был высокий запотевший стакан, из которого она потягивала лимонад. В ветвях тропических растений перед окнами нижнего этажа порхали ручные попугаи. У стены, отделявшей бассейн от улицы, двое индейцев в обшитых галунами пиджаках поливали из шлангов цветы, не обращая внимания ни на этих женщин, ни друг на друга. Холливеллу вдруг подумалось, что надо все же поехать в Текан, хоть это и противно инстинкту самосохранения и здравому смыслу. Недалеко от берегов Текана, омываемых Карибским морем, расположены острова Корасон, где нет зимы и нет пустоты, которые ожидают его дома. Текан есть Текан, но он тоже, как и Компостела, прелестная талия Америки.

Но это был не просто минутный порыв. Холливелла все больше интриговали тамошние католики. Удивительные католики. Люди, которые во что-то верят и действуют сообразно своим убеждениям. Как в прежние времена. Он никому ничего не должен; захочет — поедет, не захочет — нет. Что бы он там ни делал, что бы ни видел — никого это не касается.

Он отогнал от себя эти мысли и выпил еще виски, а бассейн между тем начал погружаться в сумерки.

Он не уходил из номера, ожидая, что кто-нибудь из университетских коллег пригласит его к себе или просто поболтает с ним по телефону. Однако никто не позвонил. Холливелл подозревал, что это из-за Оскара.

Ну и черт с ними, выругался он про себя, шагая взад и вперед по кафельному полу со стаканом в руке. Он закатит им такую речь, что они не обрадуются.

Поставив стакан рядом с собой, он взял испано-английский словарь и стал править текст.

Через час телефон зазвонил, но это была все та же игра в прятки. Советник по культуре американского посольства Ванденберг вы-

разил сожаление, что не имел возможности участвовать в организации выступления Холливелла. Сам он не сможет присутствовать, о чем также весьма сожалеет, однако, насколько ему известно, кое-кто из американской колонии намерен прийти.

Холливелл объяснил, что все делалось в спешном порядке через друзей, поэтому, естественно, посольство не смогло ничего предпринять по своей линии.

Ванденберг сказал, что посольство все равно радо.

— Не забывайте про нас.

Холливелл заверил, что не забудет.

До шести вечера больше никто не звонил. Чтобы протрезветь, Холливелл принял душ, а потом, как бы для верности, выпил еще. Идя по коридору к лифту, он заметил, что походка у него нетвердая. В вестибюле он задержался у бара и разложил текст речи на полированной стойке красного дерева. Выпил два escosses [1], прислушался к голосам за ближайшим столом; четверо мужчин говорили по-английски, но с акцентом. Повернувшись как бы случайно в их сторону, он увидел, что двое из них — компостельцы. Остальные двое, судя по интонации и одежде — они были в накрахмаленных белых рубашках без воротничков,— израильтяне. Но они сидели слишком далеко и говорили слишком тихо, так что слов разобрать он не мог.

Холливелл сложил свои листки и, выйдя в сгущающиеся сумерки, прошел по тротуару к воротам, где стоял полицейский, отгонявший нищих и чистильщиков обуви. На углу появилось такси; Холливелл остановил его, сел на изодранное сиденье и поехал в Автономный университет.

Машина мчалась по Авенида Сентраль; мелькали обсаженные пальмами безлюдные кварталы. У одного из перекрестков шофер притормозил, уступая дорогу колонне молодежи. Холливелл сперва принял это шествие за демонстрацию. Но когда колонна вышла из темноты зеленого сквера на дорогу, он увидел по обеим сторонам полицейских с карабинами. Молодые люди, среди которых было несколько девушек, шли по десять в ряд, они маршировали, как солдаты, молчаливые и апатичные. Парни большей частью длинноволосые, девушки — в джинсах. Некоторые шли парами и держались за руки.

Когда колонна пересекла дорогу, полицейские повели ее на темную боковую улицу.

Холливелл спросил у таксиста, что это за люди.

— Хиппи. Безнравственная молодежь. — Таксист, пожилой испанец в очках со стальной оправой, какие носят священники, был, видимо, любитель поговорить.

— Что им теперь будет?

Шофер пожал плечами.

— Вреда им не причинят. — И с улыбкой добавил: — Может, остригут их a la policía. На полицейский манер.

У цветочных часов таксист, недовольно бурча, выехал в водоворот кольцевой транспортной развязки. Холливелл затаил дыхание.

— И все же,— сказал он, когда они выбрались на прямую дорогу,— у вас — свободная страна.

— Claro,— согласился шофер. — Со времени Реформы.

При въезде в университетский городок стоял памятник Реформе благодаря которой Компостела превратилась в свободную страну. Миновав его, они проехали мимо подсвеченных прожекторами фонтанов и бетонированных площадок и скоро очутились у ворот Колледжа по изучению человечества.

— Да,— Холливелл расплатился и дал таксисту щедрые чаевые.— здесь не то, что в Текане.

---

[1] Шотландское виски *(исп.)*.

— Что вы, что вы! — возмутился таксист. — Там нет свободы. И там очень плохо бедным.

Холл Колледжа по изучению человечества был украшен фресками знаменитого компостельского художника, подражателя Ороско и завсегдатая пивной Липпа, нелепо контрастировавшими с неофлорентийской архитектурой здания. В холле было полным-полно студентов; они о чем-то заговорщицки беседовали и провожали Холливелла взглядами. Тут и там слышался смех, но он резал ухо и отдавался высоко над головой.

Предъявив университетскому сторожу пригласительное письмо, Холливелл вышел в патио с местными растениями и испанским фонтаном. Это был уютный уголок, и Холливелл с удовольствием присел у края фонтана, прислушиваясь к нестройному шуму воды и отдаленных голосов студентов. Не прошло и минуты, как сверху по каменной лестнице спустился седовласый человек, похожий на фельдмаршала фон Паулюса, но очень смуглый. Он протянул Холливеллу руку, но во взгляде его сквозило неодобрение. Не для того созданы фонтаны, понял Холливелл, чтобы около них садились люди.

— Профессор Холливелл?

Холливелл встал. Его слегка пошатывало.

— Клаудио Николаи,— представился седовласый и, пожимая Холливеллу руку, продолжал: — Адъюнкт-ректор социологии. Добро пожаловать снова в Компостелу.

— Очень рад, что приехал,— сказал Холливелл. — Спасибо за приглашение.

— А, да,— как-то неопределенно сказал Николаи. — Ну что ж, пойдемте?

Они поднялись по той же каменной лестнице в бельэтаж и пошли вдоль ряда аудиторий с распахнутыми дверями. Оттуда пахло старым деревом и средством против плесени. Но зал, в который привел его Николаи, был отделан яркими синтетическими материалами и освещен лампами дневного света.

В глубине зала стояла кафедра; перед ней на деревянных стульях с прямыми спинками сидело человек тридцать. При появлении Холливелла публика оживилась. Доведя Холливелла до середины бокового прохода, Николаи остановился и сказал:

— Мы полагаем, что вы будете говорить по-английски. Публика сегодня в основном англоговорящая.

— У меня приготовлен испанский текст,— сказал Холливелл. — Я думал...

Николаи прервал его:

— Дело ваше. По-моему, английский предпочтительней.

Что за хамство, подумал Холливелл. Наверное, Николаи возмущен тем, что его гость явился на лекцию под градусом, а может быть, просто старается держаться с американской непринужденностью, но все равно он ведет себя непозволительно грубо. Что-то за этим кроется — в Компостеле зря не грубят.

Холливелл пожал плечами.

— Как вам угодно, доктор.

— Так что вы выступите, а потом, вероятно, будут вопросы. О'кей?

— О'кей.

— А после лекции мы устроим коктейль на террасе. Надеюсь, вы останетесь.

— Благодарю еще раз.

— Что касается оплаты, то все оговорено.

— Прекрасно,— сказал Холливелл, решив не поддаваться.

— Я представлю вас, когда вы будете готовы.

— Давайте.— сказал Холливелл.

Профессор повел его к кафедре. Он оглядел аудиторию. Боль-

шинство собравшихся были женщины. По крайней мере треть составляли североамериканцы. Их лица, освещенные неоновыми лампами, расплывались. Обычно Холливелл держал при себе очки для чтения, ими он пользовался, когда из-за непривычного освещения или чрезмерных возлияний притуплялось зрение; на этот раз он оставил их в номере рядом с бутылкой виски.

Николаи представил Холливелла, как обычно представляют лекторов, и публика приветствовала его вежливыми аплодисментами.

— Леди и джентльмены! — начал он. — Уважаемые коллеги! — Интересно, что это за люди, мелькнуло у него в голове. Он растерянно посмотрел на свой вымученный испанский текст и умолк.— Я вижу перед собой,— продолжал он, когда минутное замешательство прошло,— вижу не совсем отчетливо заметки, которые я собирался прочесть на языке вашей страны. Мысль об обратном переводе их на английский вызывает у меня ужас. По-моему, это дело безнадежное.

Он взглянул на Николаи, который сидел в последнем ряду и которого он узнал только по смуглой коже и серым, со стальным отливом волосам. Ему показалось, что его компостельский коллега находится в процессе партеногенеза: на Холливелла глядели два доктора Николаи, и выражение их лиц, надо полагать, было серьезное. Остальные лица терялись в тумане, но он надеялся, что на них написаны благожелательность и терпение.

— Позвольте мне поделиться опытом, как говорят в моей стране. Это будет акт межамериканский, межкультурный. Совершая совместный межкультурный акт, мы сможем, леди и джентльмены и уважаемые коллеги, наблюдать действие культуры in vivo. Живьем.

В публике раздались неуверенные смешки.

— Обратный перевод этого текста на английский,— продолжал Холливелл,— не обещает ничего хорошего. Как известно, важной составной частью культуры является язык; язык же, которым написана моя речь, представляется мне искусственным, псевдоцицероновским и нелепым. Я с негодованием думаю о том, что речь эту мне предстоит произнести. Разумеется, я вовсе не считаю сам испанский язык псевдоцицероновским и нелепым,— поспешил он уточнить. — Языком Сервантеса, Лорки и бессмертного Дарио я восхищаюсь не меньше других. Я имею в виду лишь то, как выглядят на этом языке мои мысли, мое многословие и моя высокопарность.

Кто-то шлепнул ладонью по кожаному подлокотнику стула. Послышались неясные вздохи.

— А еще меня огорчает, друзья, еще меня огорчает, что темой моей лекции должна быть «культура и семья», или «семья и культура», или «семья как часть культуры», или что-то в этом же роде. Откровенно признаюсь: не мне рассуждать о таких вещах. В семейном вопросе я ничего не смыслю — во всяком случае, не больше, чем любой из здесь сидящих. Значительную часть своей жизни я провел без семьи. Слово «отец», к примеру, для меня было отвлеченным понятием. Я отождествлял его только с богом.

Кто-то выкрикнул испанское слово — Холливелл не разобрал какое; отраженное гладкими стенами, оно отдалось громким эхом. Все захохотали. Холливелл не поднял головы. Ему стало грустно.

— А когда я узнал, что такое Семья, La Familia, то обнаружил, что она-то и несет с собой горе. Вот и все, что я могу сообщить вам о Семье, но столько-то, я полагаю, вы и без меня знаете. Более того, поскольку в моей стране с горем покончено, будущее семьи у нас покрыто мраком неизвестности. Отсюда следует, что данная тема лишена актуальности, между тем актуальность есть именно то, что нам сегодня требуется. На этом нашем межкультурном мероприятии. Но если серьезно... если серьезно, друзья... — Он остановился, поняв, что несет вздор. — О культуре я как раз могу говорить. Тем

и кормлюсь. Особенно меня занимает массовая культура. Есть у нас в стране пословица: «Микки Маус еще тебя переживет».

Молчание.

— Сказать по правде, такой пословицы нет,— признался Холливелл,— мои соотечественники, сидящие здесь, вам это подтвердят. Я нарочно ее придумал, чтобы показать, насколько серьезно мы должны отнестись к массовой культуре. Сейчас заграничные снобы посмеиваются над американской поп-культурой. Но мы таки забили ее им в глотку, так что пусть лучше смеются над чем-нибудь другим, а то недолго и подавиться. Эта культура у них в горле, в воздухе, которым они дышат, и в жирной заграничной пище, которую они едят. Вот почему будет лучше, если они ее полюбят.

Кто-то окликнул Холливелла по имени, но он сделал вид, что не слышит. Несколько американцев в одном из первых рядов встали и направились к выходу.

— Наша массовая культура изготовляется машиной и продается всем желающим — были бы наличные и достаточное количество полуграмотных потребителей. Компостела относится к числу передовых стран, добившихся в этом отношении успеха.

В задних рядах зашикали.

— Прошу немного терпения,— сказал Холливелл.— В мои намерения не входит расхваливать различные массовые культуры, вытесненные нашей массовой культурой. Уверяю вас, что они такие же скверные, вульгарные и низкопробные, как и наша.

Он опять умолк — в горле у него пересохло — и стал смотреть, как люди движутся к выходу.

— Мне все же хотелось бы, леди и джентльмены и уважаемые коллеги, доверить вам один секрет. В первую очередь я обращаюсь к тем, кто не принадлежит к числу североамериканцев. У нас есть культура совсем иного рода, она скрыта за внешней оболочкой и за мишурой, которой мы торгуем. Эта культура — тайная. Если вы думаете, что моя страна не имеет тайн, то ошибаетесь. Наша тайная культура — это и есть та, которой мы живем. Та, которую мы вдалбливаем в головы все прибывающих и прибывающих иммигрантов, а они потом вдалбливают ее в головы своих детей. Эта культура не идет на продажу, и вам до нее, в сущности, нет никакого дела. Но поскольку мы вместе участвуем в этом межамериканском межкультурном мероприятии, то я вам сейчас о ней немного расскажу.

Публика зашевелилась, атмосфера в зале становилась все более враждебной.

— Позвольте мне прочесть вам первое стихотворение, напечатанное в стране, получившей впоследствии название Соединенные Штаты Америки:

Я на кладбище гробики вижу
Гораздо меньше меня длиной.
Все возрасты смерти подвержены —
Даже младенцы в мир уходят иной.

Друзья! Дети, умиравшие в североамериканских англоязычных колониях, не возносились на небо и не становились angelitos[1]. Страшно подумать, что с ними стало. Размышления о том, что с ними стало, суть часть нашей тайной культуры. Наша тайная культура легкомысленна, как ива, выросшая на надгробной плите. Прекрасная культура — или была когда-то такой. Она была сильной и страшной, величавой и жестокой. Она не ведала жалости. И она не идет на продажу, леди и джентльмены. Я скажу вам, во что мы, в частности, верили: мы верили, что знаем об огромных необитаемых землях больше, чем любая европейская нация. Земли, не занятые нами, мы считали необитаемыми. Мы верили также, что нас некому учить нравственности. Что никто не может сравниться с нами в стремле-

[1] Ангелочками *(исп.)*.

нии к поставленной цели и в способности достичь ее. Мы верили в свое величие. Величие было нашим тайным девизом.

Из всего этого, несмотря на это, благодаря этому мы создали знаменитого мошенника Дядю Сэма. А Дядя Сэм в свою очередь впервые породил, к ужасу цивилизованного человечества, массы досужих грамотных людей. И все цивилизованное человечество отшатывалось и продолжает отшатываться от этого странного создания Дяди Сэма — масс, у которых есть деньги и время для того, чтобы овладеть всеми богатствами человеческой культуры, но которые не желают учиться и не знают своего места. Поскольку Дядя Сэм не думал ни о чем, кроме всемогущего доллара, он создал в угоду им промышленную массовую культуру. Чтобы потрафлять их низменным инстинктам. Он не считал себя обязанным воспитывать их, а они не считали, что нуждаются в воспитании. Вот эту бросовую культуру мы вам теперь и продаем.

Холливелл снова умолк. В зале раздались громкие протестующие возгласы, но он не дал себя перекричать.

— Но могу успокоить вас, леди и джентльмены и уважаемые коллеги. Я обращаюсь сейчас в первую очередь к врагам моей страны или к их представителям, здесь присутствующим: тайная культура, не подлежащая экспорту, умирает. Она разлагается, и мы от нее погибнем. Тихо умрем у своих очагов, и дети наши посмеются над нами. Так что, amigos, нет больше Микки Мауса. Мир свободен для латинских идеологий и немецких «измов»... для храмов разума, который вы называете диалектикой...

Шум усиливался, и Холливелл наконец оглядел зал. В заднем ряду над головами тех, кто еще не ушел, высилась фигура молодого человека в темных очках, черной рубашке и со стрижкой под Ричарда Третьего. Молодой человек стоял лицом к нему.

— Мистер Холливелл, а этот ваш нигилизм — не ширма ли, за которой вы прячете коммунистические теории?

Вот он, Воин Всевышнего, подумал Холливелл. Карающая Рука. На мгновение он представил себя трупом, выброшенным из мчащегося автомобиля на лужайку перед «Панамерика-пласа».

— Разве нигилизм не есть способ дискредитации христианской культуры Запада — культуры, которую коммунисты хотели бы уничтожить?

— Не может быть, чтобы вы говорили это серьезно,— сказал Холливелл.

— Совершенно серьезно, сэр.— Молодой человек криво усмехнулся.

Потрясенный собственным безрассудством, отрезвленный напоминанием о том, где он находится, Холливелл попытался перейти на академический тон.

— Вы думаете, что взамен всего утраченного я предлагаю марксизм? Думаете, что отчаяние побуждает меня бросать завистливые взгляды в сторону Латвии и Киргизстана?

— Нет, вы, очевидно, полагаете, что наш народ... что это мы должны с надеждой смотреть на Латвию и Киргизстан,— парировал молодой человек.

Затем встал средних лет американец. Холливелл видел, что страсти разгораются, и уже не на шутку пожалел о своем неумном поведении.

— Я хотел бы извиниться перед всеми присутствующими здесь компостельцами,— сказал американец,— и задать вам, Холливелл, один вопрос. Верно ли, что правительство Соединенных Штатов пошло на расходы ради того, чтобы вы демонстрировали здесь свои дурные манеры?

— Верно,— ответил Холливелл.

— Знаете, мне уже надоело извиняться за всех так называе-

мых специалистов, которые приезжают сюда за счет налогоплательщиков и позорят свою страну.

— Однажды,— начал Холливелл,— над Японией пролетала в заказном самолете группа американских дельцов с женами. Это были агенты по продаже изоляционных материалов со Среднего Запада. Они совершали развлекательную поездку по Востоку.

— Хотите пари? — спросил американец своего соседа.— Мораль будет такая: бизнес — это плохо.

— Как я могу возместить ваши расходы,— сказал Холливелл,— если вы не желаете меня слушать.

Американец сел с гримасой отвращения.

— Так вот, сэр,— продолжал Холливелл,— поездку эту им устроили в награду за то, что они продали большое количество изоляционных материалов. Но когда они пролетали над Фудзиямой, самолет развалился, и все они вместе с женами, пластмассовыми чашками, слайдами «кодахром» и бумажниками с фотографиями оставшихся дома родных рухнули на Фудзияму. Потом буддийские монахи собрали их тела, положили в ряд, окурили фимиамом, и тем завершилось их путешествие по Дальнему Востоку. А теперь скажите,— обратился он к американцу,— есть в этом мораль или нет?

Доктор Николаи встал и подошел к нему.

— Не вижу смысла продолжать,— сказал он.— По-моему, вам надо пойти отдохнуть, а?

Не успел Холливелл ответить, как среди полуопустевшего зала поднялась рыжеволосая женщина с печальной улыбкой на лице.

— А как насчет бога? — спросила она. Выговор у нее был австралийский.— Есть во всем этом место для бога?

Он с радостью отметил, что она так же пьяна, как и он.

— Место для бога всегда есть, сеньора. Вопрос в том, есть ли бог на этом месте.

Лицо у доктора Николаи пылало, в его улыбке, похожей на оскал, Холливелл уловил что-то тевтонское. Он уже собрался уйти, повинуясь настояниям доктора, но в эту минуту увидел ослепительно красивую компостелку с золотистыми волосами и приветливым взглядом. Холливелл остановился в ожидании.

— Следует ли, доктор Холливелл, заключить из вашей речи — из того, что́ и как вы говорили,— что ваше отношение к моей стране неоднозначно? — Она улыбнулась сдержанной, монашеской, миролюбивой улыбкой. Холливелл покраснел.

— Мое отношение — дружеское,— сказал он.— Я говорю искренне.— Ему было неприятно, что его снова вынуждают обороняться.— Я хотел сымпровизировать. Думал подойти к проблеме глубже, серьезнее, но это, видимо, мне не по плечу... Я бы принес вам свои извинения, если бы этого уже не сделал мой соотечественник.

— В извинениях нет необходимости, сэр,— сказала молодая женщина, продолжая улыбаться.— Но разве ваше стилизованное отчаяние не служит оправданием аморализма? Разве оно не отрицает самого понятия долга? И не отражает ли такая позиция распада вашего собственного общества?

— Должен ли я отвечать на ваши вопросы в том же порядке? — спросил Холливелл.

— Вольнодумцы, коммунисты — все одно. Рука руку моет.

Это сказал похожий на pistolero [1] чернорубашечник, околачивавшийся у выхода. Вместе с ним стояло еще несколько человек в таких же рубашках и темных очках.

— На ваши политические вопросы я уже постарался ответить,— тихо сказал Холливелл.— Я не политик.

Politiques [2], явно недовольные, удалились. В воздухе повеяло опас-

[1] Наемный убийца *(исп.)*.
[2] Политики *(искаж. исп.)*.

ностью. Холливелл, трезвея, все яснее и яснее понимал, что напрасно устроил здесь такой спектакль.

— Итак, вы говорили, доктор? — Прекрасная компостелка по-прежнему улыбалась.

Холливелл непонимающе посмотрел на нее, потом ответил:

— Пожалуй, на все ваши вопросы я отвечу «да». То, что мы узнаём, всегда кого-то в чем-то оправдывает.

Женщина села на стоявший рядом свободный стул. Холливелл не отрывал от нее глаз. Он дал волю воображению: а что, если его фиаско обернется успехом и ему не надо будет ехать в свой непомерно дорогой номер, чтобы наутро проснуться с чувством страха и унижения? Но нет, напрасные мечты... Он вспомнил о Николаи, который по-прежнему не отходил от него.

— Прошу вас,— сказал он, обращаясь к Николаи,— отнестись к моей речи как к заграничной диковинке. Вроде большой оперы.

— Вы мастер по части оскорблений, профессор. Из вас получился бы отчаянный дуэлянт.

— Насколько я знаю,— сказал Холливелл,— в Компостеле певал и Карузо. Так мне говорили.

— Вам говорили неправду,— отрезал Николаи.

Молодая женщина встала.

— Я думаю, нам следует сказать,— она повернулась к Николаи,— мне хочется сказать... что, как бы нас ни обескуражила речь профессора Холливелла, она пойдет нам на пользу. Мы должны поблагодарить его.

Но аплодировать уже было некому. Все устремились к столу с напитками. Холливелл поклонился ей и тоже направился к столу. Налив себе виски, поднял глаза: она стояла прямо напротив него. В ее глазах мелькали золотистые искорки. Она протянула руку:

— Мариаклара Обрегон.

— А вы молодчина, мисс Обрегон.

— Нас не смущает, когда сталкиваются разные мнения,— сказала Мариаклара Обрегон.— Но, с другой стороны, мы не хотим, чтобы у кого-то оставался горький осадок.

— Я очень рад, что вы были здесь.

— Я — тоже. Ваше выступление записано у меня на пленке. На досуге я прослушаю его еще раз.

— Надеюсь, вы найдете в нем рациональное зерно.

— Безусловно найду. Импровизация — вещь иногда нелегкая.

— Еще бы.

— Вы знаете, конечно, что политическая обстановка у нас напряженная.

— Я все понимаю.— Его так сильно влекло к ней, что он вдруг почувствовал себя жалким и глупым. Пьяным.

— А местные академические круги не очень с этим считаются. Это вы, конечно, знаете.

— Да и вольнодумцы довольно норовисты.

Позади нее стояла чета североамериканцев, которые, как он догадывался, ждали возможности заговорить с ним. Но он старался не замечать их.

Подошел Николаи с двумя официантами. Он указал им на стол, они поклонились и начали убирать посуду.

— А вы вольнодумец, профессор? — с улыбкой спросила мисс Обрегон.

— Да. В этом смысле я предшественник индустриальной эры. Просветитель и вольнодумец. Таких людей называют либералами.

— У нас, чтобы прослыть либералом, надо стать масоном,— сказала она.

Холливелл обошел стол и, не взглянув на американскую чету, стал рядом с Мариаклярой Обрегон.

— Послушайте,— сказал он.— Что, если мы посидим где-нибудь за чашкой кофе? Если не сегодня, то в другой раз?

— К сожалению, не могу, профессор. Мне лишь хотелось поблагодарить вас за выступление.

Ее ладонь снова оказалась в его; он сделал над собой усилие, чтобы выпустить ее.

— Но вы не уходите?

— Очень жаль, но мне пора. Благодарю еще раз.

К его огорчению, она повернулась и ушла, оставив его одного с официантами, американской четой и Николаи. Он сделал шаг в сторону Николаи и, покачнувшись, спросил:

— Эта мисс Обрегон, кто она? Университетский преподаватель?

Доктор Николаи спокойно взял его за руку выше локтя и повел к большому грязному окну, выходящему на университетскую площадь.

— Нравимся мы друг другу или нет, дело не в этом. Но я терпеть не могу, когда человек, коллега... гость, если хотите... выставляет себя на посмешище. Позвольте заметить, что прием уже кончился и вам пора ехать. Если нужно такси, мы поможем. Перестаньте срамить себя.

Холливелл оглянулся — она уже скрылась за дверью. Эх, кинуться бы сейчас за ней, признаться в любви. Он и в самом деле чувствовал себя влюбленным.

Он повернулся к столу. Официанты складывали скатерть, американская чета по-прежнему топталась на месте.

Николаи тоже шагнул к столу.

— Посошок на дорожку,— сказал он торжественно, точно декламируя стихи, и посмотрел на единственную оставшуюся бутылку виски. Потом взглянул на часы.

— Еще по одной,— сказал Холливелл и снова налил себе.

— Разумеется, второй посошок,— согласился Николаи.— Вы же наш гость. Что бы ни случилось.

— Спасибо, доктор.— Холливелл подвинул бутылку Николаи и, не обратив внимания на его презрительную усмешку, оглянулся на дверь.

— Лучше надо готовиться к выступлениям,— сказал Николаи.— Даже перед небольшой аудиторией. И даже если страна маленькая, незначительная. Я бы на вашем месте поменьше пил. Вы, по-моему, волновались.

— Да,— сказал Холливелл, глядя мимо доктора.— Так оно и было. Уберите руку.

Николаи снял с плеча Холливелла свою уверенную, властную руку и отошел. О межамериканских культурных связях сейчас лучше было не думать.

— Мало того, что ты попал в неловкое положение,— сказал Холливелл, обращаясь к молодой американской чете,— тебя еще и унижают.

Американцы смотрели на него с сочувствием. Они были темноволосые, узкоплечие, остролицые.

— Ну, что вы,— успокоил его молодой человек.— Напрасно вы огорчаетесь. Речь была возбуждающая.

— Этого я и добивался,— сказал Холливелл.

— Подвезти вас до центра? — спросила молодая женщина.— Нам в ту сторону.

Холливелл внимательно присмотрелся к этим американцам, добродушным, образованным, симпатичным.

— Благодарю,— сказал он.— Это было бы совсем неплохо.

Выйдя из Колледжа, они подошли к «хонде» с теканским номером.

— Я — Том Зекка,— представился молодой человек, отпирая дверцу машины.— З-е-к-к-а. А это — Мари.

Холливелл пожал Тому и Мари руки и сел на заднее сиденье.

— Том всегда повторяет фамилию по буквам. А то некоторым слышится «Зеккер».

— Мы потомки итальянских горцев,— сказал Том,— и не хотим, чтобы нас с кем-то путали.

Объехав фонтан, Том Зекка свернул на пустынный проспект, ведущий в центр города.

— У меня был студент с такой фамилией,— сказал Холливелл.

— Я знаю,— сказал Том.— Это мой братишка Рич. Ваши семинары он до сих пор вспоминает.

Студент Зекка запомнился Холливеллу лишь тем, что носил значок «Макговерна — в президенты» и был очень вежлив.

— Потому мы и пришли,— сказала Мари Зекка.— Увидели сообщение в посольском бюллетене и думаем: это же тот самый, о котором Рич все время рассказывает! Надо с ним познакомиться.

— Жаль, что так нескладно получилось,— сказал Холливелл.

— Ерунда! — возразил Том.— Ну, задали им перцу, что за беда!

— Пьяный у меня был вид?

— Слегка,— смущенно сказала Мари.

— Подкачал я. По чистой случайности.

— Немного подкачали. В этих высокогорных местах надо быть осмотрительным. От спиртного здесь обалдеть нетрудно.

— Да, это я упустил из виду,— сказал Холливелл и, вспомнив про теканский номер на машине, спросил: — Вы разве не при здешнем посольстве?

— Нет, мы в Текане. Жизнь там все скучнее, так что на уик-энды мы иногда сюда приезжаем. Для разнообразия.

— Да, маловато в Сан-Исидро развлечений,— сказала Мари. Она имела в виду столицу Текана.

— Особенно для тех, кому скучно смотреть лилипутов или петушиные бои,— сказал Том.— Правда, есть там и другие удовольствия, которыми мы не увлекаемся. Но все они доступны, было бы желание.

— Зато в Текане прекрасные пляжи,— сказала Мари.— Лучшие в мире.

— У меня там знакомые,— вырвалось у Холливелла.— Возможно, я туда и загляну, перед тем как ехать домой.

— Если вы решите ехать завтра,— сказал Зекка, помолчав,— то мы можем прихватить вас с собой. Выезжаем мы примерно в середине дня.

Холливеллу стало немного не по себе: он будто заранее знал, что Зекка скажет что-нибудь в этом роде.

— Я не хотел бы вас обременять.

— Нисколько вы нас не обремените. Только с вами сядет еще один человек, корреспондент. Мы обещали взять его с собой.

— Тогда не надо. Вам будет тесно.

— Слушайте,— сказала Мари.— Если вы действительно решили ехать завтра, зачем вам искать другой транспорт? Составьте нам компанию.

— Это очень любезно.

— И вполне искренне,— сказал Том.— Видите ли, дама, сидящая рядом со мной,— давний работник патронажа. Мы рады будем поболтать с вами по дороге и показать вам часть страны.

— Пыльную часть,— сказала Мари.

— Но я не успею получить визу.

Том повел плечами.

— В Салтеке есть консульство Текана. Никаких проблем.

— Стойте, я уже приехал,— сказал Холливелл, когда «хонда» приблизилась к отелю.

Том Зекка притормозил.

— А где вы, Мари, работали по части патронажа? — неожиданно для себя спросил Холливелл, выходя из машины.

— Где? — медленно переспросила она.— Во Вьетнаме. Но меня больше интересуют проблемы семьи.

— Понял,— сказал Холливелл.— А вы, Том? И вы были там?

— Конечно. И вы тоже?

— Да,— сказал Холливелл.— И я — тоже.

Наступила напряженная тишина. Это мгновение крепко связало их. В нем были оправдания и умолчания, разбитые надежды и смерть. Если бы кто-то из них заговорил сейчас, все стали бы наперебой вспоминать названия городов и деревень на том чужом языке, общих знакомых и смеялись бы как одержимые. А кончилось бы это, как всегда, приступом ужасной тоски.

Холливелл захлопнул дверцу.

— Пока не знаю,— сказал он.— Но если надумаю, то позвоню.

— Это было бы отлично,— сказал Том. Он достал визитную карточку, написал на ней несколько слов и протянул Холливеллу.— Звоните пораньше.

Сунув карточку в карман, Холливелл остановился на подъездной дороге и помахал на прощание рукой. Мари что-то сказала, но он не расслышал.

Удивительный вечер, подумал он. Ежась от холодного ветра, он поднес к глазам карточку и прочел:

Томас Зекка
Посольство Соединенных Штатов
Сан-Исидро, Текан

И все. На обратной стороне был указан местный адрес и телефон.

Холливелл вошел в вестибюль и направился к бару. Посетителей там почти не было, официанты скучали. Холливелл неторопливо подошел к стойке и сел.

Когда он допивал вторую порцию виски, придумывая, что бы ему поесть, подошедший официант спросил, не он ли мистер Холливелл. Холливелл кивнул, и официант придвинул ему телефонный аппарат с безмолвно светящимся сигнальным глазком. Холливелл был уверен, что это Оскар, и все же вопреки здравому смыслу надеялся, что по какому-то волшебству ему звонит сеньора Обрегон.

— Эй, сволочь! — услышал он в трубке.— Коммунист, сукин сын. Подохнешь тут, в Компостеле... твою мать!

Холливелл застыл, прижав трубку к уху; перед ним стоял недопитый стакан и блюдце с орешками.

— Коммунист, свинья паршивая,— продолжал человек.— Ты у нас медленной смертью подохнешь. Смерть тебе, и да здравствует нация!

Холливелл положил трубку и почти залпом допил виски. Ему принесли третью порцию. Вошедший Оскар с улыбкой похлопал его по плечу.

— Жаль, что не смог вас послушать,— проговорил он.— Получил бы большое удовольствие.

— Видно, кому-то я поперек горла стал,— сказал Холливелл.— Мне только что угрожали. Только что. По этому вот телефону.

— Вы побледнели.— Оскар подошел к телефону и, набрав номер, спросил, откуда звонили мистеру Холливеллу.

— По-моему, ничего страшного, Фрэнк. Звонили из города. Это все из-за вашей лекции.

— Какая там лекция,— сказал Холливелл.— Пьяный, бестолковый бред.

— Ничего они вам не сделают. Американца не тронут.

— Все же не очень приятно слушать такое по телефону.

— Само собой,— согласился Оскар.— Иначе бы не звонили. Но настоящая пуля в лоб еще неприятнее. Вы ведь под защитой. Радуйтесь, что вы не на моем месте.

Оскар заказал два виски.

— Фрэнк, сделайте мне одолжение. Съездите в Текан, пожалуйста.

Холливелл подпер рукой подбородок.

— Сделайте и вы одолжение, Оскар. Не втягивайте меня в ваши игры.

— В мои игры? В чьи игры, Фрэнк? Вы же знаете, что этого хотят они. Там вы вправе поступать, как вам заблагорассудится. Можете предостеречь этих католиков, можете вступить с ними в сговор, внести пожертвование — пожалуйста! Только будьте там, на виду, а меня потом похвалят. Понимаете, кому-то наверху пришло в голову, что хорошо бы это сделать, и теперь хочешь не хочешь, а сделать надо.

— Чепуха какая-то.

— Верно,— согласился Окампо.— Чепуха. Нелепость. Они ведут себя нелепо, и я — вместе с ними. Но никуда не денешься.— Улыбаясь своей загадочной индейской улыбкой, он придвинулся ближе.— Всего несколько шагов, а? Вы едете. Вас видят. Когда вернетесь домой, кто-то спросит вас, что вы там видели, а вы скажете, что видели русские подводные лодки или еще что-нибудь. Да, это нелепо, но моя жизнь в руках этих людей. А ваша поездка мне в плюс пойдет.

— Боюсь, что вы заблуждаетесь,— сказал Холливелл.

— Уверяю вас, что нет.

Окампо по-прежнему улыбался, и у Холливелла вдруг мелькнула мысль, что Оскар Окампо не в своем уме. Но, с другой стороны, был же Марти Нолан. И Том. И Мари, сотрудница патронажа.

— Если кто и заблуждается, Фрэнк, то не я. Поверьте, моя жизнь действительно в опасности. Вы-то ничем не рискуете, а мне еще выбираться отсюда. К тому же у меня Патрик. А они могут подыскать мне в Штатах место.

— Не могут.— Холливелл изо всех сил старался взять себя в руки.— Уже не могут.

Оскар, перестав улыбаться, тихо сказал:

— Мне-то виднее, чем вам. Я очень прошу.

Холливелл вынул из кармана визитную карточку Тома Зекки и положил перед собой на стойку.

— Кто этот человек? Вы его знаете? Слышали о нем?

Оскар прочел имя, адрес, отвернулся и пожал плечами.

— Никогда. Я там не бываю. Не представляю, кто он такой.

— А если я скажу вам, что он был на моей лекции и предложил отвезти меня завтра в Текан?

Окампо явно был смущен.

— Не знаю, что и сказать. Может, они действуют сразу по многим каналам. А может, это просто совпадение, а? Бывают же совпадения?

— А может, нет? — усмехнулся Холливелл.— По-моему, встретились мы с ним не случайно. Вам, Оскар, виднее, вот и объясните мне.

Окампо не ответил и предложил еще выпить. Холливелл отказался. Оскар заказал порцию виски себе. В это время на телефонном аппарате снова засветился огонек.

— Сеньор Холливелл? — позвал официант. Они отрицательно покачали головами. Официант посмотрел сначала на одного, потом на другого и сказал что-то в трубку.

— Неплохо, что вас считают левым. Так надежнее.

— Вы соображаете, Оскар, что делаете?

— Да, Фрэнк. Я делаю то, что велят. Чтобы спастись.

Холливелл помолчал.

— Ну и устроили же вы мне лекцию,— сказал он.— Кто эти индюки?

— Индюки? Как правило, одни и те же люди. У которых нет других занятий.

— По-моему, сегодня у каждого есть какое-нибудь занятие.

Оскар выпил виски.

— Была там одна женщина по имени Мариаклара Обрегон,— продолжал Холливелл.— Очень красивая. Опять-таки счастливое совпадение. Уж ее-то, я полагаю, вы знаете.

Оскар усмехнулся и кивнул.

— Мариаклара. Самая красивая и умная. Наш министр социального обслуживания населения. Прогрессивно, а? Женщина да еще красавица?

— Да,— согласился Холливелл.— Я чуть было не...

— В нынешних обстоятельствах, Фрэнк, ради вас я готов на все. Да нет, в любых обстоятельствах. Но Мариаклара... поверьте, уж я-то знаю, неприступна. Ни малейшего шанса.

— Теперь это уже не имеет значения.

— А в общем-то,— задумчиво проговорил Оскар,— все мы тут проститутки. По вашей вине. Я имею в виду не вас лично, а Штаты.

— Ну, сели на своего конька,— по привычке усмехнулся Холливелл. Но на этот раз он счел бессмысленным возражать.

— Скверно, Фрэнк,— сказал Окампо, догадавшись, о чем он думает.— Нам уже и спорить стало не о чем.

Чувствуя, что алкоголь снова берет свое, Холливелл оперся обеими руками на стойку.

— Ладно. Ну, а Николаи? Кто такой Николаи?

— А, Николаи! — презрительно расхохотался Оскар.— Николаи — обыкновенный...— Он тряхнул головой, подыскивая слово: — Индюк.

В то утро почта миссии лежала внизу, на перилах лестницы, ведущей на веранду. Стоя на верхней ступеньке, Джастин разглядела конверт с канадской маркой — в нем, конечно, письмо Эгану от его девяностолетней матери — и ежемесячный бюллетень Общества примирения. В том, что почту стали приносить на дом, было нечто новое; еще месяц назад за ней приходилось ездить в Пуэрто-Альварадо. Джастин подозревала, что такая услужливость говорит не столько о совершенствовании почтовой связи в республике, сколько о том, что их почта проходит через руки Гвардии, скорее всего в лице лейтенанта Кампоса, который вскрывает ее и с грехом пополам читает.

Прошло уже несколько недель после ее памятного разговора с Годоем. С тех пор они встречались редко, да и то лишь обменивались вежливыми приветствиями. Наверное, именно так и следовало себя вести, но Джастин при всем своем благоразумии не могла отделаться от горького чувства обиды. Никаких дел в миссии не было. Никто сюда не являлся. Никому они с Эганом не нужны.

Она нехотя сошла вниз и взяла почту. Кроме письма от матери Эгана было еще два: одно — на имя Эгана от архиепископа из Нового Орлеана и другое, в конверте с виньеткой из желтых цветов,— от ее сестры. Все конверты, видимо, вскрывались, потому что были заклеены грязными лентами «скотча».

Вот выродок, сказала она про себя. Чтоб тебе пусто было. Какие могут быть от тебя тайны у престарелой матери Эгана или у моей увядшей сестры? Но письмо из Нового Орлеана могло его заинтересовать.

Волны плавно набегали на белый песчаный берег, листья подорожника не шевелились. Бездействие после такого душевного взлета, неизвестность... больше всего ее угнетало то, что Годой, вторгшись в ее жизнь, тотчас же ретировался. Как это глупо, несерьезно, эгоистично — возлагать столько надежд на одного человека, когда ты дав-

но видишь страдания Текана, но ничего не предпринимаешь, а лишь клокочешь от ярости и живешь прежней однообразной жизнью. Но она одинока, ей нужен друг, наставник. Пустой, бездушный мир, окружавший ее в двадцать лет, и сейчас простирается перед ней точно безбрежное неподвижное море; как и в те годы, она должна мириться с ним, находить в нем смысл, источник силы, вновь обретать веру. Вновь.

На этом побережье убивают детей, убивают беспощадно, зверски. Здешние дети дали неизвестному убийце прозвище «поганая обезьяна» — недаром тот мальчик говорил «mono malo, mono malo». Кругом безлюдно; вот поднялось солнце и повисло над океаном. Она взяла почту Эгана и через кухню пошла в его комнату.

Сколько лет живешь на свете, с грустью подумала она, а потом рано или поздно обнаруживаешь, что должна сделать скачок. Только сделать этот скачок — к человеку, к истории, к будущему — не так-то легко. Она сочувствует идее революции, давно сочувствует, но она высокомерна, к людям относится скептически и не столько любит ближнего, сколько самое себя. Перед ней стоит выбор, и она его сделает, даже если это связано с риском для жизни.

У двери Эгана она остановилась, тихо постучала несколько раз, потом медленно открыла дверь. Отец Эган, одетый, лежал ничком поперек кровати. Джастин застыла от страха. Он умер, подумала она. Да, да, он умер.

— Отец Эган!

Она склонилась над ним, стараясь уловить признаки жизни, и заметила, что он дышит: его спина поднималась и опускалась, слышалось прерывистое сопение. Руки и ботинки Эгана были черны от грязи, рубашка мокрая.

— Отец Эган! Чарльз!

Она потрясла его за плечо. Он с трудом поднял голову и, медленно перевернувшись на спину, устремил на нее пустые глаза.

— Что с вами?

— Мне нужна бумага,— сказал Эган.

— Бумага? — изумилась Джастин.

Эган беспокойно заерзал, пытаясь сесть. Джастин заметила на его ночном столике таблетки и перевела взгляд на бутылку с ромом, стоявшую на письменном столе.

— Не вздумайте запивать таблетки ромом,— сказала она. — Вы убьете себя.

Отец Эган не без труда сел на кровати, сложил руки на груди и опустил голову.

— С бумагой я вам помочь не могу,— сказала Джастин,— зато могу напомнить, что у нас имеется душ. И смена одежды.

— Замолчите,— раздраженно сказал Эган. — Вы... замолчите, Джастин. Вот умница.

— Вы пили ром после таблеток?

— Нет,— ответил Эган. — Об этом не беспокойтесь.

— Вчера вечером вас не было дома. Куда вы ходили?

— Вы не поймете.

Ее пронзила мрачная догадка.

— А вдруг пойму. Давайте попробуем.

— Я ходил на развалины.

— Зачем?

— Этого я вам сказать не могу. Секрет.

— На кухне есть фрукты.— сказала она. — И почта пришла. И бюллетень Общества. Можете взглянуть, если хотите. Вот вам письмо. И еще — от архиепископа.

Эган взял письмо матери и положил его рядом с собой.

— Почту вскрывали,— сообщила Джастин. — Либо Кампос, либо кто-нибудь из его начальства.

Священник пожал плечами и начал стаскивать с себя пропотевшую рубашку.

— Что пишет архиепископ? — Пока она доставала из конверта письмо, он встал и расстегнул ремень. — К черту. Потом скажете. Пойду помоюсь — и за работу. Напишите ему, что найдете нужным, а я подпишу.

Отец Эган продолжал раздеваться. Джастин вышла и прочла письмо его высокопреподобия Метью Дж. Грина, велениям которого она и Чарли Эган поклялись подчиняться. Монсеньер Грин сообщал, что принято окончательное решение закрыть миссию. В конверте лежали чеки на приобретение авиабилетов и предписание до двадцатого февраля явиться в Дом девоционистов святого мученика Петра в городе Митейри, штат Луизиана. Церковные власти страны пребывания, говорилось далее в письме, должны были поставить их в известность о том, что епископ поручил своему представителю принять помещение миссии вместе с запасами продовольствия и медикаментов и проследить за отправкой имущества в «Миллимар корпорейшн оф Бостон», являющуюся компанией-учредителем «Интернэшнл фрут энд веджитэбл», в распоряжение которой оно теперь поступает. Архиепископ напоминал, что деньги на покрытие расходов миссии в четвертом квартале переведены и что дополнительных ассигнований не будет.

Однако ни церковные власти Текана, ни «Интернэшнл фрут», имеющая в Пуэрто-Альварадо солидное представительство, ни о чем их не информировали. Чем это объясняется? Типичной для Текана неразберихой или тем, что все по непонятной причине затормозилось на одной из ступеней церковной иерархии?

Что касается «И. Ф. энд В.», то она, должно быть, просто выжидала; несмотря на слухи, будто «Миллимар» предполагает построить во Французской гавани первый в Текане курорт по флоридскому образцу, компания, видимо, не торопится вступать в права собственности, пока церковь не уладит мелкие внутренние разногласия. Но, разумеется, она могла бы в случае необходимости обратиться и в правительство, тем более что президент республики является ее младшим партнером. Это многое упрощает.

Когда она вернулась, Эган, уже переодетый, с воспаленными глазами, собирал книги.

— Можете прочесть, Чарльз. Окончательное уведомление. Отвечать не будем.

— Прекрасно,— сказал Эган. Взяв письмо, он скомкал его и бросил в корзину для бумаг.

— И чеки на билеты прислали.

— Так ведь они уже присылали нам на билеты. Видно, забыли. Налогов не платят — отсюда и расточительность. Теперь у нас с вами по два билета. Если еще продержимся, глядишь, и в третий раз пришлют, тогда мы всю нашу паству перевезем в Новый Орлеан.

— Нет у нас больше паствы, Чарльз. Разве вы не заметили?

— У меня-то есть паства.

— И орден наш распадается. Платят они налоги или нет — все равно банкроты.

Эган тупо посмотрел на нее.

— Тысячу долларов я у Хью выпрошу. Хотя дойдут ли сюда деньги, а если дойдут, то когда... — Хью был его младший брат. Когда-то он учился в семинарии девоционистов, но потом стал оптовым виноторговцем в Сиэтле. — Но эта тысяча будет последней.

— Что ж, просите,— сказала Джастин.

— Лично я готов переехать в город, в гостиницу. А то обменяю

чеки на деньги и куплю себе домик подальше от берега. Из-за меня не оставайтесь здесь, милая.

— А я не из-за вас остаюсь, отец Эган.

Значит, подумала она, некоторое время мы еще пробудем здесь. И еще можем пригодиться.

— Какое у вас гражданство? — Она вдруг встрепенулась от неожиданной мысли. — Американское?

— Да. Более тридцати лет. Получил незадолго до Пёрл-Харбора.

— Отлично.

Не дойдя до двери, она остановилась.

— Знаете, смешная вещь: я уже никого из наших не помню. Мэри Маргарет Донахью, например, прожила здесь пять лет, а я забыла ее лицо. Вам это не кажется странным?

— Кажется,— ответил Эган.— Но это на вас похоже. Сам-то я всех помню. Я людей не забываю.

Не успела Джастин выйти, как он застучал на машинке. Да, безделье действует на меня губительно, подумала она, шагая взад и вперед по веранде. У Эгана, по крайней мере, есть его воображаемая бесконечная книга; мне же заняться решительно нечем. Не переставая ходить, она то и дело поглядывала на дорогу: вот-вот должны появиться продавец рыбы и Эпифания с корзиной — их приходящая прачка. Стирка белья, особенно белья Эгана,— не самое большое удовольствие, и все же Джастин надеялась, что Эпифания не придет, как не приходит остальная прислуга, и тогда у нее будет занятие на вторую половину дня. С другой стороны, если Эпифания и рыболов перестанут к ним ходить, то миссия будет окончательно отрезана от Французской гавани и лишится связи с внешним миром на какой бы то ни было основе — религиозной, общественной, даже экономической. Как будто они только для того здесь сидят, чтобы покупать рыбу и сдавать в стирку белье.

Но вот вдали, на прибрежной дороге, показалась Эпифания — вернее, Джастин решила, что это Эпифания, но, не успев удивиться, почему прачка идет без корзины, поняла, что это совсем не Эпифания, а подружка отца Шляйхера, молодая специалистка по благоустройству городов, учившаяся в университете Лойолы. Она была босая, с заплетенными косичками, в ярком ситцевом платье. Джастин спустилась вниз и стала на дороге, поджидая женщину.

— Вид у вас чудесный,— сказала она без улыбки. — Решили прогуляться?

— Я к вам,— ответила женщина. Ее глаза смотрели серьезно, и чувствовалось, что она волнуется. — С поручением от Хавьера Годоя.

У Джастин екнуло сердце.

— Он сказал, что вы должны быть готовы к действиям.

«А я его увижу?» — хотелось ей спросить. Вместо этого она спросила:

— Что мы должны делать?

— Вы должны приготовить помещение для раненых. Чтобы они могли там укрыться, пока мы их не вывезем.

— У нас все готово,— сказала Джастин. — Но укрываться здесь рискованно. Если будет тщательный обыск, их легко обнаружить.

— Обыска не будет. Не везде обыскивают.

— Тогда пожалуйста,— сказала Джастин.

— Нам нужно знать, есть ли у вас антибиотики и перевязочный материал. И умеете ли вы сами обрабатывать пулевые раны.

Джастин поджала губы, чтобы они не дрожали.

— У нас есть все необходимое, пулевые раны я умею обрабатывать. Могу и пулю извлечь, если она не очень глубоко. Мне прихо-

дилось это делать. Но я не хирург. Если рана глубокая, я могу лишь остановить кровотечение и снять боль.

Теканка слушала ее, закрыв глаза. Теперь они дрожали обе.

— Когда начнется? — спросила Джастин.

Женщина покачала головой.

— Мы не знаем. Нам сообщат.

— О'кей,— сказала Джастин.

— А отец Эган как? Неприятностей из-за него не будет?

— Он болен. Да и неплохой он человек. Можете не беспокоиться.

— Что ж,— сказала женщина. — Тогда все.

Тогда все, мысленно повторила Джастин. Наконец-то.

— Увижу я Хавьера?

Теканка насторожилась, но в ту же секунду лицо ее осветилось мягкой, доброй улыбкой.

— Может, и увидите. Не знаю. Да и кто теперь знает?

— Вы правы. — Джастин тоже улыбнулась. Они взялись за руки.

— Только никому ни слова. Вы понимаете?

— Господи, ну конечно же.

— Тогда желаю удачи.

— И вам тоже. И тем, кто сражается.

— Всем нам. Нашему Текану.

Они порывисто обнялись, и женщина торопливо зашагала по песчаной дороге в сторону города.

Джастин взбежала по лестнице и в дверях остановилась перевести дух. Часы показывали около одиннадцати. Времени еще много — даже слишком много. Если рыболов так и не явится, она поедет в Пуэрто-Альварадо и закупит у сирийца продукты на случай появления новых едоков.

Мысль о том, что вторую половину дня ей предстоит провести в томительном ожидании, снова начала угнетать ее, но тут она вспомнила про стирку. Слава богу! Если Эпифания все же придет, она даст ей денег и отправит обратно.

Она собрала в комнате Эгана брошенную где попало одежду, потом достала собственный бельевой мешок и свалила все в кухонную раковину. Предупреждать Эгана незачем; если начнут прибывать раненые, он и так узнает. Вполне может быть, напомнила она себе, что Годой не приедет и ей придется обойтись без него. Ничего, она справится.

Пока в стиральный бачок лилась из крана колодезная вода, ей вспомнились слова старой молитвы. Но она отвлеклась от них, занявшись сортировкой белья и растапливанием плиты.

Ты не молишься этому богу, сказала она себе, потому что он оправдывает бессмысленные войны, безысходную нищету и ничтожных правителей. Пожалуй, Эган был прав, сказав, что эта молитва неверна, что она плохо написана. Как это высокомерно и жестоко с ее стороны — вести себя до такой степени не по-товарищески, так пренебрегать им. Может быть, их взгляды ближе, чем ей кажется.

Когда бачок наполнился, Джастин завернула кран и пошла искать мыло.

Итак, думала она, пусть бог будет с теми детьми на карусели, с Годоем, с этим гордым и голодным народом. Потому что если не с ними, то с кем и для чего ему тогда быть?

Она поставила бачок на плиту и сняла обертку с куска белого мыла.

Просыпаясь, Холливелл почувствовал, что в глаза ему неистово бьет багровый свет. Перед сном он не задернул шторы, и теперь все было бледно-кровавым — и стены, и кафельный пол, и зеркало у туалетного столика, и простыни на кровати. Солнце, вставшее над вер-

шиной горы Мизерикордиа, пряталось за дымчатым дождевым облаком. Он спустил ноги на пол и вспомнил, что сейчас сухой сезон. Откуда же на этом небе дождевые облака?

Ночью ему трижды звонили и каждый раз обещали скорую мучительную смерть. Разные голоса, в том числе один женский. Холливелл, перед тем как рухнуть снова в постель, просил телефонистку больше никого с ним не соединять. Но звонки продолжались.

Стрелки часов показывали половину восьмого; ежедневный самолет на Майами вылетает в одиннадцать. Следующие полтора часа Холливелл пререкался с телефонисткой и наконец понял, что заказать билет ему не удастся. Вчера это можно было бы сделать без всякого труда, даже через отель.

Часов в десять он дозвонился до «Аэрочака»: свободных мест нет. А перед самым отлетом? Никакой надежды.

Если бы он еще на заре отправился прямо в аэропорт, то, может быть, перекупил бы чей-то билет. Но теперь уже поздно, мрачно подумал он и заказал себе место на следующий день.

Предстоящие сутки ничего приятного не обещали. Опять начнутся звонки. Из отеля никуда не высунешься, вестники смерти только и ждут, когда он выйдет. И Оскар не даст ему покоя.

Выпив виски, он начал подумывать, не поехать ли ему и в самом деле в Текан. Достал визитную карточку Тома Зекки и положил рядом с телефоном. На часах — почти половина одиннадцатого; если звонить, то не откладывая.

Ты сам этого хочешь, внушал он себе. Не мучайся. Звони.

Ему ответила Мари. Она рада. Тем более, что и вещей у него — всего один чемодан. Места хватит на всех.

Холливелл положил трубку, еще не вполне сознавая, что все колебания позади. В половине первого они заедут за ним в отель. Он как раз успеет собрать чемодан, расплатиться за номер — и в путь.

Когда машина Зекки подъехала, он уже ждал на улице, за каменной гостиничной оградой. Том и Мари с улыбкой помахали ему руками. Позади них расположился лысоватый молодой человек довольно дружелюбного вида. Холливелл взобрался с чемоданом к нему на заднее сиденье, и они тронулись. Доехали до собора семнадцатого века, где начинался старый город. За собором Авенида Сентраль разделялась, подобно дельте реки, на улочки рынка. Опытная рука Зекки искусно вела золотистую «хонду» сквозь толпы людей, мимо ларьков с сальвадорской chorizo[1] и лавок, торгующих автомобильными глушителями, краденными декоративными тарелками для колес и сушеной фасолью.

— Похоже на Дананг в базарный день,— сказал Том.

Соседа Холливелла звали Боб Коул. Он был бледный, грузный, с кривыми, желтыми от никотина зубами. Его слегка трясло, и Холливелл сперва подумал, что это после выпивки.

— Так везде,— сказал Коул.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Том Зекка. — Что везде так, как в Дананге? Или что все рынки одинаковы?

Коул не ответил.

— Он имеет в виду третий мир,— объяснила Мари. — Доиндустриальный мир. Правильно, Боб?

— Да,— сказал Боб.

— Чем дальше от родного Мадисона, штат Висконсин, тем грязнее,— не унимался Том Зекка. — И люди выглядят как-то не так, и жарко.

— Перестань задираться, Том,— одернула его Мари.

Они миновали вонючие мясные ряды, автовокзал третьего класса и теснящиеся вокруг него маленькие гостиницы-общежития и

[1] Колбасой *(исп.)*.

ехали теперь по изрытым колеями улицам к перекрестку, за которым на расстоянии мили от последнего рабочего квартала начинались банановые плантации. Это был черный ход города, именно этой стороной Сантьяго-де-Компостела был обращен к большинству коренного населения страны.

— Мой дед,— продолжал Том Зекка,— часто говорил мне: «Малыш, ты счастливчик. Живешь в Америке. Там, откуда я родом, одна мерзость. Унижения и оскорбления. А здесь ты можешь чего-то достичь».

— Сам-то он, должно быть, чего-то достиг,— сказал Коул.

— Он сжег все мосты и держался стойко. Дожил до того дня, когда его сына провозгласили Мужчиной Года. Это было в Толидо. У отца было пальто из настоящей верблюжьей шерсти, и когда он надевал это пальто, дед подходил к нему, гладил шерсть пальцами и тряс головой.

— В Америке успех — это главное,— сказала Мари. — С моими родными было примерно так же. Только никого из них Мужчиной Года не выбирали...

Примерно через час они прибыли в город под названием Ла-Энтрада.

— У них здесь сталепрокатный завод,— сообщил Зекка. — Старушка Компостела помаленьку становится на ноги.

— А Текан,— заметила Мари,— помаленьку опускается. Или уже опустился. В этом году и бананы и кофе поражены болезнью. И землетрясения там самые сильные.

— Когда появляются новые болезни, то сперва они нападают на Текан,— продолжал Том. — Да и старые при нем.

— Хотя, разумеется,— насмешливо вставил Боб Коул,— мы никогда не оставляем его без внимания и помощи.

Ему никто не ответил.

— Вы родом из Мадисона? — спросил Холливелл.

— Нет,— ответил молодой человек. — Даже не был там ни разу.

Дорога снова потянулась среди банановых деревьев. Холливелл выпил воды из кувшина и задремал.

Когда он открыл глаза, машина катилась по извилистой горной дороге. Похоже на плато Колорадо, подумал он. Склоны холмов поросли сосняком, а внизу простирались тучные луга и поляны с дикорастущими цветами. Их пересекали прозрачные ручьи, стремительно переливавшиеся через валуны; в такой воде обычно водится форель, она настолько чистая, что годится для питья. В открытое окно автомобиля веяло ароматом согретой солнцем вечнозеленой растительности.

— Тут в горах ягуары водятся,— сказал Том.— Хотели бы встретить такого котеночка?

Дальше на запад дорога пошла под уклон, сосновые леса поредели, машина катилась по пустынному нагорью, пересеченному обрывистыми оврагами. Через час сьерра осталась позади, и они поехали по песчаной местности, поросшей кактусами, где паслись тощие коровы и исхудалые — кожа да кости — ослики. Время от времени попадались повозки с сосновыми дровами.

Вдалеке маячила еще одна горная цепь. Не доехав до гор, они свернули на юг и скоро приблизились к городку, в центре которого виднелся медный свод базилики, а вокруг раскинулись зеленые орошаемые поля.

— Это Салтека,— сообщил Холливеллу Боб Коул. — Здесь мы с вами получим теканские визы.

— Салтека-де-лас-Паломас,— уточнил Том Зекка.

Он поставил машину рядом с базиликой; отсюда было видно, что свод скреплен деревянными стропилами. Мальчишки, следившие за приехавшими, подошли к автомобилю.

Выбрав самого рослого из мальчишек, Том Зекка велел ему стеречь машину.

Они устало зашагали мимо нотариальных и адвокатских контор по улице, где находилось консульство Текана. Звонить пришлось долго; наконец девочка-подросток открыла дверь и впустила их в гостиную, полную тропических растений и обдуваемую со всех сторон электрическими вентиляторами. В смежной комнате у цветного телевизора сидели сытые ухоженные дети и смотрели мультфильм.

Через некоторое время к ним вышла жена консула, довольно привлекательная женщина в длинной облегающей юбке. Консульша провела их в рабочий кабинет, где стоял монументальный письменный стол с пишущей машинкой «Олимпия». На стене позади стола висело распятие и портрет прославленного президента Текана.

Получить теканские визы оказалось непросто. Трудность заключалась в том, что сейчас время сиесты, что консул в отъезде, что скоро великий пост, что сегодня неудачно расположены небесные светила и не та фаза луны. Холливелл слушал, устремив на консульшу недоуменный взгляд, а Коул сочувственно кивал головой. Когда консульша, меланхолично улыбаясь, закончила перечисление обстоятельств, делающих выдачу виз невозможной, Холливелл опять начал как ни в чем не бывало объяснять, почему он должен незамедлительно отправиться в Текан и какими неприятностями чревато для него и для страны его несвоевременное прибытие на место назначения. При этом он намекнул, что «наверху» будут недовольны, если он задержится в Салтеке. Зекка, желая помочь ему, показал консульше свой паспорт в красной обложке. Холливелл догадался, что паспорт у него дипломатический.

В конце концов все свелось к деньгам. Тот, кто желает во что бы то ни стало пересечь границу Текана, платит за визы в два раза больше, чем установлено таксой. То есть не шесть, а двенадцать долларов.

Холливелл и Коул выложили на стол двадцать четыре доллара. Дама, не взглянув на деньги, села за машинку, заполнила карточки и поставила на обоих паспортах визы. Дети столпились в дверях, чтобы посмотреть, как работает их мать. Когда американцы направились к выходу, консульша прогнала детей обратно в комнату, где стоял телевизор. Двадцать четыре доллара по-прежнему лежали на столе.

Когда Холливелл и его спутники возвратились на главную площадь, мальчишек возле автомобиля уже не было. Тарелки на колесах остались целы. Зекка поднял капот, чтобы проверить, не украли ли аккумулятор. Нет, не украли, все было в порядке.

Перед выездом из города они остановились у заправочной станции, наполнили бак лучшим бензином и выпили по бутылочке кока-колы.

Полчаса спустя их взорам предстали разноцветные строения, указывающие на близость границы, вереница грузовиков и, что самое неожиданное в этой пустынной местности, шеренги людей на шоссе.

Казалось, граница между Компостелой и Теканом проходит на стыке разных общественных систем. В зоне Компостелы стояли бок о бок три зеленых строения, на крыше одного из них безжизненно свисал с облупленного древка государственный флаг. Приграничная часть шоссе была покрыта ограничителями скорости в виде валиков, выкрашенных в зеленую полоску. На стороне Текана такие же валики были выкрашены в желтую полоску. В Компостеле четверо пограничников в зеленой тропической форме и фуражках по образцу вермахтовских сидели со скучающим видом под навесом перед таможней, а пятый производил досмотр грузовика, груженного керосиновыми печками. Судя по его ленивым движениям, работу эту он

выполнял без особого рвения и, стало быть, курса таможенного дела в рамках программы американской помощи не проходил.

Зато на теканской стороне царило большое оживление. У обочины дороги стояло штук шесть грузовиков, возле которых хлопотали одетые в комбинезоны люди с отвертками и электрическими фонариками. Напряженная атмосфера по ту сторону границы подчеркивалась присутствием Национальной гвардии; тщательно отглаженные, без единого пятнышка мундиры гвардейцев напоминали форменную одежду американских парашютистов. В этом обмундировании они совсем не походили на обычных таможенных инспекторов. Гвардейцы обыскивали построенных в ряд лицом к Компостеле испуганных молодых иностранцев, у ног которых лежали вьюки и узлы.

Когда передние колеса машины перевалили через первый ограничительный валик, Зекка затормозил. До юных странников оставалось всего несколько футов, так что те из них, кто стоял ближе к «хонде», могли переглядываться с ее пассажирами.

— Не так-то просто въехать в Текан, если ваша внешность кажется им подозрительной,— сказал Зекка.— А еще труднее оттуда выбраться.

Всем происходящим распоряжался сержант. Был он чернокож, хотя в этой части Текана чернокожих нет. По заведенному порядку Национальная гвардия посылает служащих жандармерии как можно дальше от тех мест, где они родились, поэтому не так уж трудно догадаться, где ты будешь служить: страна небольшая, вся ее территория — это горная цепь и две долины.

Сержант уже по второму разу обыскивал хиппующих гринго, отпуская в их адрес разные нелестные замечания. Время от времени он хватал кого-нибудь из парней за длинные космы, выводил из строя, поглаживал по голове, издавал губами чмокающие звуки, выкрикивал ругательства и вталкивал обратно в строй. Он то и дело сплевывал и презрительно, без тени добродушия ухмылялся. Подойдя к какой-нибудь приглянувшейся ему девушке, останавливался как бы в раздумье и ощупывал ее руками. Никто не возмущался.

— Вот черт,— пробурчал Зекка.— Видимо, у них нашли травку.

— Должен же кто-то призвать этого типа к порядку,— возмутилась Мари.

На противоположной стороне шоссе разыгрывалась другая драма. В канаве, что тянулась как раз по границе между двумя государствами, билась запутавшаяся в проволоке корова, а теканские мальчишки, которые обычно околачиваются возле таможни, торгуют прохладительными напитками или попрошайничают, развлекались, бросая в корову камни и, видимо, вознамерившись забить ее до смерти. Это занятие так увлекло их, что на автомобиль Зекки они не обратили никакого внимания.

Корова, подобрав под себя задние ноги, беспомощно скребла передними копытами землю и цеплялась за проволоку, а тем временем в нее летел град камней. Когда у мальчишек камней уже не оставалось, они бежали в песчаные дюны и приносили еще. Каждый удар сопровождался слабым мычанием. Из глаз и ноздрей у коровы закапала кровь.

— Вы посмотрите, что эти мерзавцы делают,— вскрикнула Мари.— Неужели их нельзя унять?

— Можно,— сказал Том.— Дайте мне ваши паспорта.— Взяв все четыре паспорта, он вылез из машины и направился к компостельским пограничникам.

Холливелл и Коул продолжали сидеть, наблюдая, как истязают корову. В эту минуту один из мальчишек вытер ладони и подошел к машине. В руке у него была стеклянная банка, которую он сунул

через открытое окно прямо в лицо Холливеллу. В банке шевелился невиданных размеров скорпион.

— Два доллар,— сказал мальчуган.

— Нет,— отшатнулся Холливелл. — Gracias. Спасибо. — Он вдруг ощутил реальную опасность. Если не дать этому мальчишке два доллара, он, чего доброго, выбросит скорпиона прямо ему на грудь.

— Один доллар,— предложил мальчуган.

Мари Зекка пронзительно вскрикнула.

— Нет,— повторил Холливелл. — Otra vez. В другой раз.

Мальчишка фыркнул и убежал к своим товарищам.

— Наверное, дюймов девять длины,— сказала Мари.

— Нет, поменьше,— возразил Боб Коул.

Вернулся с паспортами Том Зекка.

— Что случилось?

— Один парнишка хотел продать мне скорпиона,— сообщил Холливелл.

— Да, с ними надо держать ухо востро. Здесь этого добра полно.

— Для них скорпион — вроде сувенира,— пошутил Боб Коул. — «Привет из Техана».

Мари Зекка резко повернулась к мужу.

— Что же это такое? Те паршивцы убивают беззащитное животное, а эта сволочь глумится над женщинами и детьми. Неужели нельзя положить этому конец?

— Погоди,— сказал Зекка. Он отдал Холливеллу и Коулу их паспорта, завел машину и проехал немного вперед. Это нарушение государственной границы привлекло внимание сержанта; он подбоченился и ленивой, самоуверенной походкой направился в их сторону.

— Buenas tardes, sargente [1],— поспешно приветствовал его Том Зекка и протянул свой красный паспорт.

Гвардеец, не снимая зеркальных солнечных очков, заглянул в паспорт и тотчас по-военному вытянулся и энергично взял под козырек.

— Señor Capitano, bienvenidos a su casa [2].

Зекка поблагодарил его за теплую встречу и отсалютовал таким же энергичным жестом.

— А как же корова? — тихо спросила его Мари.

Холливелл посмотрел на юных европейцев и североамериканцев, ждавших, когда им разрешат наконец пересечь границу. Некоторые из них — и девушки и юноши — плакали.

— Сержант,— сказал Том Зекка. — Вы знаете, что такое женщины. Очень уж волнует мою супругу судьба вон той несчастной коровы. Нельзя ли что-нибудь сделать? — Говорил он по-испански свободно, хотя и с сильным акцентом.

— Capitano,— ухмыльнулся гвардеец,— claro que sí [3].

Он направился к канаве, на ходу вытаскивая из-за пояса автоматический пистолет, и трижды выстрелил поверх головы старшего из подростков. Молодые гринго съежились от испуга, а мальчишки разбежались кто куда в поисках укрытия.

Ошалевшая от пальбы корова бешеным рывком высвободилась из проволочного плена, выскочила из канавы и, почуяв себя на свободе, помчалась галопом на Панамериканскую магистраль. Компостельские пограничники с бранью бросились на нее, но она увернулась и побрела посередине шоссе в сторону столицы.

Зекка благодарно помахал сержанту рукой.

---

[1] Добрый день, сержант *(исп.)*.

[2] Господин капитан, добро пожаловать домой *(исп.)*.

[3] Конечно, можно *(исп.)*.

— Que le vaya bien, capitano [1],— крикнул сержант и пошел обратно к трепещущим путешественникам.

«Хонда» и ее пассажиры, провожаемые тоскливыми взглядами пленников, тронулись в путь.

— Да, не сладко этим ребятам,— вздохнул Зекка. — Но я не могу вмешиваться.

— Не у всех же нашли наркотики,— сказал Холливелл.

— Не у всех. Нашли только у одного или двух, не больше. Остальных он выпустит, когда вволю натешится.

— Эти гвардейцы — настоящие скоты,— сказала Мари.

— А что будет с теми, у кого нашли наркотики? — спросил Боб Коул.

— Об этом лучше не думать,— ответил Зекка.— Зря они покупали здесь травку. Возможно, их и выдал тот, у кого они покупали.

— Я не знал, что вы капитан,— сказал немного погодя Холливелл.

— Не знали, потому что я вам не говорил. Да, я капитан. Армия США. Служу в военной миссии в Сан-Исидро.

Боб Коул пристально посмотрел на него.

— А вы не чувствуете себя немножко... — Коул запнулся.

— Немножко чего, мистер Коул? Чувствую я себя превосходно.

— О'кей,— кивнул Коул и повернулся к Холливеллу: — Представляете, каково им сейчас? Особенно университетским ребятам. Стоять, выслушивать оскорбления и ждать, когда эти сволочи кончат рыться в твоих вещах.

— Представляю,— ответил Холливелл. — Видел во сне.

— Но то, что мы сейчас видели,— вовсе не сон.

— Верно,— сказал Зекка.— На границе Текана это обычная картина.

Дорога вела на юг. Дул ветер, вздымая пыльные вихри, так что то и дело приходилось поднимать стекла. С каждым километром земля становилась все суше и бесплоднее. Вдали на юго-западе показался приземистый бурый вулкан; над ним вился легкий дымок.

Боб Коул не сводил глаз с темно-зеленых холмов, видневшихся слева от шоссе, на фоне далекой сьерры.

— Вон там — кофейные плантации,— пояснил он немного погодя.

— Верно,— подтвердил Том Зекка. — Говорят, кофе хороший и дешевый.

— Значит, вот в этих краях и бунтуют люди,— заключил Коул.

— Почему вы так думаете? — холодно спросил Зекка.

— Насколько я понимаю, в этой стране где кофе, там и бунты. Одно с другим связано.

— В этом есть доля правды,— согласился Том.

— Стало быть, я не ошибаюсь?

— А вы что слышали?

— Слышал — бунтуют. В районе Эстремадуры. Индейцы.

— Кто вам сказал?

Коул взглянул на Зекку и устало усмехнулся, показав желтые зубы.

— Прочел на прошлой неделе заметку в международном издании «Майами геральд». Сообщает Ассошиэйтед Пресс. Кажется, из Сан-Хосе. Вы, должно быть, видели.

— Видел,— сказал Зекка. — Возможно, не лишена основания.

— Так вот. — Коул снова перевел взгляд на холмы. — Туда я и думаю податься.

— Я бы не советовал.

— Я тоже,— сказала Мари. — Бывала я в тех краях. На вашем месте я бы воздержалась, по крайней мере сейчас.

---

[1] Счастливого пути, капитан *(исп.)*.

— Я же просто делаю свое дело. А вы — свое. А мистер Холливелл — свое.

Какое дело? — подумал Холливелл. Что он имеет в виду?

— Зная, что вы там, я не был бы за вас спокоен,— сказал Том.— И в лучшие-то времена индейцы атапа относились к иностранцам с неприязнью. Не такие они кроткие, как кажется. А сейчас — особенно.

— Уж не советуете ли вы мне аккредитоваться при посольстве в Сан-Исидро?

— Ей-богу, мистер Коул, я не знаю, что вам посоветовать. Только не ездите туда.

— Понимаю,— бросил Коул.

Они молча ехали по пыльному плато в сторону моря. Машина поравнялась с вулканом, а впереди возник второй. Вулканы одиноко стояли над унылой равниной — голые, лишенные гармонии, настолько безобразные, что казались именно тем, чем и были на самом деле,— случайными наростами на пыльной щербатой коже Текана. Пейзаж, что называется, memento mori [1], будто на дне высохшего океана.

— Жутко,— сказал Холливелл.

Том и Мари засмеялись.

— А мы думали, что только нам жутко,— сказала Мари.

— Вулканы — гордость теканцев,— сообщил Том. — Они изображены на государственном флаге и на государственной печати. Разбросаны по всей территории с севера на юг. Первое, о чем вас будут спрашивать здесь коренные жители,— видели ли вы вулканы.

— Нечто вроде ключа к сердцу страны?

— Сравнение чересчур поэтичное. Не думаю, чтобы вулканы считались здесь ключом к сердцу. Достопримечательности, на которые туристы пялят глаза,— вот и все. Они здесь, они огромны, они уникальны, и теканцы ими гордятся. Должны гордиться.

— А что за стихи пишет их национальный поэт? Воспевает вулканы?

— Национального поэта у них, в сущности, нет. У теканцев никогда не было своего Рубена Дарио. И они никогда в нем не нуждались.

— В их гимне есть строки о вулканах,— сказала Мари.— Не помню, как они звучат. Слова довольно банальные.

— Первая часть Первой симфонии Брамса,— сказал Том. — Это их национальный гимн. Очень волнующая музыка. В старые времена, до того как здесь высадилась морская пехота, теканские солдаты маршировали под нее гусиным шагом. Морские пехотинцы положили этому конец.

На шоссе стали чаще появляться автобусы. Чаще встречались грунтовые дороги и указатели с названиями окрестных деревень. Том сбавил скорость и сигналил на поворотах, остерегаясь неожиданного появления детей, или коров, или осликов, запряженных в повозки, которых по мере приближения к столице становилось все больше. Время от времени им попадался одинокий индеец, согнувшийся под тяжестью вязанки дров. Люди, мимо которых проносилась машина, смотрели в землю.

— Неужели ради нашего благополучия люди здесь должны страдать? — как всегда нерешительно, спросил Коул.

— Я всего лишь солдат,— сказал Зекка,— но думаю, что ответ будет отрицательный. Тут и мудрить нечего.

— Не так все просто,— живо возразила Мари. — Вопрос сложнее, чем мы думаем.

— А как по-вашему, сэр? — Коул повернулся к Холливеллу. — Вы в некотором роде специалист. Как бы вы на него ответили?

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

— Должен признаться,— сказал Холливелл,— что я в этих делах не разбираюсь. В моих познаниях еще немало пробелов. Так что не знаю, что вам ответить.

— Приходится все же ответить «нет»,— настаивал Коул. — Иного ответа мы дать не можем. Потому что если ради нашего благополучия большая часть человечества живет в нищете, то кем мы становимся в глазах этих людей?

— Вампирами,— ответил Холливелл.

— А как вы поступите, если убедитесь, что это правда?

— Я? Не так уж важно, как я поступлю. Буду жить, как жил.

— А вы, капитан?

Зекка снял правую руку с рулевого колеса и повернулся боком к Коулу. Мари не спускала глаз с дороги.

— Уж вы не агитатор ли, мистер Коул? — насмешливо спросил Зекка.

— Вовсе нет,— ответил Коул.

Они приближались к Сан-Исидро, теканской столице. Над низкими холмами кофейного края садилось солнце, очертания вулканов сделались мягче, и Холливелл вдруг ощутил приближение чего-то коварного и грозного. Они задержались. После захода солнца по шоссе пойдет встречный грузовой транспорт и ехать будет смертельно опасно.

— Что вы делали во Вьетнаме? — спросил Холливелл у Коула.

Наступила настороженная тишина.

— В армии служил,— неохотно ответил Коул. — Три года. Остался на сверхсрочную. Начал вторым лейтенантом в пехотном взводе. Потом в штабе служил, в разведке. Потом... вернулся. В составе службы американской помощи. Потом приезжал уже в качестве корреспондента.

— Вам, должно быть, там нравилось,— сказал Зекка.

— В каком-то смысле — да,— ответил Коул. — Очень нравилось.

Холливелл спросил Коула, часто ли он бывал в районе дельты Меконга. Сам он там бывал. Посетил остров и познакомился с «кокосовым монахом» [1].

— В тюрьме он сейчас, этот монах,— сообщил Том.— За решетку его упрятали.

— Если это правда, то они сделали ошибку,— сказал Коул.

— Правда,— вырвалось у Холливелла.— И никакой ошибки тут не было. Они знают, что делают.

— Еще бы,— сказал Зекка.

Коул молча пожал плечами и стал еще угрюмее.

Они проехали среди молодых банановых деревьев мимо чьей-то летней резиденции — маленькой виллы, увешанной японскими фонариками. Внизу, на расстоянии примерно мили от озера, виднелся резервуар, окруженный бетонной стеной.

— Этот резервуар наша морская пехота еще в тридцатые годы соорудила,— пояснил Зекка. — Так что воду здесь можно пить.

— Хоть что-нибудь,— сказала Мари. — Все-таки от нашего присутствия здесь не один только вред.

Коул встрепенулся, оторвавшись от своих мыслей. Холливелл закурил.

Панамериканская автострада, пройдя по берегу озера мимо обветшалых викторианских особняков, которые странно было видеть в этих местах, сошла на нет, разделившись на немощеные узкие улочки.

Сан-Исидро, лежащий в складке приозерной долины, становился недосягаем для косых лучей солнца. Тесные улицы близ озера как-то сразу потемнели, но жизнь на них продолжалась, гул с тру-

[1] Прозвище Нгуен Тхань Нама (род. в 1909 г.), создателя одного из синкретических вероучений.

дом различимой толпы был явственно слышен. Зекка, медленно ведя машину, высунулся из окна, потому что сквозь пыль и ветровое стекло, заляпанное разбившимися насекомыми, ничего разглядеть не мог.

На углах бродячие торговцы с ручными тележками продавали жареную кукурузу, по улицам семьями шли люди, готовые в любой момент прижаться к сырой стене, чтобы пропустить проезжающий автомобиль. На одном из сравнительно светлых перекрестков молодые парни пили ром; кто-то играл на гитаре, остальные подпевали. Музыка слышалась повсюду, но атмосфера на улицах была не праздничная, а напряженная, лихорадочная. Прислушиваясь к громким голосам, раздававшимся в сгущающихся сумерках, Холливелл не мог разобрать ни слова: люди говорили на каком-то теканском диалекте. И он и Коул настороженно молчали.

— В поздние часы на этих улицах страшновато,— сказала Мари.

В воздухе запахло марихуаной. Для Холливелла это было уже нечто новое: раньше в южноамериканском городе он такого не наблюдал. С соседней улицы донесся пронзительный крик.

— Здесь и сейчас, я вижу, довольно весело,— заметил он.

Зекка втянул голову обратно и осторожно повернул за угол.

— В этой части города всегда весело. Гулянье хоть куда.

В закрытое окно машины — с той стороны, где сидел Коул,— кто-то стрельнул из водяного пистолета. По стеклу рядом с Коулом потекла струйка грязной воды.

— Послушайте, Коул! — сказал Зекка.— Здесь много выходцев из Эстремадуры. Можете и у них кое-что узнать, если осторожно порасспросите. В дневное время.

— Нет, в самой Эстремадуре я все же узна́ю больше. А здесь я буду выглядеть белой вороной. За мной будут ходить толпами.

— Толпами и там будут ходить,— возразил Зекка. Не ясно было, к кому относятся эти слова — к Текану или к Коулу.

К удивлению Холливелла, на улочках было довольно много автомобилей — в основном американского производства и большей частью почти совсем новых.

Они миновали квартал открытых пассажей с магазинами и выехали на кафедральную площадь, в центре которой стоял внушительных размеров обелиск, а затем на широкий, обсаженный зеленью проспект, соединяющий кафедральную площадь с другой площадью, где светились неоновые вывески и стояли высокие административные здания. Во всех окнах горел свет.

На одной стороне проспекта росли карликовые деревья, отгороженные от широкого чистого тротуара решетчатым забором. Другая сторона была более озелененной, но там поверх забора из частой проволочной сетки виднелись только верхушки деревьев — все прочее заслоняла глухая стена кактусов.

— Справа от нас,— сообщил Том Зекка,— за проволочным забором, кактусами и немецкими овчарками находится президентский дворец. А дальше — Центральный парк и зверинец со знаменитой трехногой коровой. В парке сейчас готовятся ко сну около десяти тысяч человек. Эти люди в худшем положении, чем те, кто живет в Мамалаго. Трещины на обелиске — последствие землетрясения, которое произошло здесь десять лет назад. Население Мамалаго перекочевало в парк, и часть его так там и осталась. Тем временем в Мамалаго с холмов пришли люди и заняли брошенные дома. Если поедете в Мамалаго, то убедитесь, что жизнь там — не сахар, но все же лучше, чем в парке. А жизнь в Мамалаго и парке, в свою очередь, лучше, чем в бедняцких поселках на западном склоне...

— А в честь чего этот обелиск? — спросил Коул.

— Обычная дребедень,— сказал Зекка.— В честь победы, независимости, успешной борьбы. Текан всегда побеждает. Он и вторую мировую войну выиграл.

Когда ехали мимо дворцовой караульной, запах гниющих растений и плохого бензина, сторожевая будка, смуглые щеголевато одетые солдаты в касках военной полиции так живо напомнили Холливеллу Вьетнам, что он не сомневался: то же испытывают сейчас и его спутники.

Никто не проронил ни слова.

Когда они сворачивали в конце проспекта на оживленную улицу, Холливелл был почти уверен, что увидит сейчас вьетнамские рестораны и кинотеатр, где показывают какой-нибудь низкопробный заграничный боевик с каратэ, но вместо них увидел магазины грампластинок, farmacias [1] и лотки с жареными орешками и empanadas [2]; в воздухе пахло не рыбными соусами и фимиамом, а сигарами, помадой для волос и пылью. Но было здесь и кое-что общее с Вьетнамом: отсутствующие взгляды прохожих, беспорядочное уличное движение. К дверям домов жались нищие, держа перед собой бумажные пакетики с сигаретами или фруктовой жвачкой или протягивая пустые коричневые ладони. За автовокзалом — рынок, обязательно рынок: что в Дананге или Гуэ, то и в Текане.

— Поближе к автовокзалу,— попросил Коул.— Там я и выйду.

— Уж не собираетесь ли вы в Эстремадуру сегодня? — удивилась Мари. — Вы же поздно туда приедете. Вам негде будет переночевать.

— Через два часа прямой автобус,— сказал Коул. — А пока поброжу по городу.

— Переночуйте у нас,— предложила Мари. Том согласно кивнул.

— Нет, благодарю,— сказал Коул. — Послушайте,— обратился он к Тому,— кто-то в нашем консульстве, очевидно, должен знать, где я буду находиться. Если это так, скажите им, о'кей?

— Вы делаете ошибку,— сказал Зекка. — Таково мнение консульства. Я говорю от его имени.

— Будь что будет,— сказал Коул и вышел из машины. Его тотчас окружили нищие.

— Как вам это нравится? — возмутилась Мари. — Он не в своем уме.

Зекка осторожно вывел машину на дорогу и обогнул автовокзал.

— Он порвал со своей женой,— сообщил Том. — Помнится, что-то в этом роде он мне говорил. Но парень совсем рехнулся. Его же там на куски изрубят. Да и здесь лучше не отходить от автовокзала, иначе вообще никуда не уедешь. Этот город — не для ночных прогулок.

Дом Тома и Мари находился на одной из тех улиц, где обитают состоятельные семьи. Перед домами были разбиты палисадники, огороженные невысокими оштукатуренными стенами. В конце этой уютной улицы начинались лачуги бедняков, отделенные от цитадели буржуазного благополучия колючей проволокой, ржавыми знаками «Проезд запрещен» и кусками листового железа. Пока въезжали в гараж и вынимали вещи, улица из конца в конец оглашалась лаем невидимых собак.

У входа в дом их встретила молодая улыбающаяся служанка. Она взяла столько вещей, сколько могла унести, и прошла впереди всех в гостиную.

Дом был построен недавно, но в строгом колониальном стиле и производил приятное впечатление. Изразцы, судя по рисунку, привезли сюда из Испании. Потолочные брусья из выдержанного дуба скреплены на стыках металлическими пластинами.

---

[1] Аптеки *(исп.)*.

[2] Кулебякой *(исп.)*.

Все убранство этого небольшого, без претензий на роскошь домика говорило о том, что здесь живут американцы.

— Можно поехать куда-нибудь поужинать,— предложила Мари,— или я сама приготовлю перекусить на скорую руку. Скажем, яичницу с ветчиной.

— Есть тут одно солидное заведение,— сообщил Зекка.— «Ла Финка», в нескольких кварталах от нас. Бифштекс по-местному. Muy Auténtico. Очень недурно. Много музыки, танцы с красными платками.

— Если вы обо мне беспокоитесь, то я не голоден,— сказал Холливелл.

— Да и я не так уж проголодался,— сказал Зекка.— Даже странно.

— Короче говоря, никто есть не хочет,— заключила Мари.

— Выходит, что так,— сказал Том.— Но выпить, я думаю, никто не откажется.

Холливелл благодарно кивнул.

Они перешли в садик, окруженный увитой виноградом стеной; там росли бананы и стоял зеленый металлический стол и несколько стульев. Мари принесла бокалы и две большие бутылки «маргариты».

— Знаете, как я однажды перепугалась,— сказала она, наполняя бокалы.— Сидела вот здесь, а мне на колени шлепнулась игуана.

Том взял у нее бокал.

— А я ничего не видел. На работе был. Могу только догадываться, как все это случилось.

— Помню, полицейские пришли,— продолжала Мари.— Люди высыпали на улицу, крестились...

Они помолчали, потом Зекка сказал:

— Подозрительный тип этот Коул.

Холливеллу показалось странным, что капитан Зекка вздумал делиться с ним своими сомнениями. Он взглянул через стол на Мари; та грустно покачала головой. Немного расслабились, только и всего, заключил он.

— По-моему, Коул слишком много мнит о себе и о своей деятельности,— сказал Холливелл.

— Вы думаете, он воображает себя Режи Дебре? [1]

— Нет. Я имею в виду нечто иное.

— Нечто иное? Это иное меня может и не касаться. Иное — это человек, опустошенный войной во Вьетнаме.

— Таких, как мы, много,— сказал Холливелл.

— Вы относите себя к опустошенным? — удивилась Мари и посмотрела на мужа.— Я бы этого не сказала.

— Если не опустошен, то опален изрядно,— уточнил Холливелл.

— Всем, кто оттуда вернулся, немножко не по себе,— сказал Том, упираясь ногами в шаткий столик.— Нет ничего бессмысленней того, что мы, Соединенные Штаты, там делали. Это уж несомненно.

— Мы и тогда еще это говорили,— сказала Мари.— Но никто нас не слушал, а потом было уже поздно.

— Да,— согласился Холливелл.— Говорили, но нас не слушали.

— Вашей «крышей» была программа американской помощи? — спросил Зекка.

Холливеллу стало страшно. Тут какое-то недоразумение.

— Это была не «крыша»,— возразил он.— Я не был кадровым разведчиком и даже не давал подписки о сотрудничестве. Знаете, как это делается.— Холливелл не сводил глаз со своего бокала. Зекка наблюдал за ним.— Приходит к вам человек. У него в Сайгоне подружка, он ищет предлог задержаться в городе и поэтому дол-

[1] Режи Дебре (род. в 1940 г.) — французский литератор и политический деятель, в 60-е годы тесно связанный с революционным движением в Латинской Америке.

жен придумать себе какую-нибудь работу, чтобы написать потом отчет. А что знает антрополог? Семейные отношения между дядей и племянником, между двоюродными братьями... К делу ведь все можно подшить. Никому такая информация не нужна, никто на его отчет, возможно, даже не взглянет. Но ведь это в конечном счете и есть разведка.

— Ну и ну! — покачал головой Том.— Неудивительно, что с такими, как вы, мы проиграли эту треклятую войну во Вьетнаме.

Все засмеялись.

— Не обижайтесь,— сказал Зекка, дружески касаясь его руки.— Это я так, пошутил. Вы парень что надо.

— Надеюсь, у нашего друга Коула все обойдется. Он меня немножко беспокоит.

— А что вы о нем скажете, Холливелл? По-вашему, он шпион?

— Вы, я полагаю, знаете больше моего,— устало проговорил Холливелл.

— Понимаете, док Холливелл... Я тоже знаю мало, потому что еще не видел почту. Такая уж тут система. Может, завтра с диппочтой придут какие-нибудь сведения.

Может, и обо мне придут сведения, подумал Холливелл.

— Что ж, завтра мы узнаем, чем дышат эти недовольные macheteros. Посочувствуйте Бобу, ребята.

— Мы сочувствуем,— сказал Холливелл.

— Несчастный, никчемный выродок,— пробормотал Зекка, выливая себе в бокал остатки «маргариты».— Не знает, на кого работает, на чьей стороне стоит. Если он и наш, то не на все сто. Такие пижоны сплошь да рядом оказываются двойными агентами, а это самые опасные твари.

— Зато у них век короткий,— сказала Мари.

— Только это нас и утешает,— отозвался Том.

Мари откупорила вторую бутылку.

— Что ни говори, а жизнь там у них незавидная. Не верится, что так можно вообще существовать.

— А ты верь,— сказал капитан.— Из поколения в поколение они питаются бобами и ящерицами, выращивая кофе для своих ублюдков-правителей. А когда мы нашли там медь, крестьян согнали с этой земли в город, где им приходится нищенствовать или голодать. Могу ли я осуждать Коула? Естественно, что эти люди оказывают сопротивление.

— А они действительно его оказывают?

— Вы спрашиваете, насколько оно серьезно? К сожалению, я этого не знаю. Хотя мне и полагается знать. На полоумных вроде Коула я рассчитывать не могу. Как-нибудь тряхну стариной и сам поеду узнать. Полечу туда на вертолете, а они встретят меня во всеоружии. Сразу все и узнаю.

— Не волнуйся,— сказала Мари.— Если начнется заваруха, до нас и здесь доберутся. Мы фаталисты.

Они принялись за вторую бутылку.

— Ну, а что вам все-таки известно? — спросил Холливелл.— Скажите, если это не тайна.

— Скажу. В стране повсеместное недовольство, причем вполне оправданное. Особенно в горах, где живут индейцы племени атапа. Они умеют обращаться с оружием, но мы точно не знаем, есть ли у них оружие и какое. Если у них есть ракеты «земля — воздух» плюс запасы продовольствия, то я генералу не завидую. На восточном побережье вам скажут, что там все спокойно, никаких волнений не ожидается. Но это, по-моему, иллюзия: оружие попадает прежде всего на восточное побережье. На тихоокеанское побережье доставлять оружие по воздуху трудно, потому что мы обеспечили

правительственные войска мощной авиацией и научили пользоваться радарными установками.

— Все вроде нормально,— сказал Холливелл.

— А вот и нет. Когда эти болваны, здешние правители, прикарманили медь, вся оппозиция объединилась. Уровень безработицы в стране — около шестидесяти процентов. Улицы заполнены нищими, которым некуда приложить руки, вот они и тянут что плохо лежит, а потом идут в кино на фильмы с каратэ. Из этих парней можно собрать порядочное войско. Конечно, это будет не армия, а сброд, но ведь и его придется уничтожать физически, хотя бы как пушечное мясо. Вследствие чего наш генерал предстанет в глазах человечества еще бóльшим подонком. Вопрос в том, сохранит ли Гвардия верность? Думаю, сохранит.

— И когда Гвардия начнет действовать, мы будем помогать ей в качестве военных советников? — спросил Холливелл.

— Мистер Холливелл! Доктор! Ставя этих людей у власти, мы преследовали собственные интересы. Для этого и обучили Гвардию. Толстый Фрэнк, наш посол, считает президента и его родственников людьми американского типа.

— В этом есть доля правды,— сказала Мари.

— Ты коммунистка,— бросил он ей.— На посольских вечерах поешь Guantanamera [1].

— Вполголоса,— сказала Мари.— Если бы Толстый Фрэнк и услышал, то не разобрал бы.

— Ладно. У Гвардии будет наше оружие и наша поддержка. Не прямая, прикрытая, но будет.

— А как тогда быть честным ребятам вроде нас с вами, капитан Зекка? — спросил Холливелл.

Зекка выпил еще «маргариты».

— Теперь уже поздно. Поздно, понимаете? Слишком далеко зашло. Если мы их не поддержим, в Пуэрто-Альварадо появится база для русских подводных лодок. а то и стартовая площадка для ракет... Меня здесь к тому времени уже не будет. Срок мой кончается. Пусть присылают сюда молодчиков, которым нравятся методы Гвардии. Охотников за головами, кубинских эмигрантов, карателей. И тех парней, которые стараются угодить этим скотам в шитых на заказ красных мундирах.

— А вас куда назначат?

— Не знаю,— ответил Зекка.— Во всяком случае, не в такую страну, как эта. Они передо мной в долгу.

— Нельзя всех делить только на добрых и злодеев,— сказала Мари.— Не такие уж мы скверные. Так только святоши рассуждают. Лицемеры.

— Не обзывай его лицемером,— сказал Зекка.

— Я не его имела в виду,— возразила Мари, и Холливеллу показалось, что она сейчас заплачет.— Я не вас имела в виду. С вами-то я согласна. И не Коула, хотя Коул — святоша.

— Надо всегда надеяться на лучшее,— сказал Зекка.

Мари кивнула:

— Надо же во что-то верить.

— Только святоши во что-то верят, Мари,— сказал капитан.

— Ваше здоровье.— Мари подняла бокал.

— Скажу вам вот что,— вдруг начал капитан.— Во Вьетнаме я два года прослужил в разведке. За это время мне не раз приходилось допрашивать пленных, но я не позволял «арвинам» [2] пытать их. Я говорю о пытках в прямом смысле. Лично я никогда никого не пытал и вообще не делал ничего такого, что считал жестоким и низким. Вы мне верите?

---

[1] Кубинская народная песня на стихи Хосе Марти.

[2] Офицеры армии марионеточного вьетнамского режима.

— Конечно,— ответил Холливелл.

— Я всегда был против расстрелов гражданского населения — даже на Севере. Не отрезал ушей, не поджигал хижин и никогда не поощрял этого. Воевал достойно, и мои люди — тоже. Старался как мог, сэр, хотя в моем положении это было нелегко. И вообще я считал эту войну бессмысленной и бесчеловечной по самой своей сути. Но лично я,— Зекка прижал руки к груди,— лично я ничем себя не запятнал.

— Это правда,— сказала Мари.

— Я не хвастаюсь своими добродетелями, не считаю себя образцом, но понятие чести мне не чуждо.

— Мне тоже,— сказал Холливелл.

— Я послан сюда не проповеди читать крестьянам, не птичек кормить и не проводить какую-то там аграрную реформу. Я послан изучать обстановку в стране с военной точки зрения. Применительно к требованиям внутриконтинентальной обороны.

— Понимаю,— сказал Холливелл.— И вам начинает казаться, что вы роняете свое достоинство?

— Нет,— поспешно ответил Зекка.— Пока нет.

— Простите за нескромный вопрос,— сказал Холливелл.— Неужели можно служить то в одной дыре, опекаемой Америкой, то в другой, действуя вкупе с ее правящим классом, вооружая его, обучая новобранцев карательным операциям, и при этом не компрометировать присягу и не ронять своего достоинства? У меня это в голове не укладывается.

— Вы не знаете фактов, мистер,— сказала Мари.

— Кое-какие факты мне известны,— возразил Холливелл.— И не только те, которые вы сами привели.

— Что́ вам известно, я знаю...— сказал Зекка.

Холливелл оперся руками на металлический столик. Пожалуй, слишком уж он разоткровенничался.

— ...И я молю бога, чтобы к тому времени, когда они сгонят этих людей с земли и завладеют ее недрами, меня перевели куда-нибудь в другое место. Согласен, грязное это дело. Отвратительное. Но ведь надо смотреть на вещи шире, надо видеть...

— Перспективу.

— Перспективу,— повторил Зекка с мрачной улыбкой.— Благодарю вас, сэр. Но вы не знаете, что здесь действительно происходит. И Коул не знает. Думает, что знает, но это не так. Он знает больше моего, но я знаю больше его, улавливаете мою мысль?

— По-моему, школу мы с вами прошли одинаковую.

— Мы с Томом учились в школе святого Бонавентуры,— сообщила Мари.— В Олеане, штат Нью-Йорк.

Капитан Зекка был пьян. Мари — тоже. И я — тоже, удовлетворенно подумал Холливелл.

— Сожалею,— вздохнул он,— но я не одобряю американского присутствия в Текане.

— Коул ни черта не знает. Фрэнк ни черта не знает. Генерал... обезьяна.— Зекка поднял глаза на Холливелла.— Вы, сэр... Я не знаю, что вы знаете. И гадать не буду. Но обстоятельства складываются не так, как хотят люди.

Холливелл пожал плечами.

— Я знаю, что мой спаситель живет во мне.

Том и Мари смотрели на него не мигая. Это протестантское изречение слишком резало слух. Том засмеялся:

— В стране моего деда, сэр, есть пословица. На его острове. Она гласит: «Доверять хорошо. Не доверять лучше».

— Салют,— сказала Мари, и они допили остатки «маргариты».

— За Сицилию,— сказал Холливелл.

С лица капитана вдруг сошло благодушное выражение.

— За цену соли,— сказал он,— и за десять смертных страданий. И это, в сущности, все, что мы знаем.

Мари вздохнула. Холливелл ждал, пока Зекка встанет из-за стола. На таких вот попойках ему приходилось бывать во Вьетнаме; порой они скверно кончались. Очень уж часто Зекка величает его «сэр», это плохой знак.

— В следующем месяце,— бормотал капитан Зекка, ведя Холливелла в его комнату,— нам нужно двадцать бочек зеленого пива. Здесь такие порядки, что лучше позаботиться заранее.

Комната, отведенная Холливеллу, была небольшая, удобная, с ванной.

— Зеленого пива! — засмеялась Мари.

— Спокойной ночи, док,— сказал капитан.— И счастливого пути.

— Присоединяюсь,— сказала Мари.

Холливелл с чувством поблагодарил их. Потом зашел в маленькую чистенькую ванную и умылся. Закрутив кран, явственно услышал их разговор.

— В марте день святого Патрика,— объявил капитан Зекка.

— Ты серьезно? — спросила она.

— Вполне. Надо найти человека, который выкрасил бы пиво в зеленый цвет и при этом никого не отравил.

— Да брось ты,— сказала Мари.

— Какого-нибудь фрица. В пивоварне «Германия» должен быть фриц. Может, он сумеет.

— Он подумает. что ты псих.

— Пускай думает.

— Здесь пиво красят старыми носками и ядовитым пасленом.

— Фрица мы найдем,— пообещал капитан Зекка.— И заставим его отпить из первой бочки.

Мари хихикнула. Было слышно, как они ложатся на кровать.

— Зеленое теканское пиво к дню святого Патрика. Это конец. Пожалуй, я перейду на agua mineral [1]. Возражений нет?

Засыпая, Холливелл все еще слышал их смех.

Из городка под названием Тапа Холливеллу предстояло отправиться на теплоходе по Рио-де-ла-Фе. От Сан-Исидро до Тапы его довезли Том и Мари. Если капитан Зекка и получил с утренней почтой какие-то сведения о нем, то не подавал виду. На пристани Том и Мари весело попрощались с ним за руку и заверили, что просто великолепно провели время. Холливелл, совсем уже трезвый, тоскливо смотрел вслед «хонде», удалявшейся по немощеной улице — единственной в Тапе — в сторону выщербленной, с крутыми подъемами и спусками горной дороги, ведущей в столицу.

Мальчик-индеец взял его чемодан и за четверть доллара перенес на борт. Каюта оказалась тесноватой, но очень чистой, с двумя дверями: одна, с медной ручкой, выходила в коридор, а другая, с жалюзи,— на палубу. Койка была застлана белоснежными накрахмаленными простынями; Холливелл обратил также внимание на потолочный вентилятор, противомоскитную сетку и кувшин с agua purificada [2]. Он достал из чемодана бутылку рома местного производства, налил в стакан и добавил воды. Выпив, расправил противомоскитную сетку, лег на койку и попытался заснуть.

Когда он снова вышел на палубу, уже светало. Над плоской равниной, покрытой лесом и лугами, где паслись тощие коровы, вставало солнце. Горы остались позади, на западе.

Спустя немного времени подошли к какому-то селению. Потом оказалось, что это большой город. На черном берегу на сваях стояли

[1] Минеральную воду *(исп.)*.

[2] Очищенная вода *(исп.)*.

некрашеные деревянные дома с покатыми крышами, а по сточным канавам текла в коричневую реку тягучая жидкость. Пуэрто-Альварадо.

На палубе появились бойкие людишки, предлагая ему на ломаном английском языке понести чемодан или почистить ботинки. Но ботинки Холливелла и без того ярко блестели. Он беспокойно огляделся; ему казалось, что на берегу его подстерегает опасность. Однако самое опасное, что он обнаружил, было присутствие Национальной гвардии — четырех солдат и офицера, от которого исходил аромат цветочного одеколона. Они смотрели на Холливелла с неприязнью. В нескольких шагах от них стоял рядом с «виллисом» времен второй мировой войны рослый темнокожий человек в белой рубашке.

— Рай? — обратился он к Холливеллу.

— Чудесно,— ответил Холливелл.

Человек уверенно взял чемодан Холливелла и отнес в «виллис».

— Погодите,— сказал Холливелл.— Мне кажется, мы друг друга не поняли.

Темнокожий нахмурился.

— Слушай, друг. Я спросил: тебе в «Рай»? Ты сказал «хорошо».

— Нет. Я в «Рай» не еду.

Человек отвернулся к теплоходу, всем своим видом показывая, что спешить ему особенно некуда. Холливелл, чтобы не тратиться на чаевые, сам вытащил чемодан из машины. На берег под недружелюбными взглядами гвардейцев высаживались последние пассажиры-теканцы. Никого из гринго, кроме Холливелла, на борту как будто не было.

— Куда же вам надо? — спросил шофер.

Холливелл посмотрел сначала на него, потом на его «виллис».

— В компанию «Ислас-эрлайнс». Потом в аэропорт.

— Отлично,— сказал темнокожий и снова погрузил чемодан в машину.— В «Ислас» так в «Ислас».

Холливелл сел рядом с шофером, и они тронулись в путь. В облике прибрежных улиц не было ничего испанского. Невзрачные деревянные дома под металлической кровлей, мимо которых они проезжали, можно встретить и в Кингстоне и в Белизе.

— Как вы думаете, улечу я сегодня? — спросил Холливелл.

— Не сегодня, мистер. И не завтра.

— Это почему же? — встревожился Холливелл.

— Потому что у «Ислас» только один самолет, а он в Респине и лететь не может. Они должны получить в Сан-Исидро какие-то части. Привезут их на пароходе, когда захотят.

— Вот черт! — выругался Холливелл.

Чем ближе к центру, тем больше улицы и пешеходы приобретали латиноамериканский облик. По булыжным мостовым индейцы в сомбреро несли битую домашнюю птицу и вязанки дров.

— Если бы эта авиакомпания принадлежала мне,— сказал шофер,— я по-другому повел бы дело. Но она не моя.

— Я все-таки зайду в контору и справлюсь.

— Угу. Мне подождать?

Холливелл подумал.

— Не надо. Могу задержаться. А вдруг мне повезет.

Перед зданием авиакомпании он расплатился с шофером и взял чемодан.

Все оказалось примерно так, как говорил шофер. Самолет действительно в Респине. Есть, правда, второй, но он улетел за запасными частями в столицу и еще не вернулся. О том, чтобы взять самолет с другого маршрута, не может быть и речи, поскольку это категорически запрещено правительством. Острова и побережье входят в военную зону, и летать над ними могут только те самолеты, которым это разрешено. Можно, конечно, добраться до островов на пароходе,

но он курсирует только по средам и субботам, то есть по тем же дням, что и самолет. Как раз сегодня утром он и ушел. Рейс продолжается более десяти часов, потому что пароход несколько раз причаливает у побережья и у каждого из пяти островов. В эти дни на пристани по утрам всегда очень много желающих уехать.

Таким образом, если до сих пор существовала некоторая возможность изучить эти края более основательно, то теперь надеяться, в общем, уже было не на что. Теперь он просто окажет услугу Окампо. Он приехал, и, как выразился Оскар, его здесь видят. Интересно кто.

Выйдя из авиакомпании на площадь, он присел на скамейку, загаженную птичьим пометом, и дал возможность подоспевшему исхудалому девятилетнему мальчику почистить свои и так уже начищенные ботинки. Маленькая неприглядная площадь, шатающиеся по ней бедняки — привычная для глаз Холливелла картина.

Шофера разбудил гудок дизельного судна, плывшего к месту стоянки. Он снял с лица кепи и приветливо посмотрел на Холливелла.

— Ну что, едем в «Рай»?

— Видимо, да. Сколько это будет стоить?

— Десять долларов. Долларов, а не песо, понятно? Я сказал: десять долларов США.

Холливелл пожал плечами.

— Туристам почему-то всегда кажется, что я сказал «десять песо»,— пояснил шофер.— Я никому не говорю «песо». Десять долларов. С портретом мистера Гамильтона.

— Понял вашу мысль,— сказал Холливелл.

С борта судна сошли трое гринго: невысокий толстяк с темным от загара лицом и седой эспаньолкой, удлинявшей его массивный подбородок; его жена или подруга — седоватая блондинка с коричневой и жесткой, как подошва, кожей и худой краснолицый мужчина в юкатанской шляпе.

Шофер погрузил их вещи в машину. Обменявшись приветствиями с вновь прибывшими, Холливелл сел сзади. Рядом с ним расположился худой мужчина в шляпе.

— Ральф Хит,— представился он, когда машина покатила через мангровые заросли по прямой грунтовой дороге, и положил шляпу себе на колени.

— Фрэнк Холливелл.

— Бывали здесь раньше? — Сосед Холливелла был англичанин. На вид — лет пятидесяти. Лицо недоброе, с мелкими жесткими чертами. Под глазами мешки, нос в красных и синих прожилках. Пьяница.

— Ни разу.

— Альварадо — это дыра. Но побережье прекрасное. Привлекает туристов.

— А вы часто здесь бываете? — спросил Холливелл.

— Раз или два в году. Иногда — по делу, иногда — просто так, пива выпить.

— Из Англии?

— Теперь я в Майами живу,— ответил Хит.— С тех пор, как наша фруктовая компания слилась с вашей. Вы американец?

— Да.— Напрягая голос, чтобы перекричать шум мотора, Холливелл спросил: — Вам нравится Майами?

— Еще ни разу не пожалел.

Теперь они ехали уже в стороне от мангровых зарослей у самой кромки воды по плотной полосе песчаного берега, поросшего пальмами. При ярком солнечном свете уныние, навеянное Пуэрто-Альварадо, начало проходить.

Ехать пришлось несколько часов. Машина мчала их мимо рыбацких селений, окруженных пальмовыми рощами, где вдоль берега сушились на шестах сети, а за линией приливной волны стояли ярко

раскрашенные лодки с рулевыми рубками-каютами. Как в старые пиратские времена. Почти перед каждым домиком — небольшая лужайка, заросшая подорожником, и перевернутая вверх дном пирога. На некотором отдалении от океана тянулись на целые мили желтые нумерованные дома фруктовой компании. Добрая половина домов имела нежилой вид.

По дороге шли вереницы женщин с корзинами и кувшинами на головах. Между деревнями и на окраинах самих деревень мелькали огороженные территории, похожие на миссии. Холливелл заметил, что миссионерам здесь, должно быть, живется неплохо.

— Слишком много их развелось,— сказал Хит.— Это все политика вашей компании. Она считала, что чем больше здесь этих проходимцев, тем веселее. А теперь вот жалеет.

— Это почему же?

— Почему? Да потому, что все они — красные. Ничего удивительного! На жизнь им зарабатывать не приходится. Не то что нам с вами. Вы чем занимаетесь?

— Преподаю,— ответил Холливелл.

Хит хмыкнул и замолчал минут на пять. Потом продолжал:

— Им тут не религия нужна. Религии у них и без того хватает. Пилюля[1] им нужна, вот что. Будь на этом побережье вдвое меньше людей, дела пошли бы куда лучше.

Хит говорил во весь голос, словно не замечая присутствия шофера. Мужчина и женщина, сидевшие впереди, удивленно обернулись:

— А кто бы фрукты собирал?

— Теперь и собирать-то почти нечего,— возразил Хит.— Меньше половины того, что было десять лет назад. В прежние времена, если бананы несколько лет подряд давали плохой урожай, сборщики куда-нибудь уходили. А теперь не уходят. Самое разумное было бы переправить их самолетами на тихоокеанское побережье, где сборщики позарез нужны. Но поскольку это разумно, все эти псалмопевцы, естественно, ставят нам палки в колеса. Восстанавливают людей и против нас, и против правительства. По части пропаганды они мастера.

— Неужели? — удивился Холливелл.

— Еще бы! Дома-то они смирные, тихие. Овечки... А потом едут за границу и начинают вовсю проповедовать кровопролитие и революцию. Друзья у них влиятельные, поэтому им все сходит с рук. «Достоинство человека»,— с сарказмом произнес Хит.— А по-моему, достоинство человека не зависит от того, богатый ты или бедный. Его не преподносят в подарок. Не посылают в ящике с надписью: «Не кантовать».

— Я плохо разбираюсь в здешней обстановке,— заметил Холливелл.— Так что ничего сказать не могу.

— И не вы один.

Отель «Рай», несмотря на свое название, не был ни сказочно-прекрасным, ни удручающе-банальным. Ухоженный сад, несколько простых деревянных коттеджей, чуть поодаль — сооружение вроде бывшего ангара, при ближайшем рассмотрении оказавшееся столовой. Там, где полагалось быть мастерским, находились кухня и бар; старый, образца сороковых годов музыкальный автомат извергал «Эль ранчо гранде» в исполнении Фредди Фендера. Возле берега у причальной стенки покачивались два катера с номерными знаками, а на самом берегу стоял домик инструктора-подводника.

Место не райское, но вполне приличное. В коттедже управляющего здоровенная испанка зарегистрировала гостей и выдала им ключи. Холливелл прошел с чемоданом в отведенный ему коттедж и принял холодный душ — теплой воды не было. Потом надел чистое белье, рубашку и вышел посидеть в тени. Вскоре к нему подошел смуглый

[1] Противозачаточное средство.

парень, до этого пивший в баре пиво вместе с шофером, и спросил, не хочет ли Холливелл понырять.

Холливелл посмотрел на парня, потом на спокойную поверхность океана. Вопрос этот вызвал у него нервную дрожь и одновременно — желание погрузиться в бездну, укрыться под серо-голубой семидесятифутовой толщей воды, забыть обо всем...

— Давненько я уже не нырял,— сказал он.

— Если хотите, утром устроим вам пробу,— предложил парень.— Восстановите форму. Разрешение у вас есть?

— Есть.— Холливелл живо представил себе подводный мир: солнечники, скаровая рыба, серебристая барракуда. Раз уж так складывается, почему бы не понырять?

Парень вручил ему карточку с ценами за прокат снаряжения для подводного плавания. Холливелл сунул ее в карман. Когда парень ушел, появился Ральф Хит. В руке у него был стакан с ромом и содовой.

— Понырять собираетесь?

— Да вот думаю попробовать. Давно уже не нырял.

— Я тоже. Восемь лет назад в Боготе расшиб голову и с тех пор не могу. А жаль.

— А здесь вам не приходилось нырять?

— Да, и здесь, и на Ямайке. На Мальте. На Япе — это в Микронезии. Очень увлекался.

— Как же вы голову расшибли? — спросил Холливелл.

— Случайно. Знаете, тут есть отличное место для ныряния — Плайя-Тате. Это милях в шести к югу. Там недалеко от берега риф, который уходит на три четверти мили в море и обрывается. Стена, как в Большом Каньоне, прямо дух захватывает.

— А акул тут много? — робко спросил Холливелл, зная, что подобные вопросы задавать не принято.

— Это же восточная часть Карибского моря, дружище. Бывают и акулы.

— Ну да, конечно.

— Неподалеку от Плайя-Тате есть еще одно интересное место. Рядом с американской католической миссией. Риф начинается там на глубине восьми футов и обрывается в миле от берега. Там и с аквалангом хорошо поплавать.

— А инструктор здесь надежный?

— Сэнди? Вполне. Парень что надо. Лет десять назад я с его отцом нырял. Отличная семья. На голову выше остальных.

— Тогда, пожалуй, попробую. Утром иду к Сэнди.

— Полу́чите большое удовольствие, Холливелл.

Ранним зимним утром, когда первые лучи солнца осветили внутреннее море, по узкой улочке Сан-Исидро, тихо напевая, проходила девушка в джинсах и белой кофточке. В руках у нее была связка книг и портфель из искусственной кожи. Судя по всему, студентка.

Она направилась к подъезду большого каменного дома, но поскользнулась на мраморной ступеньке и выронила все, что было у нее в руках. Нагнувшись, чтобы поднять с тротуара книги и портфель, девушка увидела, что ей на помощь спешит пожилой худощавый человек в легком итальянском костюме.

— Какой удобный случай,— пошутил он, собирая книги.— В мои юные годы вот так и заводили знакомство с хорошенькими студентками.

— Можно и сейчас завести,— весело ответила девушка. Комплимент заставил ее покраснеть, и стало еще заметнее, что от природы она бледнолица. Держа в руках подобранные им книги, старик вошел вместе с девушкой в дом, возле которого с ней случилась эта малень-

кая неприятность. Согласно надписи на потускневшей дверной табличке, здесь находилась организация под названием «Братья во Христе».

Они поднялись по пыльной лестнице наверх и остановились в начале безукоризненно чистого коридора с кружевными занавесками на окнах. Там их встретил брат-европеец, который сообщил, что семинар состоится в пятой комнате. Их шаги по деревянному полу гулко отдавались в коридоре.

В пятой комнате вокруг полированного стола сидели пятеро. При появлении пожилого человека они встали; его приход их явно обрадовал; видно было, что им хочется подойти к нему и обнять.

— Compañeros, salud[1],— сказал пожилой человек. Его тон не располагал к фамильярности, и все снова сели. Старик сложил книги на полированном столе, протянул студентке руку и вежливо улыбнулся.

— Агирре,— представился он.

Девушка задержала его руку в своей.

— Мы уже один раз знакомились, дон Себастиан, просто вы меня не помните. Когда вы уехали, мы боялись, что... больше вас не увидим.

— Однако увидели,— сказал Агирре.— Только не называйте меня дон Себастиан.

Теперь уже улыбались все, кто был в комнате. Агирре очень устал и чувствовал себя неважно, хотя и скрывал это как мог. В течение последней недели он посетил несколько стран, повидал иностранных друзей, да и путешествие через Атлантику, как обычно, подействовало на него изнуряюще.

В Текане его не было целых три года. Он жаждал действий, жаждал точной информации, но знал, что в этой комнате есть лишь один человек, на чьи суждения можно положиться, и ему не оставалось ничего другого, как с кроткой улыбкой ждать начала главного разговора.

Молодой товарищ Родо рассказывала о настроениях студентов столицы; Агирре делал вид, что слушает, и, чтобы не терять времени даром, старался угадать по лицам собравшихся, по их жестам, поведению, изменилось ли что-либо в Текане за эти три года. А они в свою очередь пытливо вглядывались в его лицо. Со стороны же могло показаться, что все внимание присутствующих сосредоточено на Родо, читавшей зашифрованные записи в блокноте.

Напротив Агирре сидел рослый широкоплечий индеец атапа по имени а ла Торре. Он был мелким землевладельцем. Свирепостью он не отличался ни в пьяном, ни в трезвом виде, однако его одинаково боялись как белые, так и индейцы.

На жизнь а ла Торре неоднократно покушались и богачи, стремившиеся прибрать к рукам минеральные богатства его земли, и ультраправые фанатики. Ни те ни другие не преуспели, а некоторые даже сами поплатились жизнью. Он считался бесспорным лидером южной группы атапа. несмотря на то (или благодаря тому), что его образ жизни отличался от образа жизни большинства из них. Неуемный, неутомимый труженик, он был человеком необычайного честолюбия и физической силы. Много пота он пролил, очищая свой клочок земли от карликового леса; часть его он отвел под редкие и потому сравнительно дорогие овощи, а часть — под пастбище для небольшого молочного стада. Когда ему случалось нанимать людей из своего племени, он платил им щедро, зато и работать заставлял на совесть. Однако труд — и собственный и чужой — казался ему чем-то унизительным, ибо господствовали в этом обществе бездельники, живущие за счет других.

[1] Товарищи, здравствуйте *(исп.)*

Рядом с дюжим атапа сидел Эктор Морелос де Медина. Один из немногих уцелевших членов старой коммунистической партии Текана и один из самых давних друзей Агирре. Насмешливый, эрудированный человек, интереснейший собеседник, к тому же весьма остроумный (в Сан-Исидро это большая редкость). Морелос держал в столице книжный магазин. Когда-то он занимался в Текане очень опасной работой; отбыл ссылку, перенес пытки и всякие лишения. И теперь этот самый Морелос, подобно Оскару Окампо, другому давнему другу Агирре,— североамериканский шпион. Заграничные друзья не установили точно причины его измены, но предполагают, что подоплека тут не идейная. Возможно, та же банальная история, что у Окампо. Это неприятно и огорчительно, но факт остается фактом: Морелос, друг Агирре, стал его смертельным врагом.

Сеньорита Родо кончила свой доклад, и все одобрительно закивали. Как-никак она представляет городскую молодежь, студенчество, она женщина, а это существенно. Славная девушка из богатой семьи; но как она поведет себя в решительную минуту? Смелости ей не занимать: каждый день рискует попасть в лапы Гвардии. Агирре постарался улыбнуться ей как можно ласковее.

Рядом с Родо — «умеренные». Вот Агустин Бас, владелец мыловаренных заводов. Он метис, из низов, выбился в люди и сделался просвещенным буржуа; за это правящая клика грубо зажимает его и изнуряет поборами и взятками. Кроме того, приходится конкурировать с иностранцами. Большинство местных капиталистов терпеливо сносят такое положение и берут то, что удается взять; а Бас — бунтарь, он хочет бороться. Считает, что лучше революция, чем терпеть открытое надувательство. Он честен, как и а ла Торре, и умело руководит подпольной организацией в Сан-Исидро. У него гибкий, подвижный ум. Однако до конца он с нами не пойдет, решил Агирре. Не потому, что предатель по натуре или слюнтяй; просто у нас разные цели. В конце концов Бас разочаруется, превратится, как говорят кубинцы, в gusano[1] и уедет в Майами. Сам он об этом пока ни сном ни духом не ведает, но Агирре, слушая его сообщение о финансовом положении страны, думал, что так именно и случится. Естественно, он будет рад, если его мнение окажется ошибочным.

Дальше, разумеется, священник, лицо тоже на данном этапе нужное. Монсеньер Гольц, еще один честный человек. Знаком с марксизмом и относится к нему не без симпатии. Агирре, антиклерикал, хорошо знавший таких engagé[2] священников, как Гольц, считал его туповатым. Но без осанистого, благочинного, фанатичного Гольца им не обойтись. Если кто и изменит, так скорее Бас, чем Гольц. Однако фанатизм может завести Гольца куда угодно — священники народ ненадежный.

Под ироническими, а то и презрительными взглядами присутствующих «умеренным» — Басу и Гольцу — было не по себе. Монсеньер Гольц, рассказывая об обстановке на карибском побережье, заметил, что с особенной неприязнью и недоверием смотрит на него грозный а ла Торре. Даже юная Родо неодобрительно поджала губы. Что касается Морелоса, осведомителя ЦРУ, то у него присутствие духовного лица вызывало откровенный смех.

Пятый слушал Гольца внимательно и серьезно, его-то как раз Агирре и хотел видеть. Это был человек лет тридцати пяти, смуглый, коренастый, с густыми прямыми волосами и бычьей шеей. На широкой щеке вдоль перебитого носа краснел длинный, от брови до ноздри, дугообразный рубчатый шрам — след не совсем зажившей глубокой раны. На вид — типичный теканский campesino[3]; в действительности же отнюдь не простолюдин ни по происхождению, ни по роду заня-

---

[1] Червяк *(исп.)*.

[2] Ангажированный, вовлеченный *(франц.)*.

[3] Крестьянин *(исп.)*.

тий. Его отец, ботаник, работал в Институте естественных наук, а сам он выпускник Калифорнийского университета, бакалавр гуманитарных наук. В течение ряда лет не без успеха занимался живописью, а в настоящее время возглавляет факультет искусств в Национальном университете. Среди его знакомых есть люди из ближайшего окружения президента и немало американских дипломатов.

Он-то сейчас и нужен, думал Агирре, глядя, как человек со шрамом подбадривает монсеньера кивками головы. Заграничные друзья о нем высокого мнения. Американцы относятся к нему дружелюбно, он не внушает им опасений. Он, как всегда, полон жизни и деловит. Именно ему суждено руководить — во время революции и после. Из тех, кто находился в комнате, это понимали только Агирре и сам молодой человек. Агирре пришел к такому выводу после долгих размышлений; сам же молодой человек, казалось, знал это всегда.

Агирре достал из кармана сигарету, закурил, пренебрегая запретом врачей, и стал ждать, когда кончится заседание и они смогут поговорить. Но это «стратегическое» заседание, проводившееся только для формы, сильно затянулось. Каждый старался показать себя, а шпион требовал каких-то гарантий. Потом распределили обязанности, потом все кинулись обнимать гостя. Прошло немало времени, прежде чем они разошлись. Наконец Агирре и человек со шрамом, которого звали Эмилио Ортега Куртис, остались вдвоем.

Они сели за стол друг против друга. Агирре снова закурил и протянул пачку Ортеге. Тот улыбнулся и покачал головой.

— Ну, расскажите мне о Текане.

— Что будет завтра, дон Себастиан, сказать трудно. Однако сегодня, мой друг, вы дождались революции.

Старое сердце Агирре затрепетало.

— А эти люди, которых я только что видел,— будущее временное правительство?

— Часть временного правительства. Кроме Морелоса, разумеется. Морелос, как мы знаем, работает на янки.

Агирре кивнул.

— Грустно, правда? Не знаю, как вам, а мне... Мне будет не хватать его.

— Мне жаль, что мы его потеряли,— проговорил Ортега.— Мысленно я его уже оплакал.

Они посидели с минуту в скорбном молчании.

— Ну, а что вы скажете о представителях нашего временного правительства? Типичные «неустойчивые»?

— Пожалуй, так. Но на Гольца я все же надеюсь, если на священников вообще можно надеяться.

— И я надеюсь,— сказал Ортега.— Организация, которую он создал при церкви, действует тонко и осторожно. Ему удалось собрать там крепких людей.

— Годой, кажется, его человек, да?

— Годой — одна из главных фигур. Человек он неплохой, но не в моем вкусе.

— Вы не настолько испанец, чтобы оценить Годоя,— заметил Агирре и переменил тему: — Вы, надеюсь, знаете, что гринго наводнили нашу страну шпионами. Они очень активизировались. Об этом мы узнали из надежных заграничных источников.

— Это нам известно. Почуяли что-то, вот и спешат на место событий. На прошлой неделе одного такого а ла Торре пристрелил в горах.

— Да что вы? Гражданина США?

Ортега невольно улыбнулся, но в тот же миг лицо его снова стало серьезным.

— Не просто гражданина США, а засланного сюда гринго.

Доктор Агирре присвистнул:

— В Эстремадуре объявился некто Коул. Заявил, что он журналист, полон добрых чувств и очень хотел бы побывать в наших воинских частях. Прямо от Оскара Окампо — и к нам. А ла Торре привел его в Первую бригаду. Разговорчивый оказался парень, демонстрировал умение обращаться со всеми видами оружия. Был во Вьетнаме, сам нам об этом сказал. Мы выждали немного, хотели действовать по правилам во избежание провокации. А на третий день отдали его под трибунал и вынесли смертный приговор.

— И правильно,— одобрил Агирре.— Теперь они перестанут считать нас дураками. Узнают, что янки тоже могут умирать не хуже наших крестьян. Да и с Оскаром, пожалуй, пора кончать, как это ни печально. Ему, видимо, нравится ставить нам палки в колеса.

— Согласен, пора. Только согласовать сначала надо.

— Я освобожу вас от этой миссии,— сказал Агирре.— Им пусть займутся наши компостельские товарищи.— Он встал, походил немного по комнате и, утомленный, сел на другой стул.— Слава богу, атапа теперь с нами.— Агирре опустил веки.— Фашисты сами себе напортили в погоне за этими подземными богатствами. Вырвали из-под социальной системы последнюю опору.

Ортега с улыбкой кивнул.

— Сорок лет мы пытались перетянуть атапа на свою сторону,— продолжал Себастиан Агирре,— а они все упрямились, как ослы. Если бы не эта борьба из-за недр, пришлось бы ждать еще столько же.

— И вот теперь они с нами,— сказал Ортега.— Важно и то, что правительство в поисках надежного пополнения призывает в Гвардию все больше и больше индейцев этого племени, а это, конечно, только деморализует ее. Из Гвардии индейцы уходят совсем другими людьми. А ведь половина ее личного состава — это и есть атапа.

— Господи! — воскликнул Агирре.— Неужели начинается? Я даже не знаю, верил ли, что этот день настанет!

— Были времена, друг мой, когда только вы один во всей стране и верили.

На столе стоял поднос с кувшином холодного кофе и чашками. Ортега налил немного Агирре и себе, и они выпили.

— Давайте теперь обсудим план действий,— предложил Агирре.— Сеньор Морелос и эти добрые братья во Христе случайно не вмонтировали тут микрофон?

— Наши друзья проверили и сказали, что нет. Здесь — нет.

Холливелл спрятал баллон со сжатым воздухом под банку и, покуривая, смотрел на зеленое побережье — пальмовые рощи, банановые плантации, буйные заросли гелиотропа. Сэнди, инструктор по подводному плаванию, вел катер на полной скорости, и куртка Холливелла, сидевшего с наветренной стороны, мокла под брызгами.

Сэнди, долговязый худой парень с веснушчатым лицом, потемневшим от солнца Текана и Западной Африки, сидел в расслабленной позе на корме и смотрел вперед, одной рукой опершись на поручень, а другой держась за штурвал. Его длинные черные волосы рассыпались на прямой пробор, как у русского крестьянина девятнадцатого века, а колючие темные глаза, глубоко сидящие под густыми нависшими бровями, придавали ему сходство с дервишем.

Вместе с Холливеллом на борту катера находилась приехавшая из Майами семья американцев кубинского происхождения. Отец семейства приземист, мускулист, пострижен ежиком; на лице — следы раздражения от частого бритья. Его жена полногруда и мордаста, но ноги длинные, стройные и вся фигура подтянута — очевидно, результат строгой диеты и усилий массажисток из салона Глории Стивенс. Их дети — трое мальчишек в возрасте от двенадцати до семнадцати. У

старшего, с лисьей мордочкой,— уже порядочные усы и крепкое, как у отца, телосложение, двое младших очень похожи на мать; к поясу купальных трусов каждого из них привязана трубка с маслянистой жидкостью. Родители говорили друг с другом по-испански, а их дети — по-английски с характерным для американских подростков произношением. На Холливелла никто не обращал внимания.

— За рифом черепахи встречаются,— сказал Сэнди, обращаясь к ребятам.— Их тут полно.

— Вот здорово! — воскликнул средний по возрасту мальчик.

— А они не кусаются? — спросил младший.

— Черепахи? — засмеялся Сэнди.— Нет, черепахи не кусаются. А вот покатать вас на себе могут.

— А что,— сказал семнадцатилетний,— я бы прокатился.

Родители, видимо привыкшие разговаривать со слугами повелительным тоном, не делали исключения и для Сэнди. Он отвечал им почтительно.

В трехстах ярдах от берега Сэнди заглушил мотор и, быстро перейдя на нос, бросил якорь. Все огляделись по сторонам. Лучи солнца били в глаза, отражаясь от рифа — длинного изогнутого гребня, уходившего в открытое море.

Течение здесь с севера на юг, объяснил Сэнди, и нырять надо прямо с кормы, против течения. Плыть вдоль рифа, миновать песчаную косу и потом возвращаться по течению вдоль края обрыва назад, к катеру. Там, в конце, увидите черный коралловый риф, сказал Сэнди.

Что ж, нырять так нырять, для этого он сюда и ехал. Холливелл глубоко вздохнул, надел оголовье, баллон и, пригнувшись, с трудом застегнул поясной ремень с грузиками. Сэнди тоже вскинул на плечи баллон, и сделал это с такой легкостью, точно надевал свитер. Старший и средний мальчики тем временем проверяли под наблюдением отца ремни и застежки. Мать и младший сын оставались на борту. Пока Холливелл надевал ласты, Сэнди проверил снаряжение у среднего.

— А акулы тут водятся? — спросил мальчик нарочито небрежным тоном. Холливелл отдал должное его самообладанию. Проверяя ручной регулятор подачи воздуха, он ждал, что скажет Сэнди.

— Здесь нет акул,— просто ответил Сэнди и распорядился, чтобы младший из двух мальчиков нырял вместе с ним, а старший — с отцом.

— Вы с нами? — спросил он у Холливелла.

— Да нет, я лучше один,— ответил Холливелл.— За меня не беспокойтесь.— На самом деле опыта у него было недостаточно, но он полагал, что ныряние в этих местах не так уж опасно.

Холливелл прыгал последним с двумя пятифунтовыми грузами. На нем были шорты и тенниска, чтобы лямки не слишком давили на обгоревшие плечи. При погружении его маска наполнилась водой почти до уровня глаз; зажав ноздри, чтобы уравнять давление, он открыл доступ воде. Когда показались вершины рифов, он освободил маску от воды и взглянул на глубиномер, прикрепленный к запястью. Сорок пять футов. Он находился над чашеобразной впадиной; кончики его ласт касались молочно-белого песка. Видимость на этой глубине была отличная — футов сто, а то и все двести. Вокруг кишели черные и золотистые морские ангелы, словно ждали кормежки. Было там и множество скаровых рыб и акантурусов. Риф с самого верха шел вниз уступами, с каждого уступа между куполами известковых кораллов тянулись оленерогие выросты уродливой, фантастической формы. Ниже плавали губаны и морские окуни; из-за двух коралловых рогов на него робко поглядывала кузовка. Он поплыл дальше в сопровождении двух рыб-трубачей, которые следовали за ним, точно верные спутники. Холливелл перестал двигать ластами, и грузы увлекли его глубже; вдали он увидел небольшую барракуду — она рыскала

возле стаи рыбешек и время от времени хватала отставших. Когда он принял горизонтальное положение, глубиномер показывал шестьдесят футов, дно по-прежнему отлого шло вниз. Далеко впереди и футов на сорок выше он заметил Сэнди и молодого кубинца; они плыли в другую сторону.

На следующем уступе он увидел черные кораллы, целые акры черных кораллов, усыпанных наростами желтых губок. Он начал медленно спускаться, чувствуя, как бьется сердце и бурлит в жилах кровь. Эту холодную и хрупкую красоту человек не то что создать — вообразить не способен. И вместе с тем ее совершенство толкало Холливелла на сравнения. На сравнения с чем? — спросил он себя. С тем, что утрачено и забыто? Он продолжал двигаться вдоль склона кораллового поля. Вниз.

Приблизительно на глубине девяноста футов начинался обрыв. За последним коралловым уступом не было уже ничего, кроме безмерности темной синевы, кроме бездны. Холливелл стал плохо различать цвета. Кораллы на отвесной скале казались сине-серыми; губаны, рыбы-бабочки, скаровые рыбы выглядели такими же серыми, как скумбрии. Куда-то поспешно карабкался серый омар. Подплыли, чтобы взглянуть на него, огромные серые окуни. В расщелине рифа притаилась пятнистая мурена; при его приближении она подалась назад, но потом, когда он стал удаляться, снова высунулась, следя тупыми злыми глазками за оставленными им пузырьками воздуха. Поверхность воды превратилась в мираж, в далекий призрак.

Он находился на глубине ста десяти футов, стрелка манометра на баллоне, показывавшая в момент погружения две тысячи пятьсот фунтов на квадратный дюйм, упала теперь чуть ниже восьмисот. Этого запаса воздуха ему как раз хватит, чтобы подняться.

Едва начав подъем, он заметил у себя под ногами мерцающие вспышки отраженного света. Спустя мгновение световые пятна замелькали везде — под ним и над ним. Синие молниеподобные блики. Рыбье бегство. Он стал подниматься быстрее, однако не нарушая правил, стараясь не опережать пузырьки воздуха.

Футах в пятидесяти он ясно видел косяк скумбрии, стремительно движущийся в сторону мелководья над рифом. А потом все вдруг завибрировало. Ангелы и губаны, скаровые рыбы и акантурусы, до этого лениво плававшие вокруг него, вдруг перестали двигаться и, остановившись, задрожали точно подвесные скульптуры. Холливелл огляделся и заметил, что так же дрожат и все остальные живые существа,— море наполнилось страхом, ощущением незримой опасности, безмолвием среди безмолвия. Вдали, на границе видимости, он приметил косяк окуней, который метался то вправо, то влево, то назад, образуя нечто вроде огненного колеса на темно-синем фоне. А поблизости от него рыбы оставались на месте и, трепеща, готовились к бегству.

Где-то здесь, подумал Холливелл. Во рту появился химический привкус, на сердце словно лег холодный камень.

Подгоняемый страхом, он начал подниматься нерасчетливо быстро. Не опережай пузырьков. Поднимайся следом за ними.

При взгляде на отвесную скалу он остро осознал себя единственным здесь существом, движения которого имеют осмысленную цель. Ему казалось, что опасность где-то рядом, ее присутствие он ощущает физически. *Ей* передаются боковые колебания воды, ее неразвитый, примитивный мозг фиксирует неритмичность его движений и что-то прикидывает. Страх. Жертва.

Между тем баллон быстро пустел. Собственное прерывистое дыхание испугало Холливелла еще больше. На глубине сорока футов он увидел песчаную впадину, похожую на ту, в которой останавливался передохнуть. Но заросли кораллов в этом месте казались совсем другими, да и якорной цепи нигде не было видно. Он заметил спешащего к нему Сэнди.

Сэнди схватил Холливелла за руку, посмотрел на стрелку манометра и укоризненно покачал головой. Потом указал ему направление — вправо и вверх по склону. Холливелл стал подниматься, старательно держась коралловых гребней. Рыба на отмелях вела себя спокойно и плавала как ни в чем не бывало. Холливелл жадно приник к загубнику, потом собрался с силами и на последних тридцати футах сделал всего три вдоха. И тут, уже в другом измерении, он увидел катер, тихо покачивающийся на волне, и мальчика, который, перегнувшись через борт, сосредоточенно смотрел на воду; его мать листала журнал «Космополитен». Зеленел в разогретом дымчатом мареве берег, линия банановых плантаций прерывалась лишь там, где на одиноком холме высилось увенчанное крестом белое деревянное сооружение. Холливелл лег на спину и подплыл к трапу. Перед тем как отъединить регулятор от баллона, еще раз взглянул на манометр: стрелка была на волосок от нулевой отметки.

— А баллон-то пустой,— сообщил он.

Мальчик посмотрел на манометр.

— Совсем ничего не осталось?

— Пусто. Видишь, где стрелка? — Холливеллу вдруг стало неловко. Его собственные дети старше этого мальчика лет на пять, если не больше, и он уже успел забыть, какие они были в его возрасте. И здесь нет живой связи, подумал он.

— Как же это случилось? — спросила женщина.

— Кончился, и все тут,— весело ответил Холливелл.

— Что вы там видели? — спросил мальчик.

— Много больших рыб. И красивые черные кораллы.

— А вот с собой ни одного не возьмешь,— вздохнула женщина.— Жалко, они такие красивые.

— По-настоящему их красоту можно оценить только там,— не без самодовольства произнес Холливелл.

Женщина надула щеки и пожала плечами. А она ничего, решил Холливелл. Они поболтали еще несколько минут. Фамилия их Пас; живут в Майами, поселились там в 1961 году. Там и родились все их сыновья. Ее муж зубной врач, сама она служит в компании по продаже недвижимости. Сюда приехали навестить ее брата, у него в Техане пять магазинов хозяйственных товаров. Холливелл сказал ей, что он профессор, но на нее это не произвело никакого впечатления: она прожила в Штатах достаточно долго.

Скоро вынырнули Сэнди и ее средний сын; поднявшись на борт, мальчик посмотрел на Холливелла и ухмыльнулся. Инструктор одним ловким движением сбросил снаряжение.

— Зачем вам надо было так глубоко, мистер? — спросил он и улыбнулся.

— Хотелось поглядеть, как оно там,— ответил Холливелл.

— Сэнди заставил его выйти из воды,— объявил средний сын. Сеньора Пас и младший мальчик неодобрительно покосились на Холливелла. Затем сеньора Пас резко спросила Сэнди, куда подевались ее муж и старший сын. Сэнди успокоил ее, сказав, что оба они сейчас под катером среди кораллов.

Через несколько минут из воды вылез зубной врач. Ныряние подействовало на него возбуждающе, он выказывал дружелюбие даже Холливеллу.

— Где вы, черт возьми, пропадали? — спросил он.— Я ни разу вас не видел.— По-английски он говорил почти без акцента.

— Сэнди заставил его выйти из воды,— повторил средний сын.

— Просто он погрузился слишком глубоко,— мягко пояснил Сэнди.— Когда немного глубже, воздух уходит быстрее.

— Что там интересного? — спросил зубной врач.

— Да ничего. Обрыв.

— А знаете, на сколько он уходит в глубину? — спросил Сэнди.
— На сколько?
— На девятьсот метров,— сообщил Сэнди.
— Не может быть.
— Точно, друг. Девятьсот метров.
Младший мальчик спросил, сколько это будет в футах.
— Приблизительно две трети мили,—сказал зубной врач.— Я думал, в школе тебя этому учили.
— Вы подумайте,— удивился Холливелл.
Вынырнул старший сын. С пустым баллоном.
— Дельфин, дельфин! — закричали младшие.— Наконец-то вынырнул!
Старший взобрался по трапу на катер; глаза его сияли.
— А я вас нигде не видел! — удивленно воскликнул он, глядя на Холливелла.
— Сэнди заставил его... — начал было средний сын.
Сеньора Пас нахмурилась и знаком велела ему замолчать.
Когда они вернулись к гостиничному причалу, Сэнди, почуявший щедрые чаевые, помог Пасам помыть и сложить снаряжение. Холливелл опустился на дощатый настил, положив снаряжение рядом с собой. Вскоре к нему подсел Сэнди.
— Давно ныряете? — спросил он.
— Два года как получил разрешение. Только в последнее время редко удается.
— В прошлом году я человека потерял у того обрыва,— сказал Сэнди, глядя на море.— Догонял-догонял, на двести метров погрузился, а он все глубже. Так и вернулся без него.
— Самоубийство.
— Точно. Наглотался таблеток и как топор...
— Не один раз, наверное, случалось такое.
Сэнди кивнул.
— Не по моей вине. Если кто тонет, то по своей воле.
Холливелла передернуло.
— Вы подумали, что я тоже?..
— Ну, что вы,— поспешно возразил Сэнди и тронул Холливелла за плечо, избегая, однако, встречаться с ним взглядом.
— Сегодня я больше не буду нырять,— сказал Холливелл.— Вы бы лучше оставили меня где-нибудь неподалеку от Французской гавани. Хочется поплавать с аквалангом.
Сэнди согласился и добавил, что если Холливелл пожелает, то может взять с собой обед из гостиничной кухни.
Они поднялись и вместе зашагали в сторону гостиницы.
— А ведь у обрыва что-то было,— сказал Холливелл.— Не акула ли?
Сэнди остановился и, приставив ко лбу ладонь, посмотрел против солнца на Холливелла.
— Вы видели акулу?
— Нет.
— Ну, раз не видели, то и не говорите.
— Но что-то все же было.
— Говорю вам, не ныряйте так глубоко, мистер Холливелл.
— Почему?
— Этот обрыв... — не сразу ответил Сэнди.— Люди что-то увидят, сами не знают что... А после пугаются. Из-за течения на поверхности и обрыва человек не замечает глубины.
— Зато как красиво.
— Наверху не хуже. Там, где светло, всегда красиво.
— Да,— согласился Холливелл.— Да, конечно.

(Окончание следует)

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС

С английского

Великий ирландский поэт Йейтс рожден исторической эпохой рубежа веков, когда Ирландия переживала общенациональный подъем, кульминацией которого стала национально-освободительная революция 1919—1923 годов. Эта эпоха дала главный импульс его творчеству, что не замедлили отметить вскоре же после смерти Йейтса его современники. В статье с поэтическим заглавием «Серебристая тень Ирландии» Шон О'Кейси писал, что «среди тех, кто боролся за более высокий строй мысли, лучшую литературу и национальное искусство, самым непробиваемым щитом, самым острым мечом и самым горделивым шлемом обладал Йейтс, поэт».

Йейтс и сам понимал, сколь многим он обязан времени — «атмосфере исторического кризиса, из которого рождается литература, потому что рождается страсть»; литературной среде, своим соратникам — их вкладу в развитие национальной культуры — он посвятил официальную речь по случаю получения Нобелевской премии (1923). О них он говорит в стихотворении «Снова в муниципальной галерее» — «история Ирландии в чертах их лиц», когда просит своих будущих читателей не судить о нем только по его собственным книгам. Это чувство своей сопричастности, представительности, даже ответственности не оставляло Йейтса на всем протяжении творческого пути.

Йейтс вырос в артистической семье. Его отец был довольно известным художником-портретистом, начинавшим в кругу прерафаэлитов. Младший брат Джек Йейтс стал крупнейшим ирландским художником, соединившим в своей пейзажной и жанровой живописи черты романтизма и реализма. Будущий поэт тоже учился в художественной школе, собирался зарабатывать на жизнь живописью, оставив поэзию для души. Но поэзия захватила его целиком, и успех первых публикаций определил его судьбу.

Романтизм, символизм, поэтический реализм — на смене и соединении этих литературных течений развивалось творчество Йейтса, начиная с 1889 года, когда был издан первый его сборник «Странствия Ойсина и другие стихотворения», и кончая посмертно изданной книгой, названной «Последними стихотворениями» (1939). Йейтс неоднократно заявлял об отказе от сделанного ранее, непрерывно изменял и варьировал свои произведения, но при всей подвижности его поэзии, от первых до последних сборников, в ней сохраняется тот эмоциональный накал, силу которого ощутили и последующие поколения.

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС — WILLIAM BUTLER YEATS (1865—1939)

Ирландский поэт, один из создателей современной поэтической драмы. Лауреат Нобелевской и других литературных премий. Автор около двадцати книг стихов, в том числе: «Роза» («The Rose», 1893), «В семи лесах» («In the Seven Woods», 1904), «Ответственность» («Responsibilities», 1914), «Дикие лебеди в Куле» («The Wild Swans at Coole», 1919), «Майкл Робартес и танцовщица» («Michael Robartes and the Dancer», 1921), «Башня» («The Tower», 1928), «Винтовая лестница» («The Winding Stair», 1933), «Последние стихи» («Last Poems», 1939). В русском переводе стихи Йейтса включались в книги: «Антология новой английской поэзии» (Л., 1937), «Западноевропейская поэзия XX века» (М., 1977), «Английская поэзия в русских переводах. XX век» (М., 1984). Публикуемые стихи взяты из «Собрания стихотворений У. Б. Йейтса» («The Collected Poems of W. B. Yeats». New York, Macmillan, 1956).

Поэзия раннего Йейтса, времени самых ярких его символистских сборников «Роза» (1893) и «Ветер в камышах» (1899),— это «полет в волшебную страну», поиски «невозможной, невероятной красоты». Образы, традиционные для символистской поэзии, сплавлены с мифологией, легендами и сказками Ирландии, в которых Йейтс искал не только новые, еще не освоенные искусством символы, но и живой контакт с народным творчеством. Ключевые образы птиц, волн, ветра ассоциируются с персонажами национальной мифологии. Названия мест, таинственные и «говорящие», отсылающие к древним поверьям, создают взволнованную музыку слов, в которой отдельные слова как бы и не требуют вычленения. В нашей подборке примером того, как символистская образность накладывалась на мифологическую, может служить стихотворение «Воинство сидов». Сиды — это персонажи ирландских сказок и легенд, живущие в волшебной стране вечной молодости. Сиды, как пояснял Йейтс, созвучно ирландскому «ветер», его порывы ощущаются в тревожном ритме и музыке слов, обозначающих названия мест, имена легендарных героев.

Создатель колорита «кельтских сумерек» (по названию прозаического сборника Йейтса), варианта символистского тумана, поэт сам затем приложил немало сил, чтобы его развеять. Перелом в творчестве обозначился в 900-е годы, когда в Ирландии появились первые признаки предгрозовой политической атмосферы,— «кельтские сумерки», по образному выражению Шона О'Кейси, «сменились дымом мятежа». Это было время, когда ирландские поэты, как писал впоследствии Йейтс, «сошли с ходулей», а сам он «начал движение в жизнь», к «единению Шелли и Диккенса», возвышенного и земного. Сборником «Ответственность» (1914) он заявил о стремлении «отбросить все искусственное, выработать в поэзии стиль, подобный обычной речи, простой, как самая простая проза, как крик сердца». Он отказывается от условно-орнаментального, декоративного стиля, который подхватили его многочисленные имитаторы (см. стихотворение «Одеяние»), мир кукольный, «искусственный» поэт сталкивает с миром живым («Куклы»). Грубая реальность, которую Йейтс раньше выводил за пределы поэзии («Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце»), теперь наполняет ее, «высокий слог» уступает место «низкому», сочной, идиоматичной крестьянской речи со свойственным ей чувством равновесия («Как бродяга плакался бродяге»).

Отношение Йейтса к дублинскому восстанию с особенной силой выражено в стихотворении «Пасха 1916»[1]. Его трижды повторенный рефрен звучит набатом, возвещая рождение Угрожающей Красоты. Этот образ, противостоящий Вечной Красоте ранних стихов, сулит надежды. Однако первая мировая война, растянувшаяся на годы кровопролитная борьба в Ирландии, не разрешившая главных проблем в стране, вызывают у позднего Йейтса пессимистические настроения («Второе пришествие»). Тревога, сомнение не оставляют его в последнее десятилетие жизни. Йейтс принимает жизнь («согласен пережить все это снова»), но его «согласие» с нею противоположно успокоению. «Ярость», «безумная страсть», взрывающие тишину, создают нарастающий драматизм стихотворения «Клочок лужайки». От имени далекого предка, покоящегося под старым каменным крестом, он громогласно заявляет об отказе от политики, но обнаруживает при этом страстное неприятие продажного мира, ненавистного ему «мира лавочников», выраженное с немалым сатирическим запалом («Старый каменный крест»). Йейтс в эти годы так формулирует свою позицию: «Мы писатели, а не политики, мы не ответственны за настоящее, но мы ответственны за некоторую часть будущего. Наши выступления не сделают его слишком счастливым, но оно может стать даже менее счастливым, чем могло бы быть, если мы будем молчать в жизненно важные моменты».

По значительности вклада в национальное художественное сознание Йейтса сравнивают со многими крупнейшими поэтами XX века. Если же говорить о связях типологических, то поразительно много точек схождения обнаружится между Йейтсом и его русским современником Блоком. Культ Вечной Красоты у раннего Йейтса и Прекрасной Дамы у раннего Блока. У обоих отношение к идеальной красоте имело в своей основе глубоко личное чувство, и столь же личным было их чувство к родине (возлюбленной жене). О многом говорят сами названия циклов — «Распутья», «О чем поет ветер» у Блока; «Перекрестки», «Ветер в камышах» у Йейтса. Образ ветра, лейтмотив ранних произведений обоих поэтов, выражал тревогу, за которой слышалась музыка надежд. Как Блок жил предчувствием новой эпохи, которая принесет «неслыханные перемены», так Йейтс предчувствовал наступление перемен с рождением Угрожающей Красоты. Много общего в принципах создания обоими поэтами «лирических масок», в их переоценке собственного раннего творчества. Общим было их «движение к жизни».

Творчество Йейтса оказало большое влияние на развитие англоязычной поэзии XX века. Не менее важно и то, что его читают, строки его произведений удивительно часто цитируются в современных романах и повестях, а порой дают им заглавия или ставятся эпиграфами (например, заглавие романа Джулии О'Фаолейн «Здесь старым места нет» или эпиграф Рэя Брэдбери: «Человек влюблен, ему дорого все, что уходит»).

Наш читатель знаком с поэзией Йейтса по нескольким поэтическим подборкам, первая из которых была помещена в антологии, изданной в 30-х годах Гутнером. С тех пор выходили антологии англоязычной, европейской и мировой поэзии, в которые

---

[1] Опубликовано в переводе А. Сергеева в кн. «Западноевропейская поэзия XX века». М., 1977.

включались произведения Йейтса. По ним можно судить о том, сколь долог и труден путь переводчиков к этому поэту. Как приблизить его к иноязычному читателю и не утратить при этом его национальной сущности? Как передать эту сущность, не распылив внимания пространными комментариями? Встреча Йейтса с русским читателем «один на один» еще впереди (том Йейтса готовится в «Литературных памятниках»). Чтобы эта встреча не ограничилась формальным знакомством, Йейтс должен прийти к нам и с музыкой слов, и с тайным смыслом, и с чистой дикцией.

Предлагаемая подборка стихотворений Йейтса принадлежит переводчикам, давно и пристрастно прочитывающим произведения ирландского поэта, ищущим «ключ» к его поэтическому миру.

А. САРУХАНЯН

Из книги «Ветер в камышах» (1899)

Воинство сидов

Всадники скачут от Нокнарей,
Мчат над могилою Клот-на-Бар,
Волосы Кайлте горят как пожар,
И Ни́ам[1] кличет: *Скорей, скорей!*
Выкинь из сердца смертные сны,
Кружатся листья, кони летят,
Волосы ветром относит назад,
Огненны очи, лица бледны.
Призрачной скачки неистов пыл,
Кто нас увидел — навек пропал:
Он позабудет, о чем мечтал,
Все позабудет, чем прежде жил.
Скачут и кличут во мгле ночей,
И нет страшней и прекрасней чар;
Волосы Кайлте горят как пожар,
И Ниам громко зовет: *Скорей!*

Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце

Все, что грустно на свете, убого и безобразно:
Ребенка плач у дороги, тележный скрип за мостом,
Усталого пахаря поступь и тучи осени грязной —
Искажают твой образ, цветущий в сердце моем.

Как много зла и печали! Я заново все перестрою
И на холме одиноко прилягу весенним днем —
Чтоб стали земля и небо шкатулкою золотою
Для снов о прекрасной розе, цветущей в сердце моем.

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

Из книги «Ответственность» (1914)

Одеянье

Для песни я сшил одеянье
От горла до пят, по которому
Сбегают цветными узорами
Дедовские преданья;
Но глупцы на себя нацепили его
И в нем горделиво кружатся,

---

[1] Рыжеволосый воин Кайлте, прекрасная фея Ниам, мудрая Колт-на-Бар (старуха из Бери) — персонажи ирландских легенд. *(Прим перев.).*

Точно это они скроили его.
Оставь его, песня, им —
Лишь настоящее мужество
Позволяет ходить нагим.

Куклы

В кукольной мастерской
Появилась детская люлька.
— Нас детеныш людской
Опозорил!— крикнула кукла.
И из витрины паяц,
Переживший множество кукол,
За ней заорал, распалясь:
— Мало того, что наш угол
Отвратителен и зловещ,
Так хозяева нас оскорбляют
И еще сюда выставляют
Крикливую грязную вещь!—
Понимая, что муж все слышит,
Кукольникова жена
К креслу его спешит.
Ему на плечо она
Голову приклонила
И тихо произнесла:
— Милый, прости меня, милый,
Это ведь не со зла.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Как бродяга плакался бродяге

«Довольно мне по свету пыль глотать,
Пора бы к месту прочному пристать,—
Бродяга спьяну плакался бродяге,—
И о душе пора похлопотать».

«Найти жену и тихий уголок,
Прогнать навек бесенка из сапог,—
Бродяга спьяну плакался бродяге,—
И злющего бесенка между ног».

«Красотки мне, ей-богу, не нужны.
Средь них надежной не найти жены,—
Бродяга спьяну плакался бродяге,—
Ведь зеркало — орудье сатаны».

«Богачки тоже мне не подойдут,
Их жадность донимает словно зуд,—
Бродяга спьяну плакался бродяге,—
Они и шуток даже не поймут».

«Я все б исправил, повернул на лад
И по ночам бы слушал, выйдя в сад,—
Бродяга спьяну плакался бродяге,—
Как в небе гуси дикие кричат».

Кот и луна

Луна в небесах ночных
Вращалась, словно волчок.
И поднял голову кот,
Сощурил желтый зрачок.
Глядит на луну в упор —
О, как луна хороша!
В холодных ее лучах
Дрожит кошачья душа.
Миналу́ш идет по траве
На гибких лапах своих.
Танцуй, Миналуш, танцуй —
Ведь ты сегодня жених!
Луна — невеста твоя,
На танец ее пригласи,
Быть может, она скучать
Устала на небеси.
Миналуш скользит по траве,
Где лунных пятен узор.
Луна идет на ущерб,
Завеся облаком взор.
Знает ли Миналуш,
Какое множество фаз,
И вспышек, и перемен —
В ночных зрачках его глаз?
Миналуш крадется в траве,
Одинокой думой объят,
Возводя к неверной луне
Свой неверный взгляд.

Песенка шута

Этот важный, толстый жук,
Что жужжал над юной розой,
Из моих дурацких рук
На меня глядит с угрозой.

Он когда-то был педант
И с таким же строгим взглядом
Школярам читал диктант
И давал заданье на дом,

Прятал розгу между книг
И терзал брюзжаньем уши...
С той поры он и привык
Залезать бутонам в души.

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

Народ

Я сетовал: «Что было мне наградой
За добровольные мои труды?
Хула неблагодарных горожан,
На верность отвечающих презреньем
И за ночь забывающих о славе,
Которая добыта целой жизнью?
Я мог бы жить — как я хотел бы жить —
Там, где мой каждый шаг бы отдавался
В зеленом сумраке феррарских стен;
Где я бы среди призраков былого,
Таких невозмутимых и учтивых,
Карабкался по улочкам Урбино
Туда, где герцогиня увлеченно
В кругу своем проспорила всю ночь
И спохватилась, лишь когда рассвет
К ней заглянул в огромное окно;
Я мог бы выбирать себе друзей
Изысканных и страстных, из числа
Тех спорщиков, увидевших внезапно,
Как фитильки желтеют на заре;
Я мог бы по естественному праву
Призванья моего найти себе
То общество, которое мне близко,
И те края, в которых мне легко».
И феникс мой, любовь моя, с укором:
«Пьянчуги, расхитители, лжецы,
Которых я с презреньем отвергала,
Когда фортуна изменила мне,
Осмелясь, выползли из темноты
И натравили на меня людей,
Которым я служила, для которых
Была опорой; все же никогда я
Не жаловалась на народ».
И мне
Осталось лишь ответить: «Ты нашла
Себя не в размышленьях, но в поступках
И обладаешь чистотой стихии;
А я, чья доблесть в точном выраженье
Заметок едкого ума, не в силах
Закрыть глаза на мир и замолчать».
И все ж от слов ее мне было стыдно;
Припомнив их и через девять лет,
Я никну головою от стыда.

Песня

О как я был уверен
Сколько-то лет назад,
Что гантель и рапира
Юность мне сохранят.
Кто предвидеть умеет
Что сердце, сердце стареет?

Хотя я богат словами,
Женщину не обмануть;
Лишь близость ее способна

Угасшую страсть вернуть.
Кто предвидеть умеет,
Что сердце, сердце стареет?

Утратил я не желанья,
Но сердце; казалось мне,
Что даже на смертном ложе
Сгорю я в любовном огне.
О кто предвидеть умеет,
Что сердце, сердце стареет?

Соломон – Царице Савской

Соломон Царице Савской
Меж поцелуями пел:
«Уж полдень, лишенный тени,
Полночью стать успел,
А наш разговор все о том же,
В слова любви заключен,
Словно старая лошадь
В узкий тесный загон».

Соломона Царица Савская
Ласкала и пела так:
«Прежде чем тень под солнцем
От нас отползла на шаг,
Ты мог бы понять, что не мудрости
Этот день посвящен
И что для тебя мои мысли —
Тот же тесный загон».

Соломон Царицу Савскую
Голубил и пел ей в ответ:
«Умудренней, чем мы, на свете
Ни мужчины, ни женщины нет,
И то мы с тобою за день
Лишь тот познали закон,
Что любовь загоняет вселенную
В узкий, тесный загон».

Из книги «Майкл Робартес и танцовщица» (1921)

Второе Пришествие

Шире и шире кружась в воронке,
Сокол сокольничего не слышит;
Связи распались, основа не держит;
Анархия выплеснулась на землю,
Тусклый от крови поток вскипает,
В нем почтенье к невинности тонет;
Добро утратило убежденья,
Зло одержимо неистовой страстью.

Ясно, что откровение близко;
Ясно, Второе Пришествие близко.
Второе Пришествие! Только помянешь
Его, как образ из Spiritus mundi[1]
Взор взволнует: в песках пустыни
Лев с головой человека и взглядом
Безжалостным и пустым, как солнце,
Поводит бедрами, и на склонах
Мечутся тени разгневанных птиц.
Возвращается мрак; но теперь я знаю,
Что каменный сон двадцати столетий
Был прерван качанием колыбели,
Что ныне зверь, дождавшийся часа,
Ползет в Вифлеем к своему рождеству.

Из книги «Последние стихотворения» (1939)

Пьяный восхваляет трезвость

Не отставай, красоточка,
Смотри, чтоб я плясал,
Иначе выпивка меня
Уложит наповал.
Я сердцем предан трезвости,
Она — бесценный клад;
Сама суди: мы кружимся,
А пьяные храпят.
Крути меня, верти меня,
Как резвая волна;
Пускай под каждым пляшущим
Могила мне видна.
Кружи меня, русалочка!
Взглянуть со стороны —
Мертвы лежат все пьяные,
Все мертвые пьяны.

Под старым каменным крестом

«Политик — легкий человек,
Наврет, так уж наврет;
Газетчик выдумкой тебя
За шиворот берет;
Наплюй на них, пускай дурак
На выборы бредет»,—
Сказал человек в золоченой броне
Под каменным крестом.

«Рожден в канаве этот век
И следующий век;
Как ни гляди, не отличишь
Здоровых от калек;
Как распознаешь Грех, когда
В союзе Грех и Блеск»,—
Сказал человек в золоченой броне
Под каменным крестом.

---

[1] Spiritus mundi *(лат.)* — по воззрениям Йейтса, сокровищница литературных образов, ставших нарицательными. *(Прим. перев.)*

«Но всех страшней глухой актер
Казнит мой мрачный сон;
За верность жизни выдает
Он кашель, хрип и стон,
Не ведая, какой от них
Трагедии урон»,—
Сказал человек в золоченой броне
Под каменным крестом.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Высокий слог

Какое шествие без ходуль, какой без них
карнавал!
На двадцатифу́товые шесты прадедушка мой
вставал.
Имелась пара и у меня — пониже футов на пять;
Но их украли — не то на дрова, не то забор
подлатать.
И чтобы потешить народ — взамен медведей
и обезьян,—
Чтоб детям на радость среди толпы вышагивал
великан,
Чтоб женщины на втором этаже с недочинённым
чулком
Пугались, в окне увидав лицо,— я вновь стучу
молотком.

Я — Джек-на-ходулях, из века в век тянувший
лямку свою;
Я вижу, мир безумен и глух, и тщетно я вопию.
Все это — высокопарный вздор. Трубит гусиный
вожак
В ночной вышине, и брезжит рассвет, и разрывается
мрак;
И я ковыляю медленно прочь в безжалостном
свете дня;
Морские кони бешено ржут и скалятся на меня.

Клочок лужа́йки

Кроме картин и книг
Да лужайки в сорок шагов,
Что мне оставила жизнь?
Тьма изо всех углов
Смотрит, и ночь напролет
Мышь тишину скребет.

Меня искушает покой,
Дряхлеет не только плоть,
Мечта устает парить,
А жернов мозга — молоть
Памяти сор и хлам,
Будничный свой бедлам.

Так дайте же пересоздать
Себя на старости лет,
Чтоб я, как Тимон и Лир,
Сквозь бешенство и сквозь бред,
Как Блейк, сквозь обвалы строк,
Пробиться к истине мог!

Так Микеланджело встарь
Прорвал пелену небес
И, яростью обуян,
Глубины ада разверз:
Да будут помнить века
Орлиный ум старика!

Перевод ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА

■

КРИСТА ВОЛЬФ

Кассандра

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

О том, что Криста Вольф работает над повестью о Кассандре, читатели «Иностранной литературы» узнали еще в 1982 году, после того как писательница побывала в Москве и посетила нашу редакцию. Она поделилась своими ближайшими творческими планами:

«В последнее время мое внимание приковано к фигуре Кассандры — мифической троянской царевны, которая предсказала гибель Трои во время греко-троянской войны. В этом древнем мифе мне видится ядро, позволяющее использовать миф во вполне актуальных целях. Разве ядерная война, если ее не предотвратить, не уничтожит нашу цивилизацию? Для задуманной мною повести мне пришлось более основательно углубиться в мифологию и археологию. Мы с мужем, в частности, побывали в Греции, с интересом знакомились там с памятниками микенской культуры. Но моя главная цель не просто возрождение мифа. Повесть задумана как предостережение» («ИЛ», 1982, № 7, с. 239).

Образ троянской пророчицы не раз привлекал внимание прозаиков, поэтов, драматургов. Скупые данные греческих мифов, поэтически воссозданных Гомером и Эсхилом, позволяют судить и о трагической судьбе этой древней героини, и о ее редкостных нравственных качествах. Кассандра, дочь царя Приама и его жены Гекубы, получила от Аполлона дар прорицательницы. Но она отвергла притязания Аполлона на нее как на женщину, и в отместку ей он сделал так, что ее предсказаниям никто не верил. Троянцы не прислушались к словам Кассандры, когда она предостерегла своего брата Париса от похищения Елены, жены спартанского царя Менелая. А после того, как разразилась война, Кассандра тщетно пыталась убедить своих сограждан, что нельзя впускать в Трою деревянного коня, в котором, как оказалось, были спрятаны вооруженные враги. Так не смогла она предотвратить ни военный конфликт с греками, ни поражение и гибель Трои.

Повесть Кристы Вольф — свободный пересказ мифов. Подробный разбор «Кассандры», а также четырех лекций, сопутствующих ей в издании ГДР, дан в статье С. Апта в майской книжке нашего журнала за 1984 год. Рецензент, знаток антично-

© Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1983.

КРИСТА ВОЛЬФ — CHRISTA WOLF (род. в 1929 г.)

Немецкая писательница (ГДР). Автор романов, повестей, литературно-критических очерков, сценариев. Ее первое произведение «Московская повесть» («Moskauer Novelle») вышла в свет в 1961 г. В последующие годы издавались романы «Расколотое небо» (русский перевод опубликован в «ИЛ», 1964, № 1), «Размышления о Кристе Т.» («Nachdenken über Christa T.», 1968), «Пример одного детства» («Kindheitsmuster», 1976), книга рассказов «Унтер-ден-Линден. Три невероятных истории» («Unter den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten», 1974), книга «Уроки чтения и письма. Статьи и размышления» («Lesen und Schreiben. Aufsätze und Betrachtungen», 1972). На русском языке издан однотомник избранных произведений К. Вольф в 1979 г. (М., «Художественная литература»). Повесть «Нет места. Нигде» вошла в сборник повестей и эссе писателей ГДР «Встречи» (М., «Радуга», 1983). Криста Вольф — действительный член Академии искусств ГДР. Она удостоена Национальной премии ГДР, премии имени Генриха Манна и др. Повесть «Кассандра» взята из книги «Кассандра. Четыре лекции», вышедшей в Берлине в 1983 г. («Kassandra. Vier Vorlesungen». Eine Erzählung. Berlin und Weimar).

сти, переводчик Эсхила, отметил, что легендарный сюжет подвергся у К. Вольф оригинальной художественной переработке. В повести есть и такие повороты действия, и такие мотивировки событий, и даже такие, пусть второстепенные, персонажи, которые созданы творческим воображением писательницы: к ее произведению нельзя подходить с критериями филологического педантизма. Есть основание прислушаться к мнению критика: «Озарив светом своего ума и таланта трагическую фигуру женщины-жрицы, которая знала, что город ее погибнет, а ее убьют как скотину, Криста Вольф написала сильную, страстную, смелую книгу, новаторскую в самом высоком смысле» («ИЛ», 1984, № 5, с. 239).

В одной из лекций Криста Вольф приводит строки из письма, которое Томас Манн, работавший над завершением своего цикла «Иосиф и его братья», написал в 1941 году ученому Карлу Кереньи: «...а что же сейчас моя стихия, как не миф плюс психология. Я давно уже страстный приверженец этой комбинации, ведь фактически психология — это средство вырвать миф из рук фашистских мракобесов и «переключить» его в сферу гуманности» (Т. Манн, Письма. М., 1975, с. 122). Повесть К. Вольф написана на подобной же основе: миф плюс психология. Анализ дум, чувств, переживаний героини помогает ей повысить актуальный антивоенный потенциал повести.

В первом абзаце автор вспоминает о своем путешествии в Грецию: «Это было здесь. Там стояла она». Писательница была в Микенах, видела ворота, перед которыми Кассандра, пленница царя Агамемнона, стояла в последние часы своей жизни. Она знала, что Агамемнон будет убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом, знала и то, что властная царица не пощадит и ее.

Вся повесть, начиная со второго абзаца (и кроме последних двух строк),— внутренний монолог Кассандры перед смертью. Она не пытается избежать грозящей ей участи: ведь и дома, в Трое, она немало натерпелась и не раз ей грозила гибель. Психологически углубляя легендарный образ, писательница вводит мотив любви Кассандры к герою троянской войны Энею. Он, среди немногих, спасся — она не последовала за ним. Она разделила судьбу своего города, своего народа.

Во всех произведениях Кристы Вольф центральные персонажи — женщины. Ее Кассандра отчасти сродни прежним вольфовским героиням — будь то Рита Зайдель («Расколотое небо»), Криста Т. из одноименного романа или Каролина фон Гюндероде из повести «Нет места. Нигде». Писательница наделила свою Кассандру высокой душевной стойкостью, чуткой совестью, требовательностью к себе, нравственным максимализмом. Она незаурядная личность, и вместе с тем ничто женское ей не чуждо. Кассандра — первая в мировой литературе женщина, дерзнувшая вмешаться в общественную жизнь. И в это свое вмешательство она вносит всю полноту человеколюбия, которая ей присуща.

Самим строем своей повести Криста Вольф раскрывает то, о чем говорится — открытым текстом, в публицистической форме — в ее лекциях: связь опасностей, грозящих человечеству, с вековым женским бесправием. По верному замечанию С. Апта, тут есть «нечто куда более крупное, серьезное и глубокое, чем модный сейчас на Западе феминизм». От этого феминизма, кстати сказать, писательница решительно отталкивается, не только в лекциях, но и в повести. В кругу персонажей нам встречается и Пенфезилея, предводительница амазонок, ненавистница мужчин, попирающая свое женское естество. Прямой антипод этой свирепой воительнице — бесстрашная и добрая Кассандра, все силы души которой направлены на то, чтобы преградить дорогу войне, разрушениям, смерти.

В лекциях, напечатанных вместе с повестью (и впервые прочитанных во Франкфурте-на-Майне перед многочисленной аудиторией), Криста Вольф прямо сопрягает свой легендарный сюжет с современностью. Иногда она обращается к исследованиям античной культуры, основательно ею изученным, но чаще — к самым острым политическим событиям дня. Приводя в действие документы, цифры, факты, она говорит о чудовищно возросшей в наши дни опасности повального истребления народов. Она напоминает, например, о том, что 6 августа 1981 года — в годовщину бомбардировки Хиросимы! — президент США принял решение о производстве нейтронных бомб: первые боеголовки смонтированы и могут быть доставлены в Европу за несколько часов. Само упоминание о подобного рода фактах достаточно ясно подсказывает читателям вывод о том, откуда исходит угроза ядерной войны и против кого она направлена...

Повесть Кристы Вольф не содержит прямых призывов, не дает готовых рецептов спасения человечества. Однако всей совокупностью мыслей и образов эта повесть мобилизует бдительность народов, их волю к тому, чтобы отстоять мир. Понятно, что эта повесть пришлась по душе читателям и читательницам в разных странах Европы: она отвечает тому настроению, которое побуждает людей разных возрастов и профессий выходить на улицы, участвовать в демонстрациях и походах мира, ставить свои подписи под антивоенными воззваниями. В одном из интервью писательница сообщила, что получила из ФРГ ряд писем с откликами на «Кассандру». Западногерманские женщины пишут, что, прочитав повесть, они решили примкнуть к антивоенному движению.

Т. МОТЫЛЕВА

Эрос вновь меня мучит, истомчивый, горько-сладостный, необоримый змей.

Сафо (перевод В. Вересаева)

Это было здесь. Там стояла она. Эти каменные львы, ныне безголовые, смотрели на нее. Последнее, что она видела,— крепость, когда-то непобедимая, груда камней ныне. Давно забытый враг и столетия, солнце, ветер и дождь отшлифовали камни. Неизменным осталось небо — темно-синяя глыба — высокое, далекое. Вблизи — сложенные циклопами стены, сегодня, как вчера, указывающие путь. К воротам, под которыми не брызжет кровь. В сумерки. На бойню. Одна.

С этим рассказом вступаю я в смерть.

Здесь я умру, бессильная, и ничто, ничто из того, что я бы сделала или не сделала, пожелала или подумала, не могло привести меня к другому концу.

Глубже, чем любым иным чувством, глубже даже, чем страхом, я пропитана, отравлена равнодушием бессмертных к нам, смертным. Напрасно тщимся мы смягчить их ледяную холодность нашей невеликой теплотой. Напрасно пытаемся мы бежать от их насилия — это я знаю давно. В ту ночь, на море, когда буря, разившая со всех сторон неба, грозила разбить наш корабль и никто не мог удержаться на палубе, если не был привязан к мачте, я заметила, как Марпесса тайком развязывает узлы, которыми она была связана с близнецами и мачтой,— я, висевшая на более длинной веревке, чем остальные, не размышляя, не раздумывая бросилась на нее, мешая ей предоставить свою жизнь и жизнь моих детей равнодушным стихиям, и вместо этого предоставила их воле безумных людей. Когда я отшатнулась от ее взгляда и снова скорчилась на своем месте возле скулящего Агамемнона, я спросила саму себя, из какого же прочного материала свиты веревки, привязывающие нас к жизни. Марпесса, я видела, не хотела со мной говорить, так уже было однажды. Она оказалась лучше подготовлена к тому, что мы здесь претерпевали, чем я, провидица. Я извлекала из всего, что видела, страсть, не надежду, нет, и продолжала жить, чтобы видеть.

Удивительно, как оружие всякого человека — молчание Марпессы, неистовство Агамемнона — всегда остается одним и тем же. Я, правда, в конце концов сложила свое оружие — единственная возможность перемены. Для меня.

Почему же я так желала именно дара провидения?

Моим голосом говорит опасность. Большего и другого я не желала. При необходимости я могла бы доказать это, только кому? Чужому народу, что нагло и робко окружает колесницу? Причина для смеха, если б она еще была: с моим стремлением оправдать себя покончено немногим ранее, чем со мной.

Марпесса молчит. Детей я больше не хочу видеть. Она прячет их от меня под покрывалом.

Небо над Микенами то же, что и над Троей, только пустое. Недоступное, отливающее эмалью, свежевычищенное. Что-то во мне соответствует пустому небу над вражеской страной. Все, что со мной происходило, нашло во мне соответствие. Эта тайна, которая со всех сторон сжимает меня, неотделима от меня, ни с одним человеком не могла я говорить о ней. Только здесь, на пределе моей жизни, я могу назвать ее себе самой: да, во мне есть что-то от них всех, но никому не принадлежала я целиком, и их ненависть ко мне я понимаю. Однажды, «прежде» — вот оно, волшебное слово,— я хотела намеками и обрывками фраз сказать это Мирине, но не ради облегчения, его нет. Но потому, что я считала себя виноватой перед ней. Конец Трои был близок, мы проиграли. Эней со своими людьми вышел из боя. Мирина презирала его. И я попыталась сказать ей, что я

Энея — нет, не просто поняла — оправдала. Словно я — он. Словно я притаилась в нем и своими мыслями питала его предательские намерения. «Предательские»,— сказала Мирина, гневно хлестая веткой по невысоким кустам во рву вокруг цитадели, не слушая меня, может быть даже не понимая, потому что после заточения я говорю тихо. Не из-за голоса, как все думают, голос не пострадал. Дело в его звучании. Исчез тон прорицания. К счастью, исчез.

Мирина закричала. Не странно ли, что я, совсем еще не старая, говорю обо всех, кого знала, в прошедшем времени. Но не об Энее, нет. Эней жив. Разве человек, оставшийся живым, когда все остальные умерли, обязательно трус? Не больше ли это чем политика,— взять и увести своих людей на гору Иду, в их родные пределы, вместо того чтобы послать на верную смерть? Должна ведь остаться хоть горстка людей, переживших это,— Мирина не соглашалась со мной,— так почему же прежде всех не Эней и его люди?

И я вместе с ними. Такого вопроса не вставало. Тот, кто хотел бы задать мне этот вопрос, под конец был вынужден отказаться от него. Так же как я, к сожалению, подавила в себе все, что только теперь могла бы сказать ему. И для того, чтобы хотя бы думать об этом, я осталась жить. Осталась жить на короткие часы. Не потребовала кинжала, который, я знаю, есть у Марпессы. Она предложила мне его сразу, как только мы увидели эту женщину, эту царицу, только увидели ее. И я, одним лишь взглядом, отказалась от него. Кто знает меня лучше, чем Марпесса? Теперь никто. Солнце преступило через полудень. То, что я еще постигну до вечера, умрет со мной. Умрет? Продолжают ли жить мысли, однажды жившие, в ком-то другом? В нашем честном вознице, например, которому мы надоели?

«Она смеется»,— говорят женщины, не подозревая, что я знаю их язык. В ужасе отшатываются они от меня, всегда одно и то же. Мирина, увидев мою улыбку, когда я говорила об Энее, закричала: «Неисправимая». Я положила ей руку на затылок и держала, пока она не умолкла, и мы обе со стены у Скейских ворот смотрели, как солнце ныряет в море. Мы стояли здесь в последний раз, и мы знали это.

Я нащупываю больные места. Как врач делает пробы на боль и, проверяя, не отмерла ли ткань, колет в больное место, так и я уколом проверяю свою память. Возможно, боль умирает раньше, чем умираем мы. Если это так, мы должны сказать об этом другим, но кому? Здесь говорят на моем языке только те, кто умрет со мной. Я продолжаю испытывать свою память и вспоминаю прощания: каждое было другим. Под конец мы признавали друг друга по тому, понимали ли мы, что это — прощание. Иногда легкий взмах руки, иногда короткое объятие. Эней и я — мы не коснулись друг друга. Бесконечно долго, казалось мне, его глаза глядели на меня, их цвета я так и не постигла. Еще мы разговаривали иногда, как разговаривала я с Мириной, пока наконец не прозвучало имя, которое мы так долго не называли: Пенфезилея.

Я увидела ее, Мирину, три-четыре года назад рядом с Пенфезилеей во главе одетых в броню воительниц, въезжающей в Скейские ворота, и натиск несоединимых чувств: удивление, умиление, восхищение, ужас, смущение и веселость — все вылилось в безудержный смех, который был в муку мне самой и которого чувствительная Пенфезилея так никогда мне и не простила. Мирина подтвердила это. Она обиделась. Это, и ничто иное, было причиной ее холодности ко мне. И я призналась Мирине, что мои попытки примириться шли не от чистого сердца, хотя я знала, что она погибнет. «Откуда?» — спросила меня Мирина с тенью былой веселости, но я больше не ревновала к Пенфезилее. Мертвые не ревнуют друг друга. Она погибла потому, что хотела погибнуть. А иначе зачем она пришла в Трою? У меня была причина наблюдать за ней, и я увидела в ней это. Мирина молчала. Больше всего меня очаровывала ее ярая ненависть к моим

предсказаниям, я никогда не произносила их, если она была рядом, но ей тут же спешили доложить о них, а также и о моей, случайно высказанной уверенности, что меня убьют, чего она по-иному, чем все остальные, не могла мне простить. Кто дает мне право на подобные предсказания? Я не отвечала, я зажмурила глаза от счастья. Наконец-то, впервые за долгое время, я почувствовала свое тело. Снова раскаленный укол пронзил мне сердце. Слабость к другому человеку снова захватила меня целиком. Она мне пришлась не по душе, Пенфезилея, уничтожающая мужчин воительница.

Как? Неужели я думаю, что она, Мирина, убила меньше мужчин, чем ее предводительница? И после смерти Пенфезилеи не больше ли, чем когда-нибудь прежде, чтобы отомстить за нее?

Да, моя лошадка, но только это было совсем другое.

Это было твое сжатое в комок упорство и твоя пылающая скорбь по Пенфезилее — думай как хочешь, но я понимала тебя.

Твоя глубоко запрятанная робость, твой страх прикосновения, которые я всегда щадила, пока не посмела наконец намотать белокурую гриву твоих волос себе на руку и поняла, как могуча страсть, с которой я давно стремилась к тебе. Увидеть твою улыбку в минуту моей смерти, подумала я и, не ощущая больше в себе нежности, надолго рассталась и со страхом. И вот он — темный, снова надвигается на меня.

Мирина вошла мне в плоть и кровь в ту минуту, как я увидела ее, светлую, отважную, пылающую страстью, рядом с темной, вечно грызущей саму себя Пенфезилеей. Счастье ли, горе ли она мне принесла, оставить ее я не могу, но не хочу, чтобы она была здесь сейчас. С радостью смотрела я на нее, единственную вооруженную женщину, и, когда мужчины, не внимая мне, втащили в Трою греческого деревянного коня, Мирина утвердилась в мысли бодрствовать всю ночь возле чудовища, и я, безоружная, осталась с ней. С радостью, опять в том же перевернутом смысле, я увидела, как бросилась она на первого грека, около полуночи вылезшего из деревянного коня. С радостью, да, с радостью смотрела я, как они падали и умирали от одного-единственного удара. Я улыбалась, и потому меня пощадили, как щадят безумцев.

Я видела еще недостаточно.

Я больше не хочу говорить. Все суетное, все привычное сожжено, пустынны те места в моей душе, где могли бы они произрасти. Сострадания к себе самой у меня столько же, как и к другим. И доказывать мне больше нечего. Смех этой царицы, когда Агамемнон ступил на пурпурный ковер, отметал любое доказательство.

Кто и когда снова найдет наш язык?

Наверное, у этого человека голова будет раскалываться от боли. А до тех пор — только рев, приказы, визг да «так точно» покоренных. Бессилие победителей, тупо повторяющих мое имя, касающихся рукой повозки. Старики, женщины, дети.

Жестокость победы и ее результаты уже нынче вижу я в их слепых глазах. Наказаны слепотой. Все, что они должны бы видеть, разыграется перед их глазами, а они ничего не увидят. Так и сейчас.

Теперь мне понадобится то, чему я училась всю жизнь: побеждать свои чувства разумом. Прежде любовь, теперь страх. Он охватил меня, когда колесница, влекомая в гору усталыми лошадьми, остановилась у темных стен. Перед последними воротами.

Разорвались облака, и солнце упало на каменных львов, тоскливо стремящихся куда-то, мимо меня, мимо всего. Страх я знаю, но это что-то другое. Может быть, оно явилось мне в первый раз, чтобы сейчас же быть убитым.

Теперь мое любопытство и к себе самой тоже вполне свободно. Я поняла это и громко закричала тогда на корабле, такая же измученная морским переходом, как все остальные, изнуренная и промок-

шая до нитки в брызгах бурлящей морской пены, среди чужих испарений и воплей троянок, исполненных вражды ко мне, ибо все всегда знали, кто я.

Ни разу не посчастливилось мне затеряться в их толпе, слишком поздно пожелала я этого, слишком много сделала в своей прежней жизни для того, чтобы быть известной. Упреки себе самой тоже мешают сосредоточиться. Во мне, как плод в скорлупе, созревал вопрос, и, когда скорлупа треснула, он встал передо мной. Я закричала — не то от наслаждения, не то от боли.

Для чего мне нужен был дар провидения?

В этот самый миг царь Агамемнон — «чрезвычайно решительный» (о, боги!) — рывком вытащил меня из клубка тел, и мой крик прервался: предсказания были ему не нужны.

«Это ты, ты,— кричал он, обезумев от страха,— ты натравила на меня Посейдона. Разве не пожертвовал я ему перед выходом в море трех лучших своих лошадей?» — «А Афине? — спросила я холодно.— Что пожертвовал ты ей?» Я увидела, как он побледнел. Все мужчины, поглощенные лишь своим «я», — дети. (Эней? Вздор. Эней — взрослый человек.) Насмешка? В глазах женщины? Этого перенести они не в силах. Царь-победитель прикончил бы меня — а этого я и хотела,— если бы все еще не продолжал бояться. Он всегда считал, что я колдунья. Я должна умиротворить Посейдона. Он толкнул меня на корму и рванул мои руки вверх для подобающего жеста. Мои губы шевелились.

Жалкий трус, о чем тебе беспокоиться? Не все ли равно — утонешь ли ты здесь или тебя зарежут дома?

Если Клитемнестра такова, какой я себе ее представляю, она не станет делить трон с этим ничтожеством. А она такая, какой я ее себе представляю. Да к тому же исполнена ненависти. Пока он еще властвовал над нею, он тиранил ее грубо и сумасбродно, как и подобало такому ничтожеству.

Но я знаю не только мужчин, я знаю и женщин, а это гораздо трудней. Меня царица не пощадит. Взглядом она уже сказала мне это.

Моя ненависть исчезла. Когда? Мне не хватает ее, моей дерзкой, сочной ненависти. Одно имя может разбудить ее, но я пока не произнесу его и в мыслях. Если бы я смогла. Если бы я смогла. Если бы я смогла вырвать это имя из памяти всех людей, что останутся живы. Если бы я смогла выжечь его из наших умов — тогда я не зря прожила свою жизнь. Ахилл.

Моя мать, я не должна больше думать о ней, Гекуба, она плывет на другом корабле к другим берегам. С Одиссеем. Ее безумное лицо, когда они оттащили ее от нас. Ее рот. Самым ужасным с тех пор, как существуют люди, проклятием прокляты греки,— и моя мать Гекуба извергла его.

Она права, надо только уметь ждать. Ее проклятие исполнится, крикнула я ей. И мое имя прозвучало победным кличем, ее последнее слово. Когда я вошла на корабль, все во мне молчало.

Ночью, после моего «заклинания», море скоро успокоилось, не только пленники, но и греки, и даже грубые алчные гребцы почтительно сторонились меня. Я сказала Агамемнону, что потеряю свой дар, если он силой потащит меня в свою постель. Он отпустил меня. Силы уже давно покинули его. Девушка, что жила последний год в его палатке, рассказала об этом. Если она выдаст его великую тайну, угрожал он, всегда найдется предлог обречь ее на побиение камнями. Я внезапно поняла его изощренную жестокость в сражениях, поняла, почему он становится все молчаливее, чем ближе мы от Навплии подвигаемся по пыльной дороге через Аргос к его цитадели — Микенам. К его жене, у которой нет причины сострадать ему, если он проявит свою слабость. Кто знает, от какой беды она избавит его, убивая.

А ведь они не знают, как жить. Что это и есть подлинное несчастье, что это и есть смертельная опасность — я постигла не сразу. Я провидица! Дочь Приама! Как долго я не замечала того, что рядом: я выбирала между моим происхождением и служением. Как долго трепетала я от страха перед тем ужасом, который я вынужденно вызывала у своего народа. И он, этот ужас, пересек море и опередил меня. Здешние люди наивны по сравнению с троянцами — им не пришлось переживать войну,— они не скрывают своих чувств, ощупывают колесницу, незнакомые вещи, трофейное оружие, лошадей. Меня не трогают. Возница, который, похоже, немного стыдится своих соотечественников, назвал им мое имя. И я увидела то, к чему привыкла,— их ужас. «Лучшие,— говорит возница,— вовсе не те, кто отсиживался дома». Женщины снова приблизились к нам, беззастенчиво разглядывают меня, стараются плюнуть под шаль, которой я окутала голову и плечи. Они спорят, красива ли я, старые находят меня красивой, молодые нет.

Красива? Я, внушающая трепет, я, желавшая, чтобы Троя пала?

Слухи преодолели море, и во времени они опередят меня. Пантой, грек, был прав. «Ты лжешь, моя милая,— сказал он мне, когда мы у ларя Аполлона подготавливали все к церемонии.— Ты лжешь, предсказывая всем нам падение. Из нашего падения, когда ты предсказываешь его, ты извлекаешь для себя вечность. Тебе это более нужно, чем крохи домашнего счастья сейчас. Твое имя останется, и ты это знаешь».

Второй раз я не смогла дать ему пощечину. Пантой был ревнив, и язвителен, и проницателен. Был он прав? Во всяком случае, он научил меня думать невероятное: мир и после нашего заката будет продолжать свой путь. Я не показала ему, как это меня потрясло. Как могла я допустить мысль, что с нашим родом погибнет все человечество? Разве я не знала, что рабыни побежденных родов увеличивают плодовитость победителей? Не высокомерие ли царской дочери в том, что я судьбу всех их, всех троянок и, разумеется, троянцев, связывала со смертью нашего дома? Только после и с трудом я научилась отличать свойства, которыми наделяешь себя сам, от врожденных и едва уловимых. Обходительна, скромна и безупречна — это относится к тому образу, который я сама себе создала и который из каждой катастрофы выходил почти без всяких изменений. Мало того, именно когда он выходил, катастрофа оказывалась позади. Не случалось ли, что, стремясь спасти собственное достоинство,— ибо справедливость, гордость и правдивость принадлежали этому образу, созданному мной,— я слишком сильно задевала чувство собственного достоинства моих близких? Не квиталась ли я с ними, несгибаемо говоря им только правду, за обиды, которые наносили мне они? По-моему, именно это думал обо мне грек Пантой. Он знал себя и, как я могла заметить, с трудом сам себя выносил и пытался себе помочь, допуская лишь единственную причину каждого поступка и любой ошибки: себялюбие. Он был глубоко проникнут идеей, что устройство мира не позволяет одинаково помогать себе и другим. Никогда, никогда не выбиться ему из своего одиночества. И тем не менее у него нет права, теперь я это знаю, считать меня такой же, как он, подобной ему. Вначале, быть может, и только в том единственном, что Марпесса называет высокомерием. Счастье оставаться собой и этим быть полезной другим мне довелось узнать. Я заметила, что только немногие видят, что мы изменились. Гекуба, моя мать, рано поняла меня и больше не заботилась обо мне. «Этому ребенку я не нужна»,— сказала она. Я восхищалась ею и ненавидела ее за это. Приаму, моему отцу, я была нужна.

Оборачиваясь, я вижу Марпессу, она улыбается. С тех пор как дело пошло худо, она все время улыбается. «Детям, Марпесса, не избегнуть своей участи, ведь это мои дети».— «Я знаю»,— отвечает она. Она ничего не говорит о том, хотелось ли ей избежать этого самой.

Детей придется вырывать из ее рук. Может быть, ей сломают руки. Не потому, что это мои дети, а потому, что это дети. «Сначала покончат со мной, Марпесса, сразу вслед за царем». Марпесса отвечает: «Я знаю».— «Твое высокомерие, Марпесса, оставит мое далеко позади». И она с улыбкой отвечает: «Так оно и есть, госпожа».

Сколько лет она не называла меня госпожой. Там, куда она меня вела, я не была госпожой и не была жрицей. А то, что мне дано понять это, сделает мою смерть легче. Знаю ли я, что говорю?

Никогда мне не узнать, любила она меня или нет, эта женщина, близости с которой я так добивалась. Сначала из желания нравиться. Потом из желания понять ее по-настоящему. Она служила мне до полного отказа от самой себя, и потому ей необходима была сдержанность.

Когда оттрепещет страх, как сейчас, я вспоминаю далекое. Почему пленники из Микен описывали свои ворота более мощными, чем они мне кажутся теперь? Почему изображали они стены, сложенные циклопами, огромными, а свой народ пьянеющим от насилия и более жестоким, чем он есть? Охотно и безудержно рассказывали они о своей родине, как все пленные. Никто не спросил меня, зачем мне такие подробные сведения о вражеской стране. Почему я задавала свои вопросы именно тогда, когда победа казалась мне непреложной? Когда время уничтожать врага, а не изучать его? Что толкало меня, кому я могла сказать о потрясении, которое испытала: они такие же, как мы! Может быть, я хотела представить себе место, где я умру? Я думала о смерти? Не была, как остальные, напыщенно-торжествующей?

Как быстро и прочно мы забываем.

Война формует своих людей. Я не хочу хранить их в памяти, отлитых и разбитых войной. Певца, что до последнего воспевал славу Приама, я ударила в лицо, жалкий льстец. Нет, я не хочу забыть своего брошенного и разбитого отца. Но и царя тоже, ребенком я любила его больше всех на свете. Он не всегда был в ладу с действительностью, умел жить в мире воображения, не всегда принимал в расчет условия, необходимые для существования его государства, как и те, которые ему угрожали. Это делало его не вполне идеальным царем, зато он был мужем идеальной царицы, что давало ему особые права. Вечер за вечером — я так и вижу его перед собой — он приходил к матери; почти всегда беременная, сидела она в своем мегароне, в своем деревянном кресле, очень похожем на трон; царь, приветливо улыбаясь, подвигал к нему скамеечку. Это мое раннее воспоминание. Любимица отца, я интересовалась политикой больше всех моих многочисленных братьев и сестер. Мне разрешалось сидеть и слушать, часто я сидела на коленях у Приама, положив ему руку на впадинку над ключицей (и у Энея я больше всего люблю это место), чувствительное место, туда вонзилось греческое копье, я сама это видела. Я, знавшая все имена чужих вождей и царей, названия всех городов и товаров, все, чем мы торговали или перевозили на наших знаменитых кораблях через Геллеспонт, величину дохода и решения об его использовании,— все это навсегда смешалось со строгим, чистым запахом отца; побежденные вожди, разрушенные или обедневшие города, товары, испорченные или украденные... Я — изо всех его детей именно я,— по мнению отца, предала его и наш город.

Для всех на свете это не более чем язык прошлого. Язык настоящего съежился до слов об этой темной крепости. Язык будущего для меня состоит из одной только фразы: меня убьют сегодня...

Чего хочет этот человек? Он обращается ко мне? Я, должно быть, голодна. Я — нет, это он голоден, он хочет поставить лошадей и отправиться наконец домой, к своим, к тем, кто нетерпеливо ждет, обступив его. А я должна следовать за царицей. Спокойно идти за ней в крепость с двумя стражами, приставленными не сторожить, но обе-

регать меня. Мне придется напугать его. «Да,— говорю я ему,— я иду. Но еще не сейчас. Оставь меня здесь еще на несколько минут. Видишь ли,— говорю я ему и стараюсь пощадить его,— когда я пройду через эти ворота, я буду все равно что мертвая».

Старая песня: не злодеяние, но сообщение о нем заставляет людей бледнеть, приводит их в ярость. Я знаю это по себе. И мы предпочитаем наказывать не того, кто его совершил, но того, кто его назвал. Тут, впрочем, как и в остальном, мы все одинаковы. Разница в том, понимаем мы или нет.

Мне это далось нелегко, привыкнув быть исключением, я не хотела, чтобы меня подгоняли под одну мерку с другими. Я ударила Пантоя вечером того дня, когда он посвятил меня в жрицы и сказал: «Твое несчастье, маленькая Кассандра, что ты любимица отца. Больше бы подошла Поликсена, и ты это знаешь, она готовилась к этому, а ты полагалась на его помощь». И, как кажется,— я сочла его улыбку, когда он говорил это, бесстыдством,— как кажется, на свои сны.

Тогда я ударила его по лицу. Его взгляд пронзил меня, но он сказал только: «А теперь ты полагаешься на то, что хотя я и верховный жрец, но всего-навсего грек».

Он сказал правду, но не всю и не до конца, ибо я меньше, чем он думал, руководствовалась расчетом. (И наши расчеты незримо для нас определяются не нами, да, я знаю!) Сон, в ту ночь незваный, напугал меня. Аполлон вошел ко мне, я его сразу узнала, несмотря на его сходство с Пантоем. Я едва ли могла сказать, в чем оно заключалось. Прежде всего в выражении глаз — тогда я назвала их «жестокими», а потом у Пантоя — я больше никогда не видела Аполлона! — просто «трезвыми». Аполлон в блистающих лучах, как меня учил видеть его Пантой. Бог солнца с лирой. Голубые жестокие глаза, кожа цвета бронзы. Аполлон — бог ясновидящих. Он знал, чего я страстно желала: дара провидения, которым он и одарил меня — и я посмела ничего не почувствовать! — небрежным движением руки, чтобы потом приблизиться ко мне как мужчина; и я думаю, только из-за моего страха он обратился в волка, окруженного мышами, а поняв, что не может взять меня силой, плюнул мне в рот. Проснувшись, дрожа от страха, я ощутила отвратительный вкус во рту и посреди ночи бросилась прочь от храма, где я должна была теперь спать, в крепость, во дворец, в спальню, в кровать к матери. Для меня было драгоценным мгновение, когда лицо Гекубы изменилось в заботе обо мне, но она овладела собой. «Волк? — спросила она холодно.— Волк, как это пришло тебе в голову. А мыши? Откуда ты это взяла?»

Аполлон Ликейский! Голос няни. Бог волков и мышей, она знала темные истории о нем, она рассказывала их мне шепотом и не позволяла пересказывать никому. Я никогда не подумала бы, что этот двуединый бог тот же, что наш неуязвимый Аполлон в храме. Только Марпесса, моя ровесница, дочка няни, знала, в чем дело, но молчала, как я. Мать не настаивала, чтобы я назвала имена. Больше, чем волчье обличие бога Солнца, ее беспокоило мое нежелание соединиться с ним.

Если бы какой-нибудь бог пожелал возлечь с нею, разве это не честь для смертной? Конечно. Это так. И если бог, службе которому я себя посвящаю, хочет обладать мною целиком — разве это не естественно? Так в чем же дело? Нет, никогда не должна была я рассказывать этот сон Гекубе. Она продолжала выспрашивать меня.

Разве не я год назад, едва только прошло мое первое кровотечение, сидела с другими девушками возле храма Афины — должна была сидеть, подумала я как тогда, и как тогда мне свело кожу на голове от стыда,— хотя все шло предначертанным путем. Кипарис, под которым я сидела, я показала бы и сейчас, если греки не сожгли его, я описала бы форму облаков, ветром гонимые, тянулись они от Геллеспонта. «Ветром гонимые» — глупые слова, но у меня нет больше вре-

мени на поиски слов. Я просто думаю об аромате олив и тамариска. Закрыть глаза. Я больше не умею этого, но умела. Чуть приоткрыла и в щелку увидела мужские ноги. Множество ног в сандалиях, трудно представить себе, что они принадлежат разным людям. Все отталкивающие. За один день я насмотрелась мужских ног на всю жизнь. Я чувствовала взгляды мужчин на лице, на груди. Ни разу не взглянула я ни на одну из девушек, ни разу ни одна из них не взглянула на меня. Нас ничто не связывало, каждый из мужчин должен был выбрать одну из нас и лишить девственности. Я долго слышала, пока не заснула, щелчок пальцев и одно слово, повторяемое на разные лады: «Пойдем!» Одну за другой уводили девушек, дочерей офицеров, дворцовых писцов, гончаров, ремесленников, возниц и арендаторов. Вокруг меня становилось пусто. К пустоте вокруг себя я притерпелась с детства. Я постигла два рода стыда: быть выбранной и остаться сидеть одной. Я буду жрицей, чего бы это ни стоило.

Днем, когда пришел Эней, мне подумалось, что я уже видела его прежде. «Прости,— сказал он,— я не мог прийти раньше». Словно мы условились. Он поднял меня, нет, я сама поднялась, мы потом не раз спорили об этом. Мы пошли в дальний угол храмовой площадки и пересекли, не заметив, границу, за которой подобает хранить молчание. Отнюдь не высокомерие и не робость — а она, конечно, тоже была — заставили меня, разговаривая с женщинами, ни словом не упомянуть Энея. Я всегда была скрытной, никогда я, как другие, не открывала своей души всем. Я знала, что этим сохраняю преграду между нами. Неназванное имя Энея вставало между мной и остальными женщинами, которые обретали, чем дольше шла война, страх перед своими одичавшими мужьями, не меньший, чем перед врагами. Их могло охватить сомнение, на чьей же стороне я на самом деле, если не поделилась с ними подробностями о том, например, полудне на границе храмовой площадки, когда мы оба, Эней и я, знали, чего от нас ждут, и оба знали это от Гекубы, когда мы оба оказались не в состоянии исполнить то, чего от нас ждали, и возлагали вину каждый на себя. Няня, мать и Эрофила, жрица, весьма строго втолковывали мне мои обязанности в отношениях с мужчиной, но они не рассчитали, что любовь, если она внезапно вступает в игру, может помешать всем правилам, и я не знала, что мне делать, и залилась слезами, видя его робость и считая, что ее виной была моя неумелость. Очень юны, очень юны мы были. Когда он поцеловал меня, прикоснулся ко мне, погладил меня, я сделала все, как он хотел, только, по-моему, он ничего не хотел, я должна была ему что-то простить, но что, я не знала. Под вечер я уснула и до сих пор помню, что мне приснился корабль, который по синей гладкой воде уносил Энея от нашего берега, и огромное пламя, вспыхнувшее, когда корабль достиг горизонта, между ним, уплывшим, и нами, оставшимися дома. Море пылало. Эта картина и посейчас стоит передо мной, сколько ни легло на нее с тех пор других, других, более страшных. Хотела бы я знать... (Да о чем я думаю! Хотела бы? Знать? Я? Именно так. Слова правильные), хотела бы я знать, какого рода беспокойство, неощутимое в пору мира, в пору счастья — так мы говорили,— вызвало этот сон.

С криком я проснулась, Эней, встрепенувшись от сна, не смог меня успокоить и отнес к матери. Только потом, когда я днем и ночью, снова и снова перебирала все, сцену за сценой, пока они не потеряли постепенно свою остроту,— только потом я удивилась тому, что Эней в ответ на вопрос матери, все ли в порядке, ответил кратким «да». Самое поразительное — она поблагодарила его, смущенная, я не знаю чем. Она отослала Энея. Уложила меня, как ребенка, дала мне какое-то питье, мне стало хорошо, все вопросы и сны рассеялись.

Трудно передать словами, по каким знакам мы безошибочно узнаем, когда нельзя больше думать о каком-либо событии. Эней исчез из моей жизни. Эней, первое воплощение идеала, остался во

мне пылающей точкой, его имя — раскаленным уколом, я повторяла его, когда только могла. Но я запретила себе понять таинственные слова, которые няня, когда я выросла и она прощалась со мной, передавая мне в услужение свою дочь Марпессу, пробормотала наполовину с почтением, наполовину с ненавистью: «Старуха и тут сделала по-своему, ну, на этот раз, может быть, и на благо доченьке». И она тоже спросила, все ли в порядке. Я рассказала ей свой сон, как всегда делала, и в первый раз увидела, как бледнеют люди от моих слов. (Что в этом было? Испуг? Гнев? Соблазн? Правда ли, что я, как меня упрекали потом, пользовалась этой своей способностью вызывать бледность?)

«Кибела, помоги!» — прошептала няня. С этими же словами она и умерла. Это было, да, это было вскоре после падения Трои, до того, как мы переплыли море. Нас всех, пленников, согнали на голый морской берег в наводящую жуть, бросающую в дрожь осеннюю непогодь, грозящую, казалось, гибелью всему свету. «Помоги, Кибела»,— стонала старуха, но помогла ей ее дочь Марпесса, она дала ей питье, от которого та уснула, чтобы не просыпаться больше никогда.

Кто такая Кибела?

Няня уклонялась от ответа. Ей было запрещено, поняла я, произносить это имя. Она знала, и я тоже знала, что Гекубе следует повиноваться. Почти невероятным представляется мне сегодня, какое действие производили приказы царицы, я едва могу восстановить в памяти, что некогда пылко негодовала на них. Она стремится только оградить меня, сказала мне тогда Гекуба. Но моя мать недооценивала меня. Я уже видела Кибелу.

Сколько раз потом ходила я этой дорогой, одна или с другими женщинами, и никогда не забывала, как было у меня на душе в тот вечер, когда Марпесса в сумерках повела меня на гору Иду. Гора Ида была постоянно у меня перед глазами, и втайне я любила ее, считала своей горой, часто поднималась на нее и, казалось мне, хорошо знала. Марпесса шла впереди и вдруг нырнула в горную складку, поросшую буками, где обычно лазали только козы. Мы пересекли фиговую рощицу и внезапно очутились среди молодых дубов в святилище незнакомой богини, где вереница молодых темнокожих, стройных и гибких женщин в танце возносила хвалу своей богине. Среди них я узнала дворцовых рабынь, женщин из селений за стенами цитадели, а у входа в пещеру под ивой, корни которой, словно волосы на лобке, падали в отверстие пещеры, сидела няня и движениями своего мощного тела, казалось, управляла цепью танцовщиц.

Марпесса скользнула в круг, моего присутствия они как будто не заметили — новое и, я бы сказала, обидное наблюдение. Быстрота танца нарастала, ритм становился стремительнее, требовательней, неистовей, он выбрасывал отдельных танцовщиц из круга, Марпессу, мою сдержанную Марпессу, тоже, и толкал их на движения, вызывающие у меня стыд. Это длилось, пока они совсем не утратили власть над собой и не стали трястись, корчиться, выть и, наконец, не впали в экстаз и не увидели невидимое нами. Затем одна за другой, одной из последних — Марпесса, они сникали и без сил опускались наземь.

В ужасе я кинулась прочь, долго блуждала и глубокой ночью прибежала домой. Постель моя была приготовлена, ужин тоже готов, а Марпесса ждала меня возле моего ложа. А на следующее утро во дворце, как всегда, спокойные лица.

Что происходило? Где я жила? Сколько же в Трое действительностей кроме моей, которую я считала единственной? Кто установил точную границу между видимым и незримым? Кто допустил, чтобы земля, по которой я так уверенно ходила, сотрясалась?

«Я знаю, кто такая Кибела»,— крикнула я в лицо матери. «Ну, тогда все хорошо»,— сказала Гекуба. Ни единого вопроса о том, кто меня туда отвел. Никаких дознаний. Никакого наказания. Не толику

ли облегчения или даже слабости обнаружила моя мать? Что мне мать, которая показывает свою слабость? Может быть, она хочет со своими горестями войти ко мне в доверие? Я уклонилась. Я избегала, как и долго потом, соприкосновения с людьми. Стремилась быть неприступной и преуспела в этом. Стала жрицей, и Гекуба помогла мне. Она же знала меня дольше, чем я ее.

«Царица,— сказал мне отец во время одного из наших доверительных разговоров,— Гекуба властвует лишь над теми, кто может быть ей подвластен. Но любит она неподвластных ей». Внезапно я увидела отца совсем другими глазами. Гекуба любит его? Вне сомнения. Значит, он ей неподвластен? Ах, ведь и родители были когда-то молоды! Война продолжалась, она выворачивала наизнанку каждого, и все снова менялось. Приам становился все более замкнутым и неприступным, закаменевшим, но подвластным, только уже не Гекубе. Гекуба стала мягче, но по-прежнему была несгибаемой. Приама боль за сыновей убила раньше, чем враг заколол его. Гекуба, раздираемая болью, с каждым несчастливым годом становилась сострадательней к другим и живее.

Как и я. Никогда не была я более живой, как в этот час моей смерти, сегодня.

Что я называю «живым»? Не путаться трудного, менять свое представление о себе самом — вот что я называю «живым». «Слова,— сказал Пантой, тогда он еще был моим противником,— это не больше чем слова, Кассандра. Человек ничего не изменяет. Так почему же ему изменять именно самого себя, именно свое представление о себе самом».

Когда сегодня я нащупываю и разматываю нить моей жизни, переступаю через войну — черную глыбу — и медленно, с тоской возвращаюсь к годам до войны, когда я была жрицей, ко временам мира — белая глыба,— и еще дальше назад: девочка — уже само слово нравится мне, но куда больше ее облик в прекрасной картине, картине детства. Я всегда больше любила образы, чем слова, это удивительно и противоречит моей профессии, но я больше не могу следовать ее веленьям. Последним будет картина, не слово. Перед картинами меркнут слова.

Страх смерти.

Как это будет? Победит ли слабость? Могущественная слабость. Победит ли тело, покорив мою мысль? Победит ли страх смерти, могучим рывком займет все позиции, которые я вырвала у своего невежества, у своей любви к покою, у своего высокомерия, своей трусости, лени, стыда. Победит ли страх, унесет ли словно половодьем мое решение, формулу которого я искала всю дорогу и нашла: я хочу сохранить сознание до самого конца.

Когда наши — глупость!— когда их корабли при полном штиле пристали к берегу в зеркально-гладкой бухте Навплии и палящее, тяжелое от крови солнце опустилось за горную гряду; когда троянки словно только сейчас, ступив с корабля на чужую землю, по-настоящему попали в неволю и искали утешения в безутешных рыданиях; когда и в следующие за тем дни на пыльной, раскаленной, мучительной дороге через крепость Тиринф и по грязи Аргоса их встречали и провожали руганью сбегавшиеся к колеснице женщины и старики; когда на последнем подъеме дороги по сухой, выжженной земле, над которой зловеще, но все еще далеко возникала эта наводящая жуть груда камней — Микены — крепость; когда застонала даже Марпесса, что было удивительно само по себе, а нерешительный царь Агамемнон вместо того, чтобы спешить, устраивал привал за привалом и каждый раз садился рядом со мной в тени оливы, молча пил и предлагал мне вино, и никто из его свиты не выражал неудовольствия («Олива, дерево нежное...»); когда мое сердце, которого я давно не чувствовала, от привала к привалу все уменьшалось, становилось крепче и

тверже — камень, исполненный болью, и ничто больше не смогло бы сжать его, тогда я поняла: мое решение готово — литое, прокаленное копье. Я останусь свидетельницей, пусть даже не уцелеет ни единый человек, кому понадобится мое свидетельство.

Я больше не позволю себе обдумывать свое решение. Но разве это лекарство не того сорта, что вызывает зло позлее того, против которого оно направлено. Разве не воскресило это испытанное средство сейчас мой старый, позабытый недуг: я, расщепленная внутри себя, наблюдаю за самой собой, вижу себя сидящей на этой проклятой греческой телеге, дрожа под своим покрывалом в ознобе страха. Буду ли я, чтобы не корчиться от страха, чтобы не реветь зверем — мне ли не знать, как ревут жертвенные животные,— буду ли я до конца, до того топора... буду ли я, когда моя голова, моя шея... буду ли я во имя разума до конца расщеплять себя, пока топор не расщепит меня, буду ли я...

Почему я не хочу разрешить себе вернуться к животному естеству? Что меня удерживает? Кто меня сейчас видит? Разве я, неверящая, все еще притягиваю к себе взоры бога, как прежде ребенком, как девушкой, как жрицей? Разве это никогда не кончится? Куда бы я ни посмотрела, о чем бы ни подумала — нет бога, нет приговора, только я одна. Кто делает мой приговор себе самой до смерти и в смерти столь жестоким?

Это тоже предопределено? И тут мое движение направляют нити не в моих, а в чьих-то руках, как когда-то направляли они движения девочки, какой я была. Давний образ и сейчас желанный, и сейчас пробуждающий тоску. Ясное, юное существо на светлой земле, веселое и чистосердечное, прямодушная, полная надежд, доверчивая девочка, заслуживающая того, что ей присуждали. Свободная, такая свободная. А на самом деле связанная. Управляемая и направляемая к цели, которую поставили другие. Самое унизительное (слово из прошлого) то, что все это знали. И Пантой. Грек Пантой был в это посвящен... Не моргнув глазом, он протянул мне жезл и головную повязку, как указала ему Гекуба. Значит, он не верил, что мне приснился Аполлон? И все же. Так, так, маленькая Кассандра. Самое нелепое: он не верил в сны.

«Наконец-то!» — воскликнул он в день, когда я спокойно сказала ему, что Троя погибнет, и не привела в доказательство никакого сна. Пантой разделял мою уверенность, но его это не затрагивало. Он, грек, не боялся за Трою, а только за свою жизнь: она и без того слишком долго тянется. Средство покончить с ней он уже давно носил с собой. Но не воспользовался им. Умер в мучениях ради того, чтобы прожить лишний день. Пантой. Мы никогда его до конца не понимали.

Разумеется, и няня Партена знала, какая ведется игра. Как состоялось избрание меня в жрицы. От нее знала об этом и Марпесса. Это именно няня — чего я долго не подозревала — дала мне ключ к моему сну и моей жизни. «Если Аполлон плюнул тебе в рот,— сказала она торжественно,— это означает, что у тебя есть дар предсказывать будущее. Но никто не будет верить тебе».

Дар провидения. Обжигающий испуг. Я его себе намечтала. Посмотрим, будут мне верить или не будут. Не может быть, чтобы люди долго не верили тому, кто верно предсказывает им будущее.

Я завоевала даже Гекубу, мою всегда сомневающуюся мать. Она припомнила одну очень давнюю историю, а Партена, няня, повсюду повторяла ее — нельзя же полагаться только на сны. В наш второй день рождения мы, близнецы, мой брат Гелен и я, заснули в роще Аполлона Тимберийского, одни, без родителей и с няней, плохо приглядывающей за нами — она тоже уснула, выпив тяжелого, сладкого вина. Гекуба разыскала нас и, к своему ужасу, увидела, как священные храмовые змеи, подползшие к нам, облизывали нам уши. Громко хлопая в ладоши, она прогнала змей, разбудила нас и няню и с тех

пор знала: оба эти ребенка получили от богов дар провидения. Правда? — спрашивали няню, и чем чаще повторяла она свой рассказ, тем непоколебимее в него верила. Я помню, рвение Гекубы вызывало у меня какой-то пресный привкус. Я чувствовала, что она делала чуть больше, чем следовало бы. И тем не менее я утверждалась в том, во что я так настойчиво хотела верить: мне, Кассандре, единственной из двенадцати дочерей Приама и Гекубы, самим богом предназначено быть провидицей. Что же естественнее, чем служить ему жрицей в его святилище?

Поликсена... Я проложила свой путь, оттеснив тебя в сторону. Ты была ничуть не хуже меня, столь же пригодна для этого. Я давно хотела сказать тебе это, Поликсена, сказать раньше, чем они потащили тебя, как жертву на заклание, как теперь меня. Поликсена, если бы мы поменялись нашими жизнями, смерть у нас все равно осталась бы одной и той же. Утешение? Нуждалась ты в утешении? Нуждаюсь ли я? Ты смотрела на меня (ты еще смотришь на меня теперь?). Они поволокли тебя к могильному холму опустошителя Ахилла. Ахилл, скот.

О, если бы только они не знали любви!..

О, если бы в тот первый день войны я не глядела бы, как он, Ахилл,— да будет проклято и забыто его имя! — душит брата Троила, я своими руками задушила бы его самого. Раскаяние сжигает меня, оно не отступает, Поликсена. Меня удержал грек Пантой: она сильнее тебя, я знаю ее. Он тебя знал. Меня тоже. Я не могу задушить человека. Поликсена, я... не отнимай радость моего запоздалого признания... мне досталась эта доля, когда еще не было решено, кого из нас он будет посвящать — тебя или меня. Никогда, дорогая, мы не говорили об этом. Только взглядом, жестом. Как могла я тебе сказать то, о чем едва смела подумать: уступи мне это место. Тебе это не нужно, так я думала, клянусь. Я не понимала, что ты нуждаешься в этом, как и я, только по другой причине. У тебя есть твои любовники, так я думала. Я же была одна. Я ведь встречала их, когда они в утренних сумерках выходили из твоей спальни. Я видела, как ты хороша, как становишься все красивее, ты, с вьющимися русыми волосами, единственная светловолосая дочь Гекубы. Кто, спрашивали себя няньки и слуги, кто мог быть твоим отцом? Нет, стать любимой дочерью Приама у тебя надежды не было. Ты не завидовала моему положению, это раздражало меня. Зачем ты хочешь стать жрицей, я себя не спрашивала; возможно, ты добивалась совсем другого, чем я.

Не сан и положение взамен радостей, в которых мне было отказано; тебе нужна была защита от себя самой, от избытка любовников, от судьбы, что была тебе уготована. Твои серые глаза. Узкий белый овал твоего лица, с резкой, словно резцом обозначенной линией волос — поток, затягивающий каждого. Ты! Всякий, кто видел тебя, влюблялся, да что я говорю, влюблялся! Был обречен на любовную страсть, и не только каждый мужчина, но и многие женщины, Марпесса тоже, когда она вернулась из изгнания и не могла больше видеть мужчин. «Страсть» — слишком слабое слово для того любовного неистовства, любовного бешенства, что охватывало многих, как и этого скота Ахилла. Ничего ты для этого не делала, надо отдать тебе справедливость.

Поликсена. Разумеется, я могла ошибиться тогда ночью, в узком проходе, зачем бы иначе тебе, тебе, которая все что ни делала, делала открыто, зачем тебе было клясться мне, что никогда, слышишь, никогда не был у тебя Эней, зачем, если бы крадущаяся тень у твоих дверей была тенью Энея? Нелепо. Разве мог быть Энеем тот, кто, выходя от одной женщины, хватает за грудь другую и убегает.

Ах, Поликсена, как ты двигалась быстро, порывисто и прелестно. «А почему бы и нет!» — сказал Пантой и, изворачиваясь, показал, что знает и другую сторону бога Аполлона, ведь в конце концов он служил Аполлону в его главном святилище в Дельфах, в Греции, на ма-

терике. «Почему бы и не быть ей прелестной, маленькая Кассандра? Аполлон ведь и бог муз, не так ли?» Он умел меня обидеть, грек. Он не скрыл, что считает варварством те грубые черты, которые мы, маленький малоазийский народ, придавали его богу.

Это вовсе не означало, что он находит меня непригодной для роли жрицы. Без сомнения, сказал он, в моем характере есть свойства, отвечающие требованиям жречества. Какие? Ну, например, мое желание влиять на людей, а как иначе может женщина властвовать? Дальше: мое страстное стремление быть накоротке с богами. Ну и, конечно, мое нерасположение к смертным мужчинам.

Пантой, грек, делал вид, будто не знает о ране в моем сердце, будто ему ничего не стоило выращивать в этом моем сердце тайную, мной самой почти неосознанную враждебность к нему, верховному жрецу. Греческому обучал меня он. И искусству принимать мужчину тоже он. В одну из ночей, которые свежепосвященная жрица должна была бодрствовать у изображения божества, он пришел ко мне. Умело, почти не причиняя мне боли, едва ли не любовно, сделал он то, чего Эней, о котором я думала, не пожелал или не сумел сделать. То, что я оказалась нетронутой, казалось, не удивило его, как, впрочем, и то, насколько сильно боялась я телесной боли. Никому, и мне тоже, не промолвил он ни слова о той ночи. Я не знала, как можно в одно и то же время питать ненависть и благодарность к одному и тому же человеку.

Мои воспоминания об этом времени бледны и лишены чувства. Поликсена целый год не разговаривала со мной. Приам готовился к войне. Я отступила в сторону. Я играла роль жрицы. Я думала, взрослая жизнь состоит из этой игры: терять самое себя. Мысли о разочаровании я не допускала. Я не разрешала себе ни малейшей ошибки, когда вела процессию девушек к статуе бога. Я была, разумеется, избрана предводительницей хора, все удавалось мне. Раньше я боялась наказания, если мне во время молитвы вместо светлого образа бога с лирой являлся волк или даже полчище мышей, но очень скоро я убедилась, что ровно ничего не случается, когда я со страстью упиваюсь своими видениями. И когда ко мне приходил Пантой, я должна была представить себе другого человека, Энея, чтобы отвращение обернулось наслаждением. Вознесенная почитанием троянцев, внешне я жила как никогда. Я еще помню, как моя жизнь ускользнула от меня. «Я не справилась»,— часто думала я, сидя на городской стене и глядя перед собой пустым, застывшим взглядом. Но я не могла не спрашивать себя: что же так подорвало мою нетяжелую жизнь?

Я ничего не видела, поглощенная требованиями своего дара провидения, я была слепа. Видела только то, что было перед глазами, все равно что ничего. Моя жизнь определялась порядком храмовых обрядов и требованиями дворца. Можно было бы сказать: подавлялась ими. Я не смогла жить иначе. Жила от события к событию, из которых якобы складывалась история царского дома. События, пробуждавшие болезненную жажду все новых и новых событий и, наконец, войны. По-моему, это было первое, что я провидела.

Слухи о ВТОРОМ КОРАБЛЕ поздно достигли меня. С горечью в сердце я отошла от широкого кружка братьев и сестер, их друзей и молодых рабов. По вечерам они обсуждали шепотом или вслух, смеясь или негодуя, все решения, принятые в этот день в совете. Мне не возбранялось в свободные вечера продолжать свою прежнюю вялую, ленивую жизнь: устроившись под деревьями или среди кустарника во внутренних двориках цитадели, погружаться в привычные и любимые звуки журчащей в глиняных желобах воды, предаваться тому часу, когда желтеет небо, а дома лучатся, возвращая свет, впитанный за день. Вечное шушуканье, болтовня, шепот братьев и сестер, воспитателей, нянек и домашних рабов — все это скользило мимо меня. Я сама запретила себе участие в этом, когда стала жрицей,

когда Поликсена, как я тогда считала, очернила меня в глазах братьев и сестер, чего у нее и в мыслях не было. Я поняла это позже, когда некоторые из моих праздных братьев и сестер, кому по душе были сплетни и домашние дрязги, ополчились на меня: иметь перед ними преимущество я желала, но зависти их снести не могла.

Все это — Троя моего детства — существует только в моей памяти. Я хочу восстановить эту Трою, пока у меня еще есть время, выстроить заново, не пропустив ни камня, ни луча света, ни смеха, ни крика. Как ни мало осталось времени, но это должно сохраниться во мне. Теперь я могу видеть то, чего не существует, а как тяжело мне было учиться этому.

Гелен. Гелен, иначе сотворенный, но обликом такой же, как я. Мой двойник, если бы я была мужчиной. Если бы, думала я в отчаянии, когда они тебя — не меня, нет, не меня! — сделали вещателем оракула!

Будь довольна, сестра. Быть авгуром — неблагодарный труд. Он будет точно придерживаться указаний Калхаса. Гелен не провидец. У него не было такого дара, он довольствовался ритуалом. Все легкомыслие, предназначенное для нас двоих, досталось ему. Вся мрачность — мне. Как желала я быть на его месте. Что такое жрица по сравнению с авгуром! Как жадно впивалась я в него глазами, когда он надевал жреческое женское платье, чтобы посмотреть на жертвенном камне внутренности животных. Как приходилось ему подавлять отвращение к запаху крови от дымящихся кишок. Я, рано приученная отбирать мясо для кухни, этого запаха просто не замечала. Ах, если бы я была Геленом. Если бы я могла отречься от своего пола, скрыть его. С какой силой я это чувствовала! Я, почти не глядя на кишки, печень и желудок молодых быков, всматривалась во взволнованные лица тесно обступивших жертву и жреца-авгура людей, как еды и питья, ждавших слова. Вяло, формально делал свои сообщения брат: о солнце и дожде, об урожае и неурожае, о выращивании скота и детей. Как совсем иначе говорила бы я, как совсем иным тоном старалась бы пробиться в души людей. Я поучала бы их на других примерах, их, наивных, простодушных, невзыскательных, а именно... А именно? На каких же примерах? Пантой, который по-прежнему не выпускал меня из виду, спросил напрямик — вечные его царапающие вопросы: чем, кроме погоды, плодородия земли, болезней людей и скота, хочу я вырвать людей из круга, в который они включены? В котором они себя хорошо чувствуют и не ищут ничего другого? Я подскочила: да, потому что ничего другого они не знают. Потому что мы оставляем на их долю только подобного рода вопросы.

Кто мы? Боги? Условия жизни? Царь? И кто ты такая, чтобы приступить к ним с другими вопросами? Оставь все как есть, Кассандра, я тебе по-хорошему советую. Когда он долго не приходил ночью, мне не хватало его. Не его, а «этого». А когда он лежал со мной: Эней, только Эней. Это подразумевалось само собой. Пусть грек, который многое замечал, ибо был холоден, заметил и это, мне было все равно. Но нет средства между землей и небом, которое вынудило бы меня выдать мою тайну. Моя зависть к Гелену прошла, как проходит все. Я не знаю когда. Мое пылкое стремление задавать людям новые вопросы понемногу остыло, а потом прошло совсем. Тайну мою я сохранила. Есть тайны, которые изнуряют людей, есть тайны, что делают их крепче. Моя тайна была из злых, и не знаю, куда бы она меня завела, если бы однажды не появился сам Эней.

Что говорят микенки, теснящиеся вокруг меня? «Она улыбается». Улыбаюсь, я? Разве я еще помню, как улыбаются? Последний раз я улыбнулась, когда Эней на спине пронес мимо меня Анхиза, своего отца, и с горсточкой своих людей устремился к горе Иде. Неважно, что он искал меня среди пленных женщин и не узнал. Я видела, как он шел, и улыбнулась.

Чего хочет от меня эта изможденная старуха? Что она кричит? Скоро я перестану улыбаться. «Да,— говорю я.— Я знаю, скоро».

Теперь один из стражников запрещает всякие сношения местных жителей с пленными. Меня всегда удивляло: греки делают то, что должно быть сделано, и быстро. И основательно. При ироническом умонастроении наших молодых людей во дворце такой запрет, запрет общаться с рабами, должен был бы существовать — именно существовать — очень долго, чтобы его просто поняли. Соблюдать его? О том, чтобы его соблюдать, вообще не могло быть и речи. В этом потерпел бы неудачу даже Эвмел. «Мы вот хотим вас спасти,— горько сказал он мне,— а вы за моей спиной сами вырываете почву у себя из-под ног». На свой лад он был прав. Он хотел видеть нас такими, какими мы были нужны войне. Такими же, как враг, чтобы суметь его победить. Но нам это было не по душе.

Мы хотели быть такими, какими мы были, непоследовательными, это слово прилепил к нам Пантой, пожимая плечами, примирившись с судьбою. Пантой. «Так ничего не получится, Кассандра. С греками воюют иначе!» Он это знал. Он сам отступил перед греческой целеустремленностью. Об этом он не упоминал. То, что его действительно затрагивало, он прятал глубоко. О его мнениях приходилось догадываться, составляя их из новостей, слухов и наблюдений.

Что мне давно бросилось в глаза: его страх перед болью, его чувствительность. В состязаниях на телесную выдержку он никогда не принимал участия. Я же, помню, славилась своим умением переносить боль. Я дольше всех держала руку над огнем, не меняясь в лице, без слез. Пантой, я заметила, всегда уходил. Я толковала это как его сочувствие мне. Это было просто перенапряжение нервов. Много позднее мне пришло в голову, что способность человека переносить боль рассказывает о его будущем больше, чем многие другие знаки, мне известные. Когда же перестала я кичиться тем, что хорошо переношу боль? Конечно, с начала войны, когда я увидала страх мужчин: чем иным был их страх перед битвой, как не страхом телесной боли, а чему иному служили их необычайные уловки, как не тому, чтобы убежать от борьбы, от боли. Но страх греков, казалось, далеко превосходил наш. «Разумеется,— сказал Пантой.— Они воюют на чужбине, а вы — дома». Что делал он, чужак, среди нас? Спросить его было невозможно.

Известно, Пантой — часть добычи двоюродного брата Лампоса с ПЕРВОГО КОРАБЛЯ, так называли это предприятие во дворце с тех пор, как за ним последовали второе и третье и, наконец, было решено вывести из употребления название, данное народом: «Корабль в Дельфы», заменив его нейтральным. Так вкратце объяснил мне это Анхиз, отец Энея, он обучал меня, царскую дочь и жрицу, троянской истории. «Ну-ка, послушай меня, девочка». У Анхиза удлиненная голова. Совершенно гладкий череп. Бесчисленное множество морщин на лбу. Густые брови. Светлый хитрый взгляд. Подвижные черты лица. Сильный подбородок. Живой, часто открытый в смехе, а чаще кривящийся усмешкой, рот. Тонкие сильные руки. Руки Энея. «Так слушай. Дело было просто. Посылают корабль — предположим, если хочешь, твой отец, хотя я сомневаюсь, чтобы такая идея ему самому пришла бы в голову, ставлю на Калхаса,— итак, посылают одного из двоюродных братьев царя, этого Лампоса, вполне пригодного для роли начальника порта, но Лампос в качестве посланника царя с деликатным поручением? Посылают Лампоса на корабле с высокой тайной миссией в Грецию. Довольно глупо, или, скажем, неосторожно, было собрать в гавани при отплытии корабля ликующий народ. И меня, Анхиза, тоже. На руках у няни. Огни, восторг, флажки, сверкающая вода, могучий корабль — мое первое воспоминание. Вот она, суть. Могучий корабль. Позволь мне улыбнуться. Скромный корабль, я чуть было не сказал «лодка». Если бы мы были в состоянии снарядить

могучий корабль, мы послали бы его не в Грецию. Тогда нам не нужны были бы ни эти назойливые греки, ни оказание почестей их оракулу. Мы не допустили бы переговоров о нашем исконном праве на проход через Геллеспонт. Так вот, краткое изложение событий: греки не согласились на наши условия. Лампос привез в Дельфы богатые, чуть ли не превосходившие наши возможности дары. Там его увидел Пантой, увязался за ним и приехал сюда. Ликующему народу можно было представить часть добычи. Пантоя. И наши дворцовые писцы, это такой народец, скажу я тебе, сделали задним числом из наполовину провалившейся затеи хвастливый ПЕРВЫЙ КОРАБЛЬ».

В последовательной методичной трезвости Анхиза всегда присутствовало нечто вроде поэзии, и я не могла ей не поддаваться. Ну, а поскольку он сам был в плавании на ВТОРОМ КОРАБЛЕ, точность его сведений была неоспорима. Но во внутренних двориках, где мы ни о чем так не спорили, как о ПЕРВОМ КОРАБЛЕ, все звучало совсем по-другому. Мой старший брат, мягкосердечный Гектор, решительно не признавал никакого успеха за акцией номер один. Вовсе не для того, чтобы притащить с собой жреца, посылали дядю Лампоса к дельфийскому оракулу. Не для того? Так для чего же тогда? Гектор узнал об этом не вполне официальным путем, от жрецов. Лампос должен был спросить Пифию, не снято ли еще проклятие с холма, где возвышается Троя, то есть узнать, достаточно ли прочны город и его стены, только что основательно перестроенные. Неслыханное предположение! Для нас, молодых, Троя и все, с чем связано было ее имя, выросло из этого холма Ате, из единственного возможного места на всей земле, ввиду горы Иды и сверкающей долины перед ней, и морским заливом с естественной гаванью, а вместе с городом выросли и стены, охраняющие, но и сжимающие его. В далекой древности боги Аполлон и Посейдон помогали строить их, и потому эти стены нельзя ни разрушить, ни завоевать. Так говорили люди, а я жадно слушала их, но слушала также и противные речи: как ради страсти к жрецу Аполлона Пантою Лампос просто-напросто забыл спросить Пифию о самых важных для Трои обстоятельствах. И стены, укрепленные без благословения могущественного оракула, отнюдь не неприступны, а напротив — уязвимы? Скейские ворота — их слабое место? А Пантой, выходит, он не как пленник, а по своей охоте последовал за невзрачным двоюродным братом царя? Приам же оказался достаточно слаб, чтобы посвятить чужеземца в жрецы Аполлона, а это не могло значить ничего иного, кроме признания верховенства Дельф в вопросах религии. По крайней мере, в вопросе об этом боге Аполлоне.

Представить себе все это было трудно. Так глупо, так плохо придумано, что я и ребенком не желала верить в эти россказни. Но все равно я жадно ловила обрывки любого разговора об этом. Я пробивалась в кружок старших, проползая между тогда уже могучих ног Гектора, и, прислонившись к нему, не пропускала ни слова. Не рождению, вовсе нет, но этим разговорам во внутренних двориках дворца обязана я тем, что стала троянкой. А воркотне голосов около глазка, когда я сидела в заточении,— тем, что перестала ею быть. Теперь, когда Трои больше не существует, я опять стала ею, троянкой, и только ею.

Кому мне сказать об этом?

Да. Если ничем другим, то поначалу я превосходила грека Пантоя своей осведомленностью о том, что делается во внутренних двориках дворца, о любом волнении, проносившемся там и захватывающем меня тоже, благодаря моему тонкому слуху к любому изменению высоты тона каждого шепотка. Я однажды даже спросила Пантоя, почему он здесь, то есть там, в Трое. «Из любопытства, любовь моя»,— сказал он легкомысленным тоном, усвоенным им в последнее время. «Но разве может кто-нибудь из любопытства покинуть оракула в Дельфах, центре мира?» — **«Ах**, моя маленькая недоверчивая Кассандра! Если

бы ты его только знала, этот центр мира». Он часто давал мне прозвания, которые подошли мне только позднее.

Узнав Трою, мой центр мира, по-настоящему, я поняла Пантоя. Не любопытство погнало бы меня прочь — ужас! Но куда, на каком корабле поплыла бы я?

Я и вправду не знаю, почему меня так занимает Пантой. Может быть, это слово, прилипшее к его имени, хочет высвободиться из глубочайших глубин, куда мне не дано спуститься? Или образ?

Давняя, очень давняя картина расплывается, ускользает от меня, может быть, я смогу ее поймать, если освобожу свое внимание, дам ему свободно блуждать. Я вглядываюсь в глубину. Внизу словно бы вереница людей — поднятые лица, вплотную одно к одному — толпится на узкой улочке. Пугающие, жадные, дикие. Отчетливей, все отчетливей. Вот тихое белое средоточие толпы. Мальчик во всем белом ведет на веревке молодого белого бычка. Среди неистовства—неприкосновенное белое пятно. И возбужденное лицо няни, на руках у которой я сижу. Пантоя не видно, но я знаю, что он во главе шествия, сам еще почти мальчик, очень юный, очень красивый он был. Пантой проведет толпу к Скейским воротам и заколет быка, но мальчика отпустит. Бог Аполлон, охраняющий город, не хочет впредь жертвоприношений мальчиков. «Жертвоприношение мальчиков» — вот оно, слово. Я больше не видела такого в Трое, хотя... Для того чтобы отменить это жертвоприношение, Приаму понадобился Пантой. И когда на десятом году войны греки подошли к Скейским воротам и грозили их взять — ворота, у которых грек не допустил заклания мальчиков,— тогда прозвучало: «Пантой — предатель». Мой безобидный, легковерный народ! Я не выносила Пантоя в последнее время. Я не выносила в себе того, что он сделал для меня притягательным.

Кто живет, будет видеть. Мне пришло в голову, что я прослеживаю историю своего страха. Или, правильнее, историю его развязывания, а еще точнее — его высвобождения. Да, конечно, и страх может быть высвобожден, и тогда выясняется, что он во всем и всем связан с угнетенными. Дочь царя не может испытывать страха, страх — слабость, а от слабости помогает железная тренировка. У безумной есть страх, она обезумела от страха. У рабыни должен быть страх. Свободная учится отгонять свои ничтожные страхи и не бояться большого серьезного страха, ибо она не столь горда, чтобы делить его с остальными. Формулы? Конечно.

Верно говорят: чем ближе смерть, тем ярче и ближе картины детства, юности. Целую вечность не вызывала я их перед своими глазами. Как трудно, почти невозможно было увидеть ВТОРОЙ КОРАБЛЬ тем, чем он, как провозгласила Гекуба, был на самом деле — вылазкой объятых страхом. О чем же шла речь, неужели было так важно послать на корабле таких людей, как Анхиз и Калхас-прорицатель? Анхиз вернулся стариком, а Калхас вообще не вернулся.

Речь шла о сестре царя, Гесионе. «Гесиона,— сказал мой отец Приам в совете и придал своему голосу плаксиво-патетическое звучание,— Гесиона, сестра царя, в плену у спартанца Теламона, ее похитившего». Члены совета были озадачены. «Так уж в плену,— насмехалась Гекуба.— Похищена. Все-таки она в Спарте не жалкая рабыня. Если нам правильно сообщили, этот Теламон женился на ней и сделал ее царицей. Или я не права?»

«Не в этом дело. Царь, который не делает попыток отвоевать похищенную сестру, теряет лицо».— «Ах так,— отрезала Гекуба.— Тогда нечего больше публично сетовать». Они спорили в ее мегароне, и, что было хуже всего, отец отослал меня. Его противоречивые чувства передались мне, уплотнились, сгустились и, казалось, расположились под ложечкой — вибрирующее напряжение, которое няня научила меня называть «страхом». «К чему столько страха, доченька? У ребенка слишком сильное воображение».

Флажки, кивки, ликование, искрящаяся вода, сверкающие весла — их пятьдесят, отметили дворцовые писцы, которые только и умели считать на глиняных табличках. Отправлялся ВТОРОЙ КОРАБЛЬ. Подзадоривающие выкрики. «Сестра царя или смерть!» — кричали остающиеся тем, на палубе корабля. Около меня стоял Эней и кричал своему отцу: «Гесиона или смерть!» Я испугалась, но знала, что пугаться нельзя. Эней действовал в интересах царского дома, к которому я принадлежала, когда ради чужой женщины, по случайности сестры царя, желал смерти своему отцу. Я подавила свой ужас и принудила себя восхищаться Энеем. Тогда возникли во мне противоречивые чувства. И в Энее также, он мне потом сказал. Он сказал мне, что эта чужая женщина, чем дольше длилась затея с ее возвращением, становилась ему все безразличнее, даже ненавистнее, а тревога за отца росла. Как могла я это знать? Тогда это случилось, да, тогда: сны, в которых являлся мне Эней, а я испытывала наслаждение, когда он мне угрожал; сны, которые мучали меня и рождали ощущение непоправимой беды и собственной, приводящей в отчаяние странности. О, я смогла бы рассказать, как возникают зависимость и страх. Только никто больше не спрашивает меня.

Я хотела быть жрицей. Я хотела пророческого дара, во что бы то ни стало.

Чтобы не видеть зловещей действительности за блестящим фасадом, мы мгновенно изменяли наши ложные заключения. Случай, который возмутил меня, когда я еще могла возмущаться: ликующие троянцы, подобно мне, приветствовали отплытие ВТОРОГО КОРАБЛЯ, а позднее утверждали, будто именно с этого корабля пошла порча. Но как смогли они так скоро позабыть впитанное с молоком матери: что цепь неблагоприятных для нашего города событий теряется в серой предыстории, разрушение, и восстановление, и снова разрушение под властью сменяющих друг друга царей, по большей части неудачников. Что заставляло их, что заставляло нас верить, что именно этот царь, именно мой отец Приам, разобьет цепь несчастий, что именно он возвратит нам золотой век? Почему могущественнее всех оказываются в нас именно желания, покоящиеся на заблуждениях? Ни за что другое не осуждали они меня так, как за то, что я уклонилась и не разделяла с ними несчастного пристрастия к таким желаниям. Это мое уклонение, а не греки виной тому, что я потеряла отца, мать, братьев, сестер, друзей, мой народ. А что я выиграла? Нет, о своих радостях я запрещаю себе думать до тех пор, пока это не понадобится.

Когда ВТОРОЙ КОРАБЛЬ наконец вернулся, разумеется — так говорил теперь каждый — без сестры царя, а также и без Калхаса-прорицателя, когда разочарованный народ, настроенный почти враждебно, собрался в гавани, ропща и негодуя (стало известно, что спартанец посмеялся над требованием троянцев), когда на лбу моего отца появились темные тени — я в последний раз плакала открыто. Гекуба, не торжествовавшая по поводу неудачи, предсказанной ею, запретила мне это, не резко, но вполне определенно. Из-за политики не плачут. Слезы затуманивают сознание. Если противник предается своим настроениям — смешно и тем хуже для него. То, что мы не увидим сестры отца, было ясно любому, кто не лишен здравого смысла. Народ, естественно, провожает отплытие и прибытие каждого корабля честолюбивыми надеждами и неизбежным разочарованием. Правители должны уметь владеть собою. Я протестовала против правил моей матери. Оглядываясь назад, я вижу: она принимала меня всерьез. Отец искал у меня только утешения. Больше никогда я не плакала открыто. И все реже тайно.

Оставался Калхас-прорицатель. Где был он? Умер по дороге? Нет. Убит? Нет. Значит, захвачен греками в качестве заложника. В это народ охотно поверил и верил некоторое время, ну что ж, если дур-

ная слава греков еще укрепится, вреда в том нет. По переходам дворца бежала другая весть; когда она дошла до меня, я, сжав кулаки, с горечью запретила себе верить в нее. Но Марпесса упорствовала: это правда, это обсуждают в совете. И в спальне царя и царицы. «Как, Калхас перебежал к грекам? Наш уважаемый провидец, посвященный в самые сокровенные государственные тайны, изменник?» — «Именно так».— «Эта новость — ложь». Разгневанная, я отправилась к матери, безрассудно облегчила свою душу и вынудила Гекубу действовать. Марпесса исчезла. Няня появилась с заплаканными глазами, полными укора. Кольцо молчания сомкнулось. Дворец, самое родное мое место, отстранился от меня, мои любимые внутренние дворики замолкли. Я осталась со своей правотой одна.

Первый оборот круга.

Эней, которому я всегда верила, потому что боги забыли наделить его способностью ко лжи, Эней подтвердил мне все, слово в слово. Да, Калхас-прорицатель остался у греков по собственной воле. Он знает это точно от своего отца, словно на годы состарившегося Анхиза. Калхас-прорицатель боялся — вот сколь неутешительно банальны причины для решений с серьезными последствиями,— боялся, что после неудачи со ВТОРЫМ КОРАБЛЕМ его потребуют к ответу за его сулящие успех предсказания перед отплытием. Самое смешное: царский дом принудил его дать сулящие успех предсказания, не вопрошая богов.

А мне с самого начала было ясно, что Марпесса говорила правду. И я слышу, как я сказала Энею, что мне с самого начала все было ясно. Голос, проговоривший это, был чужим, и, конечно, я знаю сейчас, знаю давно, что дело не в случае, что этот чужой голос уже часто застревал у меня в горле и зазвучал впервые в присутствии Энея. Я намеренно выпустила его на свободу, чтобы он не разорвал меня. С тем, что произошло дальше, я уже совладать не могла. «Мне все было ясно, мне все было ясно»,— снова и снова чужим, высоким, жалобным голосом.

Я цеплялась за Энея, стремясь спастись от этого голоса. Эней испугался, но держался стойко. Держался стойко, Эней! Я тряслась. Дрожа всем телом, повисла на нем, мои пальцы впивались в него, цеплялись за его одежду, рвали ее. Мой рот выталкивал из себя крик и пену, застывавшую на губах и подбородке, а мои ноги, подчинявшиеся мне не более, чем все остальные члены, дергались и выплясывали в неуместном и неприличном вожделении, которого я вовсе не испытывала, я не владела ими, как всем во мне, не владела, как самой собой. Четверо мужчин едва сумели меня удержать.

В помрачении разума, в которое я, наконец, впала, страшным образом промелькнула искорка торжества, странным для того, кто не знает хитрых связей между нашими подавляемыми высказываниями и болезнями. Это, следовательно, был приступ, и моя жизнь некоторое время делилась на время до приступа и после, летосчисление, вскоре ставшее таким же неудовлетворительным, как почти все остальные. Неделями не могла я встать, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. И не желала мочь. «Пусть придет Марпесса»,— первый приказ, который я сумела произнести. Рот Гекубы надо мной ответил: «Нет». И я снова погрузилась в темноту. Каким-то образом я овладела подъемами и падениями твердого тяжелого кома — моего сознания. Не было решено, буду ли я — кто я? — снова подниматься. Я парила посередине, безболезненное состояние. Однажды, когда я вынырнула, надо мной склонилось лицо Марпессы, ее рука протерла мне виски разведенным вином. Мне стало больно, потому что теперь я должна была остаться здесь. Марпесса похудела, побледнела и стала молчаливой, как я. Больше я не теряла сознания полностью. Я смирилась и сносила помощь.

Я стала тем, что называют здоровой. Как потерпевший крушение мореплаватель страстно стремится к спасительной земле, стремилась я к жречеству. Мне не нужен мир, каким он был на самом деле. Я хотела самоотверженно служить богам, которые над ним властвовали. В моем желании заключалось противоречие. Я позволяла себе не торопиться, пока не заметила этого, я всегда позволяла себе помедлить в этих состояниях полуслепоты. Вдруг прозреть — это бы меня уничтожило.

Марпессу, например, о том, что они с ней сделали, я спросила только на пути сюда, в ту бурную ночь на корабле, когда все шло к концу. «Ничего особенного,— сказала она.— Послали меня в конюшни».

В конюшни! Да, как служанку к рабам из десятка разных племен. Каждый знал, что творится в конюшнях. Могу себе представить, почему Марпесса с тех пор не подпускала к себе ни одного мужчины. То, что я доверила ей своих близнецов,— своего рода искупительная жертва, которая не могла ни увеличить ее преданность мне, ни смягчить ее непримиримость. Она всегда давала мне почувствовать, что я ничего не могу исправить. А оттого, что она меня понимала, все становилось еще хуже.

Дворцового писца и молодую рабыню, от которых Марпесса узнала правду о Калхасе-прорицателе, отправили на первом же невольничьем корабле к царю хеттов от царя Приама. Никто больше не произносил имени Калхаса.

Как часто я убеждалась, что горячо желанные дары выпадали мне на долю, только когда я переставала их желать. Марпесса дала волю своей нежности лишь после того, как меня на ее глазах изнасиловал Аякс, Маленький Аякс, как его называли греки. Если я правильно расслышала, Марпесса крикнула ему: «Возьми меня!» Но ведь она знала, что я не стремлюсь больше ни к любви, ни к дружбе. Нет.

Гекуба рано объяснила мне и, разумеется, напрасно, что несоединимое нельзя заставить соединиться. «Твой отец,— сказала она,— хочет всего. И всего сразу. Греки должны платить нам за провоз своих товаров через наш Геллеспонт — верно. Но то, что поэтому они должны уважать царя Приама,— ложно. Если они смеются над ним, считая себя сильнее,— что за обида в том? Пусть смеются, раз платят. А ты, Кассандра,— сказала мне Гекуба,— смотри не стремись слишком глубоко проникнуть в душу твоего отца».

Я очень устала. Уже недели как я не знаю долгого сна. Невероятно, но я могла бы сейчас уснуть. Мне теперь ничего нельзя откладывать, сна тоже. Не годится вступать в смерть усталой. Что мертвые спят, это просто так говорится, но это неправда! Их глаза открыты. Я закрывала выкатившиеся глаза своим братьям, начиная с Троила, глаза Пенфезилеи, уставившиеся на Ахилла. Ахилл, скот, обезумел от этого взгляда. Открытые мертвые глаза отца. Глаза сестры Поликсены мертвыми я не видела. Когда ее потащили к могиле Ахилла, ее глаза смотрели, как смотрят только глаза мертвых. Глаза Энея не увидят смерти, их будет закрывать сон еще множество ночей, что впереди. Утешение ли это? Нет, не утешение. Знание. Мои слова больше не окрашены ни страхом, ни надеждой.

Когда царица вышла из ворот, во мне умерла последняя слабая надежда — надежда, что я смогу добиться от нее жизни своим детям. Мне достаточно было просто взглянуть ей в глаза: она сделает все, что должна. Не она определила порядок вещей. Она просто приноравливается к их уже существующему порядку. Либо она навсегда избавится от своего мужа, пустоголового болвана, либо ей придется признать себя побежденной и потерять все: жизнь, власть, возлюбленного, который, впрочем,— если только я правильно распознала фигуру на втором плане — такой же самовлюбленный болван, только помоложе, красивый и холеный.

Пожав плечами, она дала мне понять, что все происходящее не относится ко мне лично. Ничто не помешало бы нам в другие времена называться сестрами, это я прочла по лицу противницы, в котором Агамемнон, простофиля, хотел видеть и видел любовь, преданность и радость встречи. И когда он споткнулся на пурпурном ковре, как бык на бойне, мы обе подумали одно, и в уголках рта Клитемнестры мелькнула та же улыбка, что у меня. Не жестокая. Скорбная. Оттого, что судьба не поставила нас на одну сторону. Я считаю ту, другую, способной видеть, что и ее поразит слепота, неотделимая от власти. И она пропустила знамение. И ее дом погибнет.

Я долго не понимала, что не все могут видеть то, что вижу я, что не все воспринимают обнаженные, незначительные образы события. Я думаю, люди считали меня придурковатой. Но они же самим себе верили. Должен же быть в этом какой-то смысл. Вот у муравьев: слепой народ бросается в воду, тонет, образуя мост для немногих уцелевших. Ядра нового народа. Подобно муравьям, мы бросаемся в любой огонь, в любую воду, в любой поток крови. Только чтобы не видеть. Кого? Себя.

Словно мой корабль спокойно лежал на воде, цепь разомкнулась, и он неудержимо поплыл по течению, назад. Назад, к моему детству. В детстве у меня был брат Эсак. Я любила его больше всех, а он меня. Больше меня он любил только свою юную прекрасную жену Астеропу. Когда Астеропа умерла родами, он не мог больше жить и бросился со скалы в море. Но и в первый раз, и потом его спасала стража, пока однажды он не ушел ко дну и его не могли найти, пока не вынырнула из моря в том месте, где он ушел под воду, черная птица с красным горлом. Вещатель оракула Калхас узнал в ней превратившегося в птицу Эсака, и ее тотчас же взяли под охрану и защиту.

Одна я — как могу я забыть об этом, это случилось со мной впервые — день и ночь с криком металась в судорогах на своем ложе. Даже если бы я поверила — а я не верила,— что мой брат Эсак превратился в птицу и что богиня Артемида, у нее бывали причуды, превращая его в птицу, исполнила его сокровеннейшее желание, я не хотела никакой птицы вместо моего брата. Я хотела, чтобы был мой брат Эсак, сильный, с теплой кожей, с коричневыми курчавыми волосами, который относился ко мне иначе, чем все мои остальные братья во дворце. Он носил меня на плече не только по всем переходам дворца, но и по улицам города, построенного вокруг цитадели, а теперь разрушенного, как и она, и все люди, теперь мертвые или уведенные в плен, здоровались с ним. Он называл меня «моя бедная маленькая сестра» и брал меня с собой в открытую долину, где морской ветер гладил оливы и листья вспыхивали серебром так, что глазам было больно. Он, наконец, взял меня с собой в ту деревню на склоне горы Иды, где был его дом. Хотя его отцом был Приам, но его матерью — Арисба, показавшаяся мне старухой, древней и зловещей, ее белые глаза сверкнули из темноты маленькой, увешанной пучками трав каморки, а Астеропа, юная, стройная жена Эсака, приветствовала своего мужа улыбкой, ножом полоснувшей меня по сердцу. «Я хочу, чтобы он опять был со своей душой и со своим телом,— кричала я.— Был, был, был Эсак». И не хотела слушать утешений. Я только думала так, ребенок.

Именно тогда я услышала в первый раз: она лишилась рассудка. Гекуба, моя мать, прижала мои судорожно вздрагивающие плечи к стене, в ее руках таилась неженская сила,— всегда судороги, сводящие мне тело, всегда холодная твердая стена. Всегда жизнь против смерти, сила матери против моего беспамятства, всегда рабыня крепко держит мою голову, а Партена, няня, вливает мне в рот коричневый горький сок, всегда тяжелый сон и сновидения. Ребенок Астеропы и Эсака, умерший вместе с матерью при родах, рос во мне. Когда

он созрел, я не захотела его рожать и выплюнула. Это оказался крот. Он был мне отвратителен. Меропс, дряхлый толкователь снов, внимательно выслушал меня. Потом он посоветовал Гекубе удалить от этой своей дочери всех мужчин, похожих на Эсака. Как он себе это представляет? — гневно спросила старика Гекуба. Тот пожал плечами и ушел. Приам сел около моего ложа и серьезно заговорил со мной о государственных делах. Какая жалость, что не я буду завтра в его платье и на его месте сидеть на высоком стуле в совете. Я любила отца, когда он обо мне беспокоился, еще больше, чем всегда. То, что он принимал близко к сердцу все трудности, знал во дворце каждый, я считала это его силой, остальные — слабостью. И он стал слабым.

С бешеной быстротой чередуются в моей усталой голове картины, слова не могут их догнать. Примечательно сходны следы различных воспоминаний. Как сигналы вспыхивают образы. Приам, Эсак, Пантой, Эней, Парис, да, Парис. И ТРЕТИЙ КОРАБЛЬ ясно встает передо мной со всеми причинами и следствиями, а тогда я плутала в непроглядном хаосе. ТРЕТИЙ КОРАБЛЬ. Случилось так, возможно, потому, что как раз, когда его снаряжали, я готовилась к посвящению в жрицы, но я сравнивала себя с этим кораблем и тайно связывала свою судьбу с его.

Я бы все отдала, чтобы плыть на нем. И не только потому, что знала: на этот раз Эней будет сопровождать в плавании своего отца Анхиза, и не только потому, что цель этой экспедиции расплывалась при пристальном взгляде, оставляя все больше места для чудесных надежд,— нет. Взбудоражена и подготовлена к этому я была постепенными и кропотливыми попытками снять покров с одной из особого рода тайн в истории нашего дома и внезапным появлением незнакомого брата. Слишком, опять слишком сильно сосредоточилась я на чужом юноше, который неожиданно принял участие в играх, посвященных памяти нашего рано умершего безымянного брата. Мне не было нужды знать незнакомца, чтобы задрожать при первом взгляде на него, меня обожгла его красота, я закрыла глаза, спасаясь от ее ударов.

Он победит в любой борьбе. И он побеждал: в кулачном бою и в первом беге, а затем и во втором, когда мои завистливые братья скорее принудили, нежели попросили его бежать. Лавровым венком увенчала победителя я, в этом мне не могли отказать. Все мое существо тянулось ему навстречу. Он этого не замечал. Его лицо казалось мне затуманенным, словно только тело его присутствовало здесь и подчинялось ему, но не его дух. Он словно не осознавал сам себя. И так оно и осталось, да, так оно и осталось. Но разве в этом отчуждении царского сына от себя самого таился ключ к великой войне? Я боялась, что представят дело именно так. Им нужен был личный повод.

Я находилась внутри стадиона, и мне пришлось попросить, чтобы мне рассказали о том, что происходило снаружи. Все здание было оцеплено царской охраной, над входом и выходом установлен строгий контроль — здесь впервые прозвучало имя молодого офицера Эвмела, отличающегося осмотрительностью и последовательностью. Внутри, неподалеку от меня, Гектор и Деифоб, мои старшие братья, с обнаженными мечами наседали на юношу-чужеземца, скорее изумленного, чем испуганного. Неужели он действительно не понимал, что очередность побед в играх строго установлена и что он оскорбил закон? Не понимал.

Затем над угрожающе нарастающим гудением стадиона поднялся пронзительный голос: «Приам, это твой сын!» Не знаю почему, но я в ту же минуту почувствовала: это правда. И только тут отец движением руки остановил мечи братьев. Кивок, когда старик показал застывшей матери свивальник. И скромный ответ пришельца на вопрос царя, как его зовут: «Парис». Подавленный смешок детей Приама:

их нового брата зовут «сумка, кошель». «Да,— сказал старый пастух,— сумка, в которой я таскал по горам малыша — сына царя и царицы». Старик показал сумку, такую же старую, как и он сам, если не старее. И тогда, в одном из тех внезапных поворотов, которые так характерны для нашей общественной жизни (были характерны!), триумфальное шествие — Парис в его центре — двинулось ко дворцу. Стоп. Не походило ли это шествие на то, другое, в центре которого шел белый, обреченный на заклание мальчик? Я вдруг сразу онемела и шла среди взволнованных, переговаривающихся сестер с печалью и раной в сердце.

Я жадно стремилась, на этот раз потому, что речь шла о Парисе, разобраться во всем. И сказала что-то в этом роде. К несчастью. Что поделаешь. После я уже вовсе не думала, что события обязаны раскрываться передо мной. В те ранние годы бегала за ними, молча предполагая, что для меня, дочери царя Приама, откроются все двери и все рты. Там, куда я пришла, в похожих на пещеры жилищах, дверей не было, только шкуры завешивали вход. И еще вежливость, к которой я была приучена, мешала мне расспрашивать трех повивальных бабок, принимавших Париса, да и почти всех остальных детей Гекубы, трех дряхлых косматых старух, не стыдись я Марпессы, моей провожатой, я повернула бы назад. Первый раз я увидела вблизи жилые пещеры на крутом берегу нашей реки Скамандра, и пестрый народ, расположившийся у входа в них, и берег, с которого стирали в реке белье. Я шла, как по просеке, среди их молчания, не угрожающего, но такого чужого, а Марпесса здоровалась, отвечала на возгласы со всех сторон, смеялась грубым шуткам мужчин — во дворце она бы резко оборвала их. Может ли царская дочь завидовать рабыне? И впрямь, у меня были такие вопросы, и я, подумать только, их все еще помню! Самое прекрасное в Марпессе — ее походка, сильные движения бедер, прямая спина. Две темные косы высоко подняты. Знала она и девушку, прислуживавшую трем древним старухам. Ойнона, совсем юное существо необыкновенной прелести даже для здешних мест, славившихся красотой своих женщин. «У Скамандра»,— говорили мужчины во дворце, когда приходило время их первой девушки, я уловила это из разговоров братьев.

Гордо назвала я бабкам свое имя, Марпесса не советовала мне этого делать. Как? Старухи станут дурачить меня! Старые сплетницы. Сын Приама? Да они с десяток его сыновей приняли. «Девятнадцать»,— поправила я. Я тогда еще дорожила семейной честью. Старухи не соглашались с числом, а потом заспорили друг с другом. «Да они же не умеют считать»,— со смехом уверяла Ойнона. Ойнона. Ойнона, я как будто уже слышала это имя? Кто же его называл? Мужской голос. Парис. Не встречала ли я ее во дворце? Всегда, едва я выходила за черту крепости, я окуналась в мутные, часто довольно обидные отношения. Резко, более чем было необходимо, я спросила у бабок, почему, по их мнению, один, вполне определенный, один из десятка сыновей Приама не должен был воспитываться во дворце. Воспитываться? Казалось, старые лицемерки вообще не знали такого слова. Нет, нет. Конечно, нет. В их время такого не бывало. Во всяком случае, они не знали. Одна из них чуть ли не мечтательно обмолвилась: «Да, если бы Эсак был жив!» — «Эсак?» — мгновенно нанесла я ответный удар. Тройное молчание. Ойнона тоже молчит. Марпесса молчит. Она была — да что я, есть — в моем окружении самая молчаливая.

И дворец. Дворец молчания. Гекуба, подавляя гнев, молчала. Партена, няня, не скрывая своего страха, молчала. Я училась, наблюдая разные виды молчания. Много позже я сама научилась молчать — полезное оружие. Одно слово «Эсак» вертелось у меня в голове. Я поворачивала его так и сяк, пока вдруг от него не отделилось другое: Арисба. Она ведь, кажется, мать Эсака? Жива ли она?

Впервые я узнала то, что потом нередко испытывала сама: забытые помнят друг друга. Не совсем случайно на большом осеннем базаре у ворот Трои, где процветала западно-восточная торговля, я встретила Брисеиду, дочь изменника Калхаса-прорицателя, который мгновенно попал в число забытых, и задала ей дурацкий вопрос, знает ли она меня. Кто меня не знал! Брисеида разложила здесь свой необыкновенно яркий и светлый тканый товар. Она, и прежде своевольная и страстная, бросила своих покупателей и охотно объяснила мне, где найти Арисбу — на этом же рынке в горшечном ряду. Я шла, никого не спрашивая, и смотрела в лица. Арисба выглядела, как выглядел бы Эсак в старости. Едва я приблизилась к ней, она пробормотала, чтобы я пришла в ее хижину, туда-то и туда-то, у подножия горы Иды. Значит, она знала, что я приду. Значит, за каждым моим шагом следят. Я ни разу не подумала о стражниках Приама — я была молода и глупа. Когда мне в первый раз на них указали, разумеется грек Пантой, я — гордость моя была задета — бросилась к отцу и столкнулась с маской на его лице. Стражники? Что взбрело мне в голову. Они мои защитники, эти молодые парни. А уж есть ли в них необходимость, решать ему, а не мне. Того, кому нечего скрывать, глаза царя не испугают.

К Арисбе, насколько мне известно, я шла одна.

Снова, за городскими стенами — близлежащий, нет, противолежащий мир, иной, чем каменный мир дворца и города. Он рос подобно растениям, разрастался буйно, пышно, беззаботно, словно не нуждаясь во дворце, повернувшись к нему, а значит, и ко мне, спиной. Я отвечала, быть может, слишком поспешно. Мне казалось унизительным собирать здесь сведения, в которых дворец мне отказывал. «Отказывал» — я долго так думала, пока не поняла, что мне не могли отказывать в том, чего не имели. Они даже не всегда понимали вопросы, ответы на которые я искала и которые все более и более разрушали мою внутреннюю связь с дворцом и моими родными. Я заметила это слишком поздно. Чужое существо, стремившееся знать, так глубоко въелось в меня, что я уже не могла от него освободиться.

Хижина Арисбы бедная и маленькая. Здесь жил большой, сильный Эсак. Запах пряностей, пучки трав по стенам и на потолке, посредине на открытом огне дымящееся варево. Пламя мерцало и дымилось, вокруг царила темнота. Арисба, не приветливая и не неприветливая, а я привыкла к приветливости и еще нуждалась в ней, без промедления дала мне все сведения, которых я требовала. Да, это Эсак, мой единокровный брат, благословенный богами прорицатель, перед рождением ребенка, которого они теперь называют Парисом, провозгласил: на этом ребенке лежит проклятие. Эсак! Тот самый добрый Эсак, на плече которого я скакала! Арисба невозмутимо: «Но решающим был, разумеется, сон Гекубы». Если верить Арисбе, незадолго до рождения Париса Гекубе приснилось, что она родила головешку, откуда выползло неисчислимое множество огненных змей. По толкованию Калхаса-прорицателя это означало: ребенок, которого родит Гекуба, погрузит в огонь всю Трою.

Неслыханные новости. Где же я жила?

Арисба, могучая старуха, помешивая у огня пахучее варево, продолжала трубным голосом: разумеется, толкование сна Калхасом не осталось без возражения. И ей самой был представлен этот сон на рассмотрение. «Кем?» — быстро перебила я, а она коротко бросила: «Гекубой». Она могла бы по зрелом размышлении дать ему иное толкование. «А именно?» — резко спросила я, мне казалось, я сама вижу сон. Моя мать Гекуба, ее ночной кошмар, который она в обход официального толкователя представляет на рассмотрение бывшей наложнице своего мужа — да что они все с ума посходили? Или случайно перепутались, чего я так боялась в детстве? А именно, у этого ребенка могло быть предназначение вернуть богине змей ее права как хра-

нительницы огня в каждом доме. У меня стянуло кожу на голове — то, что я сейчас слушаю, должно быть опасно. Арисба улыбнулась, ее сходство с Эсаком причинило мне боль. Понравилось ли царю Приаму ее толкование, она не знает. С этими загадочными словами она отпустила меня. Сколько всего должно было случиться, чтобы эта хижина стала моим настоящим домом.

Теперь мне все же следовало обратиться к отцу. Дошло до того, что обо мне ему должны были доложить, как обо всех остальных. Один из молодых людей, что следовали за мной уже недели, молча и выразительно стоял перед дверью Приама. Как его зовут? Эвмел? «Да,— ответил Приам,— способный человек». Отец сделал вид, что занят. Мне впервые пришло в голову, что наша близость покоится, как часто между мужчинами и женщинами, на том, что я его знаю, а он меня нет. Он знал меня такой, какой желал видеть, мне оставалось смириться. Я всегда любила видеть его деятельным, но неуверенным и прячущим свою неуверенность за деловитостью — нет. Я вызывающе назвала имя Арисбы. Приам вскочил. Его дочь против него? Однажды уже начинались бабские козни во дворце, незадолго до рождения Париса. Одни заклинали его устранить опасного ребенка, другие, и, конечно, Гекуба в их числе, считали именно этого ребенка предназначенным для высокой доли и хотели его спасти. Высокая доля! Претендент на трон отца, что же еще?

Его слова разорвали паутину перед моими глазами. Наконец я поняла то, что видела ребенком: замкнутые или расстроенные лица, кольцо отстраненности, даже отвращения вокруг отца, которое я умышленно разомкнула: любимица! Отчуждение от матери. Ожесточение Гекубы. И что же? Парис жив. «Да,— сказал Приам,— у пастуха не хватило духу его умертвить. Готов поспорить, его подкупили бабы. Им все равно. Пусть лучше Троя погибнет, чем мой замечательный сын».

Я была ошеломлена. Чего он пыжится? И почему Троя погибнет, если Парис жив? И неужто царь не мог отличить собачий язык, который ему принес как доказательство пастух, от языка грудного младенца?

Взволнованный гонец доложил о прибытии Менелая, царя Спарты. Значит, это за приближением его корабля наблюдали мы с рассвета. Вошла Гекуба, она, казалось, не заметила меня. «Менелай. Ты уже знаешь? Может быть, это совсем неплохо».

Я ушла. Пока во дворце готовились достойно встретить гостя, который неожиданным образом приехал, чтобы принести жертвы на двух могилах наших героев и тем утишить чуму в Спарте, пока в храме всех богов готовились к государственной церемонии, я продолжала пестовать свое странное чувство удовлетворения. Вместе с удовлетворением я ощущала, как во мне распространяется холод. Я еще не знала, что бесчувствие никогда не может быть движением вперед, разве что помощью. Какое долгое понадобилось время, чтобы чувства вновь устремились в пустынные пространства моей души. Мое новое рождение вернуло мне не только действительность, то, что мы называем жизнью, оно по-новому открыло мне и прошлое, не искаженное обидами, приязнью или неприязнью — всей той роскошью, которую могла себе позволить дочь Приама. Исполненная достоинства, торжествующая, сидела я за праздничным столом среди братьев и сестер, на предназначенном мне месте. Раз меня так вводили в заблуждение, я ничем не была им обязана. У меня было преимущество перед всеми остальными — право знать. Чтобы их наказать, я должна была в будущем знать больше, чем они. Стать жрицей ради власти? Боги! До какой крайности должны были вы меня довести, чтобы выжать из меня эти простые слова. Тяжко, когда напоследок остаются слова, которые жалят тебя саму. Насколько быстрее

и легче скользят те, что относятся к другим. Арисба сказала мне както об этом, ясно и определенно. Когда это было, Марпесса?

В середине войны, говорит она. Уже давно мы встречались по вечерам на склоне горы Иды, мы, женщины.

Три дряхлые бабки были еще живы и украдкой хихикали. Ты ведь тоже тогда смеялась надо мной, Марпесса? Одна я не смеялась. Моя старая обидчивость разбухала во мне, и тогда Арисба сказала: чем дуться, мне лучше было бы порадоваться, что находятся люди, которые прямо говорят, что думают. Какой еще из дочерей могущественного царского дома выпадает такое счастье. Уж хватит об этом. Больше всего мне нравилась насмешливость Арисбы. Незабываемое зрелище, когда она, опускаясь всем своим могучим телом на полусгнивший ствол дерева перед пещерой, палкой отбивала нам такт. Кто поверит, Марпесса, что в самый разгар войны мы исправно собирались вне крепости, на дорогах, которых не знал никто из непосвященных, что мы, осведомленные лучше, чем любые другие обитатели Трои, обсуждали положение, советовались о том, что делалось, осуществляли свои решения, а кроме того, готовили еду, ели, пили, смеялись, пели, играли, учились. Всегда случались месяцы, когда греки, окопавшись за своими береговыми частоколами, не нападали на нас. Существовал большой рынок за воротами Трои, прямо напротив греческих кораблей. И нередко на рынке появлялся кто-нибудь из их царей — Менелай, Агамемнон, Одиссей или один из двух Аяксов,— они проходили между прилавками и жадно хватали товары, зачастую им неизвестные, и покупали для себя или жен ткани, изделия из кожи, посуду и пряности. Сейчас, когда появилась Клитемнестра, я узнала ее по платью. В первый раз я увидела злосчастного Агамемнона на нашем рынке. Именно эту ткань нес за ним раб. Мне сразу не понравилось, как он себя держал. Он властно протолкался к прилавку Арисбы и, привередливо перебирая глиняную посуду, разбил одну из самых красивых ваз, поспешно, по первому слову Арисбы, заплатил за нее и под смех зрителей обратился в бегство вместе со своей свитой. Он заметил, что я его видела.

«Этот за себя отомстит»,— сказала я Арисбе. Меня поразило, что такой выдающийся и знаменитый флотоводец греков оказался безвольным человеком, лишенным чувства собственного достоинства. Иногда незначительная черта освещает значительное событие. Мне вдруг стало ясно: может быть, правду, нет, несомненно, правду рассказал перебежчик — по приказу Приама этого не следовало повторять, чтобы враг не показался чудовищем,— будто этот Агамемнон перед переездом через море заклал на алтаре Артемиды молодую девушку, собственную дочь, Ифигению. Я много думала об Ифигении в эти годы войны. Единственный разговор с этим человеком, какой я сочла возможным для себя, был об этой его дочери. Это было на корабле, на следующий день после бури. Я стояла на корме, он рядом. Темно-синее небо, белая линия пены за кормой корабля на гладкой поверхности сине-зеленого моря. Я напрямик спросила Агамемнона об Ифигении. Он заплакал, но не так, как плачут от горя, а от страха и слабости. Его вынудили это сделать. «Что?» — спросила я холодно. Мне хотелось, чтобы он назвал это своим именем. Он вынужден был принести ее в жертву. Я хотела услышать не это. Впрочем, слова «убить» и «зарезать» неизвестны ни убийцам, ни мясникам.

Как далеко я отошла даже от языка дворца. «Чтобы вызвать попутный ветер,— закричал Агамемнон негодующим тоном,— ваш Калхас потребовал жертвы именно от меня».

«И ты ему поверил?» — спросила я. «Может быть, и нет,— пробормотал он.— Остальные поверили. Цари. Каждый завидовал мне, главнокомандующему. Каждый злорадствовал. А что может поделать

вождь с войском суеверных?» — «Отойди от меня»,— сказала я. Грозно встала передо мной месть Клитемнестры.

Тогда, после первой встречи с этим неудачником, я сказала Арисбе: «У Приама никто не решился бы потребовать такой жертвы». Арисба с изумлением поглядела на меня, и тут же я вспомнила о Парисе. Но ведь это было не то же самое? Неужели это было то же самое: тайно умертвить грудного младенца или публично заколоть взрослую девушку? А я не понимала, что это одно и то же. Может быть, потому, что это касалось не меня, дочери, но Париса, сына.

«Тебе требуется много времени, милая моя»,— сказала Арисба.

Мне требуется много времени. Мои преимущества и моя привязанность к близким, которая не зависела от моих преимуществ, становились между мной и необходимыми мне познаниями.

Я почти испугалась мучительно-неловкого ощущения, которое вызывала во мне застыло-надменная чопорность царской семьи, когда мы вместе с Менелаем торжественным шествием сопровождали в храм Афины Паллады ее новый наряд. Рядом шел Пантой, у него на губах я увидела язвительную усмешку. «Ты смеешься над царем?» — спросила я резко. Впервые в его глазах промелькнуло что-то похожее на страх. И я увидела, что у него хрупкое тело, на которое посажена слишком большая голова. И мне стало ясно, почему он называл меня «маленькая Кассандра». С этой же минуты он перестал меня так называть. И перестал приходить ко мне по ночам. Долгое время ко мне никто не приходил по ночам. Я страдала и ненавидела себя за свои сны, которые освобождали меня от этой боли, пока вся эта растрата чувств не обернулась тем, чем была на самом деле — бессмыслицей, и не растаяла в пустоте.

Обычно мы только думаем так, но что поделаешь, я прошла через это. Переход из дворца в мир гор и лесов был также переходом от трагедии к бурлеску, чье зерно — не воспринимать самое себя трагически, как делают это высшие слои общества во дворце. Вынуждены делать. А как иначе им убедить остальных в своем исключительном праве на себялюбие. Как иначе увеличить свои удовольствия, как не создавая для них трагический фон. В этом очень помогла я, на свой лад, но тем более правдоподобно. Приступ безумия во время торжественного пира — что может быть ужаснее, а потому и более способствовать аппетиту. Я не стыжусь, я больше не стыжусь. Но и забыть я также не могу. Это было накануне отъезда Менелая и в канун отплытия ТРЕТЬЕГО КОРАБЛЯ. Мы сидели за царской трапезой. справа от меня Гектор, между собой мы звали его Темное Облако, слева — упорно молчащая Поликсена. Напротив — совсем еще юный, мой милый брат Троил с умницей Брисеидой, дочерью изменника Калхаса-прорицателя: эта пара отдалась под мое покровительство, что льстило моему тщеславию. Во главе стола — Приам, Гекуба, Менелай, которого теперь не должно называть дружественным гостем. Почему? Кто запретил это? Говорят, Эвмел. Эвмел? А кто такой этот Эвмел? Ах, да! Тот человек в совете, которому подчиняется теперь дворцовая стража. С каких пор офицеры решают, какие слова употреблять? С тех пор как они стали именоваться «царской партией», которая числила спартанца Менелая не только не «дружественным гостем», но тайным агентом или провокатором. Будущим врагом. С тех пор как они раскинули вокруг него «сеть безопасности». Новые слова. Ради них отказались от старых: «дружественный гость». Что такое слова? Все, кто держался старых слов, и я в том числе, сразу почувствовали себя на подозрении. Но ведь дворцовая стража — небольшая кучка людей, по торжественным дням в парадной форме окружавшая царя. Все это будет теперь по-другому и весьма основательно, обещал Эвмел. Кто-кто? Эвмел. Если вы еще не знали его имени, на вас смотрели косо. Эвмел, сын ничтожного писца и рабыни с Крита, которого каждый — каждый из окружения дворца —

вдруг стал называть «способным». Способный человек на своем месте. Правда, это место «способный» сам создал для себя. Ну и что же? Разве всегда не так было? Высказывания Эвмела повторяли чиновники, пошлые высказывания. Мы с братом Троилом и его Брисеидой обменивались язвительными замечаниями. Я стала то и дело встречать на улицах Трои молодых людей со знаками различия дворцовой стражи, они вели себя совсем иначе, чем принято у наших молодых людей. Самоуверенно. У меня пропал смех. «Наверное, я глупа,— сказала я Пантою,— но мне кажется, некоторые из них следят за мной». «Это они достаточно глупы, чтобы следить за тобой,— сказал он.— Особенно когда ты приходишь ко мне». Пантой был заподозрен в сговоре с греком Менелаем и взят под наблюдение. Каждый, кто приближался к нему, попадал в сеть. И я тоже. Трудно поверить: небо вдруг потемнело.

Вечером за пиршественным столом можно было на глаз определить различные центры притяжения, это тоже была новость. За моей спиной Троя изменилась. Гекуба, моя мать, была не на стороне Эвмела. Я видела, как застывало ее лицо, когда он к ней приближался. Анхиз, многолюбимый отец Энея, казалось, возглавлял противную Эвмелу партию. Дружески и открыто разговаривал он со сбитым с толку Менелаем. Приам, казалось, хотел угодить всем. Но Парис, мой любимый брат Парис, уже принадлежал Эвмелу. Стройный, прекрасный юноша предался этому грузному человеку с лошадиным лицом.

О Парисе мне много приходилось думать, и, если я правильно заметила, он жаждал уважения, и ему приходилось наседать, напирать, настойчиво требовать. Как он изменился. Его лицо странно исказилось. Напряженные складки легли возле носа, придали ему непривычное выражение. Светлокудрый Парис среди темноволосых детей Гекубы! Эвмел заставил замолчать шепоток о неизвестном происхождении Париса. Прекрасно, Парис царского происхождения, он сын нашей глубокопочитаемой царицы Гекубы и бога Аполлона.

Неловко было видеть, как манерно Парис вскидывал голову, когда кто-нибудь намекал на его божественное происхождение, потому что у нас во дворце такое утверждение следовало понимать как некое преувеличение. Кто не знал, что дети, рожденные после церемонии лишения девства в храме, считались детьми божественного происхождения.

Дворцовые стражи принимали угрожающий вид, если кто-нибудь, пусть даже сам Гектор, наследник царского престола, поддразнивал Париса его именем: сума, сумка. Но ирония была нашим любимым светским развлечением. Значило ли это, что теперь нельзя уже подшутить и над планом повесить ветхую пастушью сумку рядом с лирой и луком бога в храме Аполлона? Жрица Эрофила, та тонкогубая, с пергаментным лицом, которая меня терпеть не могла, не дала совершиться этому святотатству. Тем не менее отряд Эвмела настоял на том, чтобы на южных воротах, через которые Парис вернулся в Трою, поставили чучело медведицы в знак того, что медведица вскормила царского сына Париса, брошенного своими родителями.

И этому бедному брату требовалось столько девушек! Ясно, все мои братья находили себе подруг по вкусу, в счастливые времена все во дворце благожелательно обсуждали любовные похождения царских сыновей, а девушки, по большей части из низших слоев, среди них и рабыни, не чувствовали себя ни обиженными, ни польщенными желаниями моих братьев. Гектор, тот держался в стороне, его могучее, неповоротливое тело охотнее всего пребывало в покое. С изумлением глядели мы, как вопреки своим склонностям тренировался он для войны. И для Андромахи. Различия тут не было. Как он умел бегать, о боги, как он бежал, когда Ахилл, этот скот, гнал его вокруг крепости.

Никто из нас — ни прорицательница, ни толкователь оракула — не ощутил даже дуновения предчувствия. Больше всего привлекали к себе внимание дворца не Эвмел, и уж совсем не Парис, и даже не гость Менелай. Дворец устремил свой взор на Брисеиду и Троила, такую пару, что каждый, видя их, невольно улыбался. Брисеида была первой любовью Троила, и никто не мог не поверить ему, что и последней. Брисеида, чуть старше его и зрелее, казалась не в состоянии осознать свое счастье. С той поры как отец ее нас покинул, ее никогда больше не видели веселой. Ойнона, проворная, стройная, гибкая красавица с лебединой шеей, на которой сидела красиво вылепленная голова, Ойнона, привезенная Парисом с гор — на кухне на нее молились,— выглядела подавленной. Она прислуживала за столом царской чете и гостю, мне было видно, что она принуждает себя улыбаться. В одном из переходов я настигла ее, увидела, как одним глотком она выпила кубок вина. Во мне поднималась дрожь, но я могла еще ее удержать. Я не удостоила взглядом фигуры, жавшиеся по углам, и спросила Ойнону, в чем дело. Вино и заботы рассеяли ее робость передо мной. Парис болен, проговорила она побелевшими губами, и ни одно из ее лечебных средств не помогает ему. Ойнона, которую прислуга считала в прошлой жизни водяной нимфой, знала все растения и их действие на человека. Больные во дворце обращались обычно к ней. Она не знает, что за болезнь у Париса, и это пугает ее. Он ее любит, у нее есть несомненные доказательства этого. Но и в ее объятиях он громко повторяет имя другой женщины: Елена, Елена. Афродита ему обещала Елену. Но разве слышал хоть кто-нибудь на свете, чтобы Афродита, наша любимая богиня любви, гнала мужчину к женщине, которую он вовсе не любит? Даже не знает. И хочет владеть ею только потому, что, по слухам, она самая красивая женщина на свете. И потому, что обладание ею сделает его первым изо всех мужчин.

Я отчетливо слышала в трепещущем голосе Ойноны хриплый, резкий голос Эвмела, и моя внутренняя дрожь усилилась. Как каждому человеку, мое тело подавало мне знак, и я, другая, чем другие, была не в состоянии не заметить этого знака. Чуя приближающуюся беду, я вернулась в зал, где одни становились все тише, а другие — сторонники Эвмела — все шумнее и наглее. Парис, уже выпивший больше, чем следовало, вынудил Ойнону дать ему еще кубок вина, который он проглотил залпом, и громко заговорил со своим соседом Менелаем о его прекрасной жене Елене. Менелай, трезвый и уже немолодой человек, склонный к полноте, с залысинами на лбу, не искал ссоры, он вежливо отвечал сыну хозяина, пока вопросы того не стали столь дерзкими, что Гекуба, необычно разгневанная, приказала своему невоспитанному сыну замолчать. Тишина воцарилась в зале. Только Парис вскочил с места и закричал. Как? Он должен молчать? Снова молчать? Все еще молчать? Унижаться? Оставаться невидимым? Ну нет! Эти времена кончились. Я, Парис, вернулся не для того, чтобы молчать. Я, Парис, отниму сестру царя у врагов. Если же она откажется вернуться, найдется другая. Красивее. Моложе. Благороднее. Богаче. Это мне обещано, пусть все знают.

Никогда прежде не стояла во дворце Трои такая тишина. Каждый чувствовал — мера переполнена. Разговаривать так не смел никто из нашей семьи. Только я. Только я одна «видела». Но «видела» ли я? Как это бывало? Я чувствовала. Испытывала — вот точное слово, это был опыт, нечто распознанное мною, когда я «видела». То, что завязалось сегодня здесь, было началом нашего конца, истоком крушения Трои. Время застыло. Никому не пожелаю такого. Ледяной холод. Полное отчуждение от самой себя, от всех. И наконец, ужасающая мука, когда голос прокладывает себе дорогу из меня, через меня, разрывая меня, и освобождается, вырывается наружу. Свистящий голосок, от которого кровь застывает в жилах и волосы встают

дыбом. Он усиливается, крепнет, становится все страшнее, принуждает мое тело дергаться, швыряет его, сводит меня с ума. Но голос не обрывается. Он свободно висит надо мной и кричит, кричит, кричит. «Горе,— кричит он.— Горе, горе. Не отпускайте корабль в плавание».

И тогда упала завеса перед моим рассудком. Открылась бездна. Мрак. Я падаю. В горле бурлит и клокочет. На губах выступила пена. По знаку матери стража — люди Эвмела? — подхватывает меня под мышки и тащит из зала, где снова так тихо, что слышно, как мои ноги волочатся по полу. Дворцовые врачи пробиваются ко мне, Ойнону не пускают. Меня запирают в моей спальне. Растерянным гостям говорят, что мне нужен покой. Я должна прийти в себя, это происшествие значения не имеет. Среди братьев и сестер мгновенно распространяется слух, что я сошла с ума.

Народ, рассказали мне потом, ранним утром с ликованием приветствовал отплытие Менелая и одновременный выход в море ТРЕТЬЕГО КОРАБЛЯ и толпился там, где делили мясо жертвенных животных и хлеб. Вечером город снова наполнился шумом. Во внутренний дворик, куда выходили мои окна, не доносилось ни звука, все проходы были перекрыты. Небо, на которое я глядела застывшим взглядом, днем и ночью казалось мне черным. Есть я не хотела. Няня Партена вливала мне в горло маленькими глотками ослиное молоко. Я не желала больше кормить это тело. Я желала этому преступному телу, где обосновался голос смерти, изголодаться и иссохнуть. Безумие — вот конец мукам притворства. О, я наслаждалась им, я куталась в него, как в тяжелое покрывало, и смотрела, как безумие слой за слоем пронизывает меня. Оно было мне и пища и питье. Черное молоко, горькая вода, кислый хлеб. Я вернулась сама к себе. Но мне это ничего не дало.

Быть вынужденной нести в своих словах смерть: ужас, ужас. Я не могла остановить свое безумие. Пульсирующая бездна выплевывала и всасывала, выплевывала и всасывала меня, никогда не требовалось мне сил больше, чем теперь, чтобы пошевелить хотя бы мизинцем. Я задыхалась, ловила ртом воздух. Бешено и жестко колотилось сердце, как колотятся сердца борцов во время борьбы. Во мне самой тоже шла борьба, я наблюдала за ней. Два противника встретились не на жизнь, а на смерть и выбрали своим стадионом вымершие пространства моей души. Только безумие спасало меня от непереносимой боли, какую они могли бы мне причинить. Я крепко цеплялась за безумие, а оно за меня. В самой глубине моего существа, там, куда не проникало даже оно, держалось знание ходов и ответных ходов, которые я себе позволяла «далеко наверху»: ирония есть в каждом безумии. Выигрывает тот, кто умеет ее распознать и использовать.

Ко мне приходила Гекуба — была строга, Приам — боязлив, сестры — робки, няня — сочувственна, Марпесса — замкнута, и никто не мог помочь мне. Не говоря уже о торжественной беспомощности дворцовых врачей и насмешливой беспомощности Пантоя.

На пробу, крохотными толчками погружалась я в глубину. Тонкой, очень тонкой была связь со всеми здесь, она могла порваться. Ужасающая прихоть. Я должна была, стремясь к этому, отвоевать у своего сознания еще больше места для чудовищных лиц, являвшихся мне. Это вовсе не удовольствие, этого я сказать не хочу. За путешествие в подземный мир, к встрече с обитателями которого никто не подготовлен, нужно платить. Я выла, металась в своей грязи, царапала лицо и никого не подпускала к себе. Я обрела теперь силу троих мужчин, какова же должна была быть сила противоположная, сковывавшая ее перед тем. Я билась о холодные оголенные стены моей спальни. Как зверь набрасывалась на пищу. Грязные волосы на

голове у меня свалялись. Никто, и я сама тоже, не знал, чем это кончится. О, я была упряма!

Криком встретила я и женщину, вошедшую ко мне однажды. Она присела в углу на корточки и оставалась дольше, чем выдержал мой голос. Я замолчала на минуту, я услышала, как она сказала: «Этим ты их не накажешь». Первые человеческие слова за это время, и мне понадобилась вечность, чтобы понять их смысл. Тогда я снова закричала. Фигура исчезла. Ночью, в минуту облегчения, я не могла понять: действительно она приходила или тоже была призраком, порождением безумия, которые окружали меня. На следующий день она пришла снова. Значит, все-таки это была Арисба.

Никогда не повторяла она слов, сказанных накануне, и дала мне этим почувствовать: она знает, что я ее поняла. Я могла бы задушить ее, но она была не слабее моего и не боялась меня. Тем, что я ее не выдала — я, конечно, заметила, что няня Партена впустила ее тайком,— я показала, что нуждаюсь в ней. Судя по всему, она считала, что освободиться от безумия в моей власти. Я ответила ей грязной руганью. Она крепко схватила меня за руку, когда я хотела ее ударить, и твердо сказала: «Хватит жалеть себя». Я тотчас же замолкла. Так со мною никто не говорил.

«Возвращайся, Кассандра. Открой свой внутренний взор. Погляди на себя».

Я фыркнула на нее, как кошка. Она ушла.

И я поглядела. Не сразу. Я дождалась ночи. Я лежала на хрустящем хворосте, укрытая покрывалом, которое, может быть, выткала Ойнона. Вот я и допустила до себя имя. Ойнона. Одна из них. Она худо поступила со мной. Отняла у меня любимого брата, Париса, прекрасного, светлокудрого, я привлекла бы его к себе без чародейства этой болотной нимфы. Ойнона, гнусная тварь. Больно? Да, больно. Я еще чуточку подалась вверх поглядеть на свою боль. Со стоном я уступала ей. Я впивалась руками в покрывало, цеплялась за него, чтобы боль не унесла меня. Гекуба. Приам. Пантой. Сколько имен у обмана. У пренебрежения. У непонимания. Как я их ненавидела. Как хотела показать им свое презрение.

«Хорошо,— сказала Арисба, уже снова сидевшая здесь.— А как обстоит дело с тобой самой?»

«Со мной? Что я им сделала? Я, слабая? Им, сильным?»

«...А как же ты допускаешь их быть сильными?»

Я не поняла вопроса. Та часть меня, которая снова ела и пила, снова называла себя «я», не поняла вопроса. Ту, другую часть, которая правила мной в безумии, которую теперь подавило «я», больше не спрашивали. Не без сожаления отпустила я безумие, не без отчуждения смотрел мой внутренний взор на незнакомый образ, вынырнувший из спадающих черных вод. В благодарности, которую я к Арисбе испытывала и выказывала, таилось не такое уж маленькое зернышко неблагодарности и отчуждения, но, казалось, она ничего другого не ожидала. В один прекрасный день она сама объявила себя лишней, и, когда я в порыве чувств сказала ей, что есть вещи, которых я никогда не забуду, она сухо ответила: забудешь. Мне всегда мешало, если кто-нибудь другой знал или думал, что знает обо мне больше, чем я сама.

«Так рано они еще не имели ясного представления о тебе,— рассказывала мне Арисба много лет спустя.— На что им делать ставку — на твою склонность соглашаться с правителями или на твою жажду знания». «Они!» Уже были «они», и «они» пытались получить обо мне «ясное» представление! «Не будь ребенком,— сказала Арисба,— согласись, ты достаточно долго отсутствовала, чтобы приобрести и то и другое».

Так оно и было. Я слышала, как говорили, что я наконец-то возвращаюсь к жизни, и это значило — к ним. В ловушку. В обыденную

жизнь дворца и храма с их обычаями — они казались мне странными и неестественными, как привычки чуждой породы людей. Когда я в первый раз снова увидела на алтаре Аполлона Тимберийского, как кровь жертвенного ягненка стекает в чашу, смысл этого действия исчез для меня. Мне, испуганной, казалось, я принимаю участие в святотатстве. «Ты была далеко отсюда, Кассандра,— сказал Пантой, он приглядывался ко мне.— Жаль, конечно, что при возвращении мы находим все то же самое».

До этой минуты, до этих слов он казался мне более непроницаемым, чем прежде. Я быстро поняла почему. Совсем несладко стало быть греком в Трое.

Люди Эвмела действовали. Они завоевали приверженцев среди низших дворцовых писцов и прислужников в храме. Мы и духовно должны быть вооружены, если греки нападут на нас. Духовное вооружение состояло из поношения врага (о враге речь шла еще до того, как хотя бы один-единственный грек взошел на корабль) и недоверия к подозрительным — к тем, кто мог работать на руку врагу. Грек Пантой. Брисеида, дочь изменника Калхаса. Она часто плакала по вечерам у меня в спальне. Если бы даже она захотела расстаться с Троилом, чтобы не подвергать его опасности, он ее не отпустит. Я вдруг стала защитницей преследуемой пары. Моего младшего брата Троила, сына царя, подвергали гонениям только за то, что он выбрал себе возлюбленную по сердцу. Немыслимо было представить себе такое.

«Н-да,— сказал Приам,— плохо, плохо». Гекуба спросила: «Где же ты спишь, когда они ночуют у тебя?» Она предложила мне приходить к ней в спальню, тайком.

Но где же мы живем? Я напряженно думала: упоминал хоть кто-нибудь в Трое о войне? Нет. Его призвали бы к ответу. В полной невинности, с чистой совестью мы подготавливали войну. Первый ее признак: мы равнялись по врагу. Зачем нам это было нужно?

Прибытие ТРЕТЬЕГО КОРАБЛЯ оставило меня странным образом спокойной. Он прибыл ночью, об этом позаботились, но тем не менее сбежался народ, высоко подняли факелы, но кто узнает в полутьме лица, кто различит их, кто сосчитает.

Там, несомненно, был Анхиз, его ни с кем не спутаешь, он до глубокой старости сохранил юношескую походку. Анхиз, казалось, спешил больше, чем обычно, ничего не объясняя, он не допустил Эвмела сопровождать себя и скрылся во дворце. На корабле были юноши, которых я должна была бы ждать, но кого из них? Энея? Париса? Для кого из них забилось наконец сильней мое сердце? Никто не подходил к ним. Впервые вокруг пристани сомкнулось оцепление из людей Эвмела. Парис не вернулся на этом корабле — гласило сообщение, полученное его родными в царском дворце. В Спарте снова уклонились от выдачи сестры царя, и потому Парис был вынужден привести в исполнение свою угрозу. Иначе говоря, он похитил супругу царя Менелая. Прекраснейшую женщину Греции — Елену. С ней вместе он окольным путем возвращается сейчас в Трою.

Елена. Имя прозвучало как удар. Красавица Елена. Мой маленький брат вовсе не совершал этого. Это можно было бы понять. И мы знали об этом. Я была свидетельницей того, как в метаниях между дворцом и храмом, в дневных и ночных заседаниях совета была изготовлена и выкована новость, твердая, гладкая, как копье. Парис, троянский герой, по велению нашей любимой богини Афродиты похитил у хвастливых греков прекраснейшую женщину Греции — Елену и тем самым смыл оскорбление, нанесенное нашему могучему царю Приаму разбойничьим похищением его сестры.

Ликуя, толпился народ на улицах. Я увидела, как официальное сообщение становится правдой. И Приам обрел новый титул: «наш могучий царь». Позднее, когда все безнадежней становилась война,

мы должны были называть его «нашим всемогущим царем». «Целенаправленные нововведения,— сказал Пантой.— Тому, что повторяешь много раз, под конец начинаешь верить».— «Да,— сухо ответил Анхиз.— Под конец». Я решила выдержать по крайней мере словесную войну. Никогда не говорила я иначе чем «отец» или в крайнем случае «царь Приам». Но я очень хорошо помню беззвучный зал, куда падали эти слова: «Ты можешь себе это позволить, Кассандра»,— слышала я. Правильно. Они могли себе позволить меньше бояться убийства, чем нахмуренных бровей своего царя или Эвмела. Я же могла себе позволить немножко предвидения и капельку упрямства. Упрямства, не мужества.

Как давно не думала я о старых временах. Правда, что близкая смерть еще раз поднимает из-под спуда всю жизнь. Десять лет войны. Они были достаточно долгими, чтобы позабыть о том, как возникла война. В середине войны думаешь только о том, как она кончится. И откладываешь жизнь на потом. И когда так поступают многие, в нас образуется пустое пространство, куда устремляется война. Во мне тоже вначале победило ощущение, что сейчас я живу как бы временно, настоящая действительность еще предстоит мне, что я даю жизни проходить мимо. От этого я страдала больше всего. С тех пор как я считалась здоровой, Пантой стал снова приходить ко мне. В проявлениях его любви — нет, я не хочу называть так то, чем он со мной занимался, к любви это не имело никакого отношения — появилась новая черта, которая мне не нравилась. Он согласился со мной, что до моей болезни я не волновала его так, как теперь. Наверное, я изменилась. Эней избегал меня. «Ясно,— подтвердил он потом.— Ты изменилась».

Отсутствующего Париса прославляли в песнопениях. Страх во мне подстерегал меня. И не только во мне. Без просьбы царя я истолковала сон, который он рассказал за столом. Два дракона сражались друг с другом, на одном был золотой кованый панцирь, у другого — остро отточенное копье. Один — неуязвимый, но безоружный, другой вооружен и исполнен ненависти, но уязвим. Они сражаются вечно.

«Ты находишься в столкновении сам с собой. Ты сам не даешь себе действовать. Парализуешь себя».

«О чем говоришь ты, жрица,— ответил мне Приам официально.— Пантой уже давно истолковал этот сон. Дракон в золотом панцире — это, конечно, я, царь. Вооружиться следует мне, чтобы сокрушить лицемерного и вооруженного с головы до ног врага. Я уже приказал оружейникам увеличить количество изготовляемого оружия».

«Пантой»,— окликнула я его в храме. «Но,— сказал он,— это же все звери, Кассандра. Полузвери-полудети. Они будут следовать своим вожделениям и без нас. Зачем нам становиться у них на дороге? Чтобы они нас растоптали? Нет. Я сделал выбор».

Ты сделал выбор: питать зверя в себе самом, разжигать его. Жуткая улыбка на застывшем лице. Но что я знаю об этом человеке?

Когда начинается война, мы сразу узнаем об этом, но когда начинается подготовка войны? Если только здесь есть правила, надо рассказать о них вам, передать другим. Оттиснуть на глине, высечь на камне, передавать из поколения в поколение. Что будет там написано? Прежде всех остальных слова: «Не дайте своим обмануть вас».

Парис, прибывший наконец почему-то на египетском судне, вынес на руках женщину, скрытую плотным покрывалом. Народ, толпившийся, как теперь было принято, за цепью безопасности из людей Эвмела, замер. В каждом возник образ прекраснейшей из женщин, такой сияющий, что, доведись нам его увидеть, он ослепил бы всех. Сначала робко, потом воодушевленно толпа скандировала: Е-ле-на, Е-ле-на. Елена не показала лица. За праздничным столом она тоже не

появилась. Она измучена долгой дорогой. Парис, совсем другой Парис, передал утонченные дары от царя Египта и рассказывал чудеса. Он говорил, и говорил, размахивая руками, безудержно, замысловато, с выкрутасами, что, по-видимому, считал остроумным. Он вызвал много смеха. Он стал мужчиной. Я все время смотрела на него. Но посмотреть ему в глаза мне не удавалось. Откуда эта косая складка на его красивом лице, какое лезвие обострило его прежде мягкие черты?

С улицы во дворец доносился звук, такого прежде мы никогда не слышали, похожий на угрожающее жужжание улья, откуда вот-вот вылетит рой пчел. Мысль, что во дворце их царя находится прекрасная Елена, вскружила людям головы. В эту ночь я не допустила к себе Пантоя. В ярости он попытался прибегнуть к насилию. Я позвала няню, которой как раз не оказалось поблизости. Пантой ушел с перекошенным лицом. Грубая плоть под маской. Грусть, что затягивала иногда чернотой солнце, я старалась скрывать.

Каждой жилкой я чувствовала, что в Трое нет никакой прекрасной Елены. Когда остальные обитатели дворца давали понять, что они все поняли, когда я уже второй раз в утренних сумерках увидела милую Ойнону, выходившую из спальни Париса, когда рой легенд о невидимой красавице, жене Париса, сам собою сник и все взгляды опускались, когда я, одна только я, словно движимая какой-то силой, снова и снова называла имя Елены и даже предлагала ходить за нею, все еще слабой, и мне отказывали,— даже тогда я все еще не хотела поверить в невероятное. «С тобой и вправду придешь в отчаянье»,— сказала мне Арисба. Я хваталась за любую соломинку, если можно было назвать соломинкой посольство Менелая, которое в сильных выражениях требовало возвращения их царицы. Раз они хотели ее вернуть, значит, она здесь. Мое чувство не оставляло сомнений: Елена должна вернуться в Спарту. И также ясно мне было: царь должен отклонить это требование. Всем сердцем стремилась я быть на его стороне, на стороне Трои. Убейте меня, но я не могу понять, почему в совете спорили еще целую ночь. Позеленевший, бледный Парис объявил, словно побежденный: «Нет, мы не выдадим ее».— «Друг, Парис,— закричала я,— радуйся!» Его взгляд, наконец-то его взгляд, показал мне, как он страдал. Этот взгляд вернул мне брата.

Потом мы все забыли, что было поводом к войне. После кризиса на третьем году войны даже солдаты перестали требовать, чтобы им показали прекрасную Елену. Больше терпения, чем может взрастить в себе человек, понадобилось, чтобы по-прежнему повторять имя, которое все сильнее отдавало пеплом, пожаром, разорением. Они отбросили это имя и стали оборонять самих себя. Но для того, чтобы приветствовать войну ликованием, это имя годилось. Оно поднимало их над самими собой. «Обратите внимание,— говорил нам Анхиз, отец Энея, который охотно поучал нас и, когда уже можно было различить конец войны, принуждал нас обдумать ее начало.— Предположим, они взяли эту женщину. Слава и богатство даются и мужчине. Но красота? Народ, который сражается за красоту!» Сам Парис, словно против воли, появился на рыночной площади и бросил народу имя Елены. Никто не заметил его растерянности. Я заметила ее. «Почему ты так холодно говоришь о своей горячей жене?» — спросила я. «Моя горячая жена,— был его язвительный ответ.— Опомнись, сестра. Ее здесь нет».

Он рванул мои руки вверх еще прежде, чем я подумала: да, я верю ему. Мне уже давно было не по себе, меня терзал страх. Приступ, подумала я еще трезво, но уже слышала тот голос: «Горе, горе, горе». Я не знаю, кричала я громко или говорила шепотом: «Мы погибли. Горе, мы погибли».

Что будет дальше, я знала. Резкий рывок, мужские руки хватают меня за плечи, звон металла о металл, запах пота и кожи. День стоял

такой, как сегодня. Осенний шторм порывами летит с моря и гонит облака по глубокой синеве неба, под ногами камни, точно так же уложенные, как здесь, в Микенах, стены домов, лица, потом толстые каменные стены и почти полное безлюдье, когда мы приблизились к дворцу. Как здесь. Я узнала, какой видит цитадель в Трое пленница, и приказала себе никогда этого не забывать. И не забыла, но как бесконечно долго я совсем не думала об этом. Почему? Может быть, из-за неосознанной хитрости, которой я стыдилась. Почему я кричала: «Мы погибли!», а не: «Троянцы, Елены нет, никакой Елены нет!» Я знаю почему и тогда знала: Эвмел во мне запрещал мне это. Ему, ожидавшему нас во дворце, ему крикнула я: «Никакой Елены нет!» — но он и без меня знал об этом. Народу должна была я это сказать. Но я, прорицательница, принадлежала ко дворцу. И Эвмел прекрасно все понимал. То, что его лицо смело выражать насмешку и пренебрежение, привело меня в бешенство. Из-за него, кого я ненавидела, и из-за отца, которого я любила, я не выкрикнула громко государственную тайну. Гран расчета в моем самоотчуждении. Эвмел видел меня насквозь. Отец — нет.

Царь Приам жалел самого себя. Такое сложное, запутанное политическое положение, а тут еще я! Он отослал прочь стражников, что было смелостью с его стороны. Если так будет продолжаться, ему не останется ничего другого, как запереть меня. Что-то во мне сказало: еще не сейчас. Чего, во имя неба, ты хочешь? Чего? Об этой проклятой истории с Еленой следовало бы поговорить со мной раньше. Хорошо, хорошо. Ее здесь не было. Царь Египта отобрал ее у глупого мальчишки Париса. Да об этом весь дворец знает, почему же ты нет? А что дальше? Как нам выйти из этой истории, не потеряв лица.

«Отец,— сказала я страстно, как никогда больше я с ним не говорила,— война, ведущаяся из-за призрака, может окончиться только пораженией».

«Почему? — очень серьезно спросил меня царь.— Почему? Нужно только,— сказал он,— чтобы у войска сохранилась вера в призрак. И что это значит — война вообще? Сразу же высокие слова! Я думаю, на нас нападут, ну а мы, мы будем обороняться. Так я думаю. А греки разобьют себе лоб и отправятся восвояси. Они не станут проливать кровь ради женщины, какой бы раскрасавицей она ни была,— в это я, впрочем, не верю».

«А почему бы и нет! — Это закричала я.— Допустим, они верят, что Елена у нас. Допустим, они так созданы, что не могут преодолеть обиду, нанесенную мужу из царского дома женщиной, красавица она или нет! — При этом я подумала о Пантое, который с тех пор, как я отказала ему, по-моему, меня возненавидел.— Допустим, они все такие».

«Не говори глупостей,— сказал Приам.— Им нужно наше золото. И свободный выход в Дарданеллы».— «Так обсудите это!» — предложила я. «Этого только не хватало. Обсуждать нашу неотъемлемую собственность и право!» Я начала понимать, что царь уже глух к доводам против войны, и глухим и слепым его сделали слова Эвмела: «Мы выиграем войну». «Отец, отбери у них хоть этот повод: Елену. Здесь ли, в Египте ли, она не стоит и одного убитого троянца. Скажи это посланцам Менелая, одари их подарками и отправь обратно».— «Ты сошла с ума, дитя,— сказал царь, искренне возмущенный.— Ты что, ничего больше не понимаешь. Ведь речь идет о чести нашего дома».

«Но ведь я тоже забочусь об этом!» — клялась я. Какой непроходимо глупой я себя чувствовала. Мне казалось, они и я, мы хотим одного и того же. И какую свободу несло первое нет: нет, я хочу другого. Но тут с полным правом царь поймал меня на слове. «Дитя,— сказал он и притянул меня к себе, я вдохнула аромат, который

так любила.— Тот, кто сегодня не с нами, дитя,— сказал он,— тот против нас». И я обещала ему хранить в тайне то, что знала о прекрасной Елене, и спокойно ушла от него. Стражники в коридоре не шелохнулись, Эвмел поклонился, когда я проходила мимо. «Браво, Кассандра»,— сказал в храме Пантой. Теперь я возненавидела его тоже. Слишком тяжело ненавидеть себя саму. Много подавляемого знания, злой воли и ненависти скопилось в Трое, прежде чем они обратились на врага и сплотили нас.

Всю зиму я оставалась ко всему безучастна и погружена в молчание. О том, что я не смею главного, я не думала. Родители, вероятно не спускавшие с меня глаз, разговаривали между собой и со мной вполне непринужденно. Брисеиду и Троила, которые по-прежнему искали моего сочувствия, удивляло мое безразличие. Никаких вестей об Арисбе, ничего об Энее. Немая Марпесса. Видно, все отступились от меня — неизбежный жребий тех, кто сам от себя отступился. Весной, как и ожидалось, началась война.

Войной называть войну запрещалось. В интересах упорядочения языка следовало говорить «нападение», что в данном случае было вполне точно. Странным образом мы оказались неподготовленными к нему. Так как мы не знали, чего мы хотим, мы не дали себе труда доискаться до истинных целей греков. Я говорю «мы», спустя так много лет снова «мы», в несчастье я снова открыла сердце для своих родителей. В те дни, когда греческий флот вырос на горизонте — устрашающий вид,— когда наши сердца сжались, а наши юноши, защищенные только кожаными щитами, смеясь, шли навстречу врагу, на верную смерть,— тогда я прокляла тех, на ком лежала ответственность за это. Кольцо обороны! Выдвинутая вперед линия за оборонительной полосой! Рвы. Ничего этого не существовало. Я не была стратегом, но каждый мог видеть, как гнали наших воинов по плоской прибрежной равнине навстречу врагам, чтобы те их перебили. От этого воспоминания я никогда не смогу освободиться.

И в тот первый день — мой брат Троил.

Я всегда пыталась забыть, как он шел к смерти. Но все равно ничто из всей этой войны не врезалось в мой мозг острее этого. Даже теперь, перед тем как меня убьют, и страх, страх, страх принуждает меня думать, даже теперь я помню каждую проклятую подробность смерти моего брата Троила. И одного убитого во всей этой войне мне было довольно. Гордая, преданная царю, бесстрашная, верящая клятве Гектора, что ни один грек не ступит на нашу землю, я осталась в храме Аполлона перед городом, откуда был виден весь берег. Но почему «был»? Он виден и сейчас. Храм Аполлона пощадили. Никто из греков не решился посягнуть на святилище Аполлона. Тот, кто сейчас там стоит, видит берег, усеянный обломками, телами воинов и оружием, которым некогда владела Троя, а если он обернется — увидит разрушенный город. Кибела, помоги.

Марпесса спит. Дети спят.

Кибела, помоги.

Тогда началось то, что вошло потом в привычку: стоять и смотреть. Я стояла, когда другие жрецы, среди них Пантой, охваченные паникой, бежали в Трою, когда Эрофила, старая, несгибаемая жрица с иссохшим лицом, в ужасе скрылась в глубине храма. Я смотрела, как брат Гектор — Тёмное Облако — в своем кожаном панцире сразил первых спустившихся с кораблей греков, которые, шлепая по мелкой воде, пытались овладеть троянским берегом. И тех, кто следовал за первыми, сразили троянцы. Может быть, Гектор и прав? Я видела, как далеко, безмолвно падали куклы-люди. В моем сердце ни искорки торжества. А потом все изменилось.

Группа греков в панцирях, держась плотно один к другому и окружив себя щитами, как сплошной стеной, подобно единому существу с головой и конечностями, наступала с ревом, какого никто и

никогда здесь прежде не слыхивал. Наружный ряд, как, очевидно, и было задумано, был скоро разбит уже утомленными троянцами. Те же, кто был в середине, уложили большое число наших. Ядро, как и предполагалось, достигло берега, а ядро ядра — греческий герой Ахилл — должен был пробиться, даже если все полягут. Он и пробился. «Так это делается,— я услышала, как лихорадочно повторяю это самой себе.— Все за одного». Что теперь? Схитрив, Ахилл не пошел на Гектора, предоставив его остальным, к самому же Ахиллу хорошо выдрессированные люди погнали, как дичь к охотнику, мальчика Троила. «Так это делается». Мое сердце стучало. Троил остановился, принял вызов, начал бороться. По всем правилам благородного поединка, как его учили. Он честно придерживался правил борьбы, в которой блистал с детства. Троил! Меня трясло. Я заранее знала каждый его шаг, каждый поворот головы, каждое движение тела. Но Ахилл! Ахилл, скот, не принял предложения мальчика. Может быть, он его не понял... Он поднял свой меч, схватив его обеими руками, высоко над головой и обрушил на моего брата. Отныне и навсегда все законы повергнуты в прах. Так это делается.

Мой брат Троил упал. Ахилл, этот скот, на нем. Я не хотела верить, но поверила тут же, я уже не раз становилась сама себе противна из-за этого. Если я правильно видела, он душил лежачего. Случилось нечто, что превосходило мое, превосходило наше понимание. Кто мог видеть, увидел в первый день: эту войну мы проиграли. На этот раз я не закричала. Не впала в безумие. Продолжала стоять. Не заметив, раздавила в руке глиняный кубок.

Но это еще не худшее, худшее впереди. Троил, в легком панцире, еще раз поднялся, ускользнул от рук Ахилла и бросился бежать. О боги, как он умел бегать! Сначала без цели, потом — я кричала, махала ему — он побежал ко мне, к храму. Спасен. Мы проиграем войну, но этот брат, в эту минуту самый любимый, спасен. Я бросилась к нему, схватила его, потянула, задыхающегося, обессиленного, внутрь храма, к изображению бога, где он был в безопасности. Тяжело дыша, приблизился Ахилл, на которого я больше не обращала внимания. Брат ловил ртом воздух, я развязала шлем, распустила панцирь на груди. Мне помогала Эрофила — старая жрица, которую я ни до, ни после того не видела плачущей. Мои руки летали. Кто жив, еще не потерян. И для меня не потерян. Я буду за тобой ухаживать, брат, любить и, наконец, узнаю поближе. Брисеида будет довольна, шептала я ему на ухо.

И тут вошел Ахилл, скот. Убийца вошел в храм, в храме потемнело, когда он стал в дверях. Чего он хотел, этот человек? Чего он, вооруженный, искал в храме? Минута ужаса: я поняла. Он засмеялся. Каждый волосок поднялся на моей голове, а в глазах моего брата был только ужас. Я бросилась на Ахилла, он отбросил меня в сторону, как пылинку. Враг приближается к брату. Как растлитель или как убийца? Но разве соединимы в одном человеке любовная страсть и страсть к убийству? Смеют ли люди терпеть такое! Застывший взгляд жертвы. Пританцовывая, приближается преследователь. Теперь я вижу его со спины, похотливый скот. Он берет Троила за плечо, гладит его, беззащитного,— ведь я, несчастная, сняла с него панцирь,— ощупывает его. Смеясь, все время смеясь. Хватает его за горло. Неуклюжая, коротконалая, волосатая рука на горле брата. Сжимает. Сжимает. Я повисла на руке убийцы, жилы на ней натянулись, как шнуры. Глаза брата выступили из орбит. На лице Ахилла похоть. Обнаженная, ужасающая мужская похоть. Раз существует такое, значит, возможно все. Тишина. Он стряхнул меня, я ничего больше не чувствовала. Теперь враг, чудовище, поднял перед статуей Аполлона свой меч и отделил голову моего брата от туловища. Человеческая кровь хлынула на алтарь, как кровь наших жертвенных животных. Жертва — Троил. Убийца, мяс-

ник, палач с жутким воем побежал прочь. Ахилл, скот. Долгое время оставалась я бесчувственна.

Чье-то прикосновение. Рука ложится на мою щеку, словно впервые в жизни обретшую дом. И взгляд, который я узнала. Эней.

Все, что было до сих пор,— смутное предчувствие, невоплощенная тоска. Эней — действительность, и, верная ей, одержимая ею, я хватаюсь за нее. Энею в такое время здесь нечего было делать.

«Я ухожу»,— сказал он мне. «Иди»,— сказала я. Ах, он умел исчезать. Я ничего не крикнула ему вслед, не пошла за ним и не справлялась о нем. По слухам, он ушел в горы. Иные презрительно усмехались. Я не заступалась за него. Не говорила о нем. Душой и телом была я с ним. С Энеем. Теперь я жила. Поддержкой, которую даешь мне ты, я не поступлюсь. Ты меня не понял тогда, в последний раз, и в гневе швырнул змеиное кольцо в море. Но подожди, об этом еще рано. Наш разговор с тобою впереди. Если он мне понадобится. А он мне понадобится.

Я настояла на том, чтобы в совете меня выслушали как свидетельницу смерти Троила. Я потребовала, чтобы они немедленно прекратили войну. «Но как?»— в растерянности спросили они. «Правдой о Елене,— ответила я. — Жертвой. Золотом или товарами, как они захотят. Главное, чтобы они ушли, чтобы не шел от них на нас чумной дух. Согласиться со всем, что они потребуют, с тем, что Парис, увезя Елену, жестоко оскорбил священный для всех нас закон гостеприимства. Разбоем и вероломством должны считать это греки. Так говорят они женам, детям, рабам. И они правы. Прекратите эту войну».

Мужчины побелели. «Она сумасшедшая,— услышала я шепот.— Она сошла с ума». Царь Приам, отец, медленно поднялся и грозно закричал, я в жизни не слышала такого крика. Его дочь! Она, именно она, здесь, в совете Трои, свидетельствует в пользу врага. Вместо того чтобы прямо, и открыто, и громко, здесь, в совете, в храме, поднять свой голос в защиту Трои. «Я защищаю Трою, отец»,— сказала я еще тихо, но не смогла подавить дрожь. «Так быстро забыть смерть брата, смерть Троила,— царь сжал кулаки.— Выведите ее отсюда, она мне больше не дочь». Снова руки, снова запах страха. Меня увели.

В совете обсуждали еще, рассказал мне Пантой, прорицание оракула — слух о нем уже носился по улицам Трои: Троя победит в войне, только если Троил достигнет двадцати лет. Разумеется, все знали, что Троилу было семнадцать, когда он погиб. По утверждению Эвмела, за этим слухом стоял Калхас-прорицатель, изменник Калхас. «Тогда я предложил,— сказал Пантой,— декретом признать Троила двадцатилетним. А Эвмел прибавил, что каждый, кто посмеет впредь утверждать, будто Троилу было семнадцать, когда его убил этот скот, понесет кару. Я сказала: «Меня первую надо покарать».— «Ну и что же, Кассандра,— ответил Пантой.— Почему бы и нет?».

На меня повеяло холодом.

Однако царь Приам защищался. «Нет,— сказал он,— оскорблять покойного сына ложью? Нет. Без меня». Были времена — я еще помню их,— когда умерший был священен, во всяком случае у нас. Новое время не уважало ни мертвых, ни живых. Я поняла это не сразу. Оно проникало сквозь все щели. И у нас носило имя — Эвмел.

Я слишком облегчаю себе жизнь, поучал меня грек Пантой. Мне невыносима стала его манера прятаться за мутными поучениями, но я — я-то не была в его шкуре грека в Трое. Я как-то в гневе спросила его, уж не думает ли он, что я донесу на него Эвмелу. «Как могу я это знать?— ответил он с улыбкой.— В чем бы ты меня уличила? Мы оба понимаем: Эвмел обходится без причин». Разумеется, спустя годы он все-таки настиг Пантоя — руками женщин. Как слепа я была, как слепа, что не разглядела за игрой Пантоя страха.

Так как времени больше нет, самообвинений мало. Я должна спросить у себя, что же сделало меня слепой. К моему стыду, я была

уверена, что готовый ответ давно лежит во мне. Не пора ли мне спуститься с повозки? Твердое сиденье сплетено из ивы. Одно утешение: эти ивы растут у нас на реке, на Скамандре. Туда за ивовыми прутьями ходили и мы с Ойноной в начале войны. Из них мне надо было сплести себе ложе. «Они смиряют любовные желания»,— серьезно сказала Ойнона. «Тебя прислала Гекуба?»— «Арисба». Арисба. Что она обо мне знала? Ей, Ойноне, тоже пришлось спать на ивовых прутьях все месяцы, что Париса не было. Имени Энея она не произносила никогда. Рассеянно слушала я ее отчаянные жалобы на Париса, которого испортила чужая женщина. Что затевала Арисба? Хотела меня предостеречь? Наказать? Рыдая от ярости, лежала я на ивовом ложе. Ничего не помогало. Я непереносимо томилась по любви — жажда, утолить которую мог только один-единственный человек, в этом не оставляли сомнения мои сны. Как-то я взяла к себе на ложе совсем юного жреца, которого я обучала и который меня чтил. Я утишила его пламя, но сама осталась холодна и мечтала об Энее. Я стала внимательнее к своему телу, оно, кто бы мог подумать, подчинялось снам.

Помню, еще два раза пришлось мне иметь дело с плетеной ивой. Один раз, когда я сидела одна в заключении. Моя темница тоже была сплетена из ивы, да так тесно, что ко мне едва пробивался свет. И потом, когда мы, женщины, относили в пещеры поросят на ивовых прутьях. Для Кибелы. Тогда я уже не верила в богов. Ива, последнее мое кресло. Моя рука безотчетно высвобождает тонкую веточку. Веточка надломилась, но не поддается. Я теперь уже сознательно начинаю тянуть и поворачивать ее, я хочу ее освободить. Я хочу взять ее с собой, когда сойду с колесницы.

Теперь жена убивает Агамемнона.
Сейчас, сейчас моя очередь.
Оказывается, я не верю в то, что знаю.
Так было и так будет.

Я не знала, что это будет так тяжело, даже в тот день, когда меня охватило отчаянье, что все мы сгинем, не оставив следа: Мирина, Эней, я. Я сказала ему об этом. Он промолчал. Он не нашел никакого утешения, и это утешило меня. Он хотел, когда мы виделись последний раз, дать мне свое кольцо, свое змеиное кольцо. Я отказалась глазами. Он бросил его с утеса в море. Дуга, которую оно описало, сверкая, выжжена в моем сердце. Никто никогда ничего не узнает об этом, таком важном для нас. Таблички писцов, твердеющие в пламени Трои, сохранят для будущего дворцовые счета, записи об урожае, кувшинах и оружии, о пленных. Но для боли, счастья и любви нет знаков. По-моему, это особенно больно.

Марпесса поет близнецам песню. Она выучилась ей, как и я, у Партены-няни, своей матери. Когда ребенок заснет, говорится в ней, его душа, прекрасная птица, полетит к серебристой оливе, а потом медленно туда, где заходит солнце. Душа, прекрасная птица, иногда легкая, как касание пера, а иногда сильная, болезненно трепещет в груди. Война нанесла мужчинам удар в грудь и убила прекрасную птицу. Только когда война потянулась и за моей душой, я сказала «нет». Странно, движения души походят на движения детей в моем чреве — легкие касания, легкие трепетания, как во сне. Когда я впервые ощутила эти призрачные движения, они потрясли меня, словно рухнула плотина, и сдерживаемая ею любовь к детям навязанного мне мужа с потоком слез хлынула наружу. В последний раз я видела своих детей, когда неуклюжий Агамемнон споткнулся на пурпуровом ковре и исчез за дворцовыми дверьми. Больше ни взгляда на них. Марпесса укрыла их покрывалом.

Можно было бы сказать, что отчасти и из-за них, ради них, потеряла я отца. У царя Приама было три способа усмирить непокорную дочь. Он мог объявить ее безумной. Он мог ее запереть. Он мог

принудить ее к замужеству против воли. Правда, это средство было неслыханным. В Трое никогда не принуждали дочь свободного человека к браку. Когда отец послал за Еврипилом и его войском в Мизию, хотя было известно, что тот просил меня в жены в качестве награды, каждый понял: Троя погибла. Тут и во мне, и в Гекубе-царице, и в несчастной Поликсене, да и во всех женщинах Трои начался разлад: мы должны были ненавидеть Трою, чьей победы мы желали.

Сколько братьев — столько забот, сколько сестер — столько горя. О чудовищная плодовитость Гекубы!

Я думаю о Троиле, Гекторе, Парисе, и кровоточит мое сердце. Я думаю о Поликсене, и меня охватывает ярость. Пусть ничто не переживет меня, только ненависть. Пусть поднимется из моей могилы дерево ненависти и будет шептать: Ахилл — скот. Пусть повалят они это дерево, но каждая травинка будет повторять: Ахилл — скот, Ахилл — скот. Пусть каждый певец, осмеливающийся воспевать славу Ахилла, умрет в мучениях. Пусть между потомками нашими и этим скотом разверзнется пропасть презрения или забвения. Аполлон, если ты все же существуешь, исполни это. Тогда я не напрасно жила на свете.

Но я видела, как воины, бывшие на поле сражения, мало-помалу начинали верить лжи тех, кто там не был, ибо эта ложь им льстила. Так хорошо одно сочеталось с другим, что нередко во мне возникало искушение презирать людей. Женщины с гор отучили меня от высокомерия. Не словами. Тем, что они были совсем другие, чем я, обладали такими природными чертами, о каких я едва смела мечтать. Если хватит времени, я скажу еще о моем теле.

Брисеида, дочь Калхаса, потеряв Троила, почти лишилась рассудка. Как много ни слышала я плача женщин по убитым, но от крика Брисеиды, когда хоронили Троила, стыла кровь. Долгое время она никому не позволяла заговаривать с ней и сама ни с кем не говорила. Первым ее словом было тихое «да», когда я передала ей послание от ее отца Калхаса. Она хочет, если на то будет воля царя, перейти на ту сторону к своему изменнику-отцу. Царь безо всяких колебаний и, так мне показалось, с радостью согласился на это. Разумеется, дочь в таком горе должна быть с отцом, которого она любит. Вполне охотно, подумала я, царь Приам избегает необходимости видеть такую печаль. Что ее скорбь подрывает моральные устои — такое уже шептали во дворце. Тут, разумеется, возмутился Эвмел. «Как,— спросил он лицемерно,— царь отдает предпочтение узам крови перед государственными?» «Разумеется»,— сказал Приам. Он был таким же, как прежде, я любила его. А когда он проклял меня в совете, это что, показывает, как он ко мне привязан? Нет, со мной следует поступать еще суровей, чтобы я почувствовала, что мой отец, добрый царь Приам, может быть и чужим.

Я вызвалась, и это тоже всем принесло облегчение, всем, кроме Эвмела, проводить Брисеиду к грекам, как ее подруга, с нами пошли двое моих братьев и пятеро воинов, все без оружия. Никто из нас, троянцев, не сомневался, что троянке, которая идет к отцу, подобает достойная свита. Но какое смятение, чуть ли не испуг, среди греков: Калхас сердечно и бережно поздоровался с дочерью и объяснил мне странный прием, какой мы встретили. Ни один из греков никогда не решился бы отправиться безоружным в лагерь врагов. «Но ведь у них было бы наше слово!» — воскликнула я. Калхас-прорицатель улыбнулся: «Слово! Ступай отсюда, Кассандра, и чем скорее, тем лучше. Мне пришлось их запугать, чтобы они не прикончили твоих безоружных братьев».—«Запугать? Чем?»—«Силой колдовства, которой обладает у нас каждый безоружный воин, особенно если он сопровождает женщину».—«У нас?»—«У нас, троянцев,

Кассандра». Первый раз в жизни я видела человека, сжигаемого тоской по родине.

Мы стояли у моря, волны лизали нам ноги. За деревянным защитным — от нас — валом, воздвигнутом греками вдоль берега, я видела тьму оружия, мечей, копий, пращей, щитов. Калхас понял мой взгляд и ответил: «Вы проиграли». Я решила испытать его: «Но мы можем вернуть Менелаю Елену».—«В самом деле можете?» Это было как удар. Он знает. Неужто они все знают, все, что так гордо прохаживаются сейчас и глазеют на меня и Брисеиду: деловитый Менелай, все примечающий Одиссей, Агамемнон, сразу показавшийся мне отталкивающим, и огромный, как дерево, Диомед из Аргоса, долговязый юноша. Они стояли, уставившись на нас. «В Трое так не смотрят на женщин»,— сказала я на нашем языке, которого никто здесь не понимал, кроме Калхаса.

— Ты так думаешь?— ответил он, не шелохнувшись.— К этому привыкают.

— И сюда ты взял Брисеиду? К ним?

— Она должна жить,— сказал Калхас.— Пережить это. Больше ничего. Жить, и только, любой ценой.

Теперь я знала, почему Калхас остался у греков.

— Нет, Калхас,— сказала я,— любой ценой? Нет.

Сегодня я думаю иначе. Я была так спокойна тогда. Сейчас все взбудоражено во мне. Я буду умолять эту страшную женщину о жизни. Я паду пред нею ниц. Клитемнестра, запри меня навеки в самую темную темницу. Дай мне только самое малое для жизни. Но молю тебя, пришли писца, нет, молодую рабыню с острой памятью и сильным голосом. Распорядись, чтобы она пересказывала все, что услышит от меня, своей дочери. Та дальше — своей, и пусть так будет и впредь. Пусть рядом с потоком песен о героях, хоть с трудом, пробьется маленький ручеек и тоже достигнет тех далеких, может быть более счастливых, людей, которые будут жить когда-нибудь.

И я смогла поверить в это хоть на один день?

Убей меня, Клитемнестра. Умертви. Скорее.

В цитадели пьют. Разгульный шум, я хотела бы не слышать его. Он нарастает. Те, кто придет за мной, будут ко всему еще и пьяны.

Когда мы передавали Брисеиду ее судьбе, героя Ахилла мы не видели. А он был ее судьбою. Где-то спрятавшись, он видел нас. Как пылало мое сердце, когда я ее обняла. С застывшим лицом она стояла, прислонившись к Диомеду, которого видела впервые в жизни. Он казался неуклюжим и грубым. Передо мной встал Троил, мой брат, нежный, совсем еще мальчик. «Брисеида,— тихо проговорила я,— что ты делаешь?»—«Он любит меня,— ответила она.— Он говорит, что любит меня». Я увидела: он опустил на нее руку, как поступают с рабыней. Греки вокруг нас громко расхохотались грубым мужским смехом. Отвращение и страх охватили меня при мысли, какова любовь греков.

Но где же Ахилл? Я назвала его имя, сверлившее мне душу, и Калхасу наконец изменила выдержка. Маска упала с его лица, и передо мной стоял троянец, друг моих детских лет, разумный, благожелательный советник моего отца. Он отвел меня в сторону, не обращая внимания на подозрения, которые могли возникнуть и возникли у греков, когда он, не таясь, поведал мне тайну, угнетавшую его. Ему нелегко. Ахилл. С Ахиллом и у него сложности. Сам Ахилл и греки уверяют, будто он сын богини. Ее имя Фетида. Жрецам это представляется сомнительным. Немало оружия и вина роздал Ахилл ради распространения этой легенды. Тех, кто осмеливается в ней усомниться, ждут самые жестокие кары, а каждый знает: Ахилл умеет покарать, как никто другой. И то, что мне сейчас рассказывает Калхас, в любую минуту может обернуться смертью. Так вот, перед началом войны Одиссей и Менелай собрали греческих союзников — он, Кал-

хас, присутствовал при переговорах и с тех пор знает, что такое быть греком,— цари пошли и к Ахиллу. Его мать, богиня она или не богиня, сказала, что его нет, что он уехал, далеко, очень далеко. Одиссей, который разбирается в людях, а до известной степени и в себе самом, что встречается гораздо реже, Одиссей сразу же заподозрил неладное, оставил Калхаса и Менелая, исподтишка презираемого всеми греками с тех пор, как у него похитили Елену, оставил в обществе женщины, а сам, повинуясь своему чутью, нашел Ахилла в отдаленной спальне на ложе с другим юношей. И так как опытный и дальновидный Одиссей сам хотел уклониться от командования воинами в сражении, прикинувшись дурачком... Как? Вы этого не знали? Да, что мы вообще знаем о наших врагах! Так вот, Одиссей не мог стерпеть, чтобы кто-то ускользнул, когда он, Одиссей, должен проливать свою кровь, и в самом прямом смысле за шиворот потащил Ахилла на войну. Вполне возможно, что Одиссей уже пожалел об этом. Ахилл преследует всех: юношей, к которым он действительно вожделеет, и девушек — в доказательство, что он такой, как все. Чудовищно жестокий в бою, чтобы все видели, что он не трус, он не знает, чем занять себя после битвы.

И именно ему должен был потом Калхас-прорицатель отдать свою дочь. Как знать, он мог обманывать сам себя, надеясь, что самый низкий из развратников сможет оградить женщину от других развратников. Я видела Брисеиду, когда нас гнали через лагерь греков. Я думала, что видела уже все ужасы, какие может увидеть человек. Я знаю, что говорю: лицо Брисеиды превзошло все.

Пусть ста смертями умирает Ахилл, скот! И да увижу я каждую.

Я очень устала.

В тот день, далекий день, мы возвращались от греков без Брисеиды. Мне казалось, я отсутствовала очень долго и была очень, очень далеко. Вот за высокими стенами Троя, мой любимый город. Сейчас — цель наступления. Добыча. Кто из богов открыл мне глаза? Я поняла вдруг все наши слабые места, которыми могут воспользоваться греки. Я клялась себе, что никогда, никогда не должны пройти по нашим улицам такие, как Ахилл. Троянкой, прежде всего троянкой, я больше уже не чувствовала себя ни разу до этого моего последнего дня. Остальные, я видела, испытывали то же, что я. Мы подошли к дому, к Скейским воротам. Тут нас остановила стража. Нас отвели в маленькое, темное, вонючее помещение. Люди Эвмела продиктовали смущенному, напускающему на себя важность писцу наши имена, которые мы, и я, и мои братья, хотя нас знал каждый, должны были назвать. Я рассмеялась, мне сделали строгое внушение. Где мы были? Ах, у врага. С какой целью?

Мне показалось, что я сплю. Мужчины, в том числе и мои братья, были обысканы, каждая складка одежды, каждый шов. Первому, кто дотронулся до меня, я приставила к груди нож, он был при мне на случай, если на меня посягнет кто-нибудь из врагов. «Там,— сказала я горько,— там он мне не понадобился».

Что я хочу этим сказать? Уж не сравниваю ли я верных царю троянцев с врагом? Человека, решившегося так со мной говорить, одутловатого и жирного, я знала. Он уже однажды пытался дотронуться до меня. Я подумала и сказала сухо: кто меня коснется, отведает этого ножа. Он почти раболепно, как собака, подался назад. Ну да, конечно, я знаю его. Он первый писец моего отца. И он — человек Эвмела. Что же сталось с моим городом? Что же сталось с моими троянцами, если они не видят нас, горстку людей, которых гонят по их улицам? Не видеть — куда проще, поняла я. Я не могла поймать их взгляд. Холодно обозревала затылки. Неужели они всегда были такими? Народ с трусливыми затылками — неужто такой существует? Об этом я спросила Эвмела, который, по-видимому, случайно встретил нас у входа во дворец. Я раздражала его. Он накинулся на своего по-

мощника: почему тот задержал нас, надо же видеть разницу. Ведь не всякого же, кто знал предательницу Брисеиду и даже был с ней дружен, следует подозревать. Но что именно Кассандра,— разумеется, преданная царю и, как всегда, преувеличивая, мы ведь ее знаем,— называет трусостью? Само собой разумеется, вы свободны. Приам объяснил мне, что, когда идет война, все, пригодное для мирного времени, утрачивает свою силу. Брисеиде не во вред то, что говорят о ней здесь, куда она никогда не вернется. А нам это выгодно.

— Почему?

— Потому, что ее дело будет способствовать укреплению духа.

— Во имя богов! Какого духа и какому укреплению — дело, которого нет. Которое нарочно придумано для этого.

— Ну и что же. То, что признается официально, становится реальным.

— Понятно. Реальным, как Елена.

Тут он выгнал меня, второй раз. Слишком часто стало это случаться, уж не оглохла ли я? По-моему, да. По-моему, в известном смысле, да. Я прошла через это нелегко, но объяснить себе самой, в чем тут дело, мне все еще было трудно. Я продолжала верить, что толика правды и мужества исчерпали бы это недоразумение. Правду называть правдой, ложь — ложью, вот та милость, что поддержала бы нас в нашей борьбе куда больше, чем любая ложь или полуправда, думала я. Ибо недопустимо, думала я, строить всю войну и всю нашу жизнь — а война не есть наша жизнь! — строить на заведомой лжи. Невозможно, так думала я, сколько себя помню, чтобы богатая полнота нашего существования уменьшилась бы из-за упрямого утверждения истины. Нам следует просто вспомнить наши традиции. Какие? В чем они состоят? И я поняла: в Елене, которую мы придумали, мы защищаем то, чего у нас больше нет, но что мы объявляем тем более действительным, чем более оно убывает. И тогда из слов, жестов, церемоний и молчания возникает другая Троя, город призраков, в котором мы живем обычной нашей жизнью и где нам должно быть хорошо. Неужели только я одна это видела? Как в лихорадке перебирала я имена. Отец — с ним больше уже не заговоришь. Мать — она все больше и больше замыкалась в себе. Арисба. Партена-няня. Ты, Марпесса. Что-то предостерегало меня, тайный страх мешал заглянуть в ваш мир. Лучше я буду страдать, но останусь там, где я есть. Там, где мои братья и сестры, не задаваясь никакими вопросами, движутся так, словно прочна почва, на которую они ступают. Там, где Эрофила, старая жрица с пергаментным лицом, молит бога Аполлона о помощи нашему оружию. Невозможно, чтобы дочь царя и жрица свои сомнения в царском доме и в вере несла к своей служанке и своей няньке. Подобно теням, Марпесса, двигались вы по краю моего поля зрения. Вы обратились в тени. Как и я сама, чем более действительным считала я то, что приказывал дворец, подвластный Эвмелу. В этом дворце более чем кто-нибудь другой помогал самый большой наш враг — Ахилл.

Мой взгляд, как и все взгляды, притягивали к себе злодеяния, творимые этим бешеным безумцем с его опустошительным отрядом. Они набросились на окрестности горы Иды — а ведь там был Эней! — они разоряли деревни, убивали мужчин, насиловали женщин, они резали скот и вытаптывали поля. Эней! Меня трясло от страха. Через месяц он во главе дарданцев, которым удалось спастись, пришел в крепость. Его встретили воплями и рыданиями, для меня же это был прекраснейший из дней. Так бывало всегда, когда мы дышали одним воздухом и оболочка, какой было мое тело, снова наполнялась жизнью. Я снова увидела солнце, месяц и звезды, серебряное сверкание слив на ветру, пурпурно-металлический блеск моря перед закатом, все меняющиеся тона коричневого и синего на равнине, когда я перед вечером стояла на стене. Аромат тимьяна с полей доносился

сюда, я чувствовала, как мягок воздух. Эней жив! Мне не надо было видеть его, я могла ждать, пока он придет ко мне. Его призвали в совет, улицы Трои оживились, на них заметно было почти праздничное возбуждение. Все повторяли неизвестно кем сказанные, но уже всем известные слова. Если Гектор — наша рука, Эней — душа Трои. На всех жертвенниках зажгли в его честь благодарственный огонь. «Но это же нелепость,— услышала я, говорил он Эрофиле, нашей верховной жрице.— Ведь вы благодарите богов за то, что они допускают разорение нашей страны!» — «Мы благодарим их за твое спасение, Эней»,— ответила она. «Глупости. Если б враг не опустошал нашу землю, не пришлось бы благодарить богов за мое спасение».— «Значит, нам потушить жертвенные огни? Еще более прогневить богов?» — «По мне — да».

Я увидела, как Эней выходил из храма. Их спора никто не заметил. Жертвоприношение шло своим чередом, я принимала участие в ритуале, как требовала того моя служба: воздевала руки, произносила слова, лишенные смысла. Эней остался в отведенном для ночлега беженцев месте. Я не могла уснуть, меня мучила мысль: не равняет ли Эней меня с Эрофилой, старой и черствой верховной жрицей.

Мысленно я собрала для себя и для него все, что отличало меня от Эрофилы. И я удивилась — так мало оказалось этого для человека со стороны. И отличия эти, которыми я так гордилась, еще более уменьшились от ограничений, которые я сама себе ставила. Этого не могло быть достаточно для Энея. А для меня?

После долгого глухого времени без снов я наконец снова увидела сон. Он относился к тем снам, которые я считала значительными, не сразу понимала их, но никогда не забывала. Я шла одна, по незнакомому городу, это была не Троя, хотя Троя была единственным городом, какой я до тех пор видела. Мой город во сне был больше и просторней. Я знала, что сейчас ночь, но солнце и луна одновременно стояли на небе и спорили о господстве. Я была, кем неизвестно, назначена третейским судьей, чтобы решить, какое из светил сильнее светит. Что-то в этом третейском суде было не так, но что именно, я не могла определить, как ни старалась. Пока, наконец, малодушно и подавленно я не сказала, что каждый знает, что солнце светит сильней. «Феб-Аполлон!» — торжествующе воскликнул чей-то голос, и одновременно, к моему ужасу, Селена, милая богиня луны, жалобно стеная, спустилась за горизонт. Это был приговор мне, хотя как могла я быть виноватой, когда сказала только то, что было на самом деле?

С этим вопросом я проснулась. Как бы между прочим, с притворным смехом я рассказала мой сон Марпессе. Она молчала. Уже много дней она отвращала от меня свое лицо. Потом она пришла и позволила мне взглянуть ей в глаза, они, как мне показалось, потемнели и стали глубже. Она сказала: «Главное в твоем сне, Кассандра,— попытка найти ответ на неправильно поставленный вопрос. Об этом ты вспомнишь, когда придет время».

Чьи это слова? Кому она рассказала мой сон?

«Арисбе»,— ответила Марпесса, как будто это само собой разумелось. Я замолчала. Может быть, я втайне надеялась, что мой сон передадут Арисбе? Значит, она была достаточно сведуща для разгадки моих снов? Я знала, что эти вопросы уже содержат ответ, и почувствовала беспокойство после долгого оцепенения первых месяцев войны. Уже снова стояла ранняя весна, греки давно не нападали на нас, я вышла из крепости и села на холме над рекой Скамандр. Что это значило: солнце светило ярче, чем луна. Разве луна предназначена испускать лучи света? Кто задавал мне эти вопросы? Если я правильно поняла Арисбу, я была вправе, даже обязана, отклонить их. Одно кольцо, наружное, окружавшее меня, распалось, другие

остались. Это была передышка, был вздох, расслабление мышц, цветение плоти.

В новолуние пришел Эней. Странно, Марпесса в эту ночь не легла спать в передней, как ей предписывал долг. Я только на минуту увидела его лицо, когда он задул фитиль, плававший в сосуде с маслом. Наш знак — его рука на моей щеке, моя щека в его руке. Мы не промолвили ни слова, только назвали наши имена, любовного стиха прекрасней я не слыхала. Эней — Кассандра. Кассандра — Эней. С тех пор как моя девственность столкнулась с его робостью, нашими телами овладело неистовство. Как мое тело ответит на вопросы его губ, какие неведомые прежде чувства подарит мне его запах — я и не подозревала. А на какой голос оказалась способной моя гортань!

Но душа Трои стремилась прочь из Трои. На следующее утро, очень рано, он с группой вооруженных людей — ему пришлось бороться за то, чтоб это были дарданцы, его люди,— отправился на корабль, который надолго уходил к берегам Черного моря, чтобы отвезти туда последние товары. Я знала, понимая и не понимая его, что он охотнее уходил, чем остался бы. Трудно было представить себе Энея и Эвмела за одним столом. «Держись моего отца»,— строго внушал он мне. На много месяцев покидал меня Эней. Время, казалось, замедлило свой бег и осталось у меня в памяти бледным и призрачным, оно делилось только ритуалами, в которых я принимала участие, да публичными толкованиями оракула, на которые народ, нуждавшийся в утешении, стекался толпами. Мой брат Гелен и жрец Посейдона Лаокоон, достойный человек, были любимейшими толкователями оракула, но не могу скрыть от себя, что распространяли они пустую болтовню. Гелен, скорее удивленный моей досадой, не оспаривал того, что существует нечто вроде предопределенного оракула. Кем предопределенного? Ну хорошо, храмом, царским домом. Что взбрело мне в голову? Так было всегда, потому что толкователи оракула — всегда уста тех, кто их назначил и кто почти так же божествен, как сами боги. Я не могу не знать, как редко нисходит бог, чтобы говорить через нас. Но как часто нужен нам божественный совет. Какой вред может принести он, Гелен, когда вещает, что если греки когда-нибудь и завоевали бы наш город, то через слабейшие ворота — Скейские? Что лично он, Гелен, считает верным и что приводит к желаемому результату: стража у Скейских ворот становится бдительней. Или Лаокоон. По внутренностям последнего быка он прочел, что, только если десять из двенадцати белых коней, стоящих в царских конюшнях, попадут в руки греков, Трое будет грозить беда. Невероятный случай. И тем не менее теперь укреплен и правый фланг, где расположены конюшни. Скажи на милость, что ты имеешь против этого?

«Ничего»,— только и могла я ответить. Как мне было это объяснить? Гелен был человек легкомысленный, но не обманщик. Мой ровесник, красавец — я всегда относилась к нему снисходительно — превзошел меня. Чем? Своей верой, несомненно. В богов? Нет. В то, что мы вправе, вдвойне вправе, вынуждать богов говорить с нами. Он действовал и говорил с ясной верой, что мир таков, каким он его возвещал. Никто не смог бы заставить Гелена усомниться, никогда не видела я у него на лице и тени той улыбки, которая за это время притаилась в уголках губ Пантоя. Любовь к себе он принимал — что обычно нравится людям — словно между прочим, как нечто само собой разумеющееся, не обременяя этим ни других, ни себя. Удивительно хорошо ладили они с Гектором. В один прекрасный день Гелен провозгласил, что Гектору суждено прославить Трою в веках. Андромаха, с начала войны ставшая женой Гектора, невзрачная на вид, заботливая, преданная, выплакала все глаза. Она прибежала ко мне, как все это обычно делали, чтобы рассказать свои сны. Гектору, ска-

зала Андромаха, снилось, что его вытолкнули из теплого лона суки через ужасающую теснину на свет и он тут же превратился из маленького щенка, которого она облизывала и защищала, в яростного дикого кабана, вступившего в бой со львом, одолевшим и разорвавшим его под опаляющими лучами солнца. Ее муж, доверилась мне Андромаха, проснулся, обливаясь слезами. Он не из тех, из кого получаются герои. Пусть я, во имя богов, попрошу за него Гекубу, все знают, что он ее любимый сын.

Каким же ребенком оставался мой старший брат Гектор! Я гневалась на Гекубу, которая его изнежила и держала за маленького. Я считала, что по справедливости она должна защитить его. К моему изумлению, у нее сидел Анхиз, многолюбимый отец Энея. Не было никаких сомнений — Гекуба, моя мать, обратилась к нему за утешением, ибо ничего, совсем ничего нельзя было сделать для Гектора, они возводили его в первые герои. Гектор — Темное Облако! Среди моих братьев были более подходящие для такой роли. Но Эвмел пожелал уязвить царицу через ее любимого сына. Не прояви себя Гектор как герой, и он и его мать станут посмешищем города. Если же он будет, как от него требуют, первым в бою, он погибнет рано или поздно. Проклятый Эвмел! Гекуба поглядела на меня и сказала: «Проклятая война». Мы молчали, все трое. С такого молчания, разделяемого многими, начинается протест.

Анхиз. Был бы Анхиз здесь, со мной, все можно было бы перенести. Он не позволил бы возникнуть страху перед тем непереносимым, что может случиться. Да, бывает непереносимое. Но зачем его бояться так задолго? Почему не жить просто и, если возможно, радостно? Радость — вот его слово. Постепенно я поняла, откуда она берется: он видит людей и прежде всего самого себя насквозь и из этого извлекает удовольствие, а не отвращение, как Пантой. Анхиз был свободный человек. Нет, есть. И о тех, кто желает ему зла, он тоже думает непредвзято. Об Эвмеле, например. Мне никогда не пришло бы в голову говорить об Эвмеле без предубеждения, весело. Не бояться его и не ненавидеть, а попытаться его понять и посочувствовать ему. Примите во внимание, настаивал Анхиз, у него ведь нет жены, никакой женщины рядом. Вы, женщины, не подозреваете, что это значит для мужчины. Он должен принуждать рабынь жить с ним. И он нюхом чует ваше злорадство. Такой человек, как он, чует все, что происходит вокруг него. Он такой же, как мы все, он хочет вернуться туда, где ему было хорошо, к вам под бочок. Вы ему в этом отказываете. А он мстит за себя. Видите, как просто. Шаг навстречу с вашей стороны — и он выздоровел бы, кто знает.

Как мы набросились на него. Зло как недостаток? Как болезнь? Значит, оно излечимо? Ну, предположим так, но, пусть он согласится, не у Эвмела же оно излечимо? Но он оставался при своем: этот человек — порождение Трои, точно так же, как, скажем, царь Приам. Анхиз со смехом отстаивал неслыханное, тут уж он хватил через край. «Эвмел,— закричала я,— ошибка природы, нечто вроде несчастного случая, просчет богов, если такое существует. Если они существуют. В то время, как Приам... как Приам...» — «В то время как Приам,— сказал Анхиз сухо,— берет Эвмела к себе на службу. Прав я? Тоже ошибка?» — «Конечно!» — «Следовательно, случайность?»

Что сказать на это? Как я сопротивлялась, как не хотела признать, что Приам и Эвмел нуждаются друг в друге. Несколько недель избегала я Анхиза, пока не произошло немыслимое: дворцовая стража не допустила Гекубу участвовать в заседании совета. Теперь, подумала я, услышав об этом, теперь рухнет порядок во дворце, и сама удивилась, что думаю об этом без страха, и с восторгом ожидаю перемены, которая теперь стала неизбежной. Не случилось ничего. Не поднимая глаз — рассказывала Гекуба, моя мать, в хижине Анхиза, куда я, задыхаясь, примчалась,— не поднимая глаз, все мужчи-

ны проследовали мимо нее в совет. «И мой сын Гектор тоже,— сказала Гекуба горько.— Я загородила ему дорогу. Смерила его взглядом, ну, вы знаете, как я умею смотреть».— «Пойми же, мать,— сказал он.— Тебя хотят пощадить. То, что сейчас, во время войны, мы обсуждаем в совете, не женское дело».

«Конечно,— сказал Анхиз.— Это становится детским делом».

Все, что ее угнетало, царица обсудила с ним. Мне было неловко видеть мою мать и отца Энея на равных. Но я согласилась с ней: с Анхизом все делается легче. Он почитал Гекубу, и было видно, что он почитал бы ее не меньше, не будь она супругой царя. Со мной он обращался как с любимой и уважаемой дочерью, но не упоминал своего сына Энея. Его нежность была столь же чиста, как и его веселость. Не только подвижное лицо, но весь высокий голый череп выражал то, что он чувствовал. Ойнона, любившая Анхиза как отца, говорила: рот его смеется, но лоб печален. Интересно было наблюдать за его руками. Они вечно резали или хотя бы ощупывали кусок дерева, а глаза приглядывались, выпытывая, какие свойства или образы таятся в этом чурбачке. Никогда не срубил он дерева, не обсудив с ним этого предварительно и подробно, не опустив в землю семя или отросток, взятые от него, чтобы обеспечить продолжение его жизни. А фигурки, которые он вырезал, пока мы сидели вместе, он дарил нам на память. Увидев в каком-нибудь доме фигурку, вырезанную Анхизом (человека ли, зверя ли), ты знал, что здесь можно говорить свободно, что в любых обстоятельствах, сколь затруднительны бы они ни были, ты найдешь здесь помощь. Когда греки устроили резню амазонок, мы прятали Мирину и нескольких ее сестер в хижинах, где внутри у входа стояли теленок, коза или свинья, вырезанные нашим Анхизом. Женщины молча вели амазонок к огню, давали какую-нибудь одежду и совали в руки, не знавшие женской работы, веретено, ложку или брали с ложа младшего ребенка и сажали на колени гостьям. Ни разу ни одна семья, где стояли анхизовы фигурки, не подвела нас. Он знал людей. И в его хижину под фиговым деревом у Дарданских ворот приходили только те, кто ему был по нраву. Впрочем, он разговаривал со всеми и не отказывал никому, кто хотел его навестить. Он принимал и Андрона, молодого офицера, который приказал обыскать нас, когда мы провожали Брисеиду. Мне это было неприятно. Неужели Гекуба, которая часто навещала Анхиза здесь, чтобы не заставлять его приходить к нам во дворец, неужели Ойнона, Партена-няня и Марпесса, а то и Арисба — неужели они должны встречать здесь этого человека! «Почему же нет? — сказал Анхиз невозмутимо.— Лучше здесь, чем где-нибудь в другом месте. Поговори с ним. Чего тебе это стоит. Пока человек жив, он еще не потерян». Я не могла согласиться с ним, но мне стало стыдно. С богами, насколько я могла заметить, Анхиз не имел никакого дела. Однако он верил в людей. В этом он был моложе всех нас.

У него, под переменчивой листвой могучего фигового дерева, началась в середине войны наша свободная от забот и простая жизнь, беззащитная среди все растущей, вооруженной до зубов толпы. Перед моим неверящим взглядом внутренний порядок во дворце, казавшийся мне вечным, исчезал, как уносятся по реке сильным течением щепки, соломинки, травы. Самым сильным течением была партия царя, к которой я, его дочь, выходит, не принадлежала. Она состояла из молодых людей, которые собирались группами, высказывались громко, когда были вместе, постоянно чувствовали себя уязвленными и стремились отразить несправедливые обвинения, которых им никто не предъявлял. Они постепенно находили расторопных людей, певцов и писцов, снабжавших их неприглядное кривлянье выражениями: «не терять своего лица» и «не показывать своего влияния». Анхиз трясся от смеха. «Что это значит? — восклицал он.— Как будто можно потерять свое лицо. Или они, сами того не подозревая, дают нам

понять, что лица, которые они обычно показывают, вовсе не их лица? Болваны».

С Анхизом и вправду все было легче. Стоило мне удалиться из владений фигового дерева, все становилось куда тяжелей. Так, во всяком случае, мне казалось. Та часть меня, что сохраняла радость, приветливость и непосредственность, оставалась там, вне цитадели, у «них». «Они», говорила я о людях вокруг Анхиза, «они», а не «мы». Говорить «мы» я была еще не вправе. Шатким, неуверенным и болезненным было «мы», которое я употребляла, пока могла. Оно включало отца, но включало ли оно еще меня саму? Трои без царя Приама для меня не существовало. С тяжелым сердцем возвращалась во дворец другая моя часть — верноподданная и послушная, стремящаяся к согласию. Призрачнее, слабее, все менее и менее представительным делалось мое «мы», за которое я крепко держалась, а потому, неощутимо для меня самой, и мое «я». При этом я была знакома всем, все твердо знали, кем я была — пророчицей и толковательницей снов, одним из установлений государства. Когда неясное будущее и собственная беспомощность подавляли людей, они шли ко мне. Поликсена, моя любимая сестра, положила тому начало, за ней последовали ее подруги, за подругами — подруги подруг. Вся Троя видела сны, вся Троя пересказывала их мне.

Да. Да. Да. Теперь я сама с собой буду говорить о Поликсене. О той вине, которой мне не искупить, хотя бы Клитемнестра убивала меня двадцать раз. Поликсена — было последнее имя, стоявшее между мной и Энеем, наше последнее, нет, наше единственное недоразумение. Из-за нее, считал он, я не могу уйти с ним, и пытался убедить меня, что мне нечем помочь мертвой сестре, если я останусь. Но как раз это я понимала и сама. У нас не было времени, мы не могли подробно поговорить о том, почему я отказалась уйти с ним — не ради прошлого, но ради будущего. Эней жив. Он узнает о моей смерти, и если он тот, кого я любила, он будет продолжать спрашивать себя, почему я выбрала плен и смерть, а не его. Может быть, он и без меня поймет, что я ценою жизни отказалась быть рабою роли, которая во всем противоречит мне.

Избегать, уклоняться, как всегда, когда приближается ко мне ее имя: Поликсена. Она была совсем другой. Мне невозможно было стать такой, как она. Она обладала всем, чего недоставало мне. Хотя меня называли «красивой», даже «самой красивой», никто не улыбался, встречаясь со мной. А когда мимо проходила Поликсена, ей улыбались все, верховный жрец и последний раб улыбались, как глупая судомойка. Я пытаюсь найти слова, чтобы передать ее облик, я не могу иначе; моя вера в точно найденное выражение, то есть в слово, которое способно закрепить в себе каждое явление, каждое действие и даже нередко вызывать их, переживет меня. Но когда речь идет о ней, слова мне отказывают. Она была создана из разнообразных начал. В ней сочетались пленительность, эмалевый блеск и твердость, даже жестокость. Все ее существо было противоречием, оно раздражало и влекло, его хотелось лелеять или силой вырвать из нее, даже если это разрушит ее самое. У нее было много друзей в слоях общества, тогда еще чуждых мне, она не сохраняла расстояния между собой и ими, пела с ними песни, которые сама сочиняла. Она была добра, но глаз у нее был злой, меня она видела насквозь, меня, но не себя. Отношения с ней вынуждали меня к самоотречению, она не шла мне навстречу. Когда я стала жрицей, она год не разговаривала со мной, а потом мы стали обращаться друг с другом так, как того требовали от нас, сестер, обычаи дворца. Но мы обе знали, что неизбежно должны столкнуться. И каждая знала, что другая это знает.

Но я испугалась, когда она, именно она, Поликсена, пришла ко мне рассказать свои сны. И какие это были сны! Неразрешимые

сплетения обстоятельств. И я, именно я, должна ей их истолковывать. За это она будет меня ненавидеть. Казалось, этого она и добивалась. С откровенным, испытующим и требовательным взглядом передавала она себя в мои руки. Ей снилось, будто из ямы нечистот, где она обитала, она простерла руки к светлой фигуре того, по ком она тоскует. «Кто же этот счастливец? — попробовала я пошутить.— У него есть имя?» — «Да,— сухо ответила Поликсена,— это Андрон».

Андрон. Офицер Эвмела. У меня перехватило горло. Мой проклятый сон. «Да,— сказала я,— чего только не приснится. Кого мы видели последним, того видишь потом во сне. Это не имеет значения, Поликсена». О яме с нечистотами я промолчала. Она тоже. Она ушла разочарованной. И пришла снова. Во сне она самым унизительным образом соединилась с Андроном, офицером Эвмела, которого ненавидит наяву. Что же с ней происходит? «Знаешь, сестричка,— сказала я самым легким тоном, на какой только была способна,— тебе нужен мужчина».— «У меня есть,— ответила она.— Он мне ничего не дает». Она терзала себя. С ненавистью, словно пытаясь отомстить мне, она требовала, чтобы я сказала то, чего она сама не могла себе сказать — что нечто в ней самой, чего она не понимала, принуждает ее изводиться по этому надутому мальчишке, по этому ничтожеству, способному заставить говорить о себе только благодаря постыдной службе у Эвмела. Она ненавидит его, говорила она. Правду сказать, поначалу я не могла помочь ей. Вместо того чтобы распутать узел, который она завязала, я невольно затянула его крепче. Я не хочу знать, как это вышло, что моя сестра Поликсена только тогда испытывала высшее наслаждение, когда могла повергнуться в прах перед самым недостойным. Я ничего не могла поделать с презрением, которое мне внушали сны Поликсены, она, разумеется, это чувствовала и не могла вынести. Она тайком вступила в связь с Андроном. Это не помогло. Никогда ни у одной из моих сестер не было необходимости скрывать свои привязанности. С глубоким недоверием и чувством неловкости я смотрела, как менялось все во дворце, словно кто-то исказил порядок вещей, обернул его к нам неприглядной изнанкой. И одной из первых жертв нового порядка стала Поликсена.

Но я еще не понимала тогда и не хотела понять, что некоторые люди готовы стать жертвой не только по принуждению извне, но и по внутреннему велению. Все во мне протестовало против этого. Почему?

Теперь вдруг стало совсем тихо. Бесконечно благодарна я за тишину перед смертью. За это мгновение, которое заполняет всю меня, и я не должна думать дальше. За эту птицу, что бесшумно и далеко пересекает небо и изменяет его почти незаметно, но мои глаза, которые знают всякое небо, не заблуждаются. Так начинается вечер.

Время становится плотнее. Что еще хочу я понять?

Я вынуждена была презирать Поликсену, чтобы не презирать себя. Это было невероятно. Но я знаю — так было. И вот я еще живу, чтобы познать то, что познается только перед смертью. Я думаю, Поликсена столь быстро, сверх всякой меры быстро, погибла, потому что не она была любимой дочерью царя, а я, потому что это было законом, чересчур долго определявшим мою жизнь. Он не допускал сомнений. На него нельзя было посягать. Кому еще могла доверить она свою тайну, как не мне, сестре и прорицательнице? Ни мне, ни ей не принесет пользы повторение тех слов, которые мне подсказала слабость: «Я тоже всего-навсего человек». Что значило это «всего-навсего». Я запрашивала дорого, это так. Поликсена переоценивала мои возможности, потому что ее собственные возможности были переоценены. Короче говоря, когда она спала у Андрона, ей снился царь Приам. Поначалу редко, но постоянно один и тот же сон, потом чаще, а под конец каждую ночь. Это было свыше ее сил, и в своей беде она снова пришла ко мне. Во сне отец совершал над ней наси-

лие. Она плакала. Никто не отвечает за свои сны, но о них можно и умолчать. Я дала понять это сестре. Мне кажется, я дрожала от негодования. Поликсена совсем обессилела. Я ухаживала за ней и позаботилась, чтобы она молчала. Это было время, когда я не могла принимать Энея, он тоже не приходил. Я перестала посещать Анхиза. Внутри меня сидел зверь, он терзал меня и заставлял метаться, позднее я нашла ему имя: паника. Только в храме находила я покой. Только в храме.

Со страстью, так, вероятно, казалось со стороны, я отдавалась церемониям, совершеннее становилось мое искусство жрицы. Я обучала молодых жриц говорить в хоре — это очень непросто,— наслаждалась отъединенностью жрецов от верующих в дни больших праздников: первые роли в великой пьесе, набожная робость и восхищение в глазах простых людей, превосходство, которое давало мне мое положение. Мне было необходимо принимать в этом участие и оставаться спокойной. В это время я перестала верить в богов.

Кроме Пантоя, наблюдавшего за мной, никто этого не заметил. С какой поры утратила я веру, сказать не могу. Будь это связано с испугом, с поворотом в образе мыслей, я бы это помнила. Вера отступила от меня, как отступает иногда болезнь, когда в один прекрасный день ты говоришь себе, что здоров. Болезнь не находит больше почвы для себя. Так и вера, какая бы почва у нее ни была. Первой рухнула надежда, вторым — страх. Надежда меня уже покинула, страх я еще знаю. Но один только страх не удержит богов, они тщеславны, они требуют, чтобы их любили, лишившись надежды, мы перестаем их любить. Тогда-то и начало меняться мое лицо. Энея не было, его, как всегда, куда-то услали. Не имело никакого смысла рассказывать кому-нибудь о том, что во мне происходит. Мы должны были победить в этой войне, а я, дочь царя, все меньше и меньше верила в это. Я увязла крепко. С кем было мне поговорить об этом?

К тому же ход войны не подтверждал моей правоты. Троя держалась стойко. Ну, это, положим, сказано слишком сильно, так как уже некоторое время ей никто не угрожал. Греки грабили острова и удаленные от нас города на побережье. За своими прочными деревянными оборонительными сооружениями они оставили всего несколько кораблей, палатки и небольшое количество караульных: достаточно сил, чтобы мы не могли их уничтожить, недостаточно — чтобы напасть на нас. Именно то, что мы начинали привыкать к такому положению, лишало меня надежды. Как может смеяться троянец, когда враг подстерегает его у ворот. И солнце, вечно солнце. Феб-Аполлон в мрачном сиянии, могущественный. Обычные места, где протекает моя жизнь. Святилище. Храмовая роща, засохшая в этом году; Скамандр, прежде орошавший наш сад, пересох. Моя глиняная хижина, мое ложе, стул и стол — жилище на то время, когда дела храма привязывали меня к месту. Дорога в крепость, некрутой подъем, всегда в сопровождении двух стражников, идущих молча на три шага позади меня. Я не разрешала им разговаривать. Ворота в стене. Пароль, всегда какое-нибудь новое дурацкое слово, на которое караульные сверху отвечают не менее дурацким отзывом. «Конец врагу!» Что-нибудь в таком роде. Затем пристальный, изучающий взгляд офицера и знак, что ворота открыты. Одна и та же скучная дорога к дворцу, все те же лица в домиках ремесленников. И во дворце — те же переходы, ведущие в те же помещения; только люди, которых я встречала, казались мне раз от разу все более чужими. И сегодня не понимаю, как могла я не заметить, что была пленницей. Я работала, как работают узники, по принуждению. Мое тело перестало свободно двигаться. У меня исчезло желание ходить, петь, даже дышать, для всего мне требовались теперь долгие решения. «Вставай! — приказывала я себе.— Теперь иди!» Все мне стоило му-

чительного напряжения. Нелюбимый долг съедал во мне всякую радость. Не только для врага, Троя и для меня стала неприступна.

По этой застывшей картине движутся тени. Много безымянных — это было время, когда я быстро забывала имена и с трудом запоминала новые. Откуда-то сразу взялось много стариков. Я встречала их в словно вымерших коридорах дворца, призраки, мумии, калеки — рабы с трудом продвигали их вперед. Они шли в совет. Тут же видела я и братьев, обычно они бывали при своих отрядах. Гектор Темное Облако всегда заговаривал со мной, он хотел знать, как живу я, как живем мы, женщины, и поручал нашим заботам Андромаху, которую очень любил. Парис, раздавленный, с вечно кривой усмешкой,— одна оболочка, но едкий, как никогда. Мне говорили, он шагает по трупам, не греческим — троянским, опасный человек. Всю жизнь приходилось ему исправлять ошибку за ошибкой. На него рассчитывать не приходилось. (Да. Тогда я начала, словно повинуясь какой-то силе, делить всех людей, которых встречала, на тех, на кого — в случае крайней нужды, какой я еще не знала,— можно положиться, а на кого нет. Для чего? Этого я не хотела знать. Потом выяснилось: ошибалась я редко.)

Царь Приам. Отец. Это совсем особый разговор. Для меня. Он обветшал. Вот точное слово. Царь Приам дряхлел тем сильнее, чем больше был вынужден разыгрывать царя. Во время торжеств он, неподвижно застывший, сидел в зале рядом с Гекубой, нет, по-прежнему рядом, но теперь возвышаясь над ней, и слушал песни, прославлявшие его. Его и героические подвиги Трои. Подросли новые певцы, а старые, если их еще терпели, меняли слова песен. Новые песни были назойливо-хвастливые, без удержу хвалебные, грубо-льстивые— неужели только я одна замечала это? Я оглядела сь — вокруг тусклые лица. Все держали себя в узде. «Это необходимо?» — «Да»,— сказал Пантой. Теперь, когда у меня не было другого собеседника, я разговаривала с ним. Иногда. Он рассказал мне об указаниях, которые как раз были разосланы верховным жрецам всех храмов. Центр тяжести любого торжества должен быть перенесен с мертвых героев прошлого на героев ныне живущих. Я была потрясена. На почитании погибших героев покоилась наша вера, наше чувство собственного достоинства. Их прославляли мы, когда говорили «вечность» и «бесконечность». Их величие, которое мы считаем недосягаемым, делает нас, живущих, скромными. «Вот в этом все дело. Ты веришь,— сказал Пантой,— что скромные герои, которые могут надеяться прославиться только после смерти, будут достойными противниками нескромных греков? Тебе кажется умным воспевать не живых героев, а только мертвых и показать тем самым, сколько их уже погибло?»— «Но,— возразила я,— разве вы не видите, насколько опасней необдуманно колебать основу нашего единства?»—«И это говоришь ты, Кассандра,— сказал Пантой.— Ты сама ни во что не веришь. Точно так же, как Эвмел и его люди, которые стоят за всем этим. В чем разница?»

Я холодно поставила его на место. Уж не собирается ли грек осуждать троянку? Как было мне доказать ему, доказать себе, что он не прав. Я не спала ночь. Болела голова. Во что я верила?

Теперь, если ты можешь слушать, слушай, Эней. Мы еще не кончили разговор. Я должна объяснить тебе это. Нет, во мне не осталось и следа той давней обиды на то, каким ты был. Даже когда ты был со мной, даже когда ты лежал со мной, ты был замкнут, я это ясно понимала, ты больше не мог слышать моих вечных уверений: я хочу того же, что они! Но почему ты мне не возражал, почему допустил, что эти же самые слова я бросила Эвмелу при первом открытом и резком нашем столкновении? Это случилось, когда наш бедный брат Ликаон был взят в плен Ахиллом и продан за драгоценный бронзовый сосуд злобному царю Лемноса — позор, от кото-

рого застонал царь Приам. И во всей цитадели был, казалось, один только человек, знавший ответ на гнусный выпад врага, это был Эвмел. Он еще ужесточил порядки. Он набросил сеть безопасности, которая до тех пор душила только царский дом и чиновничество, на всю Трою, теперь это касалось любого. С наступлением сумерек входы и выходы в цитадель перекрывали. Строгая проверка всего того, что несли с собой люди, когда Эвмел считал это необходимым. Особые полномочия органов контроля.

«Эвмел,— сказала я,— это невозможно». (Разумеется, я знала, что это возможно.) «Почему?» — спросил он с ледяной вежливостью. «Потому что этим мы навредим себе больше, чем нам греки».— «Я хотел бы услышать это от тебя еще раз». И тут на меня напал страх. «Эвмел,— закричала я умоляюще (мне стыдно до сих пор),— поверь же мне! Я хочу того же, что и вы!»

Он крепко сжал губы. Его мне было не одолеть. Он сказал официально: «Прекрасно. Значит, ты поддержишь наши начинания». Я осталась стоять как истукан. Он приближался к вершине своего могущества.

Как же случилось, что я оказалась настолько подавленной, что запуталась во внутреннем диалоге с Эвмелом — с Эвмелом! — который вела день и ночь. Вот до чего дошло. «Но в чем суть спора?» — спросил меня ты, Эней, и я промолчала. В том, что мы не имеем права быть такими, как Ахилл, сказала бы я сегодня, даже для того, чтобы спастись. Ведь ничем не доказано, что для того, чтобы просто спастись, мы должны быть такими, как греки. А если даже и так!.. Но важнее ли жить по нашим законам, чем просто жить? Но кого хотела я в этом убедить? И так ли это было? Не важнее ли было выжить? Не это ли наиглавнейшее из главного? Единственное, что важно? Ведь Эвмел — человек на час...

Но если сам вопрос уже давно звучит иначе: стать таким, как враг, и, несмотря на это, погибнуть?

Послушай, Эней, пойми же. Я не смогу вынести всего этого еще раз. В иные дни я лежала на своем ложе, выпив немного козьего молока, приказывала завесить окна и лежала неподвижно, чтобы только не напомнить о себе зверю, терзающему мой мозг. Неслышно двигалась Марпесса, она приводила Ойнону, которая нежно, так, как умела только она, гладила мне лоб и затылок. Теперь ее руки были всегда холодными. Уже наступила зима?

Да, уже наступала зима. Большой осенний рынок раскинулся у ворот, призрак рынка. Продавцы, переодетые люди Эвмела, среди них мы, неловкие от страха, покупатели. Кто играл кого? Тесной кучкой держались неуверенные, но наглые греки. По случайности в толчее я оказалась рядом с Агамемноном, он, не торгуясь, купил у златокузнеца очень дорогое, очень красивое ожерелье. И еще одно, точно такое же, он протянул мне: «Правда, оно красивое?» Вокруг нас до самого горизонта воцарилась тишина. Я ответила спокойно, почти дружелюбно: «Да, оно очень красиво, Агамемнон». «Ты меня знаешь?» — «Разумеется». Он долго и странно смотрел на меня, я не знала, как истолковать его взгляд. И тогда он сказал тихо, так, что поняла его только я одна: «Я с радостью подарил бы его дочери. Ее нет больше. Она чем-то была похожа на тебя. Возьми его ты». Он отдал мне ожерелье и быстро удалился.

Никто из моих никогда ни словом не упоминал про это ожерелье. Я носила его иногда, оно на мне и сегодня. Второе, ему под пару, я увидела на Клитемнестре, а она увидела на мне точно такое же. Одним и тем же движением мы обе коснулись ожерелья, каждая своего, и обменялись взглядом, и поняли друг друга, как понимают только женщины.

Словно невзначай я спросила Пантоя: «Его дочь?» — «Ифигения»,— ответил он. «Это правда, что о ней говорят?» — «Да. Он при-

нес ее в жертву. Ваш Калхас повелел ему». Они действовали поспешно и неумно. И верили в невероятное. Совершили то, чего не хотели, и, оплакивая свои жертвы, сострадали сами себе. Снова этот страх.

В цитадель прибыло пополнение из отдаленных провинций, теперь на улицах часто мелькали черные и коричневые лица, новые отряды собирались у походных костров. Вдруг наше, женщин, появление на улицах в одиночку стало нежелательным. По правде говоря,— только никто не осмеливался заметить это — мужчины и с той и с другой стороны словно объединились против нас, женщин. Уныло попрятались женщины в зимние норы домов, к пылающим очагам, к своим детям. В храмах они молились столь пылко, мне это совсем не нравилось, словно бог Аполлон — замена украденной у них жизни. Я больше не могла выносить этого. Охраняемая одеянием жрицы, я опять стала навещать Анхиза. Всегда, когда я приходила к нему после долгой отлучки, казалось, что мои посещения никогда не прерывались. Две-три молодые женщины, незнакомые мне, поднимались и уходили, это словно само собой разумелось, но я огорчалась. Анхиз тогда как раз начал плести большие короба, все считали это причудой. Но, Эней, сейчас, когда ты и твои люди в дороге, куда бы иначе вы спрятали свои припасы и как понес бы ты отца, который стал совсем легким, если не в таком коробе.

Он продолжал переплетать стебли тростника, пока мы разговаривали. Мы всегда начинали издалека. Всегда он угощал меня вином с горы Иды, всегда оно волновало мне кровь, и ячменными лепешками, которые сам пек. Слово за слово — и я рассказала ему мой разговор с Эвмелом.

Он вскочил, откинул голову назад и проревел сквозь смех: «Ну и ну! Так я и думал! Так вот чего хочет этот плут!» Всегда, когда он смеялся, я смеялась вместе с ним. Все сразу стало легче, но самое главное нас еще ждало впереди. Анхиз поучал меня, а когда он поучал меня, он называл меня «девочка». «Итак, девочка, слушай внимательно. Эвмелу нужен Ахилл, как одному башмаку другой. Но то, что за этим прячется, то, что он тебе подло внушил,— примитившейший трюк, логическая ошибка. И он может действовать до тех пор, пока ты не обнаружишь его слабое место. Дело вот в чем: первое, что ему необходимо было создать,— война. Этого он достиг. И теперь принимает это за норму и отсюда полагает единственным выходом победу. При такой предпосылке тебе начинает диктовать твои поступки враг. Тогда ты попадаешь в тиски и оказываешься перед выбором: Эвмел или Ахилл, какое из двух зол наименьшее. Видишь, девочка, как Ахилл необходим Эвмелу. Он не мог бы сам пожелать себе лучшего врага, чем подобное чудовище».

Да, верно. Я увидела это. Я была благодарна Анхизу и додумывала до конца то, что он оставлял мне додумывать самой. Мы должны были обороняться от зла еще до того, как у него появилось имя «война». Нельзя было допускать возвышения Эвмела. Но кто не допустил бы его? Царь. Приам. Отец. Сомнения продолжали жить во мне. Из-за Эвмела я стала сомневаться в отце. В сомнениях таился страх.

Во мне жил страх, Эней. Ты никогда не хотел в это поверить. Страх такого рода был тебе неведом. Память — страх. Чувства — страх. Как часто ты смеялся, вернувшись, над тем, что я не могла тебе ничего поведать о событиях, рассказов о которых ты ждал от меня. Кто и кем был убит, кто поднялся и кто опустился по иерархической лестнице, кто в кого влюбился, кто у кого увел жену — все это тебе приходилось узнавать от других, не от меня. Разумеется, все это было мне известно. Обычно тот, кого такие события не касаются, знает о них больше, чем остальные. Но моя память помимо моей воли просто не принимала всего этого слишком всерьез. Словно

эти события происходили не в действительности. Словно были недостаточно действительными. Словно это были тени событий. Как тебе объяснить? Ну, скажем, Поликсена. Ах, Эней. Каждую черточку ее лица я вижу, как будто она и вправду передо мной. На лице ее написано несчастье. Как только я увидела это и услышала в ее голосе призвук беды, меня затопил страх: мою сестру ждет страшный конец. Как часто тянуло меня взять ее руки и выкрикнуть это вслух. Я сдерживала себя. Я напрягала все мышцы, чтобы не поддаться достоверности своего страха. Мне не надо объяснять, почему такими тяжелыми были мои роды. Слишком затвердели мои мускулы. У меня было чувство, будто я своим телом заслоняю брешь, через которую едва ощутимо для меня самой просачивалась в наш мир твердых тел иная действительность. Пять чувств, на которые мы полагаемся, не могут воспринять ее, и поэтому мы от нее отрекаемся.

Слова. Все, что я могу рассказать об испытанном мною, было и остается словами. У того, что вещает моими устами, нет имени. И не по своей воле стала я его устами. Оно принуждало меня, и я высказывала то, что оно мне внушало. Слухи о том, будто я говорила правду, а вы меня не хотели слушать, распространяли враги. Не по злобе, они понимали это ничуть не лучше вас. Для греков существуют только правда или ложь, верное или неверное, победа или поражение, друг или враг, жизнь или смерть. Они мыслят иначе, чем мы. То, чего нельзя увидеть, услышать, пощупать, для них не существует. Есть еще и третье — они раздавливают его между своими двумя противоположностями, третье, по их мнению, вообще не существует,— улыбающаяся жизнь, способная снова и снова возрождаться из самой себя, третье неделимое: душа в жизни и жизнь в душе. Анхиз сказал как-то, что важнее, чем изобретение проклятого железа, был бы для них дар дойти до сути, чтобы железные понятия добра и зла они относили не только к себе, но, например, и к нам.

Ничего об этом не расскажут их певцы.

А если они или мы передадим это дальше? Что воспоследует? Ничего, к сожалению. Или к счастью. Не песня, а приказ сотрясает не один только воздух. Это не мои слова, это слова Пенфезилеи. Она презирала во мне то, что называла «кривляньем». Что значат мои сны по сравнению с ее копьем? Ее горький смех был едва переносим. Я слишком часто говорила ей об этом. Справедливость была на ее стороне, если только справедливость может опираться на копье. Поздно, опять слишком поздно, поняла я, что она так распоряжалась своей жизнью, чтобы на глазах у всех довести до последней черты эту несправедливость безнадежности, в которой она жила.

Однажды, как раз в день исполнения мной обряда, в храм пришли Гекуба и Поликсена. Странно, что они захотели принести жертву Аполлону, а не как всегда Афине, нашей покровительнице, чей храм был расположен куда удобнее, в городе. На что должна была повлиять эта жертва — плоды полей,— они мне не сказали, я видела только, что они находятся в полном согласии, и мое сердце сжалось. Их просьбы к божеству — это я узнала много, много позднее — были столь противоестественны, что они не решались обратить их к богине, а только к мужскому божеству. Аполлон должен был освободить Поликсену от беременности, которой она боялась. Она не хотела ребенка от Андрона, она все еще была под его властью. Почему именно в этот час на ее лице появилось выражение страстной мольбы и хрупкости, отразивших ее душевное смятение? Почему именно Ахилл, скот, увидел это? У меня перехватило дыхание, когда он вошел в храм. С тех пор как он умертвил здесь моего брата Троила, он не приближался к Аполлону, хотя, к сожалению, было договорено, что этот храм останется открыт и для греков, прославляющих своего бога. Так он, Ахилл, скот, вошел в храм и увидел мою сестру Поликсену, а я от алтаря, откуда видно все, увидела, что он увидел

ее. Увидел, как она похожа на нашего брата Троила, и пожирал ее своим уже знакомым мне, ужасающим взглядом. Я прошептала: «Поликсена» — и упала. Когда я пришла в себя, около меня хлопотала старая Эрофила с пергаментным лицом. «Она погибла, Поликсена погибла»,— шептала я. «Вставай, Кассандра,— сказала Эрофила,— возьми себя в руки. Тебе нельзя сейчас так уходить. Сейчас не время для видений, чему должно быть, то будет. Мы здесь не для того, чтобы этому препятствовать. Не поднимай шума».

Наш храм внезапно стал пользоваться особым вниманием. Здесь вели переговоры посредники, подготавливая встречу, и она состоялась: троянец Гектор встретился с греческим героем Ахиллом. Я оставалась в помещении за алтарем, где слышно каждое слово. Я услышала то, о чем уже знала. Греческий герой Ахилл хочет троянскую царевну Поликсену. Гектор, узнавший от Пантоя, что у греков отцы и старшие братья распоряжаются судьбой дочерей и сестер, сделал вид, что идет навстречу желанию Ахилла: хорошо, он передаст ему в собственность сестру, если тот, со своей стороны, передаст нам план греческого лагеря. Я не верила своим ушам. Никогда Троя не требовала от противника, чтобы он выдавал своих. Никогда не продавала своих дочерей врагу за такую плату. Неподвижно стоял позади Гектора этот Андрон, которому предалась Поликсена. Ахилл, скот, не боявшийся, как он доказал, святынь, не схватил за горло ни того, ни другого. Мог ли он подозревать, как тесно окружало храм первое кольцо вооруженных воинов? Едва ли. Он сказал, что подумает об этом. Но он просит разрешения еще раз взглянуть на Поликсену. На это, как ни удивительно, Гектор, брат, не согласился. Тогда заговорил свежим молодым голосом ее друг Андрон.

«Но почему бы нет!» — услышала я его слова. «Ах, сестра,— подумала я,— если б ты могла его слышать, своего красавца». Вечером — так было решено — Поликсена покажется своему будущему господину на стене у Скейских ворот. Я умоляла Поликсену не показываться ему. «Но почему бы нет?» — сказала она, как Андрон. Никаких причин возражать у нее нет. Разве этого недостаточно? Но какие причины были у нее согласиться? «Ты что же, любишь этого скота? Ты что же, хочешь вынести еще и это?» — вырвалось у меня. Этих слов я себе не простила. Они отбросили сестру неодолимо далеко. Я увидела это сразу, такое стало у нее лицо: отстраненное. Охваченная паникой, я схватила ее руки, я просила простить меня, я потеряла голову, я говорила, говорила. Напрасно. Вечером, перед закатом, она стояла на стене с этой новой, чужой улыбкой и смотрела вниз на Ахилла. Он уставился на нее, чуть ли не глотая слюну. И тогда моя сестра Поликсена медленно обнажила грудь, при этом она глядела — все так же, издалека — на нас: на своего возлюбленного, на своего брата, на свою сестру. Я с мольбой взглянула на нее. «Эй, Гектор,— взвыл снизу хриплый голос Ахилла, скота.— Слышишь, соглашение входит в силу».

Оно вошло в силу. На месяцы сестра Поликсена стала женщиной, вызывавшей всеобщее восхищение. Этого она и хотела. То, что было наказанием для других, она совершила над собой сама. Среди прочего война принесла с собой и способы избавления от плода. И Поликсена, когда она открыла грудь греку, уронила маленький сгусток крови — ребенка Андрона. Торжествующе и бесстыдно она рассказывала об этом всем. Она свободна. Свободна. Никто и ничто ее не связывает. Вот так оно и было.

Я пошла к Анхизу. Сидевшие в кружок гости не разошлись. Мое подозрение оказалось справедливым. Здесь рабыни из греческого лагеря встречались с женщинами из города. Почему бы и нет? Теперь меня так легко не удивишь. Так я подумала. И тут они меня удивили. Ахилл, узнали мы, стал уклоняться от участия в сражениях. Значит, он держал свое слово. Я не могла поймать взгляд Поликсены.

В греческом лагере появилась чума, ее послал бог Аполлон, объяснял Калхас-прорицатель: следует вернуть отцу ничтожную рабыню, которую великий Агамемнон рассматривает как свою часть добычи,— ее отцом по случайности оказался сам прорицатель. Разумеется, Агамемнон получил возмещение. Так не без вмешательства Калхаса, отца Брисеиды, нашу Брисеиду вырвали из-под власти Ахилла, владевшего ею все это время и тешившегося над нею, как он хотел, и передали великому флотоводцу Агамемнону. Он держал ее в отдельной палатке, рассказывала девушка-рабыня. И не приходил к ней ни днем ни ночью. Единственный, кто ее навещал, это ставший совсем седым Калхас. Когда я осмелилась спросить, как она, ответом был только долгий немой взгляд.

Меня знобило. До последней жилочки пробирал холод. Казалось, Анхиз знал, что со мной. «Эней возвращается,— сказал он тихо.— Ты уже знаешь?» Горячая кровь хлынула мне в лицо. Эней возвратился. Его корабль сумел пробиться к нам. Я снова жила. Но Эней был подавлен. Он оказался прочно втянутым в войну. Он принес надежду на подкрепление. Греков надо задержать во что бы то ни стало. Наши и их герои встретятся на поединках, настоящее единоборство, по правилам, с которым греки согласились. Вся Троя собралась на стене и смотрела на борьбу между нашим Гектором и Большим Аяксом, особое удовольствие было видеть, что неутомимая тренировка Гектора себя оправдала. Гектор Темное Облако был бойцом, способным помериться силами с любым, Гекуба с побелевшим лицом удалилась. Оба героя обменялись оружием, и глупейшие из зрителей на стенах захлопали в ладоши. Несчастливое оружие. Перевязь Аякса Ахилл, скот, использовал, чтобы зацепить Гектора, когда он тащил его вокруг цитадели. А меч Гектора послужил Большому Аяксу потом, когда он в приступе безумия покончил с собой.

События выскользнули из наших рук и обернулись против нас. Тогда мы стали придавать им чрезмерное значение. С какой расточительностью изготавливались для Гектора щит, меч, копье и панцирь! Не только лучшее, но и красивейшее оружие подобало ему. Однажды, когда в воздухе уже чувствовалось предвестие весны, я встретила Гектора у дверей оружейной мастерской. Не обращая внимания на следовавших за нами людей Эвмела, он подошел ко мне. Иногда достаточно одного разговора. Стало ясно, он наблюдал за мной. «Похоже, ты убегаешь от меня, сестра,— сказал он без упрека в голосе.— А ты знаешь куда?» Давно уже ни один вопрос не волновал меня так, как этот. Гектор. Любимый. Он знал, что ему недолго осталось жить. Я знала, что он знает. Что я могла ему сказать? Я сказала, что Троя уже не Троя. Что я не знаю, как мне справиться с этим. Что я чувствую себя как раненый зверь в ловушке, что не вижу выхода. Всегда, когда я думаю о Гекторе, я чувствую спиной край мраморной стены, к которой я прижалась, и запах конского навоза, смешанный с запахом земли. Он положил мне руку на плечо и притянул к себе. Маленькая сестра. Всегда одинаково. Всегда сверху вниз. «Наверное, ты не можешь быть другой, мы должны с этим считаться. Жалко, ты не мужчина. Ты могла бы сражаться. Поверь мне, иногда это легче».— «Чем что?» Мы улыбнулись.

Кроме нас говорили наши глаза. Что мы любим друг друга. Что мы должны попрощаться. Никогда Гектор, любимый, не захочу я больше быть мужчиной. Я буду благодарить те силы, которые определяют пол людей, благодарить за то, что я смею быть женщиной. Что в тот день, когда ты погибнешь, о чем знаем мы оба, я смогу не быть там, избегнуть того поля боя, где снова неистовствовал Ахилл, скот, после того, как наши убили его друга, его любимца Патрокла. Новость с двояким смыслом. Разве не спасена теперь Поликсена? Она может оставаться вне игры. Юная рабыня Ахилла прибежала к Анхизу с искаженным от ужаса лицом. Брисеиду, нашу

Брисеиду, чтобы утихомирить ее похотливого господина, Агамемнон собственноручно возвратил Ахиллу. И в каком она состоянии теперь! Девушка плакала. Нет, она больше не вернется туда. Делайте с ней что угодно. Арисба кивнула милой Ойноне. С нее, с этой юной рабыни, которую надо было спрятать, началась вольная жизнь в пещерах. Следующим летом я увидела ее снова — совсем другим человеком. И я была готова стать другим человеком, он уже давно пробуждался во мне среди отчаянья, боли и тоски. Первое его движение — укол зависти, когда, обняв за плечи рабыню Ахилла, Ойнона увела ее куда-то. А я? Спасите меня тоже, чуть не закричала я, но то, что мне суждено было пережить, я еще не пережила. В тот день, вся в холодном поту, на своем ивовом ложе, я знала — Гектор отправился на бой, я знала — Гектор погиб.

Как это произошло, никто мне не сказал, никто не решился заговорить со мной об этом, и Эней молчал — он был там, но о нем я не беспокоилась. В глубине всех глубин, там, где душа и тело еще едины, куда не достигают ни слова, ни мысли, я знала все: как Гектор сражался, как был ранен, как стойко оборонялся и как умер. «Я была Гектором» — это не преувеличение, потому что сказать: «Я была с Гектором» — слишком мало. Оставаясь живой, я была тем, чем стал мертвый Гектор: куском сырого мяса. Бесчувственной. Крик матери, рыдания отца — все было где-то далеко. Можно ли отцу выпросить у Ахилла тело Гектора? Почему бы нет? Ночной поход отца бесконечно тронул бы меня, если б я еще оставалась собой. Теперь меня тронуло лишь то, что отец не смог напасть на спящего Ахилла. И вот я снова стою на стене, на хорошо знакомом месте у Скейских ворот. Внизу весы. На одной чаше — глыба сырого мяса, что было некогда Гектором, моим братом, на другой — все наше золото для убийцы Гектора. Это было низшей или высшей точкой войны. Холод внутри меня. Андромаха, без памяти лежащая на земле. И лицо Поликсены, так подходившее ко всему этому, и страсть к саморазрушению на нем. Как брезгливо бросает она на груду золота свои кольца и ожерелья. Мы не знали раньше, что можно уравновешивать тело мертвого и золото. Но, оказывается, можно и другое: обменять мертвого мужчину на живую женщину. Ахилл закричал Приаму: «Эй, царь! Отдай мне твою красивую дочку Поликсену и оставь себе свое золото».

Смех Поликсены. И ответ царя, быстро посовещавшегося с Эвмелом и Андроном: «Уговори Менелая отказаться от Елены, и ты получишь мою дочь Поликсену».

С этого дня я перестала видеть сны — плохой знак. Этот день и ночь, последовавшая за ним, разрушили во мне то, что шлет нам сны, и хорошие и плохие. Ахилл, скот, обложил данью все внутри и все вне нас. В ту ночь, когда сжигали тело его любимца Патрокла, Ахилл, скот, заклал как жертву двенадцать пленников благородного рождения, среди них двух сыновей Гекубы и Приама. В эту ночь боги покинули нас. Двенадцать раз — звериный вопль. И с каждым все глубже вонзались ногти матери мне в руку. Потом затрещали тринадцать костров, один огромный, двенадцать поменьше, полыхающее пламя на черном небе. Потом запахло горелым мясом, ветер подул с моря. Двенадцать раз изжигало раскаленное железо то место в нас, где зарождаются боль, любовь, жизнь, сны. Ту не имеющую имени мягкость, что делает человека человеком. Мою руку выпустила седая с запавшими щеками старуха — Гекуба. Жалко стонущий куль в углу — Андромаха. Поликсена, острая и стремительная, как меч. И лишившийся царства, больной старик Приам. Темная Троя замерла в мертвой тишине. Отряд наших воинов под предводительством брата Париса штурмовал подвалы цитадели, где, трясясь от страха, теснились греческие пленники. Одна из дворцовых служанок проводила меня туда. Я вошла в погреб, пропахший плесенью, нечистотами и

потом. В дрожащей тишине стояли друг против друга троянцы и пленные греки, между ними пропасть в один шаг, над пропастью блестящие ножи троянцев. И тогда я, не в жреческом одеянии, пошла по этому узкому проходу, обдаваемая горячим дыханием греков и холодом троянских ножей, шаг за шагом, от одной стены до другой. Все молчало. За моей спиной опускались клинки троянцев. Греки плакали. Как я любила своих троянцев.

Парис преградил мне путь. «Значит, ты, жрица, не дозволяешь воздать им тем же». Я ответила: «Да». Это было одно из слов, еще оставшихся у меня.

Пантой дал мне увидеть, что слова могут иметь и телесное действие. «Нет» имеет стягивающее, а «да» расслабляющее действие. Не знаю, как это получилось, каким образом дошло до этого, почему Эней отсутствовал так долго, только Пантой снова приблизился ко мне, хотя мы и терпеть не могли друг друга. Я начинала злиться без всякого повода, едва завидев его — тонкого, собранного, в жреческом женском одеянии, с этой крупной головой. Вечная язвительная усмешка. Я не выношу людей, от которых разит страхом. Он не выносил сочувствия, которое отдавало презрением. Я не заметила, как снова началась весна. Мы с ним стояли под оливами в роще Аполлона, был вечер. Мне вдруг пришло в голову, что я давно уже встречаю Пантоя только вблизи храма. «Да,— сказал он,— по ту сторону этой изгороди начинается опасность». Я пригляделась к нему повнимательнее. На какого зверя похож он теперь? На хорька, которому грозит опасность, который в страхе приподнял губу и обнажил клыки. Он нападает, потому что боится. Мне стало худо. На меня нахлынуло видение, и я не могла от него избавиться. Люди с дубинками выгнали хорька из норы возле храма, гонят его из заповедной рощи и убивают. С шипеньем и свистом он умирает. Пантой увидел ужас в моих глазах и бросился ко мне, он упал на меня, повторяя мое имя, молил о защите. Я уступила ему. Пошла навстречу. Но у него ничего не вышло. От ярости и разочарования он зашипел, как зверь.

Оказалось, что я спасла той ночью и его. Он тоже был в подвале среди пленных греков и не мог мне простить, что я не побоялась ножей. «Вам меня не получить,— шипел он.— Греки тоже меня не получат» — и показал мне капсулу с белым порошком. Он оказался прав. Ни мы, ни греки его не получили, он достался амазонкам.

Воительницам Пенфезилеи. Как выяснилось, Эней провел их в город тайными тропами. Он шел рядом с Пенфезилеей, ее черные густые волосы были спутаны. Показалось мне или на самом деле взгляд Энея был прикован к ней? За ними шла Мирина, маленькая лошадка, задохнувшаяся от долгого бега, теперь не имеющего цели. Она тоже тянулась к Пенфезилее. Что им нужно в Трое? Мне сказали, Эней сказал мне, они хотят сражаться. Прекрасно. Значит, мы уже дошли до того, что любой, кто хочет сражаться, мужчина или женщина, будет принят у нас? Да, сказал Эней, мы дошли до этого. Очень сдержанно он оценивал взглядом маленький тесный отряд женщин.

Мы лежали друг подле друга и говорили о Пенфезилее. Это было безумие. Ни словом не обмолвилась я о той ночи, когда греки умертвили пленных. Эней ни о чем не спрашивал. Белым сверкало его белое тело в темноте. Он коснулся меня. Но все молчало. Я плакала. Плакал и Эней. Безутешные, мы расстались. Любимый. Когда позднее мы расставались по-настоящему, слез не было. Утешения тоже. Вспышка гнева у тебя, решимость у меня, каждый понимал другого. У нас ничего еще не было кончено. Так расставаться тяжелее. Нет, легче.

Эти слова не имели для нас никакого смысла. Тяжелее. Легче. Можно ли различать такие тонкости, когда сама жизнь непереносима.

Что такое? Что происходит? Что нужно этим людям? Мой возница тайком подводит ко мне старух и стариков, старых людей из

Микен, которые — так мне кажется — с почтением приближаются ко мне. «Ты видишь, Марпесса?» — «Я вижу, Кассандра».— «Ты догадываешься, что им нужно?» — «Так же, как и ты».— «Я не хочу».— «Скажи им, только это не поможет».— «Наш возница говорит за них. Они хотят узнать у тебя судьбу своего города».

Бедные. Как они похожи на моих троянцев.

Видишь, Эней, что я имела в виду: повторение. Этого я больше не хочу.

Если я им скажу, что не знаю, они мне не поверят. Скажи я им, что я предвижу, как это смог бы любой, они меня убьют. Это было бы не самым страшным, но собственная царица покарает их за это. Здесь — не так, как в последнее время в Трое,— при мне нет соглядатаев. Итак, в плену я могу говорить свободно. Дорогие враги. Кто я такая, чтобы видеть в вас только победителей, а не тех, кто будет жить дальше. Кто должен жить для того, чтобы продолжалось то, что мы называем жизнью. Ведь бедные победители должны жить и за всех тех, кого они умертвили.

Я говорю им: если вы сможете больше не побеждать, ваш город будет жить.

«Разреши спросить тебя, провидица» (это возница).

«Спрашивай».— «Ты не веришь в это?» — «Во что?» — «Что мы сможем не побеждать?» — «Я не знаю ни одного победителя, который смог бы».— «Тогда, получается, если победа идет за победой, это означает в конце гибель, значит, гибель в нашей природе?»

Вопрос вопросов! Что за умный человек.

«Подойди, возница. Слушай. Я думаю, что мы не знаем нашей природы. Мне известно не все. Может быть, в будущем появятся люди, которые сумеют свою победу обратить в жизнь».

«В будущем, провидица. А я спрашиваю о Микенах, о себе и своих детях. О нашем царском доме».

Я молчу. Я вижу труп его царя, истекающий кровью, как бык на бойне. Меня трясет. Побледневший возница отходит. Ему можно больше ничего не говорить.

Подходит мое время.

Кто была Пенфезилея? Разумеется, я была не вполне справедлива к ней, а она ко мне. Острый взгляд и острый язык делали ее, по-моему, слишком резкой. Каждое ее появление, каждое слово были вызовом. Она не искала в нас союзников. Она боролась не только против греков, но и против всех мужчин. Я видела, Приам боялся ее, а Эвмел окружал особо плотным кольцом безопасности. Но страх народа перед ее необузданностью ограждал ее прочнее любой службы безопасности. Мы догадывались, но не хотели знать: позади у нее то, что ждало нас впереди. «Лучше смерть в бою, чем жизнь в рабстве»,— говорили ее амазонки. Одним движением руки она распоряжалась ими как хотела: подзадоривала или утихомиривала. Она царила, как редко царит царь. «Эти женщины истребили своих мужей,— шептали в ужасе доблестные троянцы.— Они чудовища с одной грудью, другую, чтобы легче натягивать лук, они выжигают себе в самом раннем возрасте». А в действительности амазонки появлялись в храме Афины всегда со своим оружием и всегда с открытой прекрасной грудью. Артемида — так называли они Афину Палладу — сама носит копье, она не желает, чтобы мы приходили к ней безоружными. Жрецы освобождали храм от троянцев и предоставляли его воительницам для их диких обрядов. «Они убивают тех, кого любят, а любят, чтобы убивать»,— сказал Пантой. Я странным образом часто встречала Пенфезилею и Мирину у Анхиза. Обыкновенно они не терпели мужчин рядом с собой. Анхиз относился к ним без всякого предубеждения, с лукавой улыбкой, и они уважали его. Всех женщин, бывавших там, я знала. Они хотят, говорили они, получше узнать друг друга.

Скоро стало ясно, что во многом они едины. Я говорю «они», потому что поначалу я держалась в стороне. Обитаемый мир, насколько мы его знали, все страшней, все быстрей оборачивался против нас. «Против нас, женщин»,— сказала Пенфезилея. «Против нас, людей»,— возразила Арисба.

Пенфезилея: Мужчины не останутся в накладе.

Арисба: Ты называешь так их гибель?

Пенфезилея: Они воины. Значит, то, что они делают, приносит им радость.

Арисба: А нам? Если бы мы все были воительницами?

Пенфезилея: Мы делаем то, что должны. Но нам это не доставляет никакой радости.

Арисба: Значит, мы должны делать то, что делают воины, чтобы показать им наше отличие от них!

Пенфезилея: Да.

Ойнона: Но так же нельзя жить.

Пенфезилея: Нельзя жить? Но можно умереть.

Гекуба: Дитя, ты хочешь, чтобы всему наступил конец?

Пенфезилея: Хочу. Я не знаю другого средства покончить с мужчинами.

Тут к ней подошла юная рабыня из греческого лагеря, опустилась на колени и приложила руки Пенфезилеи к лицу. Она сказала: «Пенфезилея, пойдем к нам».— «К вам? Куда?» — «В горы. В лес. В пещеры на Скамандре. Среди мертвецов и смерти есть другое — жизнь!»

Слова юной рабыни затронули и меня. Эти люди живут. Без меня. Они знают друг друга. У девушки, которую я называла «молодой рабыней», было имя Килла. Ойнона, которую я теперь не видела рядом с Парисом, подружилась с ней. Они подходили одна к другой. Марпесса, служившая мне, пользовалась в этом мире уважением. Ах, если б я могла быть с ними! И такая же светлая тоска в глазах Мирины. Это был первый открытый взгляд, которым мы обменялись.

Пенфезилея произнесла: «Нет». Искра в глазах Мирины тут же погасла. Я резко бросила Пенфезилее: «Ты хочешь умереть и принуждаешь остальных следовать за тобой». Второй раз произнесла я слова, в которых раскаиваюсь по сию пору.

«Как! — закричала Пенфезилея.— И это говоришь мне ты!»

Еще немного — и мы кинулись бы друг на друга.

И обо всем этом я не вспоминала до сих пор. Я не хотела поверить, что женщина может желать смерти. Ее смерть погребла с собой все, что мы о ней знали. Если мы еще верили тогда, что ничего ужаснее пережитого нами быть не может, мы увидели теперь: зверства, творимые людьми, не имеют предела, мы, люди, способны перерывать человеческие кишки и раздавливать черепа в поисках самой болезненной точки. «Мы», говорю я, и среди всех «мы», которые я произносила, это особенно не дает мне покоя. «Ахилл, скот» — куда легче выговорить чем это «мы».

Почему я застонала? Марпесса, ты была там, когда Мирина, кровавый комок, заскреблась у двери хижины, где мы прятались. Глухая тьма, ночь без огней, мертвых подбирали утром. На теле Мирины не оставалось места, до которого можно было дотронуться, чтоб она не застонала. Я все еще вижу перед собой лицо крестьянки, приютившей нас, когда Мирина лежала перед нами, а мы смачивали соком трав ее раны. У нас, Марпесса, у нас с тобой больше не было слез. Я надеялась только на быстрый конец. Когда мы услышали, что греки в поисках разогнанных амазонок в первый раз дошли до этих хижин, мы набросили гору неспряденной шерсти на Мирину, лежащую в углу, ее слабое дыхание не шевелило шерсти. Мы присели у огня в рваных, грязных платьях, я помню, что точила нож для чистки овощей, и взгляд грека, вошедшего в хижину, столкнулся с моим на

этом ноже. Тогда мы взглянули друг на друга. Он меня понял. Он не тронул меня. Взял, чтобы соблюсти достоинство воина, козочку, вырезанную Анхизом и стоявшую в нише. Когда спустя недели к Мирине вернулось сознание, она не могла простить себе, что спаслась. Кроме имени Пенфезилеи она не произносила ни слова. Я застонала снова, как стонали мы тогда, слыша или произнося это имя. В бою Мирина ни на шаг не отходила от Пенфезилеи. Когда Ахилл нацелился на Пенфезилею, пятеро мужчин с силой удерживали Мирину, я видела кровоподтеки на ее коже. Об этом рассказали нам другие амазонки, не Мирина. Ахилл изумился, столкнувшись в бою с Пенфезилеей. Уж не сошел ли он с ума! Кто бы мог подумать, его встретила мечом женщина! Она вынудила его считаться с собой — это было ее последнее торжество. Они сражались долго, всех амазонок оттеснили от Пенфезилеи. Он бросил ее оземь, он хотел захватить ее в плен, но она резанула его кинжалом и вынудила умертвить себя. Благодарение богам хоть за это.

Что произошло потом — я вижу перед собой, словно была там сама. Ахилл, греческий герой, надругался над телом мертвой. Мужчина, неспособный любить живых, продолжая убивать, бросился на свою жертву. Я застонала. Она уже не могла ничего почувствовать. Но мы почувствовали, мы, все женщины. Что же будет, если такое станет повторяться! Мужчины, слабые, вознесенные в победители путем заговора, нуждались в нас, как в жертвах, чтобы хоть что-нибудь почувствовать. Что же будет! Сами греки ужаснулись содеянному Ахиллом. И в наказанье ему пошли дальше: привязали тело Пенфезилеи, которую теперь он оплакивал, к лошади, проволокли по полю и бросили в воду. Надругались над женщиной, чтобы уязвить мужчину.

Казалось, белоглазое чудовище вырвалось из пут и мчалось по лагерю впереди кучки людей, что несли от реки тело Пенфезилеи. Толпа все росла и росла по пути. Амазонки, троянки, одни только женщины — шествие к месту, которого нет на земле: к безумию. Нигде ни одного грека. Когда они с воплями приблизились к храму, их уже нельзя было узнать. Они так же мало походили на людей, как труп, за которым они следовали. Им пришел конец, и они знали это, но само это знание гасило в них способность знать. Их знание было в их теле, которое непереносимо болело — этот вой! — в их костях, в их волосах, в зубах и ногтях. Они страдали свыше меры, а такое страдание имеет свои законы. Все, что возникает из него, падает на головы тех, кто его причинил, так говорила я после в совете. В тот день перед лицом этих женщин, перед этим телом меня захлестнула мука, и, что бы ни случалось, она не покидала меня больше. Я научилась снова смеяться — невероятное чудо, но мука оставалась во мне. Это был конец.

Они положили Пенфезилею под ивой. Я должна была начать поминальный плач по ней. Я начала — тихо, надломленным голосом. Женщины, стоявшие в кругу, подхватили резкими, пронзительными голосами. Начали раскачиваться из стороны в сторону. Громче стали голоса. Сильнее дрожь. Одна запрокинула голову назад, другие за ней. Судороги сводили тела. Одна из женщин, шатаясь, вошла в круг и начала танец возле покойной, спотыкаясь, тяжело двигая руками, сотрясаясь всем телом. Оглушительней становились крики. Женщина в кругу уже потеряла власть над собой. Пена выступала на губах ее широко разинутого рта. Две, три, четыре других не управляли больше своим телом, когда соединились наивысшая боль и наивысшая страсть. Я чувствовала, как ритм овладевает мной, как во мне возникает танец, жестокое искушение — теперь, когда ничто не может помочь,— отказаться ото всего, от себя самой, уйти из времени. Мои ноги стремились уйти из времени, как повелевал ритм, и я была готова отдаться ему целиком. Пусть глухие заросли снова сомкнутся

над нами. И снова поглотит нас неразделимое, бесформенное — бездна. Танцуй, Кассандра, танцуй. Иду. Все во мне стремилось к ним.

И тут появился несчастный Пантой. «Уходи!» — крикнула я ему. И одновременно одна из троянок: «Грек!» Ритм сломался. Отчетливо, трезво проносились в моей голове планы, как его спасти. Женщины не станут спасать мужчину. Слишком поздно. Эвмел! Его нет. Почему его нет? Дар провидения! Аполлон, не оставь свою жрицу в беде, дай спасти твоего жреца. Я подняла руки, закрыла глаза и воззвала как могла громко: «Аполлон! Аполлон!»

Пантой кинулся бежать. Если б только он не побежал! Могло ведь случиться, что женщины послушают меня и не бросятся на него. Мгновенье полной тишины. И затем этот крик, вой убийства и вопль отчаянья. Они и меня сбили с ног. Я упала замертво возле мертвой Пенфезилеи. Сестра! Ты не можешь слышать, я завидую тебе. Я слышу. Барабанный шаг преследователей. Остановка. Шипение хорька. Деревянным бьют по мясу. Трещит череп. И тишина. Пенфезилея, давай поменяемся. «Эх, милая. Нет ничего слаще смерти». Приди, друг, помоги мне. Я больше не могу.

Я стала совсем легкой, сказал мне Эней потом, ему ничего не стоило отнести меня так далеко. Что я позвала «друга» и подразумевала кого-то другого, причинило ему боль. Он поклялся больше не оставлять меня одну. Он сдерживал свою клятву когда мог. Под конец я освободила его от этой клятвы.

Так я и попала к женщинам в пещерах, на руках у Энея. «Тебя пришлось нести к нам,— шутливо упрекали они меня потом.— Иначе бы ты не пришла».

Иначе бы я не пришла? Из высокомерия? Не знаю.

Не повторялось ли все сначала? С того давнего времени безумия. Ложе. Темные стены. Вместо окна светлое сияние у входа. Арисба. Приходит. Уходит. Ойнона всегда со мной. Других таких рук нет на свете. Нет, я не была безумна, я нуждалась в успокоении... Покой, который не был бы гробовым. Живой покой. Покой любви.

Мне не мешали целиком уйти в себя. Я не говорила. Почти не ела. Почти не двигалась. Сначала совсем не могла спать. Отдавалась картинам, глубоко въевшимся в мой мозг. «Нужно время» — слышала я голос Арисбы. Чем поможет мне время? Картины бледнели. Целыми часами легкая рука Ойноны гладила мой лоб. Шепот. Я не понимала его, да мне и не надо было понимать. Я засыпала. Около меня сидел Эней, горел огонь, похлебка, которую приносила Марпесса, была лучшей на свете. Никто не оберегал меня. Никто ради меня ни к чему не принуждал себя. Анхиз, похоже, он и сам жил здесь, говорил громко, как всегда, и сотрясал пещеру своим хохотом! Хрупким было только его тело, но не дух. Ему был нужен противник, он выбрал Арисбу и начал спорить с ней, но подразумевал меня. Арисба, с лицом в красных прожилках и с укрощенной гривой жестких волос на голове, отвечала ему голосом звучным, как труба. Колеблющийся огонь высоко освещал стену — что это за камни там? Я спросила и сама удивилась, как естественно прозвучал мой голос: «Что это за камни там?» Наступила тишина, в которой так уместен был мой голос; они сумели найти такое место, какое словно было создано для меня.

Так что же это за камни? Неужели я увидела их только сегодня? Кто-то подбросил в огонь сухое полено, чтобы прибавить света. Фигуры? Да. В незапамятные времена высеченные из камня. Женские фигуры, насколько я могла разглядеть. Да. В середине — богиня, другие приносят ей жертвы. Теперь я узнала ее. Перед камнем лежали цветы, колосья ячменя, вино. Килла почтительно произнесла: Кибела. Я видела, как улыбнулась Арисба.

Вечером, когда все уснули, она села подле меня. Мы разговаривали свободно, по-дружески, разумно. «Килле,— сказала Арисба,— нуж-

но дать камню имя. Большинство людей нуждаются в этом. Артемида, Кибела, Афина. Хорошо, пусть делают как хотят. Мало-помалу они, сами того не замечая, станут воспринимать эти имена как легенду».— «Ты считаешь, что камни поставлены для чего-то другого?» — «Конечно. Ты молишься деревянному Аполлону?» — «Уже давно нет. Но для чего же стоят эти изображения?» — «Это вопрос. По-моему, для того, чего мы не смеем распознать в себе. Я только с немногими говорю о том, что думаю. Зачем обижать остальных. Или мешать им. Время, если бы только у нас было время!»

Я почувствовала вдруг, что у меня болит сердце. Я снова встану, уже завтра, с ожившим сердцем, которое снова охватит боль.

— Ты думаешь, Арисба, человек не может увидеть самого себя?

— Не может. Он не вынес бы этого. Ему необходимо видеть свое отражение в другом.

— И он никогда не изменится? Бесконечное повторение одного и того же? Самоотчуждение, идолы, ненависть?

— Этого я не знаю. Я знаю только, что во времени бывают дыры. Вот как сейчас. И мы не имеем права дать ему уйти без пользы.

Вот наконец и мое «мы».

Ночью мне приснился сон после стольких пустынных ночей без снов. Я увидела два цвета: красный и черный, жизнь и смерть. Они проникали друг в друга, но не боролись, как ожидала я даже во сне. Их облики все время изменялись, все время создавая новые узоры, которые могли быть невероятно прекрасны. Они были как вода, как море. В середине я увидела светлый остров, к которому я во сне — я летала, да, я летала — быстро приближалась. Что там было, что за существо? Человек? Зверь? Оно светилось, как светится ночью только тело Энея. Какая радость. Потом падение, воздушный вихрь, темнота и пробуждение.

Около меня Гекуба, моя мать. «Мать,— сказала я,— мне снова приснился сон».

«Вставай. Пойдем. Ты нужна там. Меня они не слушают».

Значит, я не могу остаться здесь, где мне так хорошо. Разве я уже выздоровела? Килла повисла на мне и молила остаться! Я взглянула на Арисбу, на Анхиза. Да, мне нужно идти.

Гекуба повела меня прямой дорогой в совет. Нет, не так. В тот зал, где раньше заседал совет. Где теперь собрались заговорщики под предводительством царя Приама. Они не пожелали впустить нас в совет. Тогда Гекуба сказала, что вся ответственность за это падет на них. Прежде всего на царя. Посланец вернулся: мы можем войти. Только ненадолго. У них мало времени. Сколько я помню, в совете всегда не было времени для важных дел.

Вначале я ничего не слышала — я увидела отца. Погибший человек. Узнал ли он меня?

Речь шла о Поликсене. Вернее, о Трое. Вернее, об Ахилле, скоте. Речь шла о том, чтобы Поликсена заманила Ахилла в храм. В храм Аполлона Тимберийского. Под тем предлогом, будто она решилась на союз с ним. В моей голове пронеслись подозрения. Союз? Но... Не о чем беспокоиться. Только для вида. На самом же деле наш брат Парис притаится за статуей бога, и атакует (атакует! Парис сам так сказал!) Ахилла, и поразит его в его уязвимое место, в пятку. Почему именно в пятку? Ахилл доверил сестре Поликсене тайну своего уязвимого места. Она с нами. Разумеется. «Она,— вызывающе заметил Парис,— она этому рада».

— Это значит: вы используете Поликсену как приманку для Ахилла?

Усмешка.

— Поняла? Ахилл войдет в храм босиком, такое условие она ему поставила.

Смех.

— Один?

— А как же. Один. И живым из храма не выйдет.

— А Поликсена? Она будет ждать его одна?

— Если не считать Париса,— сказал Эвмел,— и, разумеется, нас. Но мы будем снаружи.

— Следовательно, Ахилл обнимет там Поликсену.

— Для вида. И когда он достаточно размякнет,—смех,— его настигнет стрела Париса.

Хохот.

— И Поликсена на это согласилась?

— Согласилась? Она жаждет этого. Она истинная троянка.

— Но почему же ее здесь нет?

— Здесь мы обсуждаем подробности. Они ее не касаются. И трезвый план. Она, как женщина, только спутает все.

Я закрыла глаза и увидела все. Со всеми подробностями. Услышала смех Поликсены. Увидела убийство в храме... Труп Ахилла — кто не сгорал от жажды увидеть его? — еще висящий на Поликсене.

— Вы воспользуетесь ею.

— Кем?

— Поликсеной.

— Неужто ты не способна понять? Дело не в ней, дело в Ахилле.

— Об этом-то я и говорю.

И тут заговорил отец, молчавший до сих пор. «Молчи, Кассандра»,— крикнул он гневно, зло. Я сказала: «Отец!»

«Не называй меня отцом. Долго, слишком долго я дозволял тебе делать все, что ты хотела. Хорошо, думал я, она слишком впечатлительна. Хорошо, она видит мир не таким, каков он есть. Она витает в облаках. Принимает себя слишком всерьез, это часто бывает с женщинами. Избалована, не умеет подчиняться. Сумасбродна. Слишком высокого мнения о самой себе. А почему, дочка? Можешь ты мне сказать? Почему ты так заносчива? Дерзка на язык. И презираешь тех, кто борется за Трою. Да представляешь ли ты себе наше положение? И если ты сейчас не согласишься с нашим планом покончить с Ахиллом, нашим злейшим врагом, знаешь, как я назову это? Пособничество врагу».

Тишина вокруг. Тишина во мне. Как здесь. Как сейчас.

Отец сказал еще, что я не только должна согласиться с планами, которые они обсуждают, но и обещать молчать о них, а когда они будут осуществлены, защищать перед каждым.

Вот и наступил час, которого я так боялась. Наступил неожиданно. Неподготовленной я не была — вот почему мне было особенно тяжко. Стремительно, со зловещей трезвостью я взвесила все и поняла: право, может быть, на их стороне. Что значит — право на их стороне? Что ни право Поликсены, ни мое право не принимаются в расчет, потому что долг умертвить нашего злейшего врага поглотил право? А Поликсена? Она, без сомнения, шла к гибели. С ней все было уже кончено.

— Ну, Кассандра. Ты ведь разумна, правда?

— Я сказала: нет.

— Ты не согласна?

— Нет.

— Но ты будешь молчать.

— Нет,— сказала я. Гекуба в страхе схватила меня за руку. Она знала, что сейчас последует, я тоже. Царь сказал: «Возьмите ее».

Снова руки хватают меня, не слишком жесткие, их столько, сколько нужно, чтобы увести меня. Мужские руки. Ни спасительного обморока, ни видений. Выходя, я оглянулась, и мой взгляд упал на брата Париса. Он вовсе не хотел быть виноватым, но что он мог поделать? Разве его ошибка с Еленой не отдала его навсегда им в руки. Слаб ты, брат, слаб. Безвольный человек. Всегда ты жаждешь

всеобщего согласия. Погляди на себя в зеркало. Последним своим взглядом я словно пронзила его насквозь, и он сам себя тоже, но вынести этого он не смог. Поспешнее, чем кто-нибудь другой, двигался он к безумию, которого уже нельзя было остановить. Как победитель Ахилла, он, надутый и чванный, должен был показаться народу и войску. Парис, наш герой! Это не уменьшало его презрения к себе самому, оно было неизлечимо.

Меня в полной тишине и темноте отвели к месту, которое всегда казалось мне жутким и угрожающим; «могила героев» — так называли его мы детьми, здесь проверяли наше мужество. Оно лежало в выдающейся вперед заброшенной части крепости, вплотную к стене. Когда мой слух невероятно обострялся, я слышала, как мимо проходила стража. Никто не знал, что я сижу здесь внизу, никто, кроме доверенных людей Эвмела, притащивших меня сюда (среди них был и красавец Андрон), и двух непотребных женщин, приносивших мне еду. Таких, как они, я в Трое никогда не встречала. С самого дна жизни, куда опускаются те, кто признал себя побежденным ею, их извлекли нарочно для меня. Сначала я подумала, что это — ужесточение наказания, и даже поймала себя на бесполезной мысли: «Если бы отец знал...» Пока голос рассудка не спросил меня язвительно: «Что тогда? Выпустили бы меня? Прислали бы других прислужниц? Давали бы еду получше?» Нет.

Беспрерывно, с первой минуты, я трудилась над ивовым плетеньем, устилавшим круглое пространство, посреди которого я еле могла стоять. Как и сейчас, я нашла там свободную тонкую веточку, потянула ее — мне это стоило, может быть, часов, даже дней — и вытащила ее из плетения, так же как и теперь вот уже больше часа (ивовая плетенка, на которой я сижу сейчас, поновее, и прутья здесь не такие гнилые и заплесневелые) вытягиваю ее понемножку, чтобы вытянуть совсем. Какой бы длины она не оказалась. Я делаю это с таким прилежанием, словно от этого зависит моя жизнь. Сначала, пока я еще была оглушена и бесчувственна (со мной так поступить не могут, со мной — нет, только не отец), я чувствовала себя заживо погребенной. Я не могла понять, где я. Я слышала, как дыру, через которую меня сюда втолкнули, тщательно замуровали. Страшная вонь охватила меня. Где же я?.. Сколько времени нужно человеку, чтобы умереть с голоду? Я ползала в пыли, не в пыли, в отвратительном гнилье. Сосуд, в который меня поместили, был круглый, изнутри выложенный плетеньем. Сюда не проникало ни лучика света — а ведь, пожалуй, уже прошел день, ночь и еще день,— этот сосуд, надо полагать, облеплен снаружи толстым слоем глины. Так я подумала и оказалась права. Под конец я наткнулась на кости и теперь знала, где я нахожусь. Кто-то тихонько постанывал: только не потерять рассудка, теперь нельзя... Голос был мой.

Я не потеряла рассудка.

Спустя долгое время кто-то заскребся у стенки. Дверца — видеть я ничего не видела и обнаружила ее с трудом — открывалась у самой земли. Миску, всунутую внутрь, я нечаянно перевернула, пытаясь нащупать ее, и пролила воду! Потом получила овсяную лепешку. И вдобавок грязное визгливое ворчание одной из женщин, приставленных ко мне.

Это — преисподняя. Но ведь меня еще не погребли. И умру я не от голода. Неужто я разочарована?

Но ведь достаточно отказываться от еды.

Это было бы не так уж трудно. Может быть, от меня как раз этого и ждут. Через несколько дней я начала есть. В долгие промежутки времени — я почти не спала — я тянула, дергала, гнула, теребила, тащила веточку ивы из плетенья. А что-то, что было сильнее всего, тащило меня. Много дней я думала только одно: это должно кончиться. Что именно? Я еще помню: внезапно я замерла, долго си-

дела, боясь шелохнуться, словно молния осветила мое сознание — это боль.

Это боль, которую, как казалось мне, я узнала. Теперь я поняла: до сих пор она едва касалась меня. Как узнаешь скалу, что погребет тебя под собой, только по силе удара, так и о потере всего, что называла именем «отец», я узнала по боли, грозившей раздавить меня. Мысль, что я могу назвать его так, что он услышит меня, подарила мне словно легкое дуновение воздуха. Ведь пройдет же он когда-нибудь мимо. Одно только ничто вечно. И на меня снова повеяло ветерком облегчения, хотя облегчение — сказано слишком сильно. Бывает боль, которая больше не причиняет боли, потому что она все. Воздух, вода, земля. Каждый глоток, каждый вдох, каждое движение. Нет, описать этого нельзя. Я никогда никому не говорила об этом. Никто и никогда не спрашивал меня.

Ива. Вот я и освободила ее. Веточка у меня в руке. Теперь уже недолго. Я спрячу ее. Никто ее не найдет. Дерево, с которого ее срезали, росло на реке Скамандр. Когда боль отпускает меня, я разговариваю. С мышами, которых я кормлю. Со змеей, которая живет в одном из углублений и обвивается вокруг моей шеи, когда я сплю. С лучом света, который пробивается через крохотное отверстие, там, где я вытащила веточку. Точка света возвратила мне день. Я говорила — они об этом даже не подозревали — и с женщинами. Это были отбросы Трои, а я, обладавшая преимуществами во всем, ходила над ними по дворцу. Их грубое злорадство было понятно. Я чувствовала, что они ничем не могут меня обидеть. Они тоже заметили это. Каким только словам не выучилась я от них. Они плевали на меня из прохода, по которому ползли на животе, чтобы протолкнуть мне через этот лаз еду; чем дольше меня здесь держали, тем с большим нетерпением я ее ждала. Я не знала, понимают ли они меня. Я спросила, как их зовут. Визгливый смех. Я назвала мое имя. Ядовитое шипение. Одна из них, судя по голосу, более молодая, плюнула мне в миску с водой. Мне пришлось узнать, что не всякий человек, униженный до состояния зверя, способен проделать обратный путь. Они становились опасны. Я начала их бояться.

В какой-то день дверцу открыли в неурочное для еды время. Я напрасно ждала визгливого ворчанья. Звучный мужской голос заговорил со мной. Андрон. Красавец Андрон. «Сюда, Кассандра». Словно мы встретились за столом во дворце. «Иди сюда. На, возьми». Что он мне дал? Что-то твердое и острое. Летящими пальцами я ощупывала это. «Узнала?» О, этот красивый голос, исполненный торжества. «Да». Это была перевязь меча Ахилла, которую, подумала я, можно получить, только если ее владелец убит. «Да. Все прошло по плану. Греческий герой Ахилл мертв».

«А Поликсена? Пожалуйста, скажи, как Поликсена!»

Кратко. Слишком кратко: «Она жива».

Дверца захлопнулась. Я осталась одна. Теперь началось самое тяжкое.

Ахилл, скот, мертв. Заговор осуществился. Если бы поступили по-моему, этот скот был бы еще жив. Следовательно, они рассчитали правильно. Победитель всегда прав. Но разве я с самого начала не понимала, что была не права? Так. Получается, что я дала посадить себя под замок потому, что была слишком горда, чтобы уступить им?

Что ж. У меня есть время. Я могу слово за словом, шаг за шагом, мысль за мыслью еще раз повторить все. Десять, сто раз стояла я перед Приамом, сто раз пробовала ответить на его требование согласием, сказать «да». И сто раз снова говорила «нет». Моя жизнь, мой голос, мое тело не давали другого ответа. Ты не согласна? Нет. Но ты будешь молчать? Нет. Нет. Нет. Нет.

Они были правы. Моя доля была отвечать «нет».

Наконец, наконец замолчали эти голоса. Однажды я плакала от счастья в моем узилище. Та, что помоложе, просунула мне что-то на ячменной лепешке, мои пальцы сразу узнали это еще прежде, чем в голове сложилась мысль. Анхиз! Деревяшка! Один из его зверей. Овечка? Ягненок? Потом, снаружи, я увидела — это была лошадка. Ее прислала Мирина. Ей удалось, не знаю как, уговорить молодую мою тюремщицу, которая с этих пор больше не орала на меня. Я забыла о еде ради этого кусочка дерева. Они знают, где я. Они не забыли меня. Я буду жить, я буду с ними. Мы никогда больше не будем терять друг друга, пока не случится непереносимое: Троя падет.

Так оно и случилось. Когда я вышла на волю, я долго еще жила, не отнимая рук от глаз, так как не переносила света и лучше всего чувствовала себя в пещерах. Мирина не отходила от меня и понемногу приучала смотреть на свет. До самого последнего раза мы не говорили ни о Пенфезилее, ни о ее собственных ранах. Я видела ее обнаженной. Все ее тело покрывали шрамы. Моя кожа осталась гладкой до сих пор, до конца. Надеюсь, здесь знают свое ремесло, довольно будет одного удара ножом. Это было время, когда ко мне прикасалась только женщина. Эней приходил, сидел со мной, гладил воздух над моей головой. Я любила его больше жизни. Он не поселился у нас, как многие молодые мужчины с поврежденным войной телом или духом. Они приходили как тени, наша жизнь возвращала им краски, кровь, желания. Закрывая глаза, я вижу картины: гора Ида в меняющемся освещении, ее склоны с пещерами. Скамандр, его берега. Это был наш мир, и прекрасней не могло быть ничего на свете. Времена года. Запах деревьев. И наша вольная жизнь, новая радость в каждый новый день. Сюда власть цитадели не доходила. Они не могли одновременно бороться с врагом и с нами. Они оставили нас в покое, брали у нас плоды, которые мы выращивали, ткани, которые мы ткали. Мы сами жили бедно. Я помню, мы много пели. Много разговаривали по вечерам у огня в пещере Арисбы, где изображение богини на стене казалось живым. Килла и другие женщины молились ей и приносили жертвенные дары. Никто не мешал им. Мы не навязывали тем, кто нуждался в твердой надежде, нашего знания того, что мы погибли. Но наша радость, никогда не терявшая своей горькой основы, никогда не была наигранной. Мы продолжали учиться. Каждая делилась с другой каким-нибудь своим особым умением. Я научилась лепить горшки, сосуды из глины. Я придумала узор, которым их расписывала, черное и красное. Мы рассказывали наши сны, удивлялись, как много они нам открывают. Очень часто, собственно чаще всего, мы говорили о тех, кто придет после нас. Какими они будут? Будут ли они еще знать о нас? Восполнят ли они то, что мы упустили, исправят ли то, что мы сделали неверно. Мы ломали себе головы, как оставить им послание, но у нас не было знаков для этого. Мы выцарапывали зверей и людей в пещерах среди скал, вход в которые мы, прежде чем пришли греки, накрепко завалили. Мы отпечатывали на мягкой глине свои руки, одна подле другой. Это мы называли, сами смеясь над собой, «увековечить себя». Из этого возник «праздник прикосновений», где мы прикасались к другим, а те к другим, и так мы узнавали друг друга. Мы были ломки. Наше время было ограничено, и мы не могли его расточать на мелочи. Так, играя, словно мы владели всем временем на земле, мы обращались к главному. К самим себе. Два лета и две зимы.

В первую зиму Гекуба, которая иногда приходила и молча сидела с нами, прислала к нам Поликсену. Она потеряла рассудок. Она сошла с ума от страха. Скоро мы увидели, что она терпит только мягкое, сумеречный свет, приглушенные тона, легчайшие прикосновения. Мы узнали, что Ахилл, умирая в храме, взял с Одиссея обещание, что Поликсена, которая предала его, после победы греков будет принесена в жертву на его могиле. Гармония ее лица была разрушена,

но когда издалека, очень издалека, доносились звуки флейты, она еще могла улыбаться.

В первую весну Приам прислал за мной. Я шла и видела — на улицах Трои меня больше не узнают. Это было мне по душе. Отец, ни словом не упоминая о случившемся, сухо сообщил мне, что появился новый возможный союзник, как его зовут?.. Еврипил. Со свежим войском, чем нельзя пренебречь. Только он хочет, если будет сражаться на нашей стороне, взять меня в жены.

Мы помолчали, потом царь захотел узнать, что я на это скажу. Я сказала: «Почему бы и нет?» Отец заплакал. Гневным я любила его больше. Еврипил прибыл, и случилось худшее, что могло быть. Он погиб на следующий день, после первой ночи со мной, в одном из столкновений с греками, возникавших из-за того, что они не могли взять город. Я снова пошла к Скамандру, никто ни словом не обмолвился о моем недолгом отсутствии. В последний год войны беременность была редкостью, с завистью, с сочувствием, с грустью смотрели многие на мой живот. Когда близнецы родились — это были тяжелые роды,— я лежала в пещере Арисбы, один раз воззвала к богине: «Кибела, помоги!» У них было много матерей. А Эней был им отец. Все, что человек должен пережить, я пережила.

Марпесса кладет мне руки на плечи. Да, я знаю. Скоро они придут. Я хочу еще раз увидеть этот свет. Свет, на который мы смотрели вместе с Энеем так часто, как могли. Свет перед закатом, пока не сядет солнце, когда каждый предмет начинает светиться изнутри и цвет, ему присущий, выступает наружу. Эней говорил: чтобы еще раз перед ночью утвердить себя. Я говорила: чтобы разлить последние остатки света и тепла, а потом вобрать в себя темноту и холод. Мы засмеялись, когда заметили, что говорим иносказаниями. Так мы жили в час перед темнотой. Война, не способная двигаться, лежала тяжело и устало, как раненый дракон, над нашим городом. Следующее его движение должно нас раздавить. Неожиданно, в то или другое мгновение, могло закатиться наше солнце. Любовно и тщательно следили мы за его движением во все наши дни, которые были уже сочтены. Меня удивляло, что каждая из нас здесь, на Скамандре, как ни отличны были мы друг от друга, чувствовала, что мы пробуем что-то новое. И это не зависело от того, сколько времени было у нас впереди. И от того, скольких троянцев, большинство которых, разумеется, оставались в пыльном городе, сможем мы убедить. Мы не смотрели на нашу жизнь как на образец для других. Мы были благодарны за то, что на нашу долю выпало высочайшее из всех преимуществ: в темное настоящее, которое заслоняет собой все времена, продвинуть узкую полоску будущего. Анхиз, не устававший поддерживать нас надеждой, что все может сбыться, сдавал на глазах, становился все слабее и не мог уже плести свои короба. Ему часто приходилось лежать, но он продолжал делиться с нами своим учением — оно доказывало, что дух сильнее тела,— по-прежнему спорил с Арисбой и называл ее Великая Матерь. (Она совсем отяжелела, ей отказали ноги, и расстояния, которые не могла пройти, она преодолевала трубным голосом.) Мне кажется, Анхиз всем сердцем любил нашу жизнь в пещерах, без всяких сожалений, сомнений и грусти. Он осуществил свою мечту и учил теперь нас, молодых, как можно мечтать, прочно стоя на земле.

Потом миновало и это. Как-то в полдень я проснулась под кипарисом, где часто проводила жаркую часть дня, проснулась с мыслью: безнадежно. Как безнадежно все. Слово возвращалось и каждый раз все сильнее раздирало трещину во мне.

Потом пришел посланец из дворца. К Ойноне. Парис ранен. Требует ее к себе. Только она одна может его спасти. Мы смотрели, как она складывала в корзину травы, целебные настои, ткани, склонив прекрасную белую шею, которая, казалось, с трудом несла ее голову.

В свое время, когда Парису потребовалось много девушек, он отстранил от себя Ойнону. Ее снедала тоска, она боялась не за себя — за него. Она не могла постичь, как он мог так измениться. Ойнона менялась как природа, но, меняясь, она оставалась все той же. Чужой вернулась она обратно. Парис умер. Дворцовые врачи слишком поздно послали за ней. Он умер в муках от гангрены. Вот, подумала я про Ойнону, вот еще одна с застылым взглядом, сломленная войной. Мне, сестре, следовало быть на торжественных похоронах Париса. Я пошла. Я хотела видеть Трою, а увидела могилу. И могильщиков — жителей, живущих уже только для того, чтобы с мрачной пышностью хоронить себя вместе с каждым новым покойником. Жрецы все более усложняли правила погребения, и соблюдать их было тяжко, эти обряды пожирали повседневность. Призраки несли призрака к могиле. Ничего более призрачного я не видела. А самой жуткой была фигура царя, закутанное в пурпурное одеяние дряхлое тело несли перед процессией четверо сильных мужчин.

Прошло и это. Вечером на стене я говорила с Энеем, а потом мы расстались. Мирина не отходила от меня. Разумеется, это заблуждение, что свет над Троей в эти последние дни был какой-то белесый. Белесы были лица. Смутно то, что мы говорили. Мы ждали.

Крушение наступило быстро. Конец этой войны стоил ее начала: постыдный обман. И мои троянцы верили тому, что видели, но не тому, что знали: верили, что греки отступят! Чудище, оставленное греками под стеной, все жрецы Афины, которой было, вероятно, посвящено оно, не раздумывая долго, осмелились назвать конем. Итак, это «конь», но почему же такой огромный? Кто знает. Так велик, как велико уважение поверженного врага к Афине Палладе, хранительнице нашего города. «Внести коня внутрь».

Это было уже слишком, я не верила своим ушам. Сначала я испробовала разумные доводы: «Вы что, не видите, конь слишком велик для любых наших ворот».— «Тогда мы их расширим».

Так против меня обратилось то, что меня теперь едва узнавали. Трепет ужаса, вызываемый моим именем, уже померк. Это греки соединили их снова. Троянцы смеялись над моими криками. «Она сумасшедшая. Давайте пробивайте стену. Тащите коня!» Сильней всякого другого стремления был их необузданный порыв выставить у себя этот знак победы. Люди, в безумном упоении втащившие в город идола, меньше всего были похожи на победителей. Я боялась самого плохого, и не потому, что рассчитала ход за ходом греческий план, но потому, что видела безудержное высокомерие троянцев. Я кричала, просила, заклинала, говорила на разных языках. К отцу я не пошла, он был болен.

Эвмел. Снова я стою перед ним. Вижу лицо, которое забываешь раз от разу, и потому оно кажется особенно долговечным. Невыразительное. Упрямое. Неисправимое. Даже если бы он мне поверил, он не стал бы возражать троянцам, не поставил бы под удар себя. Этот выживет. И греки сумеют его использовать. Куда бы мы ни пришли, он всегда уже там. И переступит через нас.

Теперь я поняла, как распорядился мною бог. Ты будешь говорить правду, но никто не будет тебе верить. Здесь стоял передо мной этот «никто», который должен был бы поверить мне, но не мог, ибо он ни во что не верил. «Никто», не способный верить.

И я прокляла бога Аполлона.

О том, что произошло ночью, греки будут рассказывать по-своему. Мирина была первой. А потом пошло: меч на меч, копье на копье. Кровь струилась по нашим улицам, и стон отчаяния, который издала Троя, день и ночь звучит у меня в ушах. Сейчас меня избавят от него. Когда меня спрашивают из страха перед изображениями богов, правда ли, что Аякс изнасиловал меня у статуи Афины, я молчу. Это было не возле статуи богини. Это было у гробницы героев,

где мы пытались спрятать Поликсену, которая кричала и пела. Мы, Гекуба и я, заткнули ей рот паклей. Греки искали ее во имя своего великого героя, скота Ахилла. И они нашли ее, Поликсену выдал ее друг, красавец Андрон. Против воли, ревел он, что мог он поделать, ему угрожали смертью. Громко смеясь, Маленький Аякс заколол его. Поликсена вдруг пришла в себя. «Убей меня, сестра»,— попросила она тихо. О, я несчастная! Нож, который Эней заставил меня взять, я заносчиво бросила. Не для себя, для сестры он понадобился бы мне. Когда они тащили ее, Маленький Аякс набросился на меня. Гекуба, которую крепко держали, издавала проклятия, каких я никогда не слышала. «Собака,— закричал Маленький Аякс, отпустив меня.— Царица Трои — воющая собака». Да. Так оно было.

А потом вспыхнул свет. Когда мы с Энеем стояли на стене и в последний раз смотрели на свет, мы спорили. Я до сих пор старалась не думать об этом. Эней, который никогда ни в чем не стеснял меня, не хотел ничего ломать или менять во мне, требовал, чтобы я ушла с ним. Он пытался приказать мне — бессмысленно бросаться в поражение, которое нельзя остановить. Я должна взять наших детей — он сказал: наших детей! — и уйти из города. Его отряд готов, и в нем не худшие из троянцев. У них есть оружие и продовольствие. Они решили пробиться. И где-нибудь основать новую Трою. Начать сначала. Честь и почет моей привязанности к Трое. Но тем не менее довольно.

Ты меня неверно понимаешь, нерешительно сказала я. Не ради Трои должна я остаться. Трое я не нужна. Ради нас с тобой. Ради тебя и ради себя.

Эней, любимый. Ты понял меня задолго до того, как уступил. Было ясно: тем, кто уцелеет, станут диктовать законы новые господа. Земля не так велика, чтобы избежать этого. У тебя нет выбора, Эней. Ты вырвешь у смерти несколько сотен людей. Ты будешь их предводителем. И скоро, очень скоро тебе придется стать героем.

Да, воскликнул ты. Ну и что же? По твоим глазам я видела; ты понял меня. Героя я не смогу любить. Я не хочу пережить твое превращение в памятник.

Любимый. Ты не сказал, что с тобой этого не случится. Или: я уберегу тебя от этого. Времени, которое требует героев, нам с тобой не изменить, ты знаешь это так же хорошо, как я. Ты бросил змеиное кольцо в море. Тебе придется идти далеко, очень далеко, а что будет впереди, ты не будешь знать.

Я остаюсь.

Боль будет напоминать нам друг о друге. По ней узнаем мы друг друга потом, когда встретимся, если только оно существует, это потом.

Свет гаснет. Погас.

Они ждут.

Здесь это было. Эти каменные львы смотрели на нее. В колеблющемся свете они кажутся живыми.

■

ЛЬВОВА ЭВА ИОСИФОВНА

Советский переводчик немецкоязычной прозы. В ее переводе публиковались новеллы Бертольта Брехта, повести Франца Фюмана «Суд божий», «Капитуляция», «Барлах в Гюстрове» («ИЛ», 1967, № 11), его литературный дневник «Двадцать два дня, или Половина жизни», роман Иоганнеса Бобровского «Литовские клавиры» («ИЛ», 1969, № 4), рассказы Эрвина Штриттматтера («ИЛ», 1973, № 10; 1982, № 7) и другие произведения современных прозаиков ГДР, Швейцарии и Австрии.

Ю. УВАРОВ

ДОСТОЙНЫЕ ЛУЧШЕЙ УЧАСТИ

Рабочий класс в современной французской прозе

Велико значение рабочего класса в историческом развитии общества. Несмотря на утверждение буржуазной пропаганды о «вживании» пролетариата в капиталистическую систему, о его «обуржуазивании» и «перерождении», он по-прежнему остается, как справедливо указывается в проекте Программы КПСС (новая редакция), главной силой, борющейся за свержение эксплуататорского строя и создание нового общества. Многие честные зарубежные писатели и публицисты дают в своих произведениях «свидетельства изнутри» о реальном положении рабочих в условиях современной капиталистической эксплуатации, вскрывают глубокий драматизм их существования, показывают, какие огромные духовно-нравственные ценности и какой богатый опыт социальной активности несет в себе рабочий класс. Франция — страна богатых революционных пролетарских традиций, здесь мы видим яркие образцы литературы о рабочих. В основе предлагаемой вниманию читателей статьи — произведения французских авторов, посвященные судьбам сегодняшнего пролетариата, рассказывающие о том, как живут и за что борются рабочие в мире капитализма.

Однажды ночью писательница Аделаида Бласкес была разбужена сильным шумом в доме. Пытался покончить жизнь самоубийством ее сосед Гастон Лукас — забаррикадировавшись в кухне, он открыл газ. Этот жест отчаянья был вызван тяжелым положением 69-летнего слесаря, обреченного на скудные лет на полную нищету. Его удалось спасти, и он поведал Аделаиде Бласкес свою жизнь. Рассказ затянулся на полгода. Каждый вечер писательница приходила к соседу с магнитофоном и записывала беседы с ним, сопровождая текст комментариями. Получилась книга «Гастон Лукас — слесарь. Хроника антигероя». Издательство «Плон» согласилось ее опубликовать. А когда в 1976 году она вышла, не было буквально ни одной газеты или журнала, ко-

УВАРОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1928 г.)

Советский литературовед, критик, переводчик. Автор книг «Французская литература сегодня» (1960), «Современный испанский роман» (1968), «Современный французский роман (60—80-е годы)» (1985) и многих статей по французской литературе 60—80-х годов.

торые не поместили бы на нее отклика. «Волнующим человеческим документом» назвала книгу «Юманите диманш». Бесхитростный рассказ старого рабочего стал бестселлером. Успех явно не соответствовал литературным достоинствам произведения. Нет в нем ни увлекательного сюжета, ни острых конфликтных ситуаций, ни ярких образов. И центральный персонаж, как указано в заглавии,— «антигерой», совершенно заурядный, обыкновенный человек. Большую часть книги занимает довольно монотонный, не очень связный, не очень грамотный монолог Гастона Лукаса. Писательница сохранила без изменения его естественную речь, сбивчивую, с бесконечными повторами, со словами-паразитами. Но текст проникнут таким внутренним волнением, которое не может оставить равнодушным. Факты биографии Лукаса приобретают особую эмоциональную «подсветку» и плотность, кажутся значительными событиями, хотя сама биография мало чем отличается от жизненных судеб миллионов других рабочих.

Как и многие, сосед Аделаиды Бласкес покинул родную провинцию и в 23-летнем возрасте прибыл на заработки в Париж, где и остался навсегда. Ему довелось трудиться и на крупных заводах, и на небольших предприятиях. Во время войны он был мобилизован, попал в плен, находился в немецком концлагере, откуда его освободили советские войска. После войны вновь поступил на завод, но был уволен по сокращению штатов, долго мыкался по разным мелким мастерским, которые разоряла конкуренция. В старости оказался не у дел, с мизерной пенсией, никому не нужный, выброшенный за пределы общества. Однако живые чувства в нем не умерли: он сохранил душу, сердце, способность страдать и мучиться, ищет теплого участия, человеческих контактов. Но в той общественной среде, где живет Лукас, он не воспринимается как сколько-нибудь значимая личность.

Судьба французского рабочего, при всей ее обыденности и банальности (а может быть, и благодаря этим качествам), приобретает обобщающий смысл, предстает как сгусток трагичности существования человека в бесчеловечной, по сути, капиталистической системе. Писательница задела «болевую точку» общества, обнажила его кровоточащую рану, дала убедительное свидетельство губительных последствий дегуманизации социальных и личностных отношений, показав, что одной из главных жертв этой дегуманизации является рабочий класс. Книга Аделаиды Бласкес — характерный пример такого подхода к раскрытию темы рабочего класса, который стал преобладающим во французской прозе 60—80-х годов. Крайняя напряженность социальных конфликтов, беспрецедентная изощренность в «манипулировании» человеческой личностью, небывалое давление на индивида со стороны общественно-производственных механизмов — все эти признаки французской действительности периода Пятой республики остро ощущаются в повседневном существовании рабочего класса — самой многочисленной части экономически активного населения Франции (около 40% к началу 80-х годов) и вместе с тем наиболее эксплуатируемой.

Разоблачая чудовищную социальную несправедливость, писатели 60—80-х годов подчеркивают контраст между незаслуженно тяжелым положением рабочих и их человеческими качествами, их высоким духовно-нравственным потенциалом. Поэтому тема рабочего класса рассматривается прежде всего в человеческом, личностном измерении. Главным становится раскрытие внутреннего мира рабочего, а не изображение героической массовой борьбы пролетариата, как это было в прогрессивной литературе 30 — 50-х годов, когда его действия, направленные на изменение своего положения в обществе, выявляя его историческую миссию, сливались с общенародными движениями (борьба против фашизма, против колониализма).

И в последние два десятилетия рабочая тема во французской литературе остается социально значимой. Даже переведенное в план обыденности изображение рабочего класса по-прежнему нацелено на искоренение главного препятствия, стоящего на пути большинства французов, — тирании монополий, обострившей дегуманизацию социальных и чисто человеческих отношений. Литература о рабочем классе активно участвует в борьбе против власти крупного капитала. Но нет оснований говорить об особом «рабочем романе» или «рабочей прозе» Книги о рабочих представляют собой органичную составную часть современной реалистической прозы, подобно тому как выступления рабочего класса — неотъемлемая часть и определяющий элемент антимонополистического движения.

Внимание к драматической судьбе пролетариата в современном капиталистическом обществе, защита прав рабочего человека заметно усилились в произведениях конца 70-х — начала 80-х годов в связи с обрушившимся на Францию социально-экономическим кризисом. Как снежный ком стала нарастать безработица (около трех миллионов человек к 1985 году), вспыхнула невиданная прежде инфляция. Особенно пострадали те, кто живет на уровне минимальной заработной платы или чуть выше (т. е. более 12 миллионов человек, по данным французской компартии). Надежды на перемены после победы на выборах 1981 года левых партий не оправдались. Ужесточились классовые сражения и развернулись острые политические баталии, в центре которых не мелкие, частные вопросы, а проблемы, связанные с судьбой французского общества, с выбором пути его дальнейшего развития. Острее, чем когда-либо прежде, стала ощущаться потребность в утверждении и отстаивании социального и человеческого достоинства пролетария.

Писатели показывают несовместимость современного капиталистического производства и всей социально-экономической системы с полноценным существованием личности. Понятен в этой обстановке шумный успех книг типа «Гастон Лукас» Аделаиды Бласкес. Документальная проза вторгается в сферу художественной литературы, выполняет функции социального и даже социально-психологического рома-

на. Факты, явления, события, представленные в ней, пропущены через сознание и чувства личности. «Центростремительность» современного романа, отмеченная Д. Затонским в книге «Искусство романа и XX век», распространяется и на документально-публицистические произведения, придает им «человековедческий» характер. Эти книги, защищая попранные человеческие ценности, выражают настроения самих рабочих, недовольных не только тяжелыми условиями самого труда, но и психологическим климатом, царящим на капиталистическом производстве.

Об этом ярко свидетельствует интересная и необычная книга «Стена презрения» (1978). Вместо фамилии автора на обложке значится: «Группа рабочих». И ее авторы — действительно рабочие французского металлургического предприятия, а также сотрудники центра социальной этнологии и психологии. Ученые записали беседы с рабочими, сохранили без изменений их живую речь, скомпоновали в единое связное целое куски их устных рассказов, разбили их по темам. Получилось объективное и оригинальное социологическое обследование, в котором нашла отражение непосредственная и эмоционально окрашенная реакция обследуемых.

Первая часть книги посвящена прямым контактам делегатов от рабочих с руководителями фирмы. С генеральным президентом-директором они встречаются во время заседаний так называемого производственного комитета предприятия (куда входят представители профсоюзов и администрации). Рабочие, одетые в выходные костюмы, при галстуках, чувствуют себя неловко, скованно в непривычной атмосфере полированных столов и мягких ковров директорского кабинета. Руководитель фирмы говорит с ними с презрением. В его тоне — надменное высокомерие и металлические, жесткие нотки. Самой манерой вести беседу он дает понять, что его, занятого человека, по пустякам оторвали от дел люди, которых он не уважает.

Вторая часть книги — серия зарисовок трудового дня рабочего, организованного так, чтобы тот забыл, что он личность, полноценный человек. Ровно в 7 часов утра звучит сирена, закрываются ворота. Дан сигнал начала работы. Люди застывают, мысли исчезают, наступает внутреннее оцепенение. Темп работы стремительный. Специально обученные люди высчитывают до секунд каждое движение. Производство поставлено так, чтобы рабочий был безукоризненно функционирующим придатком машины. Он постоянно окружен недоверием. С ним обращаются как с потенциальным бездельником, лодырем, а то и вором. Рабочему как бы все время дают понять, что здесь, на заводе, его только терпят и в случае чего могут легко заменить. Когда кончается трудовой день, вместе с синей спецовкой рабочий сбрасывает с себя груз невыносимого психологического напряжения. Многие и сами теряют уважение к себе, своему труду. Придя домой, такой рабочий набрасывается на сына, если у того плохие отметки: «Ты что, хочешь попасть в рабочие?» Социологи — составители книги не имели, конечно, намерений разоблачить капитализм как систему. И поэтому призывают предпринимателей не пренебрегать человеческим фактором в процессе производства, ибо униженный, оскорбленный, презираемый рабочий добивается меньших результатов, а это невыгодно для хозяев. Но, предоставив слово самим рабочим, они невольно запечатлели на бумаге их внутреннее возмущение, едва сдерживаемую ярость. Текст воспринимается как свидетельское показание жертв капиталистического «прогресса».

В том же 1978 году, почти одновременно со «Стеной презрения», выходит книга Робера Линара «У станка» [1]. Автор, по профессии социолог и преподаватель университета, активно участвовал в майских событиях 1968 года, был близок к гошистским кругам. Он устроился на завод «Ситроен» простым рабочим, стремясь ближе узнать среду пролетариата и помочь ему бороться. Эксперимент, с точки зрения левацкой «революционности», оказался неудачным, и после нескольких месяцев пребывания в цехе Линар вновь вернулся к научной работе. Но вот десять лет спустя он публикует воспоминания об этом своем «хождении в народ», рассказывая о том, как трудятся и что чувствуют при этом рабочие современного крупного капиталистического предприятия. Автор становится как бы их рупором. В книге много запоминающихся образов рабочих, показанных в различных, часто экстремальных, мучительных ситуациях, она убеждает: страх и озлобленная покорность тружеников постепенно сменяются волей к организованному сопротивлению, хотя оно не всегда удается.

Ту же тему попрания человеческого достоинства рабочего на производстве известный прогрессивный писатель и журналист Андре Ремакль раскрывает в книге «Твое дело — рыть. Хроника Фоса» (1979). Судьба строителей металлургического комбината и порта в районе Фос-сюр-Мер под Марселем вписана и в историю края, и в конкретные условия его современного развития. Автор незадолго до того посетил Советский Союз и написал очерк «Сказание о КамАЗе» (опубликован в издательстве «Прогресс» на французском языке в 1979 г.). Несомненно, что личное знакомство с положением трудящихся в СССР придало особую остроту критическим оценкам в книге о марсельской стройке. Общественное положение рабочего здесь сведено к формуле: «Твое дело — рыть». Какой контраст между сенсационной и радужной «легендой о Фосе» и страшной реальностью! Соблазненные призывными рекламами, съезжаются сюда рабочие из разных уголков Франции и даже из-за границы — и попадают в тяжелые, унизительные условия. Андре Ремакль создает широкую картину труда и быта рабочих Фоса. Книга строится собственно из наблюдений писателя, интервью, взятых им на стройке, и рассказов строителей; в текст вкраплены выдержки из прессы и документов. Книга пронизана гневом и возмущением автора, ставшего свидетелем унижения целого класса.

---

[1] Русский перевод фрагментов книги под названием «Итак, я работаю на заводе...» опубликован в «ИЛ», 1979, № 8, 9.

Социолог и журналист Жак Фремонтье решил обратиться к психологическому анализу духовного мира современного французского пролетариата. С этой целью он отправился в поездку по стране. Записанные им на пленку 133 беседы в цехах, кафе, кинотеатрах, на квартирах, в общежитиях, с самими рабочими и членами их семей сложились в книгу «Жизнь в синем цвете» (1980) — имеется в виду синяя спецовка,— снабженную подзаголовком: «Путешествие в рабочую культуру». Получился уникальный человеческий и социальный документ, который дает представление о том, как живут, от чего страдают, чем интересуются, о чем мечтают французские рабочие наших дней. Как выяснил Фремонтье, подавляющее большинство недовольно своей судьбой, многие мечтают выйти из состояния социальной приниженности. Условия труда и быта препятствуют их приобщению к культуре, к благам цивилизации — и материальным и духовным. Они фактически так и не вошли в пресловутое «общество потребления», а если кто и проникает туда, то ценой мучительных усилий, деформации личности. Обеднен, изуродован мир чувств, даже интимные отношения. Книга Фремонтье читается как глубоко аргументированный обвинительный акт против системы, лишающей людей права на полноценную жизнь.

Особенно тягостное и унизительное для человека существование выпало на долю трудящихся-иммигрантов (их сейчас насчитывается во Франции более 3 миллионов), выходцев главным образом из стран Северной и Тропической Африки, португальцев, испанцев, турок. Их бесправное положение широко обсуждается в печати и даже в парламенте. Среди произведений, рассказывающих правду об их жизни во Франции, особое место принадлежит книге известного телережиссера Даниэля Карлэна и врача-психиатра Тони Лэне, посетивших трущобы Марселя, где в чудовищной нищете ютятся десятки тысяч рабочих-иностранцев. Магнитофонные записи бесед со многими алжирцами авторы снабдили взволнованным комментарием. Желая передать неправильную французскую речь собеседников, книгу свою они озаглавили «Плохо-жизнь» (1978) — вместо «Плохая жизнь». Издевательства, гонения, лишения, материальные и моральные... Читатель не может оставаться равнодушным перед этим зрелищем нищеты и горя трудящихся-иммигрантов.

К 1985 году их положение не улучшилось, о чем свидетельствует взволновавшая всю Францию книга журналистки Сильвии Пежю «Сцены великой бедности» (1985). Тщательно изучив повседневную жизнь одного «бидонвилля» в окрестностях Парижа, где в полуразрушенных, грязных бараках живут и французы и иностранные рабочие, Сильвия Пежю словно ввела читателя в мучительный быт современных «отверженных» и показала, к каким пагубным последствиям приводит длительное пребывание в таких условиях.

При всех достоинствах и возросшем влиянии документальная проза не претендует, разумеется, на то, чтобы заменить художественную литературу, которой одной под силу обобщенное, типизированное изображение трагической судьбы рабочего человека — вопиющего проявления дегуманизации, разъедающей социальные отношения в современной Франции. Художественная проза, в отличие от документальной, не ограничивается простым изображением условий существования и фактов печальной участи рабочих, а вскрывает внутреннюю, глубокую драму личности, порожденную социальной несправедливостью.

Так, под пером писателя-коммуниста Андре Стиля заурядное происшествие из газетной хроники трансформировалось в сюжетную канву «Романа-сна» (1976, рус. перев. — М., «Прогресс», 1978). Герои книги Стиля — современные Ромео и Джульетта, 17-летние влюбленные, Даниэль и Дениза, рабочий и работница. Разделяют их не Монтекки и Капулетти, а лживый, созданный «обществом потребления» мир красивых грез, которым предалась Дениза, выдав себя за дочь богатого инженера, и реальный мир непреодолимых социальных перегородок, которых устрашился Даниэль,— поверив ее выдумке, он кончает с собой. История эта в концентрированном виде воплотила множество судеб молодых рабочих, ставших жертвами социальной сегрегации, установившейся во французском обществе, где по критериям потребительской психологии простой рабочий считается изгоем, человеком низшего сорта. В «Романе-сне» гибнет любовь, а в следующем романе Андре Стиля, «Друг в зеркале» (1977), рушится дружба.

Контраст между богатым духовным миром рабочих и их положением «париев», отторгнутых обществом, присутствует и в талантливой книге молодой писательницы Ортанс Дюфур «Мари-Крестная» (1978, рус. перев.— М., «Прогресс», 1981). Повествование ведется от лица 18-летней Элеоноры, дочери дорожного мастера, работающего на строительстве автострады. Всю жизнь девушка путешествует с отцом, матерью и братьями в передвижном «караване», прицепленном к грузовику. Такие домики-вагончики составляют временные поселки строителей. Тут особый, специфический быт. Жители этих кочевых городков как бы выведены за рамки обычной повседневности и современной городской цивилизации. Здесь особенно наглядна капиталистическая эксплуатация тружеников, в первую очередь иммигрантов, чаще и чаще взрывы ярости у людей, доведенных до предела изматывающим трудом и тягостным бытом. Но именно здесь сохраняется и утраченная в более «цивилизованных» местах атмосфера человеческого тепла, искренности, солидарности, взаимной поддержки. Человеческие отношения здесь подлинные, «без посторонних примесей».

Во взволнованном изложении юной девушки персонажи и события романа обретают особую объемность, герои кажутся живыми, реальными людьми в реальных обстоятельствах. Наиболее приметна сама Элеонора, выросшая в своеобразном нравственном «заповеднике». Искренняя и естественная в поступках, она выходит за-

муж за человека внутренне ей близкого, коммуниста Люсьена Шабо. И тот факт, что Элеонора полюбила именно коммуниста, по-своему символичен. В представителях этой партии автор видит надежду, спасение, волю к практической деятельности в защиту обездоленных. Она и ее муж способны на настоящие чувства, не замутненные расчетом и фальшью. Если отдельные сцены жестокого и неприкрашенного быта дорожных рабочих позволили критикам писать о присутствии в романе традиции Золя, то рассказ о любви Элеоноры переносит читателей в атмосферу песен Эдит Пиаф, с их живой, человеческой интонацией. Простые люди показаны Дюфур хранителями нравственных ценностей, утраченных буржуазией.

Сохраняет это здоровое нравственное «ядро» и Маривон — героиня романа Дороте Летессье «Поездка в Пемполь» (1980, рус. перев. — «ИЛ», 1982, № 3), работница конвейера крупного металлургического завода. Однажды она неожиданно уезжает из дому, чтобы побыть одной, отрешиться от будней и не спеша поразмыслить над своей жизнью. Этот побег — своеобразный бунт, «выхлоп» накопившегося недовольства.

Повествование представляет собой развернутый монолог молодой женщины, которая неудовлетворена судьбой, страдает от того, что не может выявить полноценным образом свою индивидуальность, зажатую в тисках монотонной и бескрылой повседневности. Казалось бы — коллизия, характерная для персонажей женской психологической прозы последних лет. Однако при внимательном чтении обнаруживается существенное отличие: Маривон терзается по совершенно конкретной причине — незаслуженно приниженного социального статуса, невыносимых условий труда на заводе. К тому же, привычная к активной деятельности, она не может долго оставаться без дела, без людей, без семьи. Ей тесно в узком эгоистическом мирке своих ощущений и личных страданий: глоток «свежего воздуха», к которому она рвалась, оказался «отравленным». Она спешит вернуться домой и думает при этом не о себе и не о собственных тревогах, а о том, как станет полезной и нужной товарищам по работе. Маривон явно еще предстоит столкнуться с немалыми трудностями, но она обрела новые силы для борьбы. Поистине неиссякаемы активность и энергия людей труда!

Все чаще в современной французской прозе рабочие предстают еще и как своеобразный нравственный эталон высоких духовно-этических ценностей. Особенно заметно проступает эта тенденция в художественно-мемуарной литературе. Почти одновременно появляются воспоминания о детстве писателей — выходцев из рабочей среды: «Дитя — божество» Андре Стиля (1979), «Красное сабо» Жана Жубера (1979), «Итальяшки» Каванна (1978), «Авеню голубых дьяволов» Луи Нюсера (1979). Рассказывая о жизни своих родителей в 30-е годы, особенно в период Народного фронта, а также в 40-е годы, во время войны и оккупации, с восхищением и любовью пишут они о рабочих как о достойных и прекрасных людях, занимающих социальное положение, не соответствующее их высоким нравственным и интеллектуальным качествам.

Размытым и искаженным отношениям между людьми противопоставляет душевное тепло простых тружеников известный писатель Жан Жубер в книге «Красные сабо» (рус. перев. — М., «Радуга», 1983). Поводом для ее создания послужила поездка автора на похороны отца. Он останавливается в доме, где родился, где прошли его детство и отрочество, смотрит на старые фотографии и письма, любуется такими знакомыми и уже почти забытыми пейзажами, предается воспоминаниям. Ему хочется окунуться в прошлое, обратиться к истокам своей жизни, написать о родных и близких. Это незаметные, обычные люди. О них умалчивают хроникеры и историки, они обречены на забвение. Автор же хочет сохранить память об этих людях и создает галерею их портретов.

Ремесленники или рабочие второго поколения, они не порвали внутренних связей с деревней. По-крестьянски настороженно относятся к «чужакам». Но вот в сознании Жубера оживает время, когда эти недавние крестьяне вдруг ломают свое недоверие к чужим, идут на демонстрации, вступают в профсоюз, участвуют в стачках. Это было в 1936 году, когда шли митинги и манифестации, вспыхивали стычки с фашистами. Родственники Жубера голосовали за коммунистов и социалистов и ликовали, когда победил Народный фронт. Эти люди способны мужественно переносить трудности, любить, совершать самоотверженные поступки. Под их моральным воздействием формировался будущий поэт и романист.

«Красным сабо» очень близка по духу книга Андре Стиля «Дитя — божество» (издана на франц. яз. — М., «Радуга», 1982), она написана в форме романа, но фактически представляет собой воспоминания о детстве, счастливом детстве в тяжелых материальных условиях. Бернар, под именем которого выведен сам автор, родился в шахтерском поселке на севере Франции. Мужественная и преданная детям мать воспитывала его в ласке и любви вопреки нужде и лишениям. Бернар постоянно чувствует защищенность, нежность: «меня любят», «обо мне заботятся», «я им нужен». Заряд человечности, полученный в раннем детстве, он сохранит на всю жизнь. Не потому ли он будет всегда с теми, кому трудно, и там, где нужно бороться за справедливость. Бернар станет активным участником Сопротивления, коммунистом.

В последние годы намечается заметный поворот в раскрытии темы рабочего класса. Выходят книги, в которых речь идет уже не только о высоких нравственных достоинствах рабочего — человека социального действия. Авторы художественных произведений о рабочем классе обращаются к истории, к далекому и недавнему опыту социальной активности пролетариата. Рабочая тема часто раскрывается теперь в литературе, посвященной прошлому, в

частности, в историческом романе, интерес к которому стал характерной приметой литературного процесса 70 — 80-х годов.

Одно из наиболее удачных произведений, отмеченных этой тенденцией,— дилогия Алена Жербера «Предместье палочных ударов» (1979) и «Нечто вроде голубой тени» (1980). Действие ее разворачивается в 30-х — начале 40-х годов, этих времен автор не мог помнить, так как родился в 1943 году. Его книги — не мемуары, а скорее особого рода романы демократического «ретро» о рабочих, где каждый персонаж приобретает обобщенный, почти символический смысл. Все повествование звучит почти как поэтическая притча, воспевающая социальную активность, нравственную красоту и богатство чувств, которыми были наделены люди угнетенные, обреченные на безрадостную жизнь.

Главному герою, мальчику Тео, в начале романа 8 лет. Он живет в очень бедной семье. Его бабушка и мать трудятся на местной фабрике. Отец мальчика болен туберкулезом, работать на фабрике не может, чинит битую посуду, но клиентов у него мало. Тео очень любит отца, робкого, застенчивого, но необыкновенно сердечного. В семье царит атмосфера взаимопонимания.

Мальчик подолгу бродит по городу, и перед ним открывается мир несправедливости. Лишь узкое железнодорожное полотно отделяет его родное рабочее предместье от богатых кварталов, но это как будто две разные планеты. Мальчику помогает понять окружающее его взрослый друг, которого все зовут Жантий (по-французски — милый, любезный). В прошлом солдат, служивший в Азии и Африке, теперь он мелкий служащий все на той же местной фабрике. В свободное время он музыкант. Жантий учит своего маленького друга играть на флейте и подарит ему инструмент в 1939 году, когда будет мобилизован. Но главная роль этого человека в том, что он учит Тео быть справедливым, добрым, мужественным, уметь любить и ненавидеть.

Кульминационный момент первой части романа — забастовка рабочих и демонстрация жителей предместья после победы Народного фронта в июне 1936 года. Жантий был одним из организаторов этих действий, и маленький Тео с гордостью шел с ним в колонне демонстрантов. Автор передает атмосферу ликования и пробудившихся надежд у жителей предместья. Люди обнимаются на улицах, поздравляют друг друга с победой Народного фронта. Даже больной отец встал с постели, узнав о результатах выборов.

Во второй части книги показана жизнь предместья в годы оккупации. Вновь пробуждается активная гражданственность и проявляется нравственная сила обитателей рабочих кварталов. Жантий и его друзья организуют боевой отряд. 16-летний Тео встает на место Жантия, когда тот попадает в гестапо, и становится активным участником Сопротивления.

Эпоха Народного фронта привлекла также известного писателя старшего поколения Роже Бордье. В романе «Большая жизнь» (1981) он органично соединяет собственные наблюдения и впечатления тех лет с обширным документально-историческим материалом. Бордье убежденно противопоставляет «большую жизнь» «маленьких людей» 30-х годов индивидуалистическому эгоизму современных мещан. Его персонажи остро переживают и горячо комментируют события «большого мира», они чувствуют себя его частью.

В романе переплетаются и взаимодействуют две линии повествования. С одной стороны, речь идет о семье Обеспэн — рабочих, ремесленниках, мелких торговцах,— об их жизни с 1930 по 1936 год и о последующей судьбе ее членов, а с другой — о судьбах Европы, человечества, о событиях и переменах во Франции первой половины 30-х годов. Семейная линия пропущена через призму восприятия и оценки Пьера Обеспэна, мальчика из рабочего предместья, а впоследствии преподавателя истории в Париже (это явно автобиографический образ). Рассказ же «о большом мире» предстает в виде развернутых цитат из газет или заметок в дневнике, в «хронике», которую ведет краевед и историк по призванию Поль Шантавер, местный юрист. Книга строится в виде сменяющих друг друга кадров: то текст из «хроники» или газеты, то сцены из жизни Обеспэнов. Эпизоды частной жизни семьи приобретают подчеркнутую социальную значимость.

Для понимания замысла книги важен образ рабочего-коммуниста Антуана — соседа семьи Обеспэн. Каждый год в конце мая Антуан ездит в Париж, чтобы возложить букет красных гвоздик у стены Коммунаров. Роже Бордье подчеркивает — и это главная мысль книги,— что Обеспэны ощущают себя наследниками коммунаров, частицей великого целого — французского трудового народа — и, веря в его победу, живут надеждой на лучшую жизнь. Свои надежды они связывают с предстоящей победой Народного фронта.

Стремясь набросать полотно недавней истории, определявшей судьбы людей и страны, автор создает эпический роман особого типа. Лирическая струя, окрашивающая это эпическое повествование, делает его живым, трепетным. Авторская субъективная оценка ощущается во всем тексте. Писатель не скрывает, например, своей печали по поводу того, что надежды, которые казались реальными в эпоху Народного фронта, были убиты войной. «Все доброе вино оказалось выпитым»,— горестно отмечает он.

Мечтая о возрождении утраченного духа гражданственности и чувства коллективизма, Бордье обращается в следующем романе, «Счастливые времена» (1984), к периоду Парижской коммуны и рабочего движения 70—80-х годов прошлого века. Главное действующее лицо книги — один из предков Пьера Обеспэна, его двоюродный дед Мишель Обеспэн, переплетчик, коммунар.

Действие романа начинается в ночь расстрела коммунаров, а завершается 14 июля 1889 года, в день открытия конгресса II Интернационала. На первых страницах книги убегающий от преследователей юный Мишель встречает незнакомую девушку, которая спасает его и дарит ему свою лю-

бовь. Он ищет ее 18 лет и находит только в конце романа, с тем чтобы больше не расставаться с ней. В течение всего этого времени он пишет ей письма, делится своими чувствами и наблюдениями. Кроме того, он, как бы обращаясь к читателю, рассказывает о событиях и людях — не столько о себе, сколько о судьбах пролетариата, о перипетиях его борьбы, о создании его партии. В книге множество персонажей, эпизодов политической и социальной жизни 70—80-х годов. И вся эта масса информации излагается в живой форме, разговорным языком.

Мишель Обеспэн и его друзья-рабочие мечтают о «счастливых временах», верят, что своей борьбой добьются их прихода. Но для Бордье «счастливым» было как раз то время, когда эти люди мечтали и надеялись. И словно бы ностальгией проникнуты вылепленные им образы людей той поры, когда не выветрился еще дух Коммуны, а пролетариат начинал осознавать себя могучей и организованной силой. Даже ночь любви Мишеля, описанная в начале романа, обретает особый, символический смысл. Это вызов смерти и мраку наступившей реакции, торжество вечно живого человеческого начала, духа Коммуны. Мишель вновь обрел любимую в день открытия конгресса II Интернационала — и это также символ неумирающей Коммуны. Такая аллегоричность образов подчеркивает обобщающий характер романа Бордье, романа-напоминания об огромных потенциальных возможностях пролетариата. Именно французский пролетариат — его главный герой.

В 1984 году экономист, журналист, историк, в прошлом руководящий работник одного из крупных предприятий в Лотарингии Поль Вэнсан выпустил книгу «Большой завод». В ней нет главного героя, или, вернее, им является завод, существовавший с конца XIX века по 1937 год. Из разрозненных элементов повествования, фрагментарных кадров-сценок, небольших эпизодов, живо и эмоционально изложенных, порой с юмором или с сарказмом, с использованием разных уровней речи и социодиалектов — из этой организованной хаотичности у читателя постепенно складывается целостная картина страшной доли завода и его рабочих: здесь и ухищрения владельцев и администрации, обман и грабеж рабочих и попытки трудящихся отстоять свои права в борьбе с хитросплетениями буржуазных политиканов и церкви.

Вэнсан нашел необычайно емкую форму, вместившую на 326 страницах текста такое множество проблем, для изложения которых традиционным способом понадобилось бы несколько томов. Использование новой литературной техники было продиктовано стремлением автора добиться наиболее адекватного и объемного художественного воплощения особой сложности и глубины затронутой им темы. Книга вышла в момент острых дебатов о «модернизации» экономики, о «структурной перестройке» всей французской промышленности как способа выхода из кризиса и прозвучала резкой отповедью «модернизаторам»: сколько раз пытались «улучшить экономику» за счет рабочих, а судьба пролетариата оставалась трагической.

Современная французская проза о рабочем классе привлекает внимание к вопиющему нарушению прав человека в той самой стране, которую объявляют поборницей свободы и демократии. Когда в конце мая 1985 года французское правительство организовало коллоквиум, посвященный защите прав человека, ни один из ораторов, усердно защищавших «права человека» в самых отдаленных уголках мира, ни слова не сказал о тяжелом положении французских трудящихся, о постоянном ущемлении их прав. Но то, о чем молчали участники коллоквиума, встает со страниц литературных произведений — реальная судьба самой угнетенной части французского населения, отнюдь не наслаждающейся плодами «потребительской цивилизации». Своими книгами писатели фактически участвуют в борьбе за ее права. Не ограничиваясь критическими свидетельствами, они все чаще, особенно в последние 5—6 лет, воспроизводят яркие и значительные эпизоды жизни и борьбы рабочего класса, ищут в его историческом опыте великие человеческие ценности с тем, чтобы противопоставить их античеловечной и безнравственной окружающей действительности.

◆

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

ОТСТОЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

Размышления о фестивальной литературной жизни

В небольшом очерке охватить даже важнейшие события литературно-художественной жизни XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего прошлым летом в Москве, вряд ли возможно. Вообще трудно передать с помощью слов то, что включает в себя этот семидневный праздник юности, эта впечатляющая демонстрация чаяний, исканий и порывов тех, кому предстоит жить в XXI веке,— трудно восстановить панораму события во всем многообразии его праздников, встреч, мероприятий. Скажем только, что во время фестиваля было открыто десять международных творческих мастерских. Десять центров, где молодые художники, писатели, архитекторы, актеры выражали свое художническое кредо, отношение к окружающему миру, обсуждали самые насущные вопросы. Центральный из них — сохранение жизни на земле.

В выступлениях молодых советских писателей — участников международной творческой мастерской литературы — Г. Красникова, Г. Чхеидзе, А. Яхонтова, С. Рыбаса, Г. Лютого прозвучала мысль о том, что советский народ хорошо помнит ужасы войны и молодежь, воспитанная в послевоенные годы, получила от отцов и дедов завет: это не должно повториться.

Работа мастерской проходила в конференц-зале Центрального Дома литераторов им. А. А. Фадеева; 86 молодых писателей — делегатов фестиваля — представляли литературы 35 стран мира.

Заседания вел известный советский поэт Олег Шестинский.

Разумеется, творческое знакомство друг с другом обогатило молодых писателей, оно дало материал для размышлений о современной поэзии мира и о месте молодых в сегодняшнем литературном процессе. Тагоре Бирам из Бразилии, Ромен Ассонгба из Бенина, Яшар Мирач из Турции, Франсис Комб из Франции, Хосе Рамон Мелендес из Пуэрто-Рико, Петер Шютт из ФРГ, Венди Шмидт Ли из США, Валерий Станков из Болгарии, Карлос Трухильо из Чили и многие другие выступили на заседаниях мастерской, которые посетило более трех тысяч человек.

Открытость, непредвзятость характеризовали в целом стиль общения писателей. В короткий период мастерская получила широкую аудиторию еще и потому, что искреннее, страстное слово ораторов-поэтов сопровождалось чтением талантливых стихотворений. В поэтической атмосфере, в стремительном вихре образов, идей и мнений заключалось своеобразие и привлекательность этого клуба писательской молодежи. В этом непрестанном движении мысли, в этом накоплении духовности были очевидны сопричастность молодых писателей жизни простых людей, тружеников го-

СЕНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1941 г.)

Советский критик, поэт-переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг «Хариваншрай Баччан» (М., 1979) и «Современная хиндиязычная литература» (Дели, 1984; на языке хинди). Переводит с языков хинди, бенгали, английского, португальского. В его переводе публиковались стихотворения Х. Баччана, С. Д. Саксены, Р. Сахая, А. Нето, М. Руя и др.

рода и деревни, сострадание, сочувствие их доле, прямое участие в их каждодневной борьбе.

Демократизация искусства, к которой призывали молодые писатели, рассматривалась в качестве едва ли не основного творческого принципа. А это не только означало обращение к повседневной жизни, но прежде всего свидетельствовало об убежденности в том, что литература способна оказывать активное влияние на многие ее стороны.

Хосе Рамон Мелендес страстно говорил в своем выступлении: «Следует предупредить начинающих, что слава, фотографии в прессе, автографы, авторские права и интервью, поклонение и восхищение, лесть и чествования, прекрасно изданные книги и журналы, приглашения в кафе и на фестивали — это еще не все. Многие часы (практически все!) писателя заполнены решением уравнений. Писатель работает, слушая, трогая, нюхая, пробуя на вкус Все исчезает перед белым листом бумаги, требуя своего наименования, своего порядка звуков, слов, восстановления, создающих то, что волнует всех. Писатель — секретарь человеческого рода. Будем же честными по отношению к нашему призванию, спросим себя: можем ли мы стать секретарями этого чуда — вселенной? Будем же честными, читая кардиограмму нашего ремесла — наши тексты. Самый революционный способ работать во имя мира, во имя жизни — это быть строгими к самим себе. Быть честными и требовательными по отношению к нашим произведениям. Уметь писать, уметь вести протокол, отвергая выдуманное, беспринципное. Мы уже не шаманы, мы не писцы, теперь наш труд другой, неброский, незаметный, подобный труду чернорабочего».

Одним из важнейших принципов в шкале ценностей молодых поэтов было признание классового характера нравственных и моральных критериев. Этой идее сопутствовала мысль о духовной равноценности и значимости всех людей и народов.

Таким образом, проблема «Что есть поэзия в современном мире» была рассмотрена в беседах и дискуссиях в аспекте социально-политическом. По существу был затронут вопрос о функции поэзии, вступающей в XXI век. Одна из мыслей, настойчиво прозвучавших: на поэзию, этот экстракт индивидуальности, выявленный в слове, возлагается задача избавления человека от немоты, одиночества, гибели в век убыстряющегося технического прогресса и фантастических коммуникативных возможностей. Разумеется, далеко не все стихи, которые читались в Центральном Доме литераторов поэтами всех континентов, были поэтическим откровением, но в голосах авторов чувствовалась уверенность, что они будут услышаны и поняты людьми.

Литературная программа фестиваля еще раз подтвердила, что тяга молодежи к стихотворчеству не только не ослабла, но и получила дополнительные импульсы, среди которых вера в поэзию как действенную идеологическую силу стала чуть ли не самым главным.

Всецело подчиняться произволу своей фантазии означает не вполне владеть поэтическим мастерством. Парадокс? Да! Но он «укрупняет» мысль одного из моих новых фестивальных друзей, Франсиса Комба, о том, что для элиты писать намного проще, чем для народа.

Франсис Комб — тридцатидвухлетний поэт, один из руководителей журнала «Эроп», вот уже почти шестьдесят лет знакомящего французов с литературами других народов. Поэт обладает даром нравиться с первого взгляда. Исполненный доброжелательства и уважения к собеседнику, он неуступчив, когда речь заходит о его взглядах на искусство. В беседах с Франсисом Комбом выяснилось, что он, как и я, востоковед. Франсис помимо китайского изучал русский и венгерский языки: для французов, впрочем, Восток — это и страны Восточной Европы. В наши дни знанием иностранных языков никого не удивить. На фестивале поэты-полиглоты воспринимались как обыкновенное явление. Однако вот что интересно — беседы с разными поэтами, как западными, так и восточными, подтвердили мысль о том, что существуют не только наболевшие общие проблемы, решать которые берется молодая литература мира, но уже определился незримый всемирный фарватер, в котором происходит движение художественной мысли и ее образное воплощение.

Многие выступавшие молодые писатели с горечью говорили, что выходящие на капиталистическом Западе журналы предоставляют мало места поэзии. А вновь появляющиеся журналы, посвященные поэзии, в большинстве своем не выдерживают больше одного-двух выпусков. Однако как не вспомнить, констатируя этот факт, высказывание замечательного французского поэта Эжена Гильвика: «Поэтов во Франции читают мало. Однако если обратиться к тривиальному образу, то можно сказать, что их читают люди, играющие роль приводных ремней. Поэтический язык становится достоянием прозаиков, эссеистов, журналистов, песенников и с их помощью распространяется повсеместно».

Разговор с Франсисом Комбом убедил меня еще раз в том, что замкнутость известной части поэтов на проблемах речи — проявление художественной провинциальности. Франсис Комб подтвердил, что сегодня лицо молодой французской поэзии определяют не идеи структуралистского журнала «Тель кель». Для молодых поэтов, к которым Комб относит и себя, интерес к живой реальности оказался сильнее интереса к формотворческим экспериментам. Эти поэты вернулись к простому языку, коммуникативность поэзии уравновесила стремление к спонтанному самовыражению. Вот почему звучащая поэзия, как считает Комб, это поэзия возрожденная и живая. Среди его единомышленников многие талантливые молодые поэты. Это Серж Пей, Жерар Нуаре, Жан Риста, Жан-Пьер Лемер, Жан Мишель Мольпуа.

Опыт названных поэтов свидетельствует, что не столько язык воздействует на поэзию, сколько поэзия, индивидуальное поэтическое мировосприятие конкретной реальности преображает поэтический язык. Поэзия становится инструментом самопознания человека. Всем своим существом

поэт отвечает на требования времени. В этом смысле поэзия предстает своего рода исследованием, результаты которого превращаются во всеобщее достояние. Не случайно для Франсиса Комба французская поэзия антифашистского Сопротивления с ее гражданским пафосом и четкой идейной позицией — образец углубленного искусства, необходимость которого особенно возросла в условиях кризиса буржуазной цивилизации и поисков альтернативы. Потребность создавать новую поэзию сопротивления империализму, как считает французский поэт, вызвана еще и желанием молодых поэтов открыть новую поэтическую действительность, творить в поэзии и поэзией все более приспособленный для жизни мир. Именно в этом направлении происходит сейчас взаимообогащение и консолидация передовой поэзии мира. Эта поэзия говорит «нет» всему что противостоит истинному предназначению человека.

Выступая на одном из заседаний мастерской литературы, Карлос Трухильо сказал: «Я вижу главный итог фестиваля в том, что он помог нам, молодым силам планеты, еще яснее и глубже осознать свою цель, нашу общую идею, объединить усилия в борьбе с самой бесчеловечной системой — системой порабощения человека и подавления духовных основ личности — империализмом».

В этой ситуации, как подчеркнул Франсис Комб, необходимо возвращение к лиризму, к человеку.

Характерным примером в этом отношении является творчество Жана Риста и Бернара Варгафтига. В творчестве последнего, например, проявляется ироническое отношение к словам, которые перестали отражать сущность явлений. И тогда возникает ощущение страшной пустоты Выход из этой пустоты, из этого холода поэт находит в любви к женщине, которая в его стихах воплощает тепло человеческих отношений; он видит его и в росте чувства коллективной ответственности, которая помогает преодолевать пропасть отчуждения. Поэзия такого рода вновь обретает свою коммуникативную функцию, становится местом братания душ, поиском путей к лучшему будущему.

Международная мастерская литературы подружила многих молодых писателей. Разумеется, главной причиной сближения была общность интересов и влечений в искусстве. Во время перерыва я познакомил Франсиса Комба с Яшаром Мирачем. Комб согласился с поэтической формулой Мирача: «Настоящая поэзия — это воплощенное в обновленном слове открытие, которое становится достоянием всех».

Яшару Мирачу тридцать три года. Он автор восьми поэтических сборников. В ближайшее время собирается издать в своих переводах Сергея Есенина. Мирач — еще и издатель. Выпустил уже 23 книги: два сборника пьес, остальное — поэзия. Впервые в Турции издает книжную серию молодых поэтов. Недавно появились две антологии переводов мировой поэзии: «Песни братьев», куда вошли произведения Пушкина, Лермонтова, Маяковского, и «Песни любви» — собрание лучших образцов мировой любовной лирики. В 1985 году Мирач создал общество «Развитие новой народной песни и стиха». Мирачу оказались очень близки филиппики Комба против поэзии для избранных. Вместе с тем он считает опасной и склонность молодых поэтов к упрощению поэтической мысли. Такой путь — тоже своего рода смерть для поэзии. Турецкий поэт видит перспективу развития поэзии в обращении к народному поэтическому слову, к фольклорной традиции, в связи поэта с основами народной жизни. Вот почему его собственные стихи так напоминают народные песни:

В месяце вишни
В месяце вишни
когда дурман
еще дремлет в кальяне
приходит странник
издалека
саз в руках
саз в руках.

(Перевод В. Куприянова)

Причем надо отметить, что Мирач выступает против подражания народным мотивам, стилизации, их опошляющей, он за творческое постижение художественно-философской системы народных песен. Следуя заветам турецких поэтов, чей художественный язык восходит к устному народному творчеству, таких, например, как его учитель в поэзии Энвер Гёкче, Мирач пишет о красоте природы и нелегкой жизни тружеников просто, с нежностью и подлинным пафосом.

Познавший в юности нищету, Яшар приложил немало сил, чтобы получить образование. В 1980 году окончил филологическое отделение Анкарского университета; тогда же выходят две его книги — «Роза и хлеб» и «Такой, как Талип» (имя учителя, убитого во дворе школы реакционерами). Но это не были первые его книги: в 1979 году вышли «Паренек из Трабзона» и «Разговор с Чили». Первая из них сразу же обратила на себя внимание прогрессивной турецкой общественности, и в следующем году Мирач получает за нее премию «Общества турецкого языка». Но книги Мирача не проходят незамеченными и для турецких властей; на них накладывают запрет. Однако это насилие, эти препоны цензуры, сколь бы оскорбительными и унизительными они ни были, не сломили поэта. В последующих книгах — а в 1981 году их выходит целых три: «Стихи и песни деревни Чандере», «Стихи, идущие от сердца», «Я родом из Трабзона» — углубляется лирическое начало поэзии Мирача. Элегические пасторали «Стихов и песен деревни Чандере», воспевающие детство поэта, дополняются первыми признаниями в любви в «Стихах, идущих от сердца» — то и другое производит впечатление яркой и самобытной поэзии. Впрочем, не следует думать, что поэт отходит от социальных проблем, они присутствуют и в его интимных стихотворениях, и в его сборнике «Я родом из Трабзона» в котором тоска по родным местам приобретает трагическое звучание утраты «родного гнезда» и, наконец, властно заявляет о себе в его последующих сборниках, изданных в 1985 году в ФРГ: «Стамбул — красная роза» и «Труженики моей страны».

В ФРГ Яшар Мирач живет с 1982 года. Он приехал туда изучать немецкую поэ-

зию, но научными штудиями его деятельность не ограничилась — потребность писать возросла еще больше. Поэтическое мастерство и издательский опыт Мирач отдает на службу идее национальной культурной самобытности турок-эмигрантов, которых в настоящее время в Европе около двух с половиной миллионов. 70% турецких промышленных рабочих проживает в ФРГ. «Турки за границей» — это, как известно, не только острая социальная и демографическая, но и культурная проблема, которая заботит многих деятелей турецкой культуры. Недаром тридцатипятилетний турецкий прозаик, тоже живущий в ФРГ, Энгин Эркинер на заседании международной мастерской литературы посвятил свое выступление турецкой литературе в эмиграции, описывающей социально-психологические коллизии жизни эмигрантов, их положение изгоев в западном буржуазном обществе, их борьбу за свои права. Из этого выступления и из бесед с Яшаром Мирачем я узнал о представителях современной турецкой литературы: Арасе Орене, Факире Байкурте, Омере Полате, Айсель Озакын, Дурсуне Акчаме.

В книге «Стамбул — красная роза» внимание Яшара Мирача обращено на то, чтобы как можно точнее и эмоциональнее передать чувства человека, обстоятельствами жизни разлученного с родиной. Вся сила воли поэта направлена на то, чтобы сберечь в себе чувство родины. Это необходимое условие спасения национальной культурной традиции в иноязычной культурной среде. Долг поэта, как его понимает Мирач, быть «хранителем огня» — всего того, что составляет смысл и ценность национальной культуры, ее уникальность. Такая позиция — реакция на экспансию массовой культуры империализма, на духовную эмиграцию молодого поколения турок, это также и возможность выстоять, выжить, сохранить свой язык и обычаи при самых неблагоприятных обстоятельствах. Творчество молодых турецких писателей, подобных Мирачу, показывает, как формируется в городских условиях новая система духовных ценностей, какие коррективы вносит жизнь в социально-ценностные ориентации, в психологию масс, как стихийное поначалу стремление к социальной справедливости подготавливает массы к восприятию идей научного социализма. Те, кто в продолжение веков были объектом воздействия различных антинародных сил, говорят эти писатели, взялись решать свои собственные судьбы и судьбу своей страны. Родина не называется по имени, однако перед глазами читателей встает страдающая, но не теряющая своего достоинства трудовая Турция, самая большая любовь поэта.

Мирач чуждается лозунга, прямой публицистичности, прибегает к ним в редких случаях, его цель — прийти к социальным и политическим выводам через познание души человеческой, через отдельную человеческую судьбу.

Характерно, что во время работы мастерской не было ни одного выступления, в котором интересы отдельного человека противопоставлялись бы общим. Многие писатели всячески подчеркивали необходимость коллективных усилий в борьбе с империализмом, вплоть до готовности отдать собственную жизнь ради утверждения идеалов социальной справедливости.

Сборник двадцатишестилетнего бразильского поэта Тагоре Бирама «О любви и ее отсутствии» (1983) и его недавняя поэма «Мир не должен быть кладбищем» обнаруживают как характерное для молодой поэзии сегодня тематическое разнообразие, независимость и свободу в обращении с любыми сюжетами, мотивами и образами, так и единство главных, существенных устремлений и надежд молодого человека. Полноту бытия он ощущает в гармоническом сочетании интересов общественных и индивидуальных, равно противостоящих разрушительным глобально-экологическим процессам и угрозе термоядерной катастрофы. Обращаясь к современникам, Тагоре Бирам пишет:

В сердце нашей планеты,
в сердце ее атмосферы,
в сердце ярчайших рассветов,
в сердце всего, что есть,
входит огромный ужас
. . . . . .
Но сквозь витражи одиночества
виден цветок нежный.
Как только я начинаю
писать о любви и жизни,
я слышу его дыхание.

(Перевод В. Шленского)

Может ли художник сжиться с мыслью, что угроза, нависшая над культурой, над существованием человека, неотвратима? Может ли он молча ожидать надвигающуюся катастрофу? Нет! — утверждает Тагоре Бирам в своей поэме. Молчание здесь равносильно соучастию. Странное впечатление в этих условиях производит человек, пестующий собственное одиночество и не желающий никого знать, кроме самого себя.

Мне хочется выделить в связи с этими рассуждениями молодых поэтов одну из характернейших черт их творчества — почти все они выступают как переводчики. Несомненно, желание переводить вызвано стремлением не замыкаться в себе, по мере возможности расширять пределы своей национальной культуры. Вместе с тем, как в свое время остроумно заметил американский поэт Роберт Фрост, поэзия — это то, что исчезает при переводе. Однако практика крупных поэтов-переводчиков свидетельствует, что при всех издержках перевода читатель постигает через него чужую культуру и незнакомый поэтический мир и происходит сближение людей разных национальностей и улучшение взаимопонимания между ними.

Мы в Западном Берлине, сказал мне Христоф Хойбнер, ощущаем необходимость восполнить как можно скорее пробелы в знании современной советской литературы.

Христоф Хойбнер, как Яшар Мирач, в одном лице и поэт и издатель. Он один из организаторов западноберлинской выставки, посвященной Хатыни. Во время поездок с лекциями по Западной Германии Хойбнер рассказывает о преступлениях фашистов на захваченных ими территориях, об опасности возрождения нацизма. По своей стилистике его поэзия восходит к творчеству Иоганнеса Бобровского — одного из классиков литературы ГДР.

В мемориале Освенцима Хойбнер когда-то познакомился с сейчас уже умершим польским художником Брандхубером, который был узником этого лагеря смерти и остался после освобождения жить и работать в Освенциме. Основной темой художника был пейзаж в окне — различные варианты выхода «к свободе». Поэт посвятил Брандхуберу стихотворение:

Дом и луна, огонь
в очаге. Осеннее
пламя над полем.

Говорить о прошлом.

Идти, при этом
не сгибая спины.

Человек живет на земле,
в которой мертвые погребены.

Идем, художник Брандхубер,
пойдем
по морю твоих
лет — вслед за дымом
к свободе.

Будем петь и насвистывать
старую песню.

(Перевод В. Куприянова)

Участники международной мастерской литературы говорили о том, что молодежь может и должна стать авангардом борьбы за мир, потому что только прочный мир обеспечит ей возможность реализовать те надежды, которые живут в каждом юном сердце и без которых молодость немыслима. Путь к миру — через утверждение достоинства человека. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает развитие общества и личности. Нравственно, справедливо, разумно и полезно то, что уменьшает разрыв между надеждами личности и окружающей жизнью. Так было сформулировано молодыми писателями их жизненное кредо. Так понимают они свой гражданский долг.

◆

Редакцию посетили...

Синтио Витьер и Фина Гарсиа Маррус — известные поэты, авторы поэтических сборников, ставших заметными вехами в современной кубинской литературе, знатоки и исследователи поэзии своей страны. Синтио Витьер составил несколько антологий и написал интереснейшую книгу «Кубинское начало в поэзии», где с философских позиций осмысляет национальные черты, присущие творчеству кубинских поэтов.

В конце 70-х годов Синтио Витьер обратился к прозе. Его первый роман «Улица Бедной Скалы» — роман-воспоминание, как называет его писатель,— знаком уже и советским читателям: он вышел в издательстве «Художественная литература» в 1984 году. К этому роману примыкают две небольшие книги, жанр которых трудно определить, и именно о них поначалу зашел разговор на встрече в редакции. Первая — «Бумаги Хасинто Финале» — уже опубликована, вторая находится в печати. Рассказывая об этих книгах, писатель отмечал, что они не продолжают роман, а углубляют и развивают некоторые его линии. Обе они во многом автобиографичны. Первая, уже вышедшая в свет, содержит отрывки из дневников, заметки, статьи, стихи, переводы самого Хасинто и его отца. Книга раскрывает перед читателем душевные метания интеллигента в дореволюционной Кубе, его поиски своего места в революционном процессе.

От разговора об этой книге, непереводимой, как считает писатель, потому что она сама включает поэтические переводы, мы естественно перешли к теме перевода, в частности перевода поэзии. Синтио Витьер переводил стихи французских и венгерских поэтов, регулярно следит за переводами советской поэзии, появляющимися на испанском языке, и твердо убежден, что «стихи может переводить только поэт, который, даже работая с подстрочником, сумеет донести до читателя дыхание истинной поэзии, ощутимое в оригинале, воссоздать новое и удивительное явление, каким бывает каждое талантливое стихотворение».

Поэтому так много дают кубинским читателям переводы, сделанные замечательным поэтом Элисео Диего (его работа над переводами русской и советской поэзии отмечена премией имени А. М. Горького). Не последнюю роль в переводе поэзии играет и созвучность духовного настроя; Фина Гарсиа Маррус рассказывает, как близки были ей стихи Анны Ахматовой, над переводом которых ей выпало счастье работать; она надеется, что в ближайшее время сумеет вернуться к творчеству этого прекрасного поэта.

Синтио Витьер и Фина Гарсиа Маррус работают в Центре по изучению творчества Хосе Марти, увлеченно исследуя наследие великого кубинца, и сейчас приступили к делу, которое считают важнейшим в жизни,— критическому изданию полного собрания сочинений выдающегося писателя и национального героя Кубы.

На традиционный вопрос об их впечатлениях от поездки в СССР гости ответили, что приехали в нашу страну во второй раз — впервые они были здесь ровно десять лет назад в составе туристской группы, побывали в Москве, Ленинграде, Киеве, Волгограде. Сейчас они смогли более подробно ознакомиться с Москвой и Ленинградом, вернуться в Эрмитаж, а главное — побывать в литературных музеях: в доме Толстого, в квартире Достоевского, их любимого писателя.

«Мы оба — дети русского романа,— утверждает Синтио Витьер.— Этот приезд обогатил нас духовно,— говорит он.— Все, что нам удалось сейчас увидеть, помогло укрепить внутренние связи с вашей страной, и мы можем с уверенностью сказать, что личное знакомство и сотрудничество с советскими писателями определит одно из направлений нашей литературной работы».

К 175-летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
У. М. ТЕККЕРЕЯ

Е. ГЕНИЕВА

«С НАСМЕШЛИВЫМ УМОМ И ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ...»

Оценить его по-настоящему удастся лишь со временем... Живи он век спустя, он получил бы то, чего заслуживает, и был бы более знаменит, чем ныне...

Шарлотта Бронте о Теккерее

Портрет Теккерея, выполненный известным английским художником Сэмюэлом Лоуренсом.

В июле этого года мир будет отмечать 175 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811—1863). В преддверии юбилейной даты, окидывая мысленным взором отечественную «теккериану», хочется понять, насколько этот классик известен нашему читателю.

Из библиографической справки узнаем, что Теккерея переводили в России с 1847 года; уже в 50—60-е годы были изданы не только все его большие романы — «Ярмарка тщеславия», «Пенденнис», «Генри Эсмонд», «Ньюкомы», «Виргинцы»,— но и многочисленные повести, рассказы, эссе, которые с завидной регулярностью появлялись на страницах ведущих русских журналов: «Современник» «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Библиотека для чтения» и других. В числе переводчиков Теккерея был сам Иринарх Иванович Введенский, человек редких талантов, блестяще представивший русскому читателю Диккенса. В 1894—1895 годах вышло двенадцатитомное собрание сочинений Теккерея. Критик из «Санкт-Петербургских ведомостей» назвал автора «Ярмарки тщеславия» «властителем дум». Среди писавших о Теккерее мелькают имена русских классиков: Герцен, Гончаров, Тургенев, Некрасов, Писемский, Чернышевский, Толстой, Достоевский.

Но есть мнение обычного читателя. На вопрос: «Какие произведения Теккерея вам известны?» — получаешь ответ: «Ярмарка тщеславия».

Конечно, «Ярмарка тщеславия» [1] — самое известное произведение писателя, занимающее особое место в его творческой судьбе: с ним к Теккерею пришла слава. И все-таки жаль, что из огромного наследия классика, с трудом умещающегося в двадцати шести томах английских собраний сочинений, в сознании нашего читателя на сегодняшний день осталась прежде всего «Ярмарка тщеславия».

[1] Конкретный анализ произведений У. М. Теккерея, в частности «Ярмарки тщеславия». содержится в работах: В. В. Ивашева. Теккерей-сатирик. Изд-во МГУ. 1958; В. Вахрушев. Творчество Теккерея. Изд-во Саратовского ун-та, 1984. *(Прим. авт.)*

ГЕНИЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук, специалист по английской литературе. Автор многих статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Ситуация в известном смысле странная. Когда ищешь ей объяснения, то постепенно приходишь к довольно парадоксальному выводу. Драма Теккерея, по своей поэтике и мироощущению скорее нашего современника, была едва ли не в том, что исторически он оказался современником Диккенса. У себя на родине и у нас, в России, он словно бы находился в тени великого собрата по перу.

Не повезло Теккерею даже в том, что поначалу русскому читателю его представил Введенский [1]. Метод, выработанный на переводах близкого ему по темпераменту Диккенса, Введенский невольно перенес на Теккерея. Не считая нужным, как он говорил, раболепно следовать оригиналу, Введенский желчь и иронию Теккерея нередко заменял легкой, забавной шуткой, «облегчал» Теккерея, упраздняя целые абзацы в его авторских отступлениях, которые находил скучными, а иногда, нимало не смущаясь, вписывал в его книги собственные увлекательные пассажи. Теккерей получился у Введенского каким-то наивным и простодушным. Иными словами, в его переводах нередко нарушалось художественное единство психологической и интеллектуальной по своей сути прозы писателя, которая, конечно же, страдает от любого механического ущемления.

Безусловно, велика роль Введенского в популяризации Теккерея в России. И все же голос английского писателя должен был пробиваться через мощные словесные заслоны. К счастью, он оказался достаточно громким и самобытным: его смогли расслышать жадные до всего нового русские читатели и пристально следившие за новинками западной словесности русские писатели. Но это все-таки был не истинный Теккерей. К тому же русской публике, очарованной, завороженной Диккенсом, его человечностью, искрометным юмором, подлинным демократизмом, не слишком импонировал голос этого ироничного, желчного, пугающего своей психологической обнаженностью английского писателя.

Да что обычный читатель! Вот мнение Л. Н. Толстого, который, как можно судить по его переписке, дневникам, разговорам, не раз подступался к Теккерею. Хранящийся в яснополянской библиотеке экземпляр романа «Ньюкомы» с затертыми уголками страниц — не свидетельство ли он того, что Толстой внимательно, даже как-то пристрастно изучал Теккерея? После обстоятельного знакомства с «Ярмаркой тщеславия», «Генри Эсмондом», «Ньюкомами» в письме к Н. А. Некрасову от 1856 года Толстой замечает: «У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным очень мило. А я нахожу, что скверно... только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи. Теккерей до того объективен, что его лица со страшно умной иронией защищают свои ложные, друг другу противоположные взгляды»[2] Или вот еще: «Существует три признака, которыми должен обладать хороший писатель. Во-первых, он должен сказать что-то ценное. Во-вторых, он должен правильно выразить это. В-третьих, он должен быть правдивым... Теккерей мало что мог сказать, но писал с большим искусством, к тому же он не всегда был искренним» [1].

Видимо, не выраженная, не лежащая на поверхности этическая оценка явлений, столь существенная для Толстого, объективность, которую он принял за ненавистный ему нравственный релятивизм, дали повод для обвинения в неискренности, хотя, безусловно, теккереевский психологизм был ему интересен. Собственно, этому психологизму он дал высокую оценку, но только косвенно, через Троллопа, которого весьма почитал. Но ведь Троллоп весь сформировался на Теккерее, авторе «Генри Эсмонда», «Пенденниса», «Ньюкомов», он последователь Теккерея, только — что весьма существенно для Толстого — лишенный желчи и сарказма своего учителя.

Жаль, что Тургенев, видевший Теккерея в Париже, не оставил воспоминаний, не нарисовал портрет Теккерея, который мог бы стать для нас бесценным. И у Салтыкова-Щедрина, автора «Губернских очерков», так похожих на желчные зарисовки нравов автора «Ярмарки тщеславия», нет суждений о сатирическом даре Теккерея.

Пролистывая собрания сочинений русских классиков в поисках их отзывов о Теккерее, видишь, что имя это чаще всего встречается в перечислении, в основном в ряду с Диккенсом и в связи с ним, что мнения скупы, суждения отрывочны, а иногда и поспешны.

Пожалуй, единственное исключение — Н. Г. Чернышевский. Ему принадлежит подробный, но в целом отрицательный разбор «Ньюкомов». Может быть, причиной суровой оценки Чернышевского стал не слишком удачный перевод Введенского, может быть, поклонник «Ярмарки тщеславия», он вновь ожидал встречи с сатириком. А потому был глубоко разочарован, если не раздосадован, когда столкнулся с явно психологическим романом, элегической тональностью неспешного, раздумчивого повествования, с тем, что Г. К. Честертон тонко назвал «осенним богатством» чувств Теккерея, его восприятием жизни как «печального и священного воспоминания». Вот широко известная цитата из его статьи: «...русская публика... осталась равнодушна к «Ньюкомам» и вообще приготовляется, по-видимому, сказать про себя: «Если вы, г. Теккерей, будете продолжать писать таким образом, мы сохраним подобающее уважение к вашему великому таланту, но — извините — отстанем от привычки читать ваши романы»[2]

Не на одно поколение русских читателей и критиков это мнение Чернышевского оказало влияние. Его слова приводили в статьях, исследованиях, и что же удивляться постепенно утвердившемуся мнению: поздний Теккерей слабоват. А вот уже складывает-

---

[1] О Введенском и его переводах Диккенса и Теккерея см. глубокую по анализу статью Ю. Д. Левина «И. И. Введенский». В кн.: Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX в. Л., 1985, с. 105—144.

[2] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. М.—Л., 1937, т. 60 с. 75

[1] И. Хэпгуд. Граф Толстой дома. Публ и перев. В Александрова. «Вопросы литературы». 1984, № 2, с 163.

[2] Н. Г Чернышевский. «Ньюкомы» Роман В. М. Теккерея. Полн. собр. соч., т IV. М., 1948, с. 515.

Иллюстрации Теккерея к «Книге снобов».

ся и «отрицательная» традиция — русская публика все чаще ограничивала свое знакомство с Теккереем чтением «Ярмарки тщеславия», а постепенно отстала и от привычки читать его другие романы.

Надо сказать, что история издания «Ярмарки тщеславия» сложилась в русской культуре довольно странно. Это произведение выходило десятки раз — особенно в советское время. В 30-е годы М. А. Дьяконовым был сделан новый перевод. Но только один раз, в 1984 году, почти через сто пятьдесят лет после того, как был создан этот замечательный роман, его напечатали так, как задумал Теккерей,— использовав, и то не полностью, рисунки самого автора, который был отменным иллюстратором [1].

Рисунки Теккерея — не шалости его карандаша. Теккерей основательно учился живописи в Париже. Он самым серьезным образом намеревался стать художником и стал бы, если бы... не Диккенс.

В ту пору никому не известный молодой художник Теккерей мечтал иллюстрировать «Записки Пиквикского клуба». Он показал свои зарисовки Диккенсу, неподражаемому Бозу, имя которого уже гремело на всю Англию. Но Диккенс отклонил его кандидатуру, произнеся слова, в которых уже наметился конфликт самых известных английских писателей XIX столетия: «Боюсь, что Ваши рисунки не рассмешат моего читателя».

Да, в нервных, быстрых линиях рисунков Теккерея особенно проявился его желчный, саркастический темперамент. Встреча с Диккенсом и его решительный отказ в известной степени определили дальнейшую судьбу Теккерея. Он оставил карандаш и взялся за перо. Но страсть к рисованию оказалась непобедимой. Он иллюстрировал — и с блеском — почти все свои произведения, в каждую свободную минуту рисовал — на театральных билетах, счетах в ресторане, полях книг, прерывал текст письма, чтобы «договорить» мысль рисунком. Рисовал друзей, близких, создал сотни карикатур и десятки презабавных шаржей на самого себя. Общее число рисунков Теккерея по далеко не точным данным составляет 2000!

Имея такое богатое авторское изобразительное наследие, нелепо издавать «Ярмарку тщеславия» и другие произведения Теккерея без иллюстраций или же с иллюстрациями, даже превосходными, других художников. Рисунки Теккерея — это продуманный комментарий к собственному тексту, не менее важный в структуре его произведений, чем слово, но он только теперь начинает доходить до нашего читателя.

Слава своенравно обошлась с корифеями английского романа — Диккенсом и Теккереем — и у них на родине. Одного, совсем еще юношей, одарила всеми благами, сопутствуя ему до последнего вздоха, не оставила милостями и после смерти. Другого обрекла на литературную поденщину, на безвестное существование под многочисленными псевдонимами и только с публи-

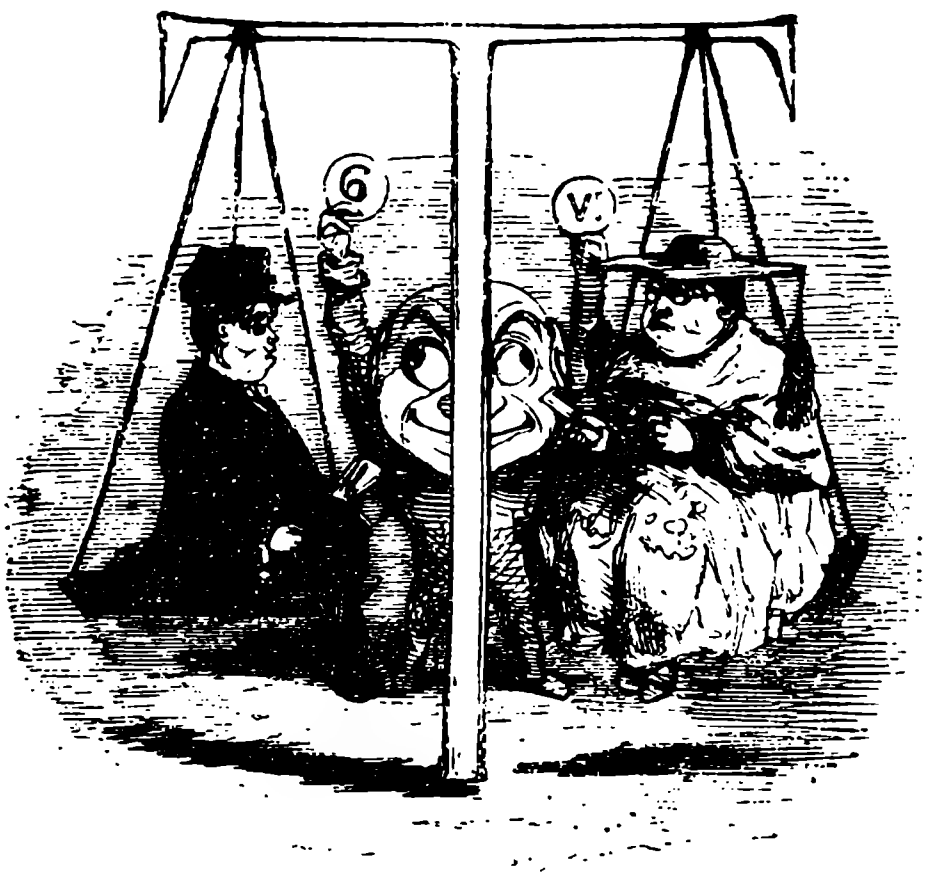
[1] У. М. Теккерей. Ярмарка тщеславия. Роман без героя. Перевод М. Дьяконова. Под редакцией М. Ф. Лорие и Р. М. Гальперины. В 2-х томах. М., Правда, 1984.

кацией «Ярмарки тщеславия», всего за пятнадцать лет до смерти, не столь молодым, усталым, больным человеком, ввела в сонм великих. Наконец на титульном листе «Ярмарки тщеславия» английская публика прочитала настоящее имя автора. В такой безвестности был повинен отчасти сам Теккерей. Неуверенный в своих силах и в читательском признании, вечно сомневающийся в правильности избранного художественного решения, он скрывался за масками. Псевдонимы были в ходу в ту эпоху. Но никто не мог соперничать здесь в изобретательности с Теккереем: Теофиль Вагстафф, Желтоплюш, Толстый Обозреватель, Айки Соломонз, Гагаган, Кэтрин Хэйез, Фиц-Будл, любимая маска Теккерея — Микель Анджело Титмарш, изобретенная по аналогии с Микеланджело и отразившая в известной степени художнические предпочтения Теккерея. И это еще не полный список. Публика не поспевала за полетом фантазии Теккерея. Растерянность чувствовали даже такие зубры, как главный редактор почтенного и овеянного традициями «Эдинбургского обозрения». Подыскивая авторов для журнала, он просит друга сообщить ему, если тот вдруг случайно знает кое-что о «некоем Теккерее», у которого, как он слышал, бойкое перо.

Но вот и долгожданная слава! Однако и она оказалась омраченной непониманием, встретившим «Ярмарку тщеславия». Современники Теккерея, в том числе коллеги по перу, были поражены глубиной мысли автора, его недюжинным умом, разносторонним образованием, монументальностью нарисованной картины, глобальностью философско-эпического образа — «Ярмарки тщеславия» [1], символа человеческого бытия,— тонкостью психологических характеристик, единством и гармонией художественного видения действительности, изяществом слога. Но они были не готовы воспринять сарказм, пронизывающий всю книгу. «С каким облегчением я обратился после ужасающего цинизма «Ярмарки тщеславия» к лучезарной доброте «Домби и сына»!» — воскликнул Карлейль. Не поняла сатирического таланта писателя и Элизабет Браунинг: в романе она увидела лишь злобу и боль, которые «не очищают и не возвышают душу».

Теккерей менял псевдонимы, как перчатки, не только потому, что был не уверен в себе. Притворившись в «Ярмарке тщеславия» Кукольником, то всезнающим, то равнодушно-отстраненным, предоставляющим своим героям как бы полную свободу действия, Теккерей на самом деле повел с читателем весьма непростую литературную игру. Если автор действительно одно лицо с хладнокровной убийцей Кэтрин из одноименной повести или с отпетым негодяем Барри Линдоном («Записки Барри Линдона, эсквайра») и если им он передоверил свои суждения о веке, нравах, морали, что ж, поневоле пришлось бы согласиться с Элизабет Браунинг: такая проза не возвышает душу.

Но в игре, затеянной Теккереем, когда повествователь и автор не одно и то же



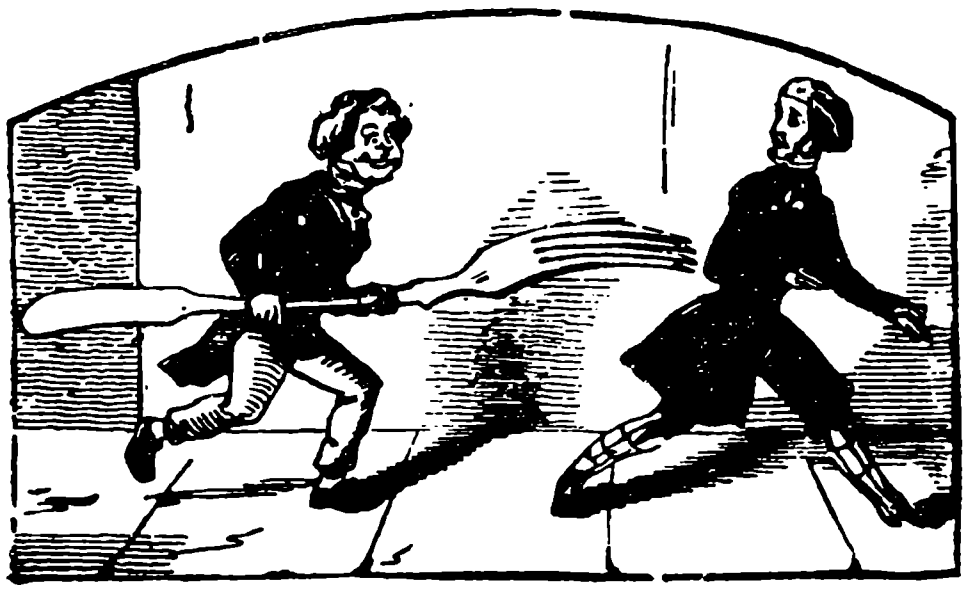
Иллюстрации Теккерея к «Книге снобов».

лицо (в самом деле, Пенденнис, герой одноименного романа, вовсе не alter ego писателя), была сокрыта литературная позиция, незнакомая времени, привыкшему к категоричности нравственных суждений, строгому делению на добро и зло.

Викторианская публика твердо знала — в конце романа порок будет наказан, добродетель восторжествует. Даже великий Диккенс, которого она боготворила, не угодил этому капризному судье концовкой одного из своих лучших романов «Большие надежды», где будущее героев, усталого от жизни Пипа и поблекшей в буре жизненных невзгод красавицы Эстеллы, омрачено памятью о прошлых бедах и собственном эгоизме.

Ну, а Теккерей — какую истину проповедовал он устами пройдох, вралей, великосветских распутниц, повес и попросту грешных, слабых людей? Казалось, он все отрицал и все осмеивал. Его шутка в момент могла обернуться едким сарказмом. Нет у него и ригористичности нравствен-

[1] Старый русский перевод заглавия романа «Базар житейской суеты», предложенный И. Введенским, на мой взгляд, точнее выражал замысел Теккерея.



Скетчи Теккерея, опубликованные журналом «Панч».

ного урока. Его, впрочем, и не может быть. Теккерей разглядывает своих героев со всех возможных сторон. Создается впечатление, что он боится упустить даже самое незначительное проявление характера и всячески сторонится однозначных определений, все время примериваясь к тому, какой взгляд на человека правильнее и точнее.

Подобная эстетика, эстетика полутонов, порожденная новым взглядом на человека, была тогда еще в будущем. Ее начнут разрабатывать в конце XIX столетия (Дж. Элиот, Дж. Мередит, Р. Л. Стивенсон), освоят в начале XX века (Г. Джеймс, В. Вулф, Дж. Джойс и др.). Современникам Теккерея его маски, пантомима с Кукольником, отступления, которыми пестрят его романы и которые усложняют собственно авторскую позицию, казались чуть ли не художественными просчетами.

Даже Герберт Уэллс, человек уже новой эпохи, не увидел особенностей поэтики и теории игры в прозе Теккерея: «...ему была свойственна какая-то глубоко укоренившаяся пошлость. Пошлой выглядит его притворно вдумчивая, наигранная поза светского человека». Уэллсу в известной степени вторил Бернард Шоу, который назвал сложные отношения автора, рассказчика и повествователя в прозе Теккерея «уловками», но все же заметил: «Теккерей говорит правду, даже вопреки своей позиции... Он никогда не лжет».

Если уж не поняли лучшие умы эпохи, что говорить об обычных соотечественниках и записных критиках. И вот в статьях, рецензиях, обзорах замелькало слово «циник». Отчасти Теккерей давал для этого повод. Его острый, как бритва, язык, его беспощадные шутки, высмеивающие все неестественное, вычурное неискреннее, ходульные чувства и затасканные мысли, с легкостью умножали ряды его недоброжелателей и врагов. Авторитетов, кроме разума и природы, для него, последователя английских просветителей, прежде всего Филдинга, не существовало. Его перо разило монархов, политических деятелей, собратьев по перу.

Принято считать, что Теккерей не любил романтиков. Это правда наполовину. Он не принимал лишь некоторые стороны романтической этики и эстетики, точнее, их издержки. Ему, «апостолу реализма», как удачно назвал Теккерея его современник, видный критик Дэвид Мэссон, претили экзальтация, преувеличения, игра героев и страдальцев, которой иногда грешили романтики. Недаром у «Ярмарки тщеславия» есть полемический, очень важный подзаголовок: «Роман без героя». Постоянно, даже как-то слишком настойчиво Теккерей подчеркивал: он изображает обычных, часто слабых людей. Это тоже вызывало недоумение.

Важно, что Теккерей, как и Диккенс, был одним из первых, кто почувствовал опасности байронизма, и, может быть, поэтому был столь резок и не всегда справедлив по отношению к Байрону: «Мне не по вкусу красота, которой, словно театральной сценой, нужно любоваться издали. Что проку в самом изящном носике, если кожа его грубостью и цветом напоминает толстую

оберточную бумагу, а из-за липкости и глянца, которыми его отметила природа, он кажется смазанным помадой? И, что бы ни говорилось о красоте, станете ли вы носить цветок, побывавший в банке с жиром? Нет, я предпочитаю свежую, росистую, тугую розу Сомерсетшира любой из этих роскошных, аляповатых и болезненных диковин, которые годятся лишь в стихи. Лорд Байрон посвятил им больше лицемерных песнопений, чем любой иной известный мне поэт. Подумать только, темнолицые, толстогубые, немытые деревенские девахи с приплюснутыми носами и есть «синеокие рейнские девы»! Послушать только — «наполнить до краев бокал вином самосским»! Да рядом с ним и слабое пиво покажется нектаром, и, кстати сказать, сам Байрон пил один лишь джин»

Любая поза, любая неестественность, самолюбование и самооправдание, в чем бы они ни проявлялись — в философии или в обычной жизни,— получали резкий отпор с его стороны. «Мистическая философия» Гюго заслонила от него величие автора «Отверженных». В пылу полемики он писал: «Тяжел удел пророков и людей того возвышенного положения, какое занимает месье Виктор Гюго: им возбраняется вести себя как прочим смертным и воленс-ноленс приходится хранить величие и тайну... пророк Гюго не может даже малость исполнить в простоте и ищет для всего особую причину».

Само понятие кумира было чуждо Теккерею Все его коллеги благоговейно склонялись перед Вальтером Скоттом, патриархом английской литературы, отцом современного романа. И Теккерей считал себя его учеником. То, что он в совершенстве изучил метод Вальтера Скотта, чувствуется в его исторических романах — «Генри Эсмонде», «Виргинцах». Но видел он и слабости Скотта· прежде всего просчеты его психологизма, некоторую искусственность интриги, что и показал в своих отчаянно смешных пародиях — «Опыт продолжения романа Вальтера Скотта «Айвенго», «Ревекка и Ровена». Своими же серьезными книгами, «Генри Эсмондом», его любимым детищем, которое он было хотел оставить после себя как «визитную карточку», и «Виргинцами» доказал, что его романы — новый, более зрелый, по сравнению со Скоттом, этап в развитии исторической прозы.

Романтикам, во всяком случае, так они нередко постулировали, необходимы были особые условия для творчества (личные драмы, дальние путешествия). Теккерей же с каким-то особым упрямством говорил о писательстве как о ремесле; терпеть не мог рассуждений о вдохновении, музе — все это, считал он, уловки бездельников Моцарт писал свои шедевры в шуме трактиров, в дороге, писал, потому что ему было что сказать. Не жди вдохновения, работай каждый день, неважно, хорошее у тебя настроение или отчаянно плохое, отрабатывай руку, учась копировать природу, будь профессионалом — вот заветы Теккерея начинающим писателям.

Но при этом Теккерей, вдумчивый и тонкий критик, способен был видеть в романтиках ценное, прогрессивное, новаторское. Вордсворт, с его точки зрения, велик, потому что сумел заставить поэзию говорить простым, естественным языком. «Вордсворт намного опередил свое время»,— как-то заметил Теккерей. Ему же принадлежит и высокая оценка американского романтика Вашингтона Ирвинга.

Видимо, Теккерей внимательно изучал и метод романтической иронии. В самом деле, в иронии, пронизывающей его собственные произведения, в иронически-рефлективном отношении ко всему на свете, и в первую очередь к самому себе, так и слышатся отголоски иронии романтиков. Вспоминаются слова Г. К. Честертона: «Замысел «Книги снобов» мог бы с тем же успехом принадлежать Диккенсу... и многим другим современникам Теккерея. Но только Теккерею пришел в голову подзаголовок: «Написанная одним из них».

Отдельного упоминания заслуживают отношения Теккерея с великим «неисправимым романтиком» Диккенсом. Не принимая в целом его эстетики, в которой немало романтических черт, часто споря с ним о судьбах реалистического романа, он высоко ценил Диккенса, его «божественный дар», поразительный, яркий юмор, сатирические обличения, его высокую гуманистическую проповедь, перед которой смолкают все критические суждения.

Мастер жанра пародии, он все же не осмелился «поднять руку» на Диккенса, с которым, конечно, всю жизнь соперничал. Но прекрасно понимал, что уступает своему сопернику в главном — в умении открыть любое сердце. Как-то на вопрос, заданный ему в лоб, об отношении к Диккенсу, Теккерей только развел руками, сказав: «Гений».

Как ни далеки были они друг от друга, все же многое их объединяло, и в первую очередь гражданское, нравственное отношение к искусству и задачам писателя. Воспитывать ум, смягчать сердце, учить сострадать ближнему, ненавидеть порок — вот задачи любого честного писателя, в том числе и писателя-сатирика, которого Теккерей скромно назвал «проповедником по будням».

Скетчи Теккерея, публиковавшиеся журналом «Панч».

Перечитывая сегодня, на исходе XX столетия, программную лекцию Теккерея «Милосердие и юмор», созданную более чем век назад и не потерявшую воспитательного значения по сей день, недоумеваешь, как могло случиться, что автора этих высоких, прекрасных строк так часто называли циником, мизантропом, себялюбцем. Он же, устав от этого несмолкающего хора и оставив надежду доказать недоказуемое, на пороге своей смерти отдал суровый приказ дочерям: «Никаких биографий!» И они, вынужденные подчиниться воле отца, сделали все от них зависящее, чтобы затруднить доступ к личным бумагам, черновикам, переписке. Монографии о Теккерее поместятся на нескольких полках, не говоря уже о биографиях, пересчитать которые хватит пальцев одной руки.

И все же что это был за человек? Джентльмен — так называли Теккерея все, кому хоть раз довелось лично столкнуться с ним в жизни, совсем нелегкой у него самого. Банк, в который были вложены деньги, оставленные отцом, прогорел, и Кембридж, где Теккерей готовился по юридической части, так и остался неоконченным. Нужно было думать о заработке. Конечно, и мать, и ее второй муж, майор Кармайкл-Смит, с которым Теккерей был очень дружен, оказывали посильную помощь молодому человеку. Но нужда в заработке, постоянном занятии стала особенно острой, когда двадцати пяти лет Теккерей женился на Изабелле Шоу. Браку этому не суждено было стать счастливым. Довольно быстро стало ясно, что Изабелла душевно больна. Недуг усилился с рождением дочерей. Рассудок ее настолько помутился, что для присмотра за Изабеллой пришлось нанять специальную женщину. Теккерей же оказался вдовцом при живой жене с двумя маленькими дочерьми на руках.

Всю жизнь Теккерея мучил ужас перед нищетой. Поэтому он никогда не отказывался от работы, сотрудничал со многими журналами, выступал с лекциями, отправлялся по поручению журналов или издательств в странствия: в Ирландию, Италию, Бельгию, Соединенные Штаты, на Ближний Восток. Вернувшись, чаще всего делился своими путевыми наблюдениями с читателями. Его подгонял страх, что в случае смерти дочери могут остаться без средств к существованию. Поэтому и после успеха «Ярмарки тщеславия», когда, казалось, положение его стало надежным, он, может быть, слишком много работал и не щадил себя. Труд, не только писательское ремесло, но любой честный труд, вызывал в нем глубокое уважение. Человек искренний, он не стыдился и разговоров о гонораре — как иначе писателю обеспечить себе и своей семье хлеб насущный?

Конечно, и у Теккерея был свой стиль работы, расходящийся на практике с тем идеалом, что он рисовал в статьях или беседах, и который, надо сказать, приводил в недоумение, а то и в ужас его друзей. Лишенный домашнего уюта, он любил провести вечер в их кругу, хотя наутро ему надо было послать издателю главу, которую он и не начинал писать. Он не скрывал, что хороший ужин ценит не меньше, чем добрую компанию. Нередко он брался за перо, когда в передней уже ждал посыльный от редактора или когда оставались считанные часы до отъезда в гости или путешествие. Видимо, Теккерею по его темпераменту нужна была, как бы мы сказали сейчас, стрессовая ситуация. Попросту же говоря, ему особенно хорошо работалось, когда его душевные и эмоциональные силы были напряжены до предела. Такая работа была на износ, и он заплатил за свой образ жизни ранней смертью — в 53 года.

Свои невзгоды — душевную болезнь жены, необходимость самому воспитывать дочерей — он нес с достоинством, не жалуясь, не сетуя на судьбу, не требуя к себе постоянного сочувствия. Напротив, мало кто был посвящен в его тайну. Столь же достойно он встретил и второй удар судьбы — разрыв с Джейн Брукфилд, женой его близкого друга, женщиной, которую он пылко любил. Поскольку им не удалось соединить свои судьбы, он уничтожил все, что могло бы скомпрометировать ее или бросить тень на доброе имя его дочерей.

Тот, кого молва называла циником, скептиком и мизантропом, был мягким, отзывчивым, легко ранимым и в высшей степени терпимым человеком. Чужая беда быстро становилась его болью, и помогал он не только добрым советом, но и делом. Многих он ободрял в тяжелые минуты, многим помог деньгами, причем редко принимал долги назад. Обычно он говорил: «Отдайте тем, кому это сейчас нужнее». Особенно трогательно Теккерей заботился о старых художниках и актерах. Известно, что одной пожилой актрисе, оставшейся без помощи, он регулярно посылал коробочку с лекарством, где на самом деле лежали монеты, а на крышке было написано его рукой: «Принимать по одной в особо трудную минуту».

И в ссоре с Диккенсом этот «циник» повел себя благородно. Вспыльчивый, легко ранимый Диккенс поверил сплетням какого-то писаки, будто бы Теккерей рассказывал в клубе о его личной жизни. Само предположение это было оскорбительно для Теккерея. Разгорелся скандал, который Теккерей погасил, первым протянув Диккенсу руку примирения. Что ж, как нельзя лучше подходят к Теккерею его собственные слова: «С насмешливым умом и добрым сердцем».

Бывает, долго знаешь человека, и вдруг какая-то реплика, улыбка, жест по-новому раскроют его характер. В общем, ту же цель — познакомить заново с давнишним знакомым — преследуем и мы, предлагая читателям подборку его статей и рисунков.

Читая эти прекрасные, мудрые страницы, рассматривая его шаржи, мы еще раз задумываемся над творческим кредо Теккерея, последовательного писателя-реалиста. Познакомимся мы и с его удивительным эссеистическим даром. Вот, скажем, эссе «Гёте в старости». Теккерей написал

его по просьбе английского критика Дж. Г. Льюиса для книги «Жизнь Гёте» (1855). Эссе основано на личных воспоминаниях: Теккерею посчастливилось увидеть Гёте в далекую пору своей молодости, во время путешествия по Германии. Здесь вообще-то ничего не сказано ни о значении Гёте для мирового искусства, не названо ни одно его произведение, даже портрет очерчен бегло — всего лишь несколько штрихов. Но поразительно, что из этого «ничего», видимо, из-за гармонии тона рассказа, возникает образ великого Гёте, высокой классической простоты, и образ времени — особой, неповторимой атмосферы тех лет в Веймаре. К тому же проникаешься обаянием личности самого Теккерея — широтой его ума, щедростью сердца, словом, величием духа.

Кто знает, может быть, наши театральные режиссеры, перечитав романы Теккерея, существующие теперь в переводах наших мастеров — Е. Д. Калашниковой и М. Ф. Лорие[1], порадуют нас новой постановкой, которая будет под стать «Ярмарке тщеславия», осуществленной в 50-е годы И. Ильинским. Создатели мультфильмов подарят маленьким зрителям фильм по чудесной сказке Теккерея «Кольцо и роза». А работники телевидения, отмечая 175 лет со рождения Теккерея, не покажут в который раз «Ярмарку тщеславия», но расскажут своему многочисленному зрителю о великом романисте, сатирике, художнике, поэте, литературном критике — словом, о замечательном человеке.

[1] См. У. М. Теккерей. Собр. соч. в 12-ти томах. Под общей редакцией А. Аникста, М. Лорие, М. Урнова. М., Худож. лит-ра, 1974—1980.

У. М. ТЕККЕРЕЙ

Милосердие и юмор[1]

...Разве наши писатели-юмористы, веселые и добрые проповедники по будням, сделав полнее нашу меру счастья, беззлобного смеха и веселья, острее — наше презрение ко лжи и фальши, священную ненависть к ханжеству, глубже — проникновение в истину, любовь к честности, знание жизни и разумную осмотрительность в окружающем мире, не поддержали от души святое дело, собравшее сегодня всех вас в этом зале, дело любви и милосердия, которому и вы сочувствуете, дело защиты бедных, слабых и несчастных, благую миссию любви и милости, мира и доброй воли к ближним? То же, в чем вас красноречиво убеждают почтенные наставники, которым вы благосклонно внемлете по воскресеньям, внушает вам на свой лад и в меру своего таланта писатель-юморист, свидетель повседневной жизни и обычаев.

Поскольку вас сюда призвало милосердие и вы оставили у входа лепту, чтобы помочь достойным людям, в ней нуждающимся, мне хочется надеяться, что представители моей профессии способствовали милостивым целям и добрым словом или хотя бы добрым помыслом содействовали счастью и добру. Коль скоро юмористы называют себя проповедниками по будням, прибавилось ли блага в мире от их проповедей, стали ли люди счастливее, лучше, участливее к ближним, склонились ли к делам добра, к любви, терпению, прощению и жалости, прочитав Аддисона, Стила Филдинга, Голдсмита, Гуда и Диккенса? Я очень в это верю, как и в то, что юмористы пишут, движимые милосердием, чтобы отпущенными свыше средствами приблизить цель, объединившую сегодня всех присутствующих.

Любовь к себе подобным — добродетель весьма неясная, расплывчатая и нетрудная, нимало не стесняющая своего обладателя, который блистает ею в книгах, загорается в статьях, но дома, после трудов праведных, как говорится, ничем не превосходит остальных людей. Тартюф и Джозеф Серфес, Стиггинс и Чэдбенд, всегда взывающие к лучшим чувствам, ничуть не добродетельнее тех, кого они изобличают и обманывают, они поистине достойная мишень для смеха и суда сатирика, но и само их ханжество — лишь дань, которую, по старой поговорке, порок платит добродетели, и тем оно и хорошо, что познается по плодам его, ибо и тот, кто плохо следует добру, может учить хорошему: на золото, положенное фарисеем на тарелку для пожертвований из похвальбы или из лицемерия, вдов и сирот накормят точно так же, как на деньги человека праведного. И мяснику и булочнику приходится считаться не с намерениями, а отдавать свои товары в обмен на плату.

Не усмотрите тут намека на то, что литераторы напоминают мне Тартюфа или Стиггинса, хоть среди нашего сословия, как всюду, встречаются и им подобные.

Писатель юмористического склада, пожалуй, от природы склонен к состраданию: он наделен великой чуткостью, мгновенно отзывается на боль и радость, легко угадывает свойства окружающих людей, сочувствует их смеху и любви, слезам и развлечениям. Участие и человеколюбие так же для него естественны, как для иных вспыльчивый нрав, рыжие волосы или высокий рост. И посему приверженность добру, которая порою отличает литераторов, я не вменяю им в особую заслугу. Милость, проявленная на бумаге, не требует самоотверженности, и самые щедрые излияния прекрасных и высоких чувств не разорят нас ни на пенни. Сколько я знаю, писатели ничуть не лучше остальных людей, и те, что пишут книги, не лучше тех, что вносят цифры в гроссбух или занимаются каким-нибудь иным делом. Однако

[1] Настоящая лекция впервые была прочитана с благотворительной целью в Нью-Йорке в 1852 году, во время путешествия У. М. Теккерея по Америке с циклом лекций «Английские юмористы XVIII века».

Статьи У. М. Теккерея приводятся в некотором сокращении.

воздадим им должное за то добро, орудием которого они являются, как мы воздали бы владельцу миллиона за сотню золотых, пожертвованных им церкви после проповеди о милосердии. Он никогда не ощутит нехватки этих денег, нажитых в удачной сделке за минуту, и знает, отдавая их, что банковский счет, почти неисчерпаемый, всегда к его услугам. Однако, радуясь благому делу, следует воздать и благодетелю, и нужно выказать сердечность и благожелательность талантливым писателям, столь щедро наделенным и щедро расточающим для нас сокровища ума, и возблагодарить за те бессчетные дары, вручать которые доверило им провидение.

Я как-то сказал,— возможно, не слишком точно, ибо определения всегда страдают неполнотой,— что юмор сочетает остроумие с любовью; в одном, по крайней мере, я уверен: чем лучше юмор, тем в нем больше человечности, тем больше он проникнут участием и добротой. Любовь эта из тех, что не нуждается в словах и внешнем выражении; так добрый отец семейства, беседуя с женой или детьми, не заключает их в объятия поминутно, не гладит по волосам и не ласкает, как и влюбленный не пожимает то и дело ручку своей дамы — по крайней мере так мне думается — и не нашептывает на ушко: «Боготворю тебя, любимая!» Любовь видна в его поступках, в его верности, в неизбывном желании видеть избранницу счастливой; главу семьи такое чувство на целый день усаживает бодро за работу, скрашивает постылый труд и тягостные странствия, торопит домой в счастливом нетерпении обнять жену и деток. Его любви не свойственна порывистость, это сама жизнь. Конечно, и она в положенное время нежит и голубит, но преданное сердце излучает ее каждое мгновенье, даже когда жены нет рядом и малыши не прижимаются к коленям. Таков и милосердный юмор: по-моему, в том мягком дружелюбии, которым проникнуты и строки, и душа отзывчивого, чуткого писателя, заключено условие его существования и выражается присущий ему взгляд на мир. Пусть на странице вам не встретится ни одного смешного или трогательного слова, пусть вам не доведется смехом и слезами приветствовать талант писателя, юмор его вы все равно узнаете. Та ошибка мыслей, что вызывает смех и слезы, должна рождаться изредка. Она похожа на объятия, которые я вспоминал недавно: хотя отец порою прижимает детей к сердцу, он вряд ли станет осыпать их то и дело поцелуями. Равно и в книге не должно быть слишком много шуток, тонких чувств, кипения страстей и бурного веселья. Читать такую книгу, в которой что ни фраза, то острота или в которой сентиментальный автор чуть ли не каждую страницу орошает собственными слезами или склоняет к ним читателя, бывает очень трудно. Избыток слез и смеха подозрителен, их подлинность не вызывает доверия; как все в жизни мужчины, они должны быть искренни и мужественны, и если он смеется или плачет не к месту или слишком часто, страдает его чувство собственного достоинства...

Сегодня в Англии роль юмориста-проповедника безмерно выросла, круг его слушателей огромен, еженедельно, ежемесячно счастливая паства стекается к нему, чтобы без устали слушать его проповеди. Я нахожу, что мой приятель, мистер «Панч», сегодня так же популярен, как был всегда, с минуты своего рождения; я нахожу, что мистер Диккенс завоевал еще больше читателей, чем в годы, когда он только начал радовать весь свет своим несравненным пером юмориста. У нас есть и другие литературные группировки: помимо упомянутого «Панча», который использует свои журнальные страницы, как проповедник свою кафедру, есть почитатели у Джерролда[1], многочисленные, преданные этому проницательному мыслителю и блистательному остроумцу, и есть поклонники — нельзя тут не признаться, надеюсь, это и ныне так,— у «Ярмарки тщеславия», автора которой лондонская газета «Таймс» представила недавно человеком незаурядных способностей, но мрачным мизантропом, ни в чем не видящим хорошего, которому и небо кажется всегда ненастным, а не синим и все вокруг — лишь жалкими грешниками. Но таковы мы все: любой писатель и любой читатель, мне известный, и каждый живший на земле, кроме Единственного. Я не могу не говорить ту правду, которая мне открывается, и не описывать того, что вижу. Писать иначе значило бы подменять фальшивкой ремесло, которое я, по высшей воле, получил в удел, идти наперекор собственной совести, которая подсказывает мне, что люди слабы, что правду нужно назвать по имени, ошибки — признавать, молиться о прощении и что любовь царит над всем.

Мне вспоминается то доброе, что за последние годы написали милостивые английские юмористы, и признаюсь, я ощущаю гордость — если, конечно, по доброте своей вы к их числу относите и вашего оратора,— когда воображаю себе блага, полученные обществом от людей нашей профессии. Все благородное, страдающее, грустное и нежное, что было воспето Гудом в «Песни о рубашке», впервые напечатанной «Панчем», является, бесспорно, высшим милосердием по отношению к ближним — такой наставник и благотворитель заслуживает и признательности и почтения. А удивительное, всем вам хорошо известное стихотворение «Мост вздохов» — можно ли читать его без нежности и трепета перед Творцом всего земного, без сострадания к человеку, без благодарности к отзывчивому гению, самоотверженно поющему для нас?

Я лишь однажды видел их автора, но мне всегда отрадно сознавать, что несколько похвальных слов в адрес этих замечательных стихотворений (странно сказать, прошедших незамеченными в журнале, где мистер Гуд их напечатал), несколько похвальных слов, которые я написал в статье, достигли его слуха на смертном ложе и поддержали в пору мужественного отречения и боли.

---

[1] Дуглас Джерролд (1803—1857) — английский драматург, юморист, сатирик.

Если говорить о благих деяниях мистера Диккенса, о милостях, которыми он осыпал всех: и нас, и наших детей, людей необразованных и образованных, живущих здесь, в Америке, и дома и говорящих на одном и том же языке,— разве нам всем, и мне и вам, не за что благодарить этого доброго друга, который утешал и чаровал нас долгими часами, принес веселый смех и радость во множество домов, доставил счастье стольким детям и одарил нас славным миром добрых мыслей, честных причуд, нежных привязанностей, искренних удовольствий? Иных его героев я ощущаю так, словно он сочинил их мне в подарок,— они так восхитительны, что от знакомства с ними чувствуешь себя счастливее и лучше, будто пожив среди прекрасных людей, мужчин и женщин. Целительно дышать с ними одним воздухом и право говорить с ними воспринимаешь как любезность с их стороны; вы расстаетесь с ними, став лучше, и даже ваши руки точно делаются чище от их пожатий. А есть ли более убедительная проповедь милосердия, чем «Рождественская песнь» Диккенса? Какой волной радушия захлестнула она всю Англию, сколько гостеприимных очагов зажгла в рождественские дни, какие реки добрых чувств и святочного пунша стали изливаться, какие полчища индеек и говяд были зажарены во славу праздника! А что касается его привязанности к детям, должно быть, шишка чадолюбия достигла у него чудовищных размеров. Я сам знаю двух девочек, которые раз десять кряду перечитывают его романы, прежде чем пролистнут разок унылые нравоучения собственного папеньки. Одна из них, когда ей хорошо, читает «Николаса Никльби», когда ей плохо, берется за «Николаса Никльби», когда болеет, требует «Николаса Никльби», когда ей нечего делать, открывает «Николаса Никльби» и, наконец, перевернув последнюю страницу, тотчас принимается за него сызнова. Эта чистосердечная, юная критикесса открыто заявила: «Книжки мистера Диккенса мне нравятся гораздо больше твоих, папа» — и много раз просила этого последнего, чтобы он написал такую книжку, как у Диккенса. Кому это под силу? Каждый говорит, что лежит у него на душе, на свой лад и в своей манере, но счастлив тот, кто наделен таким пленительным талантом, что увлекает за собой сердца детей во всем мире.

Помню, как раз по выходе знаменитого «Николаса Никльби» мне попалось на глаза письмо школьного учителя из Северной Англии, то было послание хотя и мрачное, но удивительно смешное. «Опрометчивое сочинение мистера Диккенса,— писал этот горе-учитель,— подобно смерчу пронеслось по школам Севера». Автор был владельцем дешевого учебного заведения, такого же, как и Дотбойс-холл. Их было много на севере страны. Родители узнали стыд, неведомый им прежде, пока их не осмеял доброжелательный сатирик, родственники были напуганы, десятки маленьких воспитанников — отозваны домой, злосчастные владельцы закрывали свои опустевшие школы, и каждого из них, порой несправедливо, величали Сквирсом, и все же детским спинам теперь не доставалось столько палочных ударов, порции мяса стали чуть больше и чуть мягче, а молоко не разводилось до такой небесной синевы. Каким сиянием доброты переливается сам воздух вокруг Крамльза, Феномена и незадачливых комедиантов в этой чудной книге! Какой там юмор! А сколько добродушия! Я положительно согласен с мнением юной критикессы, отзыв который приводил недавно, и признаюсь, что восхищение «Николасом Никльби» в моей семье не знает исключений.

Можно было бы перечислять и дальше весь клан добрых людей, с которыми нас сблизил этот милостивый гений, но это слишком долго и излишне. Ибо кто не любит Маркизу и Ричарда Свивеллера? Кто не сочувствует не только Оливеру Твисту, но и его дружку — Ловкому Плуту? Кто не пользуется несравненным счастьем иметь в своем распоряжении «Николаса Никльби»? Кто не благословляет Сэру Гэмп и не дивится мистеру Гаррису? И кто не чтит главу известного семейства, сраженного несчастьями, но мудро и величественно замышляющего «положиться на уголь» — доку, эпикурейца, нечистоплотного и неотразимого Микобера?

Как бы я ни возражал против литературной манеры мистера Диккенса, его талант внушает мне восторг и удивление, я узнаю в нем миссию Божественного провидения — признáюсь, что произношу эти слова с почтением и трепетом,— которое в один прекрасный день осушит слезы и утолит печаль всех плачущих. На празднестве любви и доброты, которым осчастливил мир его отзывчивый, великодушный, милостивый гений, я с благодарностью приемлю свою долю. Приемлю, восхищаюсь и благословляю трапезу.

Мысли о тяготах и радостях писательской профессии, высказанные Микель Анджело Титмаршем, эсквайром[1]

«Фрейзерз мэгэзин», март, 1846 года

Господствующая точка зрения, что сочинителям, увы, не выделяют средств и не дают свободы создавать в тиши бес-

[1] Настоящие отрывки приводятся из статьи Теккерея «История литератора Ламана Бланшара и мысли о тяготах и радостях писательской профессии, высказанные его собратом по перу Микель Анджело Титмаршем, эсквайром, в письме к его преподобию Фрэнсису Сильвестру».

смертные шедевры и потому они растрачивают свой талант на однодневки и так далее и тому подобное, мне представляется необоснованной подчас и вредной. Неловко признаваться, но большинство писателей, имей они твердое денежное содержание, должно быть, навсегда оставили бы перо, а что до остальных — труд, продиктованный потребой дня, лучше всего отвечает их способностям. Пришли сэр Роберт Пиль [1] письмо и чек на 20 000 фунтов и поручи распределить их между пятьюдесятью самыми достойными авторами, чтобы они писали на досуге великие творения, на ком бы вы остановили выбор?

Дельцы книжного бизнеса, радеющие о серьезных сочинениях, не менее бурно протестуют против модной развлекательной литературы, оно и немудрено. «Таймс», например, привела на днях отрывок из труда некоего доктора Кэреса, лейб-медика короля саксонского, сопровождавшего недавно своего августейшего повелителя в турне по Англии и написавшего об этом книгу. Среди иных чудес столицы известный путешественник снизошел до посещения громадной и, несомненно, самой примечательной из шумных лондонских диковин — он побывал в типографии «Таймс», о чем, как истый человек науки, дает нам чрезвычайно скверный, глупый и невразумительный отчет.

Он признается, что огромные листы бумаги внушили ему отвращение, которое еще усилилось от мыслей, навеянных их размерами. Ее здесь за день тратят столько, что хватило бы на целый толстый том. Философ отдал бы десятилетие подобному труду. Печатать ежедневно по такому тому грешно по отношению к философам, которые не пользуются спросом, грешно по отношению к читателям, которых приучают потреблять (и, хуже того, смаковать) поспешные, сиюминутные суждения и легковесные, призрачные новости вместо того, чтобы просвещать и насыщать пищей попроще и поосновательней.

О, сколько раз мы слышали подобные протесты знатоков: публика тратит досадно много времени на книги-однодневки, писатели, которые могли бы посвятить себя шедеврам, разменяются на миллионы беглых зарисовок. Даже добрый, мудрый, славный доктор Арнольд [2] скорбит о пагубном пристрастии, которым воспылали его питомцы к «Запискам Пиквикского клуба» — в Итоне и впрямь читают «Панч» не реже, чем латинскую грамматику.

Отстаивая свободу совести против любого, самого неоспоримого авторитета, против самого доктора Арнольда, который представляется мне величайшим, мудрейшим и лучшим из людей, родившихся за восемнадцать последних столетий, давайте выскажемся откровенно: «Почему каждому дню не иметь свою литературу? Почему писателям не делать легких зарисовок? Почему читателям не наслаждаться каждый божий день или хотя бы зачастую приятным литературным вымыслом?» Разумно и справедливо, если с этим не согласен доктор Арнольд. Его душе, возвышенной и чистой, должно внимать неблагосклонно побасенкам о Джингле и Тапмене, присловьям и причудам Сэма Уэллера. Банальности и вольности не подобают его обществу, и безобидному балагуру лучше, смешавшись, удалиться, как он бы смолк и присмирел в соборе. Увы, не все похожи на бесплотных ангелов. С горних высот своей добродетели доктор Арнольд только и мог что созерцать, печалясь, несовершенства маленьких людишек где-то там внизу. Я не шутя хочу сказать, что обладатель столь возвышенных и благородных чувств не в силах был судить о нас и наших прегрешениях по справедливости. Порою нездоровый человек испытывает дурноту и слабость, нюхая цветок, однако же виной тому отнюдь не скверный или ядовитый запах; и, вопреки всем докторам на свете, я нахожу, что в смехе, как и в добрых, честных романах, нет ничего предосудительного.

Смех, разумеется, не высший человеческий удел, и дар писать смешно не высшая способность гения. Не в большей степени, чем чистка башмаков. Но те, кому положено, не требуя наград и привилегий для своей профессии (если это порядочные и достойные чистильщики), честно и хорошо делают свое дело и, не считая его высшим проявлением гениальности, по собственному разумению выбирают себе святого покровителя — Мартина или Уоррена, празднуют его день, ваксят что есть мочи башмаки, обслуживают клиентов и в поте лица зарабатывают свой хлеб.

Я выбрал это неизящное сравнение совсем не для того, чтобы принизить труд писателей, а только потому, что ремесло чистильщиков не хуже остальных годится для примера. Так или иначе все люди повседневно трудятся, чтобы добыть свой хлеб и кров. Не будь необходимости, никто бы не работал или работал, может быть, но очень мало. Порою вместе с выгодой вы пожинаете признание, но заработок остается главным побуждением. Не стоит закрывать на то глаза или воображать, будто журналисты пишут для почестей и славы и устремляются вперед под действием необоримых порывов гениальности. Если бы за перо брались одни лишь гении — чего не дай нам боже,— много ли книг было бы написано? И многие ли могут оценить творения гения?

Честно делать свое дело, увеселять и просвещать нынешних читателей, в свой час сойти в могилу с чувством хорошо исполненного долга — да будет это нашим общим жребием по божьей воле. Будем же довольны своей участью мастеровых литературы, которые выкладывают правду, как повелевает совесть, не применяют недозволенных приемов, не опускаются до раболепных славословий и выполняют роль не столь возвышенную, но мужественную и почтенную.

Очень возможно, сто лет спустя в литературном труде так увеличится потребность, так разрастется книжная торговля, что гонорары станут вдвое или втрое боль-

---

[1] Роберт Пиль (1788—1850) — премьер-министр Великобритании в 1834—1835 и 1841—1846 гг.

[2] Томас Арнольд (1795—1842)—историк и богослов, отец английского писателя Мэтью Арнольда; был директором старейшей привилегированной мужской школы Рагби.

ше, подымется престиж писателей, они стяжают так называемые «почести» и будут умирать в кругу благовоспитанных людей. Над нашим ремеслом смеются только потому, что за него так мало платят. У общества нет лучшего мерила респектабельности. Скажите мне, что совершил Георг IV, чтоб удостоиться отлитых в бронзе памятников? То был образчик человека без величия, без каких-либо достоинств, без чувства долга, охочего до роскоши, сверкающих мундиров, ковров, кабриолетов, черепахового супа, жирандолей, буланых скакунов, изысканного мараскина, он воплощал и представлял собой все эти блага, и, почитая их превыше прочих, общество воздвигло монументы «первому джентльмену Европы». Как только литераторы разбогатеют, они получат свою долю славы, и завтрашнему автору нашего журнала, возможно, станут платить десять гиней за то, за что сегодня платят лишь одну, и пришлют приглашение на бал в Букингемский дворец, тогда как вам и вашему покорному слуге, падре Франческо, отрадно посидеть за трубкой в уютной маленькой Д... с ее усыпанным песком полом.

Однако счастливчик homme de lettres[1] грядущего, который, как мне грезится, танцует фанданго или что-нибудь такое в паре с герцогиней при дворе у внуков Ее Величества, на деле будет не лучше, не честнее и не более достоин славы, чем нынешний писатель с его сомнительным престижем и скудными доходами. Слава, эта награда величайших, приходит независимо от Беркли-сквер, она республиканское установление. Окиньте взором современных сочинителей и, не называя ничьих имен (ибо они одиозны), сочтите по пальцам, на кого бы вы поставили в соревновании на бессмертие. Сколько пальцев осталось у вас незагнутыми? Нескромный вопрос. Увы, дорогой А., дорогой Б., считавшие, что ваше будущее обеспечено, вас ждет загробный мир, забвение и темнота, любезные друзья! «Gras ingens iterabimus aequor»[2], нет толку отрицать или чураться этого, туда нам надлежит отбыть, чтобы сокрыться навсегда.

И что такое, в конце концов, это самое Признание — словцо нашей профессии, заветная цель, к которой якобы стремится с притворной скромностью каждый неумелый борзописец? Зачем к нему стремиться? И почему нельзя прожить без него? Нам только кажется, что мы о нем мечтаем.

Ни из чего не следует, что человек напишет гениальное творение, даже имея полную свободу. Сквайр Шекспир из Стратфорда с его земельными угодьями и рентами, с гербом над портиком — уже не тот Шекспир, который писал пьесы. К тому же праздность, или, если угодно, созерцательность ничуть не внове сочинителям. Среди всех сквайров, владевших землями и рентами, и среди тех, что занимали государственные должности, доходные и необременительные, многие ли писали книги, да еще и хорошие? Полезных специалистов правительство берет на службу и оплачивает: юристов, дипломатов, солдат и им подобных, но в поэзии оно не нуждается и может обойтись и без трагедий. Пусть литераторы стоят на собственных ногах. День ото дня растет спрос на их труд и множится число заказчиков. Самые искусные и удачливые из тех, что трудятся на ниве развлекательной литературы, имеют такую власть над чувствами читателей и возбуждают к себе такое непритворное участие, какое и не снилось их собратьям, а люди ученые и образованные, которые стремятся к высшим почестям, их и удостаиваются.

[1] Литератор *(франц.)*.

[2] «Завтра вновь в беспредельное море» *(лат.)* Горацнй. «К Мунацию Планку» *(перевод Г. Церетели), I, 7, 32.*

Гёте в старости

Дорогой Льюис, мне бы хотелось предложить Вам более примечательный рассказ о Веймаре и Гёте. Четверть века тому назад человек двадцать английских юношей съехались в Веймар, чтоб поучиться, поразвлечься, побывать в хорошем обществе,— всем этим была богата крохотная, дружелюбная саксонская столица. Великий герцог и герцогиня принимали нас с самым сердечным радушием. При всем своем великолепии веймарский двор был очень уютным и милым местом. Нас приглашали на придворные обеды, приемы и балы, где мы присутствовали, облачившись в праздничное платье. Те из нас, что были вправе носить форму, военную или дипломатическую, являлись при полном параде. Некоторые, помню, изобретали себе роскошные наряды. Добрый старый гофмаршал тех лет, господин фон Шпигель, отец двух самых прелестных девушек, когда-либо радовавших взор, ничуть не затруднял нам, желторотым англичанам, доступ во дворец. Зимними, снежными вечерами мы нанимали портшезы и прибывали во дворец, чтобы принять участие в приятнейших увеселениях. К тому же мне посчастливилось обзавестись шпагой Шиллера, которая тогда служила дополнением к моему придворному костюму, а ныне украшает стену кабинета, напоминая о юных днях, самых отрадных и чудесных.

Мы познакомились со всеми в высшем свете маленькой столицы, и хотя там не было ни одной молодой барышни, не изъяснявшейся отменно по-английски, мы, разумеется, имели случай поучиться чистейшим образцам немецкой речи. Общество встречалось очень часто. Придворные дамы устраивали званые вечера. Театр, где все мы собирались большой семейной группой, давал два-три спектакля каждую неделю. Гёте, правда, уже сложил с себя директорские обязанности, но великие традиции оставались в силе. Дело в театре было поставлено прекрасно, и кроме отличной веймарской труппы зимою приезжали на гастроли знаменитые артисты и певцы со всех концов Германии. Помню, в тот год мы видели Людвига Девриента в ролях Шейлока, Фальстафа, наслаждались «Гамлетом», «Разбойниками», слушали божественную Шредер в «Фиделио».

Спустя двадцать три года я провел несколько летних дней в этом незабвенном уголке и оказался так удачлив, что встретил некоторых друзей молодости. Госпожа фон Гёте[1] жила там, как и встарь, и приняла меня и дочек с добротой минувших дней. Мы пили чай на воздухе подле знаменитого Павильона в парке, который остался за семьей, а прежде часто служил приютом прославленному своему хозяину.

В 1831 году Гёте уже удалился от мира, но очень любезно принимал чужестранцев. Чайный стол его невестки всегда нас ждал накрытым. Из вечера в вечер мы проводили долгие часы в приятных беседах, музицировали и без конца читали вслух французские, английские, немецкие романы и стихи. Моей тогдашней страстью были шаржи, очень нравившиеся детям. Я был растроган, когда госпожа фон Гёте сказала, что помнит те мои рисунки, а кое-что хранит доныне; как же я был горд тогда, юнцом, узнав, что их рассматривал великий Гёте.

В ту пору он не покидал своих апартаментов, куда допускались лишь весьма немногие, удостоившиеся этой чести, но очень любил, чтобы его оповещали о происходящем, и справлялся обо всех приезжих. Если наружность гостя казалась Гёте примечательной, некий веймарский художник, состоявший у поэта на службе, запечатлевал понравившиеся тому черты. Поэтому у Гёте собралась целая галерея портретов, выполненных пером этого мастера. Весь его дом был украшен картинами, рисунками, слепками, статуями и медалями.

Я очень ясно помню охватившее мою душу смятение, когда восемнадцатилетним юношей получил долгожданное сообщение, что господин тайный советник примет меня тогда-то утром. Эта достопамятная аудиенция происходила в маленькой приемной, в его личных покоях, среди античных слепков и барельефов, которыми были увешаны все стены. На нем был долгополый серо-коричневый сюртук с красной ленточкой в петлице и белый шейный платок. Руки он прятал за спину, совсем как на статуэтке работы Рауха. У него был очень свежий и румяный цвет лица. Глаза его поражали чернотой[2], зоркостью и блеском. Под взглядом этих глаз мной овладела робость, и, помню, я сравнил их про себя с очами героя одного романа, волновавшего юные умы тридцать лет тому назад — Мельмота-скитальца[3], который заключил союз с нечистым и даже в фантастически преклонном возрасте сохранил все грозное великолепие взора. Должно быть, Гёте в старости был красивее, чем в молодые годы. Голос его отличался глубиной и благозвучностью. Он задавал вопросы, кто я и откуда, и я старался отвечать как можно лучше. Помню, что заметил с удивлением, сменившимся каким-то даже облегчением, что его французский выговор был небезупречен.

Vidi tantum[1]. Я видел его всего три раза. Однажды, когда он прогуливался в саду своего дома на Фрауенплан, и еще раз, когда он шел к своей коляске: на нем была шапка и плащ с красными отворотами, он гладил по головке прелестную золотоволосую малютку-внучку, ту самую, над чьим чудесным, ясным личиком давно сошлась могильная земля.

Те из нас, что получали из Англии книги и журналы, тотчас отсылали их ему, и он их с увлечением штудировал. Как раз в ту пору начал издаваться «Фрейзерз мэгэзин», и, помнится, внимание Гёте привлекли прекрасные силуэты, одно время публиковавшиеся на его страницах. Но среди них был безобразный шарж на мистера Роджерса[2], при виде которого, как рассказывала госпожа фон Гёте, он громко захлопнул и отшвырнул журнал, сказав: «Они, пожалуй, и меня изобразят таким же», хотя на самом деле трудно было представить себе что-либо безмятежнее, возвышеннее и здоровее, чем великий старый Гёте.

Солнце его уже сияло закатным светом, но с небосклона, все еще тихого и лучезарного, на веймарский мирок струился его ясный блеск. В каждой из этих приветливых гостиных все разговоры вращались, как и прежде, вокруг литературы и искусства. В театре, хотя там не было великих исполнителей, царил порядок и благородный дух разума. Актеры читали книги, писали сами и были людьми воспитанными; с местной аристократией их связывали отношения довольно дружественные. Беседам во дворце свойственна была благожелательность, простота и утонченность. Великая герцогиня, ныне вдовствующая, особа ярких дарований, охотно пользовалась нашими книгами, предоставляла нам свои и благосклонно расспрашивала о наших литературных вкусах и видах на будущее. В почтении, с которым двор взирал на патриарха литературы, ощущалось что-то возвышающее, похожее, как кажется, на чувство подданных к своему господину. Я много испытал за четверть века, протекшие после тех счастливых дней, которые сейчас описываю, и повидал немало всяческих людей, но, думается, нигде мне больше не встречалось такого искреннего, чуткого, учтивого и порядочного общества, как в милом моему сердцу крохотном саксонском городке, где жили и покоятся в земле достойный Шиллер и великий Гёте.

Остаюсь
искренне Ваш У. М. Теккерей.

Лондон, апреля 28-го, 1885 года.

Письмо Дэвиду Мэссону

Дорогой сэр, я получил «Северо-Британское обозрение» и с радостью узнал имя

---

[1] Невестка Гёте, жена его сына Августа.

[2] Возможно, впечатление черноты объяснялось тем, что он сидел спиною к свету, глаза у Гёте были темно-карие, а не черные. *(Прим. Теккерея.)*

[3] «Мельмот-скиталец» (1802) — роман английского писателя Чарлза Роберта Мэтьюрина (1782—1824).

[1] Я столько видел *(лат.)*.

[2] Сэмюэл Роджерс (1763—1855) — английский поэт, меценат, видная фигура в литературной жизни Англии.

критика, столь благосклонно обо мне отозвавшегося. Не может ли мне быть знаком Ваш почерк — не Вами ли была написана записка, уведомлявшая меня об одобрительном отзыве на «Ярмарку тщеславия», в ту пору мало кому известную и мало кем любимую и лишь боровшуюся за свое место под солнцем? Если Вы и есть автор вышеупомянутой рецензии, примите мою сердечную признательность и за нее, я вспоминаю ее с тем же благодарным чувством, с каким ребенок помнит подаренные ему в школе соверены, где они были для него и редкостью, и величайшей ценностью. Не знаю, что сказать вам относительно сопоставления[1], которое Вы проводите в своей последней публикации — и из-за трудности самого предмета, и из-за того, что мнения всегда разнятся. Я нахожу, что мистер Диккенс во многих отношениях отмечен, так сказать, божественным талантом, и некоторые звуки его песен столь восхитительны и бесподобны, что я бы никогда не взялся подражать ему и только молча восторгаюсь. Но я со многим не согласен в его творчестве, которое, на мой взгляд, не отражает должным образом природу. Так, например, Микобер, по-моему, гипербола, а не живой характер, который он напоминает так же мало, как и его прозвание — человеческое имя. Конечно, он неотразим и невозможно не смеяться, когда о нем читаешь, но он не более реален, чем мой приятель мистер «Панч», и в этом смысле я его не принимаю, как и высказывание Гёте, которое цитируете Вы, мой рецензент, ибо считаю, что искусство романиста в том и состоит, чтобы изображать природу и воплощать с возможно большей силой ощущение жизни; в трагедии, в поэме или в высокой драме писатель хочет пробудить иные чувства, там и поступки, и слова действующих лиц должны быть героическими, тогда как в бытовой драме сюртук — всего только сюртук, а кочерга не более чем кочерга и, по моим понятиям, ничем другим им быть не следует: ни затканной узорами туникой, ни грозным, раскаленным жезлом, из тех, что служат в пантомимах средством устрашения. Впрочем, какие бы просчеты ни усмотрели Вы (или, вернее, я) в воззрениях Диккенса, вне всякого сомнения, в его писательской манере есть замечательное свойство: она обворожительна, и этим все оправдано. Иные авторы владеют самым совершенным слогом, великим остроумием, ученостью и прочим, но сомневаюсь, чтобы кому-нибудь еще из романистов было присуще то, что Диккенсу,— такая же чудесная мягкость и свежесть письма. Однако я сверх всякой меры растянул свою ответную записку. Остаюсь, дорогой сэр, искренне преданный Вам

Уильям Мейкпис Теккерей.

Кенсингтон, мая 6-го (предположительно), 1851 года

---

[1] Имеется в виду сопоставление творческих манер Теккерея и Диккенса в статье Д. Мэссона «Пенденнис и Теккерей» в журнале «Северо-Британское обозрение» за май 1851 года.

Как продолжить «Айвенго»

Предложения, высказанные месье Микель Анджело Титмаршем в письме к месье Александру Дюма

Его сиятельству Александру Дюма, маркизу Дави де ля Пайетри

Милорд, позвольте скромному английскому литератору и страстному почитателю Вашего таланта представить несколько соображений о том, как увеличить и без того огромную известность писателя Александра Дюма в нашем отечестве. Мы трудимся, милорд, в прискорбных обстоятельствах — стране отчаянно недостает романов. Правду сказать, в творениях из светской жизни мы не знаем недостатка — одна лишь несравненная миссис Гор[1] изготовляет их не меньше полудюжины в сезон, но невозможно обходиться только ими: порою в голове мутится от непрестанных описаний балов в Д..., великосветских сборищ в «Уайтсе» и «Крокисе»[2] от дамских туалетов, ужинов у «Гантера», déjeuners[3], залов Олмэка[4], французской кухни и французской речи, а также всего прочего, испокон веку составляющего львиную долю всех подобных сочинений. Что же касается наших авторов исторических романов, они, должно быть, погрузились в сон... Наша словесность впала в спячку — ей не хватает романистов. Мы существуем лишь за счет переводной литературы, и прежде всего за счет Ваших творений, сэр; а также книг Эжена Сю[5] — Вашего выдающегося confrère[6], трагического и загадочного Сулье[7] и пылкого и юного Поля Феваля[8], который борется за пальму первенства со всеми вышеперечисленными.

Должен признаться, что являюсь самым горячим сторонником методы, которую Вы с таким успехом вводите сейчас во Франции — я говорю здесь о двадцатитомных романах с продолжением. Мне нравится, когда у книг есть продолжение. Я просто упивался «Графом Монте-Кристо» и, кажется, ни разу в жизни не радовался больше, чем когда узнал, добравшись до конца двенадцатого тома «Трех мушкетеров», что мистер Орланди предоставляет мне счастливую возможность наслаждаться еще двенадцатью томами этого же сочинения, на сей раз именуемого «Двадцать лет спустя». Если бы можно было дове-

---

[1] Кэтрин Гор (1799—1861) — английская писательница, автор многочисленных романов из светской жизни.

[2] Старейшие английские клубы.

[3] Имеются в виду дневные приемы с закуской *(франц.)*.

[4] Залы Олмэка — знаменитый публичный зал в Лондоне. Здесь Теккерей выступал с циклом лекций «Английские юмористы XVIII века»

[5] Эжен Сю (1804—1857) — французский писатель, автор нашумевшего многочастного романа «Парижские тайны» (1842—1843).

[6] Собрат, коллега *(франц.)*.

[7] Фредерик Сулье (1800—1847) — французский писатель.

[8] Поль Феваль (1817—1887) — французский романист и драматург.

сти Атоса, Портоса и Арамиса до стодвадцатилетнего возраста, мы с удовольствием читали бы о них и дольше. Но наступает время, когда парламент распускают на каникулы, газеты не печатают отчетов о дебатах, новые романы не выходят — нам нечего читать!

Бывает, что герои, когда им минет лет эдак восемьдесят или, скажем, девяносто, ветшают несколько от долгого употребления и больше не отвечают своему исконному назначению — радовать и забавлять читателей как встарь; положим, Вам случится, дорогой сэр, обескровить большинство своих героев, которые достигнут того почтенного возраста, когда людям немолодым недурно тихо удалиться на покой. Почему бы Вам не воспользоваться, думается мне, созданиями чужого вымысла и не дописать, что с ними сталось дальше? Довольно многие романы Вальтера Скотта мне издавна казались недосказанными. Так, например, владелец Рэвенсвуда бесследно исчезает в конце «Ламмермурской невесты», вернее, шляпу его находят на берегу, и все его считают утонувшим. Но мне всегда воображалось, что он заплыл и в море ему встретился корабль, и, значит, странствия его можно продолжить, скажем, в романе на морскую тему. Точно так же я ни за что на свете не поверю, что приключения Квентина Дорварда окончились в тот день, когда он обвенчался с Изабеллой де Круа Люди еще не такое выдерживают, и их невзгоды не кончаются с этим счастливым жизненным событием. Разве мы навсегда прощаемся с друзьями или теряем интерес к ним, усадив их в свадебную карету после праздничного déjeuner? Ничуть не бывало! К тому же требовать, чтобы в героях значились одни холостяки, несправедливо по отношению к женатым. Но больше всего меня разочаровывает развязка доброго старого «Айвенго» — «Иваноэ», как говорите вы, французы. Право же, сами образы Ровены, Ревекки и Айвенго со всей определенностью свидетельствуют, что дело не завершилось тем, чем его кончил автор. Я слишком люблю этого оставшегося без наследства рыцаря, чью кровь воспламенило знойное солнце Палестины, а душу согрела близость прекрасной, ласковой Ревекки, чтобы поверить, что он всю жизнь вкушал блаженство подле этой ледышки и ходячей добродетели, подле этого образчика непогрешимости, этой бездушной, чопорной жеманницы Ровены. Невыносимая особа, сэр, и я прошу Вас дописать отсутствующую часть романа, чтобы восстановить в правах его доподлинную героиню.

Я высказал тут разом несколько советов, и если Вы любезно с ними ознакомитесь, у Вас с несомненностью достанет материала на многие последующие тома «Айвенго». Примите, сэр, мои уверения в совершеннейшем почтении.

Ваш искренний поклонник
Микель Анджело Титмарш.

Перевод с английского Т. КАЗАВЧИНСКОЙ

Автошарж Теккерея.

Публицистика

С. П. КАПИЦА

«НАУЧИТЬСЯ ДУМАТЬ ПО-НОВОМУ»

Глобальные последствия ядерной войны

В основу статьи положено выступление заместителя председателя Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы профессора С. П. Капицы 29 января 1985 года в Нью-Йорке перед группой постоянных представителей при ООН.

Осенью 1984 года американская организация «Творческие инициативы — мир за пределами войны» выступила с предложением познакомить постоянных представителей при ООН с новейшими работами в области глобальных последствий ядерной войны. Эта инициатива нашла поддержку со стороны ряда глав полномочных представительств в Нью-Йорке, в частности СССР, Канады, КНР, ГДР, Югославии, Кении, Швеции, а также комиссии г. Нью-Йорка по делам ООН. В качестве выступающих были приглашены американский ученый Карл Саган и С. П. Капица.

Профессор Карл Саган хорошо известен как астроном, много внимания уделявший исследованию планет. Он соавтор одной из основных работ, где выдвигается концепция так называемой «ядерной зимы». И в США, и в других странах Саган знаком широкой публике как пропагандист науки на телевидении.

Профессор С. П. Капица к изучению проблем глобальных последствий ядерной войны был привлечен в 1983 году, когда они приобрели большую остроту и стали предметом обсуждения в Комитете советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы. Ранее в течение ряда лет он принимал участие в дискуссиях по проблемам науки и гонки вооружений в рамках Пагуошского движения ученых.

В подготовке текста публикуемой статьи принимал участие эксперт Комитета советских ученых, один из исследователей проблем «ядерной зимы» кандидат физико-математических наук А. С. Гинзбург.

Недавние открытия в области глобальных последствий ядерной войны подводят нас к выводам исключительной значимости: в сущности они заставляют по-новому ставить вопросы о нашем сегодняшнем бытии, о судьбах всего мира.

Ранее было хорошо известно, что ядерный взрыв, тепловое излучение, радиоактивные осадки помимо прямого разрушения военных объектов, которые принято считать основными целями войн, приведут к громадным людским потерям, а также нанесут непоправимый урон городам и заводам, электростанциям и нефтепромыслам,— словом, разрушат сложную инфраструктуру нашей современной промышленной и городской цивилизации. Теперь же возникло новое измерение результатов ядерного поражения. Мы обнаружили, что наша планета слишком мала для крупномасштабной ядерной войны: человечество не сможет противостоять ее глобальным последствиям. Даже если будет использована хотя бы одна треть ядерного оружия, накопленного на сегодняшний день, изменения климата ко-

КАПИЦА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1928 г.)
Советский ученый-физик. Лауреат Государственной премии СССР и международной премии Калинги, присуждаемой ЮНЕСКО за популяризацию науки. Автор ряда научных трудов, в том числе книги «Жизнь науки» (М., 1973), предшествовавшей началу ведения телевизионных передач «Очевидное — невероятное». В 1985 г. С. П. Капицей (в соавторстве) выпущена книга «Между очевидным и невероятным» (М., Искусство, 1985).

ренным образом повлияют не только на жизнь людей, но и на жизнь нашей планеты в целом.

В настоящее время, по опубликованным данным, общее количество ядерных боеголовок составляет 50 000 единиц, а их суммарная энергия эквивалентна 13 000 миллионов тонн тринитротолуола. Это миллион бомб, подобных той, что уничтожила Хиросиму. Для сравнения укажем, что за всю вторую мировую войну было израсходовано около 3 мегатонн взрывчатки, теперь же такой заряд может быть сосредоточен в одной термоядерной бомбе. На одного жителя Земли, таким образом, приходится около трех тонн ТНТ. Интересно отметить, что этой энергии достаточно для сообщения человеку скорости, позволяющей в космическом полете покинуть Землю. С другой стороны, количество ее близко тому, что в среднем расходуется в мире на одного человека в год. Если же мы сравним энергию всех ядерных бомб с солнечной энергией, поступающей непрерывно на нашу планету, то увидим: она соответствует количеству энергии, получаемой Землей от Солнца за пять минут.

Интенсивность потока солнечного тепла, которое поступает на Землю, измеряемая в мегатоннах тринитротолуола, составляет 40 Мг/сек. Именно эта энергия приводит в движение атмосферу Земли, течения морей и океанов. Только малая часть потока солнечной энергии фиксируется в процессе фотосинтеза, усваиваясь водорослями, накапливаясь в зеленом листе и служа затем пищей всему живому.

До сих пор многим казалось, что, несмотря на всю грандиозность энерговыделения ядерных взрывов, все же оно незначительно по сравнению с энергией, которая участвует в привычном круговороте земной природы, и поэтому глобальных последствий ядерной войны как бы можно не опасаться.

Между тем они неизбежны. Речь идет уже не только о разрушении озонного слоя в атмосфере и последующем опасном увеличении потока ультрафиолетового излучения — эти эффекты ядерных взрывов давно уже признаны. Сегодня установлен механизм влияния массовых «штормовых» пожаров ядерной войны на атмосферные процессы.

В так называемых «стандартных» — по выбору целей и мощности взрывов — сценариях ядерной войны количество поднятых в атмосферу пыли, дыма и сажи от пожара оказывается достаточным для того, чтобы перекрыть солнечный свет. С одной стороны, солнечные лучи больше не доходят до поверхности Земли, а с другой — поглощаются поднятыми частицами и согревают верхние слои воздуха. Тем самым изменяется распределение температуры: земля становится холодной, стратосфера — теплой. Подавляется конвекция — вертикальное перемешивание атмосферы, когда от теплой земли воздух поднимается вверх, перенося тепло и влагу. Наступает так называемая «ядерная зима».

Таким образом, причина глобальных последствий ядерных взрывов — катастрофическая «задымленность» нашей атмосферы. По предварительным оценкам, количество мелких частиц, которые вносят пожары ядерной войны в атмосферу, составят около 100 миллионов тонн. Основная трудность расчета моделей «ядерной зимы» именно и заключена в уточнении того, сколько же дыма будет образовано и внесено в атмосферу. Топливом помимо лесов может служить большое количество горючих материалов, которыми насыщены современные города и промышленные предприятия. Это дерево и пластики, асфальт улиц и битумы крыш... По образному выражению академика Е. П. Велихова, мы стоим по колено в горючем. Иначе говоря, дыма может оказаться достаточно для того, чтобы вызвать эффект «ядерной зимы». Сейчас внимание исследователей обращено на то, чтобы определить, к а к будут гореть города и леса, ч т о произойдет от пожаров на нефтехранилищах, химических заводах и других объектах, которые неизбежно окажутся целями тотальной ядерной войны. Естественно, что установить это нелегко. «Экспериментальные» же данные — есть нечто кощунственное в таком привычном для ученого словоупотреблении! — это трагические эпизоды второй мировой войны: штормовые пожары, возникшие в Гамбурге и Дрездене, Токио, Хиросиме и Нагасаки.

Впервые данные по концепции «ядерной зимы» были представлены в августе 1983 года на III Международной встрече ученых в Сицилии. Принимали в ней участие и советские специалисты. В октябре того же года в Вашингтоне состоялась международная конференция «Мир после ядерной войны», в результате чего к данной концепции было привлечено внимание широкой общественности. Этому содействовал также и выход в США телефильма «На следующий день»[1]. При всех своих издержках и упрощениях этот фильм несомненно способствовал мобилизации общественного мнения в США. Еще бо́льшую роль сыграл телевизионный «мост», проведенный после Вашингтонской конференции: межконтинентальный обмен мнениями ученых СССР и США не только продемонстрировал общность их взглядов по этим вопросам, но и способствовал ознакомлению широких слоев зрителей с новыми выводами науки об опасности ядерной войны.

Сводка исследований, подводящая некоторый итог в этой области, содержится в пространном докладе комиссии, назначенной американской Национальной Академией наук по запросу министерства обороны США. В отличие от аналогичного доклада 1975 года, в котором отрицалась возможность существенных глобальных последствий ядерной войны, новый доклад подтверждает возможность «ядерной зимы» и реко-

[1] См. о нем в «ИЛ», 1984, № 8, с. 184—186. *(Здесь и далее — прим. автора.)*

мендует дальнейшие исследования этих явлений. Одновременно выводы о глобальных последствиях ядерной войны сделаны в ряде работ советских ученых, рассматривающих этот круг вопросов. Их суммирует книга коллектива авторов Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы «Ночь после...» под редакцией и с предисловием академика Е. П. Велихова[1].

Проблемой «ядерной зимы» в последние три года активно занимаются ученые не только СССР и США, но и ФРГ, Австралии и ряда других стран. Различие в подходах, естественно, приводит к некоторым расхождениям в результатах и оценках, к профессиональным разногласиям в деталях и числах. Однако эти расхождения и споры скорее свидетельствуют не о слабости аргументов отдельных ученых, а о верности конечных выводов. Мы также не должны забывать, что сам характер рассматриваемых явлений в принципе исключает получение точных данных. Неопределенность заложена уже в исходных предпосылках расчетов и связана с той или иной моделью распределения взрывов, вызванных ими пожаров, с выносом частиц в атмосферу и их распределением по высоте, с дальнейшей судьбой примесей, которые ветры разносят по всему земному шару. К тому же само подавление вертикального перемешивания атмосферы может удлинить время пребывания в ней этих примесей. Причем следует иметь в виду, что расчеты, для которых мобилизованы мощные средства вычислительной математики, должны помочь нам представить себе новое состояние нашей атмосферы — новый климат.

Из каждодневного опыта мы знаем, как непросто предсказать погоду — колебания температур около тех значений, которые задаются климатом. Здесь же речь идет о контурах картины нового состояния атмосферы после столь сильного вмешательства в механизм ее нагрева. Именно это обстоятельство принципиально затрудняет возможность прогноза климатического будущего. Тем не менее все расчеты указывают на то, что падения температуры поверхности Земли будут измеряться многими, если не десятками градусов. Из сельскохозяйственной же практики и наблюдений за изменениями климата известно, что изменения средних температур всего на несколько градусов уже чреваты серьезными последствиями для всего живого и катастрофическими — для посевов и растительности тропических и субтропических зон.

Следует иметь в виду при этом, что ученые обычно подходят к расчетам с позиций, которые можно охарактеризовать как «надежду на наилучший исход». Исследователь и экспериментатор обычно готов пойти на риск, он склонен к смелым выводам. С другой стороны, хорошо известно, что ответственный военный деятель или же хозяйственный руководитель отнюдь не расположен к рискованным решениям. В тех случаях, когда у него нет полной информации, он принимает решения, исходя из «наихудшего возможного варианта», чтобы элемент риска свести к минимуму. Это существенное различие в мышлении и подходе ученого и деятеля, обремененного громадной ответственностью за те решения, которые он выносит. При оценке же степени риска «ядерной зимы» следует рассматривать именно «наихудшие» варианты: ведь в данном случае обсуждается возможность практически бесконечных по своей величине необратимых потерь.

Этот взгляд был со всей убедительностью развит на Всесоюзной конференции ученых за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир в мае 1983 года в выступлениях академика А. М. Обухова и члена-корреспондента АН СССР Г. С. Голицына.

На конференции выступил также член-корреспондент АН СССР Л. П. Феоктистов, который обратил внимание на многократное умножение эффекта ядерных взрывов при соответствующем выборе целей, например АЭС — атомных электростанций. Он отметил также, что при лесных пожарах в результате ядерных взрывов выделенная тепловая энергия оказалась бы во много раз большей, чем сама энергия взрывов, и что от образуемых облаков дыма можно было бы ожидать существенного затемнения солнечного света с катастрофическими последствиями для атмосферы.

Чтобы получить некоторое представление о глобальных последствиях «ядерных пожаров», следует вспомнить и известные примеры природных катаклизмов.

Заслуживают внимания, в частности, крупные вулканические извержения. Даже при относительно умеренных масштабах, как можно было бы характеризовать недавнее извержение вулкана Эль Чичон в Мексике в 1982 году, в стратосферу было выброшено около 1 км^3 пепла. Хотя содержание газов и мелкой пыли в вулканическом облаке было значительным, климатические последствия оказались не слишком заметными. В настоящее время с помощью спутниковой аппаратуры мы можем детально проследить за распространением этих примесей в атмосфере по всей Земле. В 1883 году взорвался вулкан Кракатау в Индонезии: извергнутый объем составлял 20 км^3, а изменения климата можно было обнаружить уже повсюду. Самым крупным за исторически обозримое время было извержение в 1815 году вулкана Тамбора, также расположенного в Индонезии. При этом извергнутый объем составлял 150 км^3, и в этом случае можно четко проследить за глубокими изменениями климата, охватившими весь земной шар. Лучше всего это было документировано в Европе и Северной Америке: год 1816-й стал «годом без лета», отсюда — сильный неурожай и голод. С этим извержением и вызванным им похолоданием связывают пандемию хо-

[1] В 1985 году она вышла на английском языке в изд-ве «Мир», на русском языке готовится к печати в изд-ве «Наука».

леры. Начавшись в 1816 году в Бенгалии, она продолжалась двадцать лет, охватив постепенно Европу и Америку.

Любопытно, как эти явления отразились в литературе. В роковое лето 1816 года, находясь в Швейцарии, Байрон написал «Тьму»,— на мой взгляд, лучшее в мировой литературе описание «ядерной зимы». С этим апокалипсическим представлением о вымерзании жизни на Земле познакомил в 1846 году Россию, переведя «Тьму» на русский язык, молодой Тургенев:

Погасло солнце светлое —
и звезды
Скитался без цели, без лучей
В пространстве вечном;
льдистая земля
Носилась слепо в воздухе
безлунном.
И мир был пуст.

Известно более десяти переводов этого стихотворения на русский язык, вспомним и недавнее обращение к «Тьме» нашего современника А. Вознесенского [1], можно сказать, «навеянное» мотивами «ядерной зимы», сегодняшним пониманием этого явления.

Внимание автора данных строк к стихотворению «Тьма» Байрона было привлечено грузинским геофизиком Анзором Гвелисиани во время советско-американской встречи осенью 1983 года в Тбилиси. На одном из заседаний он роздал выступавшим ксерокопию стихов. Я был потрясен картиной гибели всего живого, которую так мощно нарисовал поэт. Вскоре, вернувшись в Москву, я узнал, что мне предстоит лететь в Вашингтон в составе делегации советских ученых во главе с академиком Е. П. Велиховым для выступления в сенате США, где по инициативе сенаторов Эдварда Кеннеди и Марка Хэтфилда должно было состояться слушание экспертов-ученых США и СССР по проблемам «ядерной зимы». Готовясь к выступлению, стал читать отчеты Ливерморской лаборатории, того самого центра ядерного оружия, где работает Эдвард Теллер. О своих с ним «контактах» позволю себе здесь отступление.

Теллер, который считается в западном мире отцом водородной бомбы, приобрел печальную известность тем, что выступил в качестве главного свидетеля обвинения против Р. Оппенгеймера во время расследования взглядов последнего на ядерное оружие. Как известно, Оппенгеймер возражал против разработки термоядерной бомбы — оружия чудовищной силы. С тех пор Теллер в значительной мере лишился доверия и расположения своих коллег.

Сегодня Теллер выступает и с критикой концепций «ядерной зимы», и как пропагандист «стратегической оборонной инициативы» Рейгана.

С Теллером мне не приходилось встречаться лично, но я дважды разговаривал с ним. В первый раз это произошло сразу после проведения телевизионного моста по «ядерной зиме» осенью 1983 года. Меня попросили выступить в прямой телепередаче «Найт лайн», которую ведет известный журналист Тед Коппел. Рано утром я пришел на московскую студию, где узнал, что кроме знакомого мне Сагана и биолога Эрлиха в передаче с американской стороны будут участвовать еще заместитель госсекретаря Берт и Теллер.

Сидя в тесной кабине перед телекамерой, с маленьким наушником, я, не видя своих собеседников, слышал все их переговоры между собой. Они же меня и видели и слышали. Перед началом дискуссии о «ядерной зиме» в течение двух минут, как и во всех передачах коммерческого телевидения, шел рекламный ролик. Звуковой же канал не отключили, и поэтому мне был слышен низкий, с сильным центральноевропейским акцентом голос Теллера: «Мне нужно пятнадцать минут на то, чтобы разоблачить всю эту концепцию глобальных последствий». Ведущий ему отвечает: «У нас всего тридцать минут, а кроме вас еще четыре участника». Теллер заявляет: «Тогда я не буду выступать», на что Коппел тут же в ответ: «Then get out!» (буквально: «Ну и выкатывайтесь»). Теллер, однако, остался, а мне стала ясна расстановка сил.

Ведущий четырежды дал мне возможность выступить и ответить на все аргументы Теллера. По-видимому, диспут был выигран, о чем свидетельствует ряд писем, полученных из США. Особенно ценно было замечание профессора Ричарда Уилсона, декана физического факультета Гарвардского университета, о том, что наиболее убедительными оказались качественные системные соображения.

Через месяц, уже в Вашингтоне, однажды утром я позвонил секретарю нашей делегации Ю. Шияну, чтобы задать прозаический вопрос: где мы завтракаем? Однако телефонистка гостиницы прервала наш разговор и сказала, что вызывают Велихова, но он ушел — на 7.30 у него был назначен деловой завтрак с президентом Национальной академии наук Франком Прессом в гостиничном комплексе «Уотергейт» (том самом!). Телефонистка попросила кого-либо из нас ответить. Звонил Теллер из Ливермора. Услышав, что Велихова нет (потом он все-таки ему дозвонился), в течение пятнадцати минут он выложил мне все, что не успел тогда произнести по ТВ. Моих возражений он не слушал, действуя по принципу: «Молчи, когда с тобой разговаривают». К сожалению, в таком режиме дискуссия вряд ли возможна.

Вернемся, однако, к отчетам Ливерморской лаборатории. В них приводились сведения о катастрофических природных явлениях, в том числе об извержениях вулканов. В байроновском тексте я запомнил дату «июль 1816 года» и место — вилла Диодати. В перечне вулканических извержений самым крупным была Тамбора — апрель 1815 года, и здесь у меня возникло предположение, что картина, нарисованная Байроном, могла быть вызвана изменениями погоды в Европе — после изверже-

[1] См. «Юность», 1984, № 9.

ния Тамборы. Эта связь явлений оказалась верной и хорошо изученной климатологами.

Связь «Тьмы» с «ядерной зимой» получила свое развитие. Эти стихи были приведены журналом «Сайентифик американ» (см. «В мире науки», 1984, № 5) в сообщении о слушании экспертов-ученых в сенате. Вскоре специальную брошюру с текстом «Тьмы» и историей ее возникновения опубликовал английский переводчик и издатель антиядерной литературы Энтони Рудолф. «Тьма» была включена и в ряд телефильмов, посвященных ядерной угрозе.

Напомним, что в 1830 году эпидемия холеры докатилась до Нижнего Новгорода. Из-за карантина провел осень в Болдино Пушкин, который приехал туда на несколько дней перед свадьбой ознакомиться с состоянием дел в своем имении. Без болдинской осени, как мы знаем, трудно представить себе творчество Пушкина, как, впрочем, и всю русскую литературу. Одним из болдинских шедевров был и «Пир во время чумы».

Я обращаюсь к этим фактам не только ради их исторической ценности. Я вижу здесь поразительные проявления тех связей, которыми пронизана наша культура и жизнь.

Переходя от метафор и образов к понятиям, мы должны признать, что во всех этих случаях имеем дело с поведением систем. Сегодня системный анализ, синергетика, моделирование сложных систем стали областью, стремительно развивающейся, обещающей интересные результаты. Некоторые отождествляют этот подход с современным использованием ЭВМ и численным моделированием явлений. Несомненно, ЭВМ — мощный инструмент для подобных исследований. Многие результаты, о которых здесь говорится, получены с помощью ЭВМ. Во всех случаях эти результаты определялись численными моделями, в которые были заложены те или иные основные атмосферные процессы. Вначале эти явления описывались с помощью математических уравнений, выражались числами и затем вносились в компьютер. Большое влияние на развитие этой области оказывает появление новых моделей, аналогий и примеров анализа в междисциплинарных исследованиях — на стыке нелинейной механики, теории турбулентности и хаоса, на примерах явлений из гидродинамики и биофизики.

Следует считать, что системный анализ и качественные исследования сложных систем имеют прямое отношение и к общественным наукам — истории, социологии, экономике. Более того, представления системного анализа должны стать частью интеллектуального аппарата не только обществоведа, но и современного общественного деятеля, политика, крупного руководителя. Быть может, тот качественный и количественный подход, который используется в системном анализе и естественных науках, явится вкладом в развитие мышления гуманитария и послужит мостом для сближения «двух культур», о разделении которых с такой горечью говорил Ч. П. Сноу.

Именно исследования на стыке наук позволили известному западногерманскому специалисту в области химии атмосферы П. Крутцену осмыслить результаты воздействия дыма и сажи от пожаров ядерных взрывов на потоки солнечной радиации. Теперь, когда этот эффект обнаружен, мы знаем, что надо делать, как включить этот новый фактор в наши представления, в наши модели атмосферы Земли.

Однако для решения таких задач надо быть хорошо подготовленным. Как был, например, подготовлен коллектив молодых математиков, воспитанников Московского физико-технического института, которые десять лет назад под руководством академика Н. Н. Моисеева приступили в Вычислительном центре АН СССР к созданию большой компьютерной модели. На этой модели предполагалось изучать совместную эволюцию биосферы, атмосферы, океана Земли с учетом активности человека на нашей планете. Применив модели, они показали, что в результате пожаров от ядерных взрывов существенно перестроится глобальная циркуляция атмосферы, при этом Северное и Южное полушария будут связаны гораздо в большей степени, чем в обычных условиях. Огромное облако дыма, возникшее в Северном полушарии, постепенно проникнет и в Южное. «Ядерная ночь» и «ядерная зима» наступят на всей планете.

Это также весьма поучительный пример значения фундаментальных исследований, в данном случае — изучения эволюции Земли. Действительно, только тогда, когда мы будем систематически расширять свои познания природы, руководствуясь внутренними, имманентными потребностями понимания окружающего мира, мы в нужный момент окажемся во всеоружии для решения острых задач, поставленных практикой.

В раскрытии механизма глобальных последствий ядерной войны значительную роль сыграло также казалось бы весьма далекое от практических задач земной метеорологии изучение пыльных бурь в атмосфере Марса советскими климатологами в Институте физики атмосферы АН СССР. Именно при исследовании этих бурь впервые было обращено внимание на то, как поднятая ветром пыль изменяет режим нагрева атмосферы, что ведет к изменению режима ветров, а затем и к буре, охватывающей уже всю планету и приводящей к резкому охлаждению поверхности Марса. Следует все же продолжить разговор о поведении сложных систем, ибо, как ни могущественны вычислительные модели, большую роль играют качественные методы системного анализа. Сложные системы коренным образом изменяют свое поведение, ког-

да выходят за пределы устойчивости. Тогда говорят о «преодолении порога», при этом часто происходит переход в новое состояние, для которого первоначально характерна труднопредсказуемость поведения и хаос: именно так развивались пыльные бури на Марсе. На краю области устойчивости даже малое изменение, малый внешний импульс могут привести к существенным и непредсказуемым изменениям. В этом случае говорят о «механизме спускового крючка», «триггера», действующем наподобие хлопка, громкого звука в горах, который, как известно, способен «подтолкнуть» снежную лавину. Другое идущее к делу понятие — синергизм. Речь идет о нелинейном взаимодействии нескольких факторов, которое может привести к тому, что их суммарное действие окажется большим, чем сумма действий каждого, взятого в отдельности. При исследовании реакции системы надо помнить о явлении обратной связи: она может как усиливать реакцию, так и ослаблять ее.

Взять, к примеру, попадание в АЭС ядерной бомбы. В этом случае радиоактивные вещества, внесенные от испарения ядерного топлива в атмосферу, в 10—50 раз усилят радиоактивный след от взрыва. Для Европы, где размещено более ста АЭС, это представляет исключительную опасность.

Вообразим себе действие на человека одновременно темноты, холода, голода, излучения и нервных потрясений. Вы можете противостоять каждому из этих факторов в отдельности. Вместе взятые, они убивают. Смерть является необратимым порогом. Дальнейшее усиление эффектов бессмысленно — умереть можно только раз.

Значение исследованных глобальных последствий ядерной войны, несмотря на сложность происходящих явлений, ныне достаточно хорошо понято — они не заставят себя ждать и будут иметь прямое и глубокое влияние на нашу среду обитания и жизнь.

Мы не рассматриваем здесь подробности гибели окружающей среды на Земле и как следствия — вымирания множества видов животного и растительного мира, связанных между собой в сложнейшую экологическую систему. Детали подробно описаны в специальной литературе. Мы сейчас, по существу, говорим о судьбе биосферы Земли, о катастрофе планетарных масштабов.

Жизнь существует на Земле вот уже три миллиарда лет. За это время ее развитие несколько раз прерывалось массовыми вымираниями. Наиболее известное имело место 65 миллионов лет тому назад, когда погибло, по-видимому, 80% всех видов животных, включая динозавров. Мы не знаем точно, что тогда произошло. Это могло быть и следствием неведомого нам процесса в биологической или геологической истории Земли. Это мог, например, вызвать гигантский метеорит, вернее, астероид или комета порядка 10 км в поперечнике. Когда-нибудь мы будем знать точнее. Об этом далеком событии упоминается здесь в первую очередь потому, что исследование возможных причин этих катаклизмов помогло выяснению механизма «ядерной зимы».

При рассмотрении ущерба и потерь в ядерной войне необходимо иметь в виду, что с тех пор, как было изобретено ядерное оружие и начались его испытания, показатели опасности систематически занижались. Первые допустимые дозы радиации были выше тех, которые полагают приемлемыми сегодня. Только после длительной серии атмосферных испытаний были установлены действительные размеры опасности, подлинные данные о распространении радиоактивных осадков, было также выяснено истинное значение радиобиологических цепочек, ведущих к обогащению экосферы радиоизотопами. Как известно, лишь недавно врачи пришли к выводу об ограниченных возможностях медицины в случае ядерной войны, что привело к существенным поправкам во взглядах на ее последствия.

Этот список можно было бы сегодня и расширить. Более того, есть основания полагать, что мы еще далеко не исчерпали всех вариантов опасностей ядерной войны, особенно это ощутимо в оценках возможностей защиты населения и долговременных медико-биологических, в том числе генетических, последствий.

«Ядерная зима» — это также пример демистификации современного оружия: истинные масштабы его действия и последствия применения, неизвестные даже тем, кто, казалось, должен был бы это знать, теперь получили новое освещение и стали доступны пониманию многих.

Мы не будем подробно анализировать здесь варианты истолкования понятия «ядерное сдерживание» ввиду сложности вопроса. Напомним только, что в Советском Союзе ядерное оружие было создано в ответ на нарушение равновесия сил, в стремлении к паритету. Что же мы имели из средств нападения и защиты до изобретения атомной бомбы? Меч и щит, броня и пушка... Казалось, изобретения в области защиты всегда возможны. Однако с появлением ядерного оружия оборона потеряла свои позиции, на смену ей пришло сдерживание в той «симметрии могущества», которая стала теперь столь ненадежной опорой мира. Можно полагать, что и в будущем, в этом мире паритета на уровнях, намного превышающих необходимые, оборона никогда уже не станет по-настоящему эффективной, сколь бы многообещающими ни казались некоторые современные изобретения. Трудно представить себе технический переворот в области обороны, появление некоего изобретения, которое изменило бы гигантский перевес сил нападения, сложившийся за последние десятилетия.

Сегодня нам предлагают создать абсолютное оружие защиты против абсолютного оружия нападения, которое уже существует. Следует, однако, напомнить, что никаких принципиальных открытий в этой области, подобных открытию ключа к ядерной энергии, не состоялось. Скорее напротив, весь комплекс научных представлений в этой сфере указывает, что надежды на успех тщетны. Более того, в зеркальном мире взаимного сдерживания оружие защиты дестабилизирует ситуацию и не обеспечивает надежной безопасности. Прямое же накопление колоссальных запасов оружия только приближает возможность катастрофы, делает ее более вероятной, даже в силу чисто случайных причин.

Можно поставить вопрос, почему только сейчас мы пришли к осознанию того, что может произойти, хотя ядерное оружие изобретено 40 лет назад? И почему сегодня на Западе тревога была поднята независимыми учеными из академических и университетских кругов, а не теми, кто работал в гигантских закрытых лабораториях по созданию ядерного оружия? Казалось бы, именно эти специалисты и должны были первыми осмыслить все последствия своих разработок. Нужно признать, что некоторые из них пытались это сделать, однако достичь успеха и побороть сопротивление военно-промышленного комплекса, сделать так, чтобы их услышали и поняли, объяснить ситуацию политикам и широкой общественности им не удалось. Теперь эти ученые принимают участие в исследованиях глобальных последствий, где их профессиональные знания крайне необходимы. Следует, правда, отметить, что узкие специалисты, работающие в строго регламентированных условиях военно-исследовательских организаций, обычно не обладают тем широким кругозором, без которого почти невозможно продуктивно работать над междисциплинарными проблемами. Более того, многие тенденции в современном высшем образовании, в подготовке ученых, в организации современной науки мало способствуют таким синтезирующим исследованиям.

Здесь уместно напомнить, что в русской и советской науке существует давняя традиция междисциплинарных исследований. Это стремление к синтезу имеет глубокие корни в нашей культуре. Особо следует отметить роль академика В. И. Вернадского, великого минералога, геохимика и естествоиспытателя. Ему принадлежит развитие понятий биосферы и ноосферы — царства жизни и разума на нашей планете. В 1922 году Вернадский основал в Ленинграде Радиевый институт, сыгравший впоследствии важную роль в решении проблемы овладения ядерной энергией. В 1939 году Вернадский обратился к советскому правительству, указав на важность «урановой» проблемы, что было одним из первых сигналов о необходимости мобилизации усилий ученых в этой области.

В 1922 году в предисловии к своим «Очеркам и речам»[1] Вернадский писал: «Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить новую жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества».

Вернадский был предтечей в постановке глобальных проблем, стоящих сегодня со всей остротой перед человечеством. Теперь в их число принято включать сохранение окружающей среды, энергетические ресурсы, воду, пищу, вопросы народонаселения, а также проблему мира и гонки вооружений. Именно последняя имеет сегодня наибольшую актуальность, ибо без решения проблемы мира трудно приступить к решению остальных глобальных проблем. В один прекрасный день эти проблемы коснутся всех — каждого в отдельности и всех вместе. Быть может, этот день уже настал. В качестве простого примера возьмем планетарное действие на климат Земли возросшего содержания углекислоты в нашей атмосфере. За последние 40 лет концентрация CO_2 возросла на 10%. Что нас ожидает? Наступит ли потепление из-за увеличения парникового эффекта или это потепление будет полностью компенсировано другими факторами? Точно пока мы не знаем. Но сюда тянутся нити от многих вышеперечисленных глобальных проблем. Такое изменение в составе нашей атмосферы происходит не только потому, что мы сжигаем минеральное топливо. Мы также должны учитывать вырубку лесов, загрязнение океана и другие факторы, в течение длительного времени взаимодействующие между собой. Глобальная модель Вычислительного центра АН СССР, о которой я упомянул, предназначена для исследования и таких процессов.

...На протяжении всей истории человечества великие умы прошлого, философы, религиозные мыслители вырабатывали свое отношение к вопросам жизни и смерти, конечности нашего существования на Земле. Правда, эсхатология — учение о конце света — не стала особенно популярным предметом. Даже на уровне отдельной личности категория смерти не представляется простым вопросом. Более того, в каждодневной жизни вообще не принято обращать-

[1] Экземпляр этого сборника есть в библиотеке В. И. Ленина в его кабинете в Кремле.

ся к такого рода понятиям. Однако все философские и религиозные системы, имеющие дело с духовной жизнью человека, трактовали их как неотъемлемую часть категорий морали и совести, неотъемлемую составную наших суждений о бытии. Ад, конец света были введены как понятия, несомненно существенные для процесса создания и упрочения норм поведения. Их можно представить и как средства морального сдерживания, устрашения каждого отдельного человека, введенные обществом.

Подобно тому как знания и наука привели к эрозии моральной значимости понятий ада и рая, так прямым увеличением количества ядерного оружия мы подорвали исходные представления о взаимном сдерживании. Сегодня вся наша планета, все мы стали как бы заложниками ядерного безумия: даже если одна из сторон приведет в действие свое оружие, последствия окажутся глобальными и возмездие — неотвратимым. Иначе говоря, мы все стоим перед общей опасностью и вместе должны искать пути к общей безопасности.

Советское правительство раньше многих заявило, что ядерное оружие перестало быть инструментом войны, что оно не может служить никакой военной цели. Этот важнейший вывод привел к торжественному обязательству Советского Союза не применять ядерное оружие первым.

Гонку ядерных вооружений следует прекратить, ибо у человечества нет иного выхода. Этот моральный императив ныне поставлен достигнутым уровнем ядерного оружия. Этот серьезнейший вывод следует принять за основу решений не потому, что вот сейчас открыто явление «ядерной зимы». Данный факт существенно дополняет ситуацию, придает ей конкретность и универсальность.

Сегодня очень нужна надежда на будущее. Не только из-за чудовищных расходов нельзя продолжать гонку вооружений — нельзя строить жизнь в предположении всеобщей гибели. Люди должны понимать, что происходит, ибо страх порождается непониманием. Из понимания, из знания должна утвердиться политическая воля к миру, к построению взаимоотношений, в будущем навсегда исключающих ядерную войну из обихода человечества.

Одна из первейших обязанностей ученого состоит в том, чтобы не только овладевать научным знанием, но и доводить его до сведения людей, общества. При этом мы неизбежно выходим за рамки точных наук с их кажущейся объективностью и попадаем в сложный мир общественных отношений и ценностных критериев. К сожалению, человеческая природа и наше поведение меняются гораздо медленнее наших научных представлений и технических средств, которыми мы обладаем. Это одна из фундаментальных проблем нашего времени, одна из основных причин тех трудностей, которые встают перед нами в странах с разным общественным устройством, историей и традициями.

Тем не менее насущные глобальные проблемы, стоящие перед нами, можно разрешить мирным путем. Важнейшей предпосылкой этого становится формирование общественного сознания в области научно-социальных вопросов, в сфере проблем войны и мира. Широкая информация о возможных последствиях ядерной войны исключительно важна для всех жителей Земли. Особая роль здесь принадлежит не только средствам массовой информации, но и искусству. Из явлений литературы, посвященных проблемам глобального масштаба, самым значительным явился роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Мировой кинематограф, к сожалению, в отличие от того, что происходило 20 лет тому назад (тогда появились «Доктор Стрейнджлав» С. Кубрика и «На берегу» С. Крамера), не уделяет этой тематике должного внимания...

Мы должны научиться думать
по-новому,
Помните о вашей
принадлежности к роду
человеческому и
забудьте об остальном.
Если вам это удастся, то перед
вами откроется путь
в новый рай.
Если не удастся, вы окажетесь
на пороге всеобщей гибели.

Эти страстные и мудрые слова принадлежат Бертрану Расселу. Заявление, которое он составил тридцать лет назад, было подписано Альбертом Эйнштейном и девятью другими великими людьми. «Манифест Рассела — Эйнштейна» должен служить заветом не только для всех ответственно мыслящих ученых, но и для всех и каждого. Научиться думать по-новому — таков социальный заказ времени.

По вопросам климатических последствий ядерной войны существует обширная специальная литература и ряд статей сводного характера. Укажем на:

МАТЕРИАЛЫ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧЕНЫХ ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ И МИР. «Вестник Академии наук СССР», 1983, № 9.

Обухов А. М. и Голицын Г. С. ВОЗМОЖНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА. «Земля и Вселенная», 1983, № 6.

Феоктистов Л. П. СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕР АБСОЛЮТНОГО. «Природа», 1983, № 9.

Турко Р. П., Тун О. Б., Аккерман Т. П., Поллак Дж. Б. и Саган К. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. «В мире науки», 1984, № 10.

Александров В. В. и Моисеев Н. Н. ЯДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ ГЛАЗАМИ КЛИМАТОЛОГОВ и МАТЕМАТИКОВ. «Вестник Академии наук СССР», 1984, № 11.

Гинзбург А. С. «ЯДЕРНАЯ ЗИМА» — РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. «США — экономика, политика, идеология», 1985, № 3.

Капица С. П. ЭСХАТОЛОГИЯ ЯДЕРНОГО ВЕКА. «Век XX и мир». 1985. № 6.

БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ, ПОКА ОНА НЕ НАЧАЛАСЬ. (Подборка статей). «Природа», 1985, № 6.

◆

Документальная проза

ФАРЛИ МОУЭТ

МОРЕ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ

Главы из книги

Перевод с английского И. ЛЕВИДОВОЙ и Ю. РОДМАН

В эру Красных книг, регистрирующих бесчисленные раны, которые человек наносит природе, «Море истекает кровью» воспринимается как экологическое «Я обвиняю». Фарли Моуэт, хорошо известный и у нас канадский писатель, путешественник, биолог, этнограф, выступил в ней как публицист и историк. На примере одного региона Атлантики — вдоль и поперек изученного им за три с лишним послевоенных десятилетия северо-восточного побережья Канады и США — Моуэт прослеживает этапы драматичных взаимоотношений между человеком и животным миром этих мест с начала XVI века до 80-х годов нашего столетия.

Впрочем, о взаимоотношениях можно было бы говорить лишь в далекие «аборигенские» времена, когда охота была для коренных жителей средством пропитания, честным поединком, когда человек и зверь сосуществовали на общей территории, без крайней нужды не вмешиваясь в жизнь друг друга. Но времена эти давно ушли в область преданий. Какие взаимоотношения могут быть между грабителем и ограбленным, между убийцей и убиваемым, короче — между хищником и его жертвой? А хищником — безоговорочно утверждает в своей книге Моуэт — стал теперь именно человек, вооруженный современной техникой. Объяснения этого на поверхности: беспечность, безответственность, равнодушие, невежество, бездумный спортивный азарт, но прежде всего и более всего — непомерная жадность, толкающая на слепое, ради сиюминутной наживы, а в конечном счете самоубийственное опустошение природы — общего дома для всех живых существ нашей планеты.

Фарли Моуэт, прозаик обаятельного, жизнерадостного дарования, знающий толк в гиперболической, «твеновской» шутке, в этом своем кропотливо и мучительно создававшемся труде тяготеет к суровой точности. Он не позволяет пафосу парить над фактами, а эмоциям — расплываться в сентиментальной риторике. Статистика, хронология, выдержки из официальных документов и редких источников — все это не иллюстрации к рассказу; скорее рассказ служит комментарием к летописи постыдных и черных дел. И все же обширная (более 30 листов) книга Моуэта остается неизменно авторской, очень личной. В ней нашлось место и для лирического воспоминания, и

© 1984 by Farley Mowat Limited

ФАРЛИ МОУЭТ — FARLEY MOWAT (род. в 1921 г.)

Канадский писатель, автор многих книг, преимущественно о севере Канады. На русский язык переведены «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», «Испытание льдом», «Не кричи: волки!», «Вперед, мой брат, вперед!», книги для юношества и др. В «Иностранной литературе» напечатаны главы из книги «Лодка, не желавшая плавать» (1972, № 5). Ф. Моуэт дважды приезжал в Советский Союз, побывал в городах и поселках Якутии, в Иркутске, Братске, Магадане, на Байкале и по возвращении написал книгу «Мое открытие Сибири» («Sibir. My Discovery of Siberia»).
Книга «Море истекает кровью», главы из которой печатает «ИЛ», вышла в Канаде в 1984 г. («Sea of Slaughter». Toronto, McClelland and Stewart).

для выразительного ландшафта, и для забавной истории, но сильнее и неотступнее всего — чувства боли и негодования, горький сарказм повествователя. В других произведениях Моуэта много портретных зарисовок самых разных людей, которых он встречал во время своих путешествий и в периоды оседлой жизни: рыбаков и лесорубов, моряков и охотников; и показывает он их всегда конкретно, зримо, с доброжелательной, веселой наблюдательностью. Но в этой его книге человек — лицо собирательное, предстающее лишь в одной своей ипостаси: разрушителя. Зато бесконечно разнообразны ее главные персонажи, обитатели воздуха, вод и суши: птицы, рыбы, морские и сухопутные млекопитающие. Следуя традиции своего почитаемого старшего соотечественника Э. Сетон-Томпсона, Моуэт-анималист не только дает возможность увидеть каждое живое существо во всей его уникальности, как творение неисчерпаемо изобретательной природы, но и «влезть в шкуру» загнанной жертвы коммерческих и охотничьих вожделений.

Моуэт взял на себя роль «общественного защитника» животных, а следовательно, «общественного обвинителя» человека и, как говорит он сам, готов услышать упреки в излишне мизантропическом взгляде на своего собрата — «гомо сапиенса». От крайностей пессимизма его оберегают, однако, деятельная натура и живая еще вера в потенциальные возможности этого «гомо сапиенса» поступать соответственно своему имени, то есть разумно. Моуэт далек от прекраснодушия, он смотрит на вещи трезво, зная, что в окружающем его мире нравственность частенько упирается в экономику, а экономика — в политику. Связи охотничьего промысла с монополиями, а монополий с правительствами выявляются в его книге вполне четко. И все же с уважением и надеждой рассказывает он о деятельности энтузиастов — одиночек и групп,— о переменах в общественном мнении, о движении за охрану животного мира, которое набирает силу в Канаде и других капиталистических странах, отмечает природоохранительные меры, предпринятые некоторыми правительствами, и особо — советским правительством.

«Море истекает кровью» — самое крупное, но не единственное публицистическое произведение Фарли Моуэта, человека беспокойного, для определенных кругов «неудобного», что неоднократно давали ему почувствовать и в Канаде и в США (куда ему недавно был запрещен въезд как «нежелательному элементу») [1]. А книги его, переведенные на многие языки, находят благодарных читателей далеко за пределами Канады.

Рамки журнальной публикации позволили нам ограничиться лишь несколькими главами и фрагментами из книги «Море истекает кровью», относящимися преимущественно к современности. В них речь идет о судьбах нескольких «действующих лиц»: белого медведя, двух представителей рыбьего царства— «плебейки» трески и «аристократа» лосося, гренландского кита и, наконец, тюленей, истребление которых по масштабам и варварской жестокости превосходит, пожалуй, все, что было описано в этой шокового воздействия книге. Читать ее трудно и стыдно, к чему и стремился автор, добровольно принявший на себя такую тяжелую и благородную миссию.

И. Л.

---

[1] Журнал «Тайм» (6.V 1985, № 18) поместил заметку, в которой излагались подробности этой истории. Ф. Моуэт в последний раз был в США в 1968 году; когда же недавно он прибыл в Международный аэропорт в Торонто, намереваясь вылететь в Лос-Анджелес в связи с изданием книги «Море истекает кровью», то был остановлен иммиграционными чиновниками, как лицо, фигурирующее в особом списке иностранцев, которым запрещен въезд в США. Список содержит около 50 000(!) имен. Протесты общественности вынудили американские власти «временно снять запрет» с Моуэта, но писатель не захотел этим воспользоваться.

Как и почему возникла эта книга

Морская посудина неопределенных очертаний — пароход «Блюммерсдик» — принадлежал к судам типа «Либерти», спешно сваренным из ржавых стальных полос в доках военного времени. В середине сентября 1945 года он вышел из Антверпена с грузом сувениров, относившихся к недавнему мировому катаклизму и предназначенных для военного музея в Канаде. Официально я находился на борту в качестве ответственного за этот мрачный груз.

А вообще-то я возвращался домой — ветеран в двадцать четыре года,— полный решимости стряхнуть с себя годы антижизни на войне: я жаждал снова оказаться в мире живых существ, в целительном мире, где все еще поют птицы, где в лесных чащах снуют большие и малые твари, а самые большие плавают в безмолвии моря.

Мы неспешно двигались через осенний океан. Единственный пассажир на судне, я проводил много времени на мостике по приглашению пожилого капитана. Капитан Де Витт питал страстный интерес к животным, населяющим морские просторы, и, узнав, что я разделяю это увлечение, придумал игру. Стоя на разных концах мостика, мы часами не отрывали от глаз биноклей, и каждый старался первым увидеть и опознать кита, морскую свинью или какую-нибудь птицу. И частенько зоркий старый шкипер оставлял в дураках своего молодого гостя.

На четвертый день по выходе из Ла-Манша капитан внезапно приказал рулевому взять лево руля и крикнул мне: «Вон он пускает фонтаны! Сам Старый Кашалот!»

Как зачарованный смотрел я на окружавшее судно стадо кашалотов, посреди которого мы медленно двигались вперед. Они плыли у самой поверхности, отмечая свое присутствие высокими струями воды, которые то и дело вздымались по всей арке го-

ризонта. Около часа провели мы среди них, пока, с большой неохотой, капитан не отдал команду лечь на прежний западный курс.

Дня два спустя перед самым носом парохода прошла стая синих китов — этих лоснящихся морских бегемотов, по величине и величавости не имеющих себе равных ни на суше, ни на море. В другой раз нам устроили представление обогнавшие судно морские свиньи, которые занялись акробатикой на носовой волне. Когда мы приблизились к Большой Ньюфаундлендской Банке[1], я первым углядел к северу от нас столбы дымящихся водяных фонтанов; капитан снова изменил курс, мы двинулись на перехват и попали в компанию из полусотни китов-бутылконосов. Вовсе не стремясь избежать встречи, они, наоборот, пошли прямо на судно и очутились так близко, что один огромный самец обдал нас клубом парного, отдающего рыбой дыханья.

Время текло быстро в этом плаванье. Недалеко от Вёрджин-Рокс за один только день мы насчитали одиннадцать видов морских птиц, определив общее их число примерно в несколько сот тысяч. У входа в пролив Белл-Айл миновали целую процессию китов-финвалов, направлявшуюся в открытое море, и капитан Де Витт с восторгом салютовал им нашим сиплым пароходным гудком. Огибая с востока остров Антикости в заливе Св. Лаврентия, мы прорезались в тумане и штиле сквозь тучи всевозможных птиц, это были большей частью гаги и турпаны. Время от времени из-под носа корабля взвивались и как по волшебству растворялись в туманной дымке стаи плавунчиков.

К тому времени, как пароход вошел в монреальский док, мы с капитаном внесли в путевой журнал тридцать два вида птиц и десять видов морских млекопитающих, а к ним в придачу еще несколько таких диковинных созданий, как меч-рыба, огромная медуза и необычайных размеров акула гигантская. Для меня это было путешествие из долгой тьмы — к свету жизни...

Восточное побережье Канады необъяснимым образом притягивало меня к себе. Весной 1953 года мы с отцом на старом его осанистом двухмачтовике «Скотч боннет» поплыли рекой Св. Лаврентия к одноименному заливу. Чуть пониже Квебека возникла иллюзия, что зима вернулась снова: на травянистых островках и заросших рогозом болотах, широкой дугой опоясавших Кап-Турмант, лег пушистый белый покров. Это были тысячи белых гусей, набиравшихся сил перед долгим перелетом на свои арктические гнездовья. Пройдя мимо Гаспе, мы поплыли под громоздящимися уступами острова Бонавантюр, где оказались под живым облаком бесчисленных олушей. Мы немного пожили у рыбака, ловца омаров, на западной оконечности острова Принца Эдуарда и с изумлением смотрели, как он за один улов втаскивает в лодку до 300 этих одетых в зеленый панцирь созданий.

Встречали мы тогда и множество китов. Однажды темной ночью, во время так называемой «собачьей вахты», нас посетила стая касаток — «китов-убийц». Отец как раз задремал у руля, когда один из них вдруг выпрыгнул из воды у самого борта. Чуть только семи-восьмитонная туша снова шмякнулась в воду, все вокруг сотряслось, будто над нами прозвучал трубный глас страшного суда. По-моему, отец после этого никогда уже не разрешал себе уснуть на ночной вахте.

Выходя в Атлантику через пролив Кансо, мы попали в хвост урагана, который отнес парусник к острову Сейбл; здесь мы приковали к себе внимание десятков пар блестящих глаз любопытствующих тюленей. По мере того как «Скотч боннет» прокладывал путь обратно к берегу Новой Шотландии, а затем пересекал залив Мэн, двигаясь к Лонг-Айленду, мы почти все время общались со всевозможными обитателями моря.

В последующие три десятилетия я жил большей частью в районе залива Св. Лаврентия или на атлантическом побережье, и привязанность моя к этим местам росла год от года.

Около двух лет я провел в суровых штормовых морях — плавал на спасательных буксирах, намереваясь написать о людях, которые занимаются такой работой в Северной Атлантике. Этому региону посвящено несколько моих книг: о собственных путешествиях, о давних норвежских экспедициях, о тюленьем промысле — в его человеческом аспекте, о том, как живут отдаленные рыбацкие поселки.

Потом мы с женой на несколько лет осели на Ньюфаундленде и на маленькой нашей шхуне обследовали побережье и ближние воды, побывали на острове Сен-Пьер и в море Лабрадор. Много дней провел я на всевозможных рыболовных судах — от четырехвесельной рыбацкой плоскодонки до 600-тонного тральщика,— наглядeлся, как поднимают на борт блистающие живым серебром массы рыбы, от мойвы величиной с карандашик до 400-фунтового палтуса размером с амбарную дверь.

В 1967 году мы направили свою шхуну вверх по великой реке[1] к озеру Онтарио. Но оказалось, что во внутренних водах нам остановиться нельзя, пришлось повернуть обратно и разбить лагерь на песчаном берегу одного из островов Магдален, изогнувшегося наподобие кривой турецкой сабли посреди залива Св. Лаврентия. Там у меня завязались столь короткие отношения с массивными серыми тюленями, что они разрешали мне принимать солнечные ванны на том же самом пляже, где возлежали сами. Оттуда я продолжил свои путешествия: к острову Антикости, к мысу Гаспе, к острову Принца Эдуарда. И здесь было множество гренландских тюленей, которые некогда в несметных количествах размножались на паковом льду залива и вдоль северо-восточной оконечности Ньюфаундленда. Я побывал на обоих лежбищах, где подрастал молодняк... и стал очевидцем кровавой бойни, начавшейся с появлением здесь промысловиков-охотников.

---

[1] Большая отмель в Атлантическом океане у о-ва Ньюфаундленд, один из крупнейших в мире ареалов рыболовства. *(Там, где это не оговорено особо, прим. ред.)*

[1] Имеется в виду река Св. Лаврентия.

В 1975 году мы с женой перебрались на остров Кейп-Бретон — еще один дом на берегу неумолчного моря. Но теперь в этом гуле морском звучали какие-то тревожные, мрачные ноты. Уже несколько лет меня не покидало тягостное ощущение, что некогда столь привычное богатство и разнообразие животного мира в океане и у его берегов неуклонно идет на убыль. Явственно сократилось число тюленей, морских птиц, омаров, китов, морских свиней, морских лисиц, выдр, лосося и множества других существ, присутствие которых всегда воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Некоторое время я пытался уговорить себя, что это преходящее, быть может, цикличное явление. Однако, полистав собственные записи, сделанные здесь же на протяжении тридцати лет, убедился, что моя интуитивная тревога подтверждается самым зловещим образом. За эти тридцать лет количество почти всех крупных животных и многих видов мелких радикально сократилось.

Глубоко озабоченный, я стал расспрашивать местных рыбаков и жителей окрестных лесов, обращаясь к их памяти,— ведь иные из них провели в этих краях чуть не девяносто лет. Если даже допустить, что воспоминания старожилов подчас бывают подернуты голубой дымкой, а многие поддаются соблазну рассказать байку, все равно их свидетельства подтверждали неоспоримые факты: произошло огромное сокращение и объема, и многообразия животного мира, и процесс этот продолжается.

Расширив поле своих исследований, я обнаружил, что не одно лишь атлантическое побережье жестоко пострадало от оскудения животного мира. Встревоженные натуралисты и другие ученые во всех концах света сообщали о почти повсеместной убыли животного мира, убыли, происходящей, видимо, во все возрастающем темпе. До меня дошло такое высказывание секретаря Смитсоновского института: если так будет продолжаться и дальше, то к середине XXI века в мире не останется ни одного дикого животного размером более хлебницы,— кроме тех, существование которых мы поддерживаем в собственных, эгоистических целях.

По мере того как приближались 80-е годы, все неотступнее маячили передо мной три вопроса. Во-первых: если на памяти одного лишь поколения фауне этого северо-восточного морского побережья был нанесен столь ощутимый ущерб, то каковы же потери с начала завоевания этого континента европейцами? Во-вторых, если эти потери по своим масштабам сравнимы с нынешними, то чем грозит это существованию всего живого на планете, включая и человека, ибо живая природа в конечном итоге неделима? И в-третьих, если уничтожение жизни — дело рук человеческих, то что мы можем сделать для прекращения этой бойни, пока еще не слишком поздно?

Наше понимание настоящего и способность мудро планировать будущее опираются на основательное знание прошлого. Вот почему в поиске путей, которые привели бы меня к ответам на эти вопросы, я должен был прежде всего познакомиться с историей животного мира на этом континенте — с момента появления здесь человека с Запада. Я долго искал такой фундаментальный труд. Нашел книги об истреблении отдельных видов и особей животных,— например, странствующего голубя и американского бизона. Нашел работы, где перечислены животные, которым грозит полное исчезновение. Но всеобъемлющей летописи или хроники, которая прослеживала бы этот убийственный процесс в целом, я так и не обнаружил.

И в 1979 году я сам — скорее поневоле — принялся за составление подобной хроники. Уже на первых подступах к труду, которому суждено было растянуться на пять лет, я понял, что должен поставить себе определенные границы. Одной книги (и одной жизни) не хватило бы даже для беглого рассказа о том уничтожении природы, что началось в Северной Америке с приходом западного человека (я имею в виду представителя западной культуры, отделяя его от аборигена).

В основном я исследовал регион, который знаю лучше всего: северо-восточное побережье Атлантического океана. Его площадь составляет сравнительно малую часть земной поверхности, но естественная история его удивительно богата; разрушение животного мира этого края отразило в миниатюре всю историю его эксплуатации на всей территории, где господствует современный человек,— а территория эта уже охватывает почти весь наш земной шар. То, что произошло здесь на море и суше, происходит в наше время на любом континенте и в любом океане.

Регион, о котором пойдет речь, заключает в себе берега, острова, прилегающие отрезки материка и омывающие сушу моря восточной оконечности Северной Америки. Его границы: на севере примерно с середины моря Лабрадор, на юге — в районе Кейп-Кода, на западе — охватывают залив и нижнее течение реки Св. Лаврентия. Именно здесь и появились в самом конце X века норвежцы, приплывшие из Гренландии и Исландии. Они показали пример другим, и к середине XV века искатели приключений уже из самой Европы стали прокладывать пути в водах Нового Света. К 1500 году португальцы, англичане, французы и баски досконально обследовали побережье, и началась первая стадия не прекращающейся и доныне эксплуатации обнаруженных территорий. Таким образом, хронологические рамки книги — с 1500 года по настоящее время.

История человеческого общества в этот период была и в основе своей остается историей эксплуатации. Это и есть моя центральная тема, но подхожу я к ней как бы с позиции самих жертв. Мы, люди, располагаем достаточным числом адвокатов, способных оперировать всевозможными аргументами для оправдания нашего образа действий. Прочие живые существа — плачевно малым. Если, взяв на себя роль их защитника, я произвожу впечатление мизантропа, извинений приносить я не намерен. Могу лишь сказать одно: не моя это задача — искать обоснования или оправдания взятому современным человечеством курсу на истребление жизни.

Я ограничился рассказом о судьбах млекопитающих, птиц и рыб, особо остановившись на морских млекопитающих. У них

есть еще шансы выжить и восстановить свое поголовье — больше шансов, чем у сухопутных. Этих последних мы физически вытесняем с лица земли, бесконтрольно разрушая их среду обитания, потворствуя своим непомерным аппетитам.

Книга моя — не о том, как вымирают те или иные животные. Она — о массовом сокращении всего животного мира в его совокупности. Хотя в ряде глав прослежены этапы исчезновения той или иной особи, бо́льшая часть книги посвящена видам, еще существующим как самостоятельная форма жизни, но понесшим страшнейший урон. Иные сведены теперь чуть ли не к реликтовым популяциям, сохранившимся пока лишь по доброй воле, почему-либо проявленной человеком.

Некоторые из читавших книгу в рукописи сочли рассказанное мной столь страшным и отталкивающим, что просто не могли понять, зачем я целых пять лет добровольно погружался в весь этот ужас. Чего я хотел этим добиться? Да, книга повествует о долгом кровавом прошлом, о пяти веках господства человека, который повел себя как самое хищное животное-убийца из всех, что существовали когда-либо на нашей разоряемой планете. Но я не оставляю надежды, что эта летопись возмутительных дел, творимых нами в море, истекающем кровью, и на его побережье, заставит нас осознать последствия необузданной жадности, с которой мы вторгаемся в мир живой природы. Может быть, мы сумеем изменить свой взгляд на положение вещей и свой образ действий, чтобы не стать в конечном итоге разрушителями живого мира, частью которого являемся сами.

Белый призрак

Помню, как мне, четырнадцатилетнему неофиту-натуралисту, выпала большая удача — я отправился в поле, на северное манитобское побережье Гудзонова залива с моим двоюродным дедом Фрэнком Фарли, видным орнитологом. В те времена орнитологи занимались преимущественно тем, что собирали огромные коллекции, и дядя Фрэнк не являлся исключением. Его коллекция птичьих яиц была знаменита: предполагалось, что я как ученик и помощник внесу в нее свою лепту.

Одним июньским утром он послал меня на разведку на берег залива — мы искали гнезда ястребов. Гнезд оказалось мало, и все они были на большом расстоянии друг от друга: лишь после полудня я набрел на тупорылую скалу, которая представлялась идеальным убежищем для выведения ястребиного потомства. И действительно, в глубокой расселине, на высоте примерно в 50 футов, пряталось неуклюжее сооружение из прутьев и водорослей — собственность четы голенастых ястребов. Пока эти большие птицы в тревоге кружили над моей головой, я ограбил гнездо, обернул яйца ватой и сунул их в свой рюкзак. Проделав все это, огляделся вокруг.

Внизу подо мной шипели и бурлили ледяные волны залива, но в восточном направлении из серого моря торчало нечто странное, ржаво-красного цвета. В бинокль я разглядел, что это — обломок разбитого, вынесенного на берег судна. Вблизи он оказался носовой частью грузового пароходика, из тех, что ходили вдоль берегов залива. Ястребы и яйца были забыты мгновенно — что может сильнее распалить мальчишеское воображение, чем остов разбитого корабля? По закрученным искореженным кускам железа я вскарабкался на самый верх поднятого над водой носа. И обнаружил, что я здесь не один.

В какой-нибудь сотне ярдов от меня три желтовато-белых, как слоновая кость, медведя скорым шагом двигались в мою сторону. Вожак был неправдоподобно громаден, зато двое следовавших за ним — не больше пары спаниелей.

Я оцепенел от страха — не требовалось быть натуралистом, чтобы понять: ко мне трусит медведица со своими детенышами. «Всегда держись подальше от медведицы с детенышами!» — этот завет вдалбливали мне в голову все охотники и жители лесной глубинки, которых я когда-либо встречал. Они имели в виду сравнительно небольшого черного медведя, обитающего в северных лесах, но я чувствовал, что к грозному белому призраку, так легко и плавно приближающемуся ко мне, правило относится в стократной мере.

Я хотел было спастись бегством, но двинуться с места — значило выдать себя, а у меня не было ни малейшей охоты состязаться в скорости с медведем. К счастью, в мою сторону дул легкий бриз, и я надеялся, что троица прошествует мимо, не заметив, как я сижу, скорчившись от ужаса, среди обломков мертвого корабля.

Они были уже в десяти ярдах, когда медведица, без видимой причины, остановилась, поднялась на свои толстые задние ноги, а передние для равновесия вытянула вперед: я увидел ее громадные лапы с длинными, загнутыми когтями. Наверное, я шевельнулся. Медведица подняла голову, и наши взгляды на миг встретились. Ее черный нос наморщился, она оглушительно чихнула, с поразительной для такого огромного зверя гибкостью повернулась кругом и галопом поскакала в обратном направлении; за ней, неуклюже подпрыгивая, поспешили медвежата.

Собственное мое отступление было почти столь же стремительным. Я мчался с такой скоростью, что, когда предстал перед дядей Фрэнком, яйца в моем рюкзаке превратились в омлет. Дядя выразил живейшую досаду по поводу яиц и явное недоверие к моему рассказу. Однако я убедил его вернуться со мной к обломкам судна (на этот раз с оружием), и следы на пляже — величиной с суповую тарелку — подтвердили правдивость моих слов. Никогда еще, говорил дядя Фрэнк, он не слышал, чтобы белый медведь с детенышами забирался так далеко на юг! Дядя даже решил написать об этом странном случае в какой-то ученый журнал.

Для него то, что случилось со мной, было необычным явлением. Для меня же — первой, на всю жизнь запомнившейся встречей с одним из самых великолепных, менее всего изученных и более всего преследуемых животных во всем мире.

Белый медведь, весом в 1200 фунтов и более, длиной до 11 футов, принадлежит к

числу крупнейших сухопутных плотоядных животных. Он не имеет себе равных по ловкости и силе. Сетон-Томпсон описывает в одной из своих книг, как белый медведь, поймав в воде стофунтового тюленя и держа добычу в зубах, вскочил на край плавучей льдины, «словно норка, вытаскивающая на берег форель». Видели, как медведь, убивший в воде белуху весом около двух тонн, перенес тушу на берег во время прилива.

Зверь-долгожитель, белый медведь достигает иногда сорокалетнего возраста. Он чувствует себя как дома и на суше и на плавучем льду, по которому свободным своим плавным шагом передвигается со скоростью до 30 миль в час. Он с легкостью прыгает через десятифутовые трещины и взбирается чуть ли не на отвесные уступы и ледяные торосы. Столь же поразительно действует он и в воде. Жировой слой не только защищает его от влаги и помогает держаться на плаву, но и позволяет неделями обходиться без пищи, когда нет добычи, а благодаря толстой шкуре с длинной «водоотталкивающей» шерстью он безболезненно переносит длительное пребывание в воде, которое убило бы других представителей медвежьего рода. Огромные — диаметром до фута — лапы, которыми он загребает воду, дают возможность лоснящемуся, обтекаемой формы телу развивать скорость до шести узлов в час. Некоторые суда встречали медведя, проплывшего с ближайшего берега не меньше 300 миль и не обнаруживающего признаков усталости.

Большинству из нас это творение природы знакомо по стандартным, почтенной давности клише: фото белого медведя, который в жаркий день с несчастным видом бултыхается в бетонном бассейне городского зоопарка. Зрелище это, видимо, должно способствовать лучшему самочувствию обливающегося потом человечества, внушая, что наш дискомфорт — ничто по сравнению со страданиями животного, привыкшего жить среди снегов и льдов. Ибо это — гласит подпись под снимком — п о л я р н ы й медведь.

Такое наименование является исторической ошибкой — поздней, относящейся уже к началу XIX века. До этого он всегда назывался б е л ы м медведем (иногда — морским или водяным). Римляне знали его под этим именем в I веке н. э. Ведь еще задолго до христианства пойманные белые медведи считались предметом величайшей гордости при дворах царей, у племенных вождей. В средние века медведей держали даже епископы. Более того, можно полагать, что еще в незапамятные времена их почитали как олицетворение сверхчеловеческой мощи во всех умеренных климатических зонах Евразии.

Откуда же пришли эти плененные белые медведи? Разумеется, не из полярных регионов, которые остались ныне единственным местом их обитания, — в то время это была terra incognita. Все данные говорят о том, что белые медведи еще детенышами попадали в ловушки либо на норвежском побережье, вплоть до южной его точки — Бергена, либо на берегах Ботнического залива Балтийского моря. Восточные медведи прибывали, очевидно, с Курильских островов, где остатки их колонии сохранялись до конца XVII века. Норвежским и балтийским медвежьим кланам повезло меньше — и тот и другой были уничтожены уже к X веку. С той поры пойманные животные или шкуры доставлялись сначала из Исландии, потом из Гренландии. В 1253 г. король Генрих III держал в лондонском Тауэре белого медведя из Гренландии, которым дорожил как одним из своих величайших сокровищ.

Совершенно очевидно, что в былые времена белый медведь водился не только в полярных областях Европы и Азии. Встречался он также и в Америке. Первые путешественники, посетившие северо-восточное побережье Нового Света, чаще всего упоминают в своих описаниях именно белого медведя. И не потому, что он был какой-то необычайной диковинкой, а наоборот, потому, что, судя по историческим данным, принадлежал к числу наиболее часто встречавшихся крупных млекопитающих.

Смелость всегда была одним из самых приметных и, на взгляд европейца, внушающих опасение свойств белого медведя. И все же представляется, что смелость медведя—доходящая до дерзости, основана не столько на воинственности и грубой силе, сколько на спокойной уверенности, что у него нет врагов и потому он может без всякого для себя вреда идти куда вздумается. В те времена, когда в контакты с медведем вступали только коренные жители, убежденность эта была вполне оправданна. Хотя абориген мог убить и убивал белых медведей, обычно он предпочитал избегать конфликтов, отчасти из-за того, что осторожность—храбрости не помеха, а также потому, что к этому зверю примитивный человек испытывал почтение, граничившее с поклонением. И медведи, со своей стороны, отвечали взаимностью, проявляя вполне терпимое отношение к роду человеческому. Это вот отсутствие агрессивности у белого медведя, видимо, удивляло первых пришельцев, однако нельзя сказать, чтобы они платили ему взаимностью.

Как известно, во всех по преимуществу иудейско-христианских культурах господствовало убеждение, что крупные плотоядные животные по природе своей свирепы и жестоки, что они всегда враждебны человеку и их следует уничтожать при любой возможности. Белый медведь не был исключением. Уже с XVI века он приобрел репутацию страшного зверя-людоеда, которому человечий череп больше по вкусу, чем тюлений. Подобного рода небылиц всегда распространялось великое множество, хотя фактически насчитывается очень немного свидетельств неспровоцированного нападения белого медведя на человека, да и те не всегда достоверны.

Если белые медведи могли успешно сосуществовать с аборигенами, то приход других, агрессивных представителей человеческого рода сделал это сосуществование невозможным. Рыбой — и свежей и соленой — рыбаки и охотники на тюленей, проводившие летние месяцы на побережьях Нового Света, были сыты по горло, им хотелось мяса, и это вожделенное мясо легче всего было добыть, убивая белых или водяных, как их иногда называли, медведей.

В те времена белый медведь в изобилии водился на берегах, где промышляли рыбу: в Новой Шотландии, по берегам Лабрадора, в эстуарии реки Св. Лаврентия. Обнаружить зверя было легко, и не только из-за цвета его шкуры. Мало опасаясь человека, он не прятался и не убегал при его появлении. Наоборот, он сам подходил к рыбацким станам, привлекаемый запахами, которые его чуткий нос улавливал за много миль, и спокойно угощался рыбкой из сетей и сушилок, что приводило хозяев в бешенство. По всем этим причинам, а также потому, что косматая медвежья шкура считалась в Европе ценной диковинкой, истребление белого медведя началось здесь очень рано.

В первом десятилетии XVII века европейцы, настойчиво искавшие источники ворвани — черного золота тех времен,— начали прокладывать себе пути к северу от своего континента. Вскоре был открыт архипелаг Шпицберген, и к середине столетия воды его бороздили уже десятки китобойных судов. То были зачатки быстро разраставшегося флота, который в последующие века залил кровью океанские просторы в ходе беспримерного по масштабам избиения морских млекопитающих, о чем речь пойдет дальше.

Среди жертв были главным образом киты, моржи и тюлени, но китобоям вскоре стало известно, что из крупного водяного медведя можно извлечь до 12 галлонов отменной ворвани. Кроме того, европейские аристократы отлично платили за лохматые медвежьи шкуры — они шли нарасхват для застилки каменных полов в промерзающих замках и дворцах. Таким образом, с самого начала северного мореплавания белых медведей убивали при первой же возможности, хотя систематическая охота на них до конца XVIII века не велась — отчасти потому, что огнестрельное оружие было еще довольно примитивным и охотник чувствовал себя неуверенно, выходя на поединок с громадным зверем. Но к концу 1800-х годов, с появлением новых, более совершенных ружей, белый медведь приобретает статус объекта первостепенного значения в охотничьем промысле.

По мере того как сокращалось поголовье морских млекопитающих, добыча белого медведя становилась все интенсивнее. Капитаны некоторых судов посещали излюбленные этим зверем места и вели систематическое истребление всех попадающихся им медведей. Успешно использовалась засада из хорошо вооруженных людей около туши убитого кита. Однажды у восточного побережья Гренландии команда норвежской шхуны, используя как приманку мертвого кита, перебила за один раз тридцать ледовых — как тогда называли их — медведей.

Бойня год от года набирала все больший размах. Китобои из Новой Англии, промышлявшие у берегов Лабрадора в 1790-х годах, уничтожали всех белых медведей, которых удавалось обнаружить, и скупали шкуры у лабрадорских иннуитов [1], которых снабдили ружьями и превратили в охотников, промышляющих зверя круглый год. К началу 1800-х годов все это возымело двойное действие: племя иннуитов сократилось вдвое из-за подхваченной у китобоев болезни, а нанук — так иннуиты называли белого медведя — стал вымирающей особью на побережье Лабрадора, где еще пятьдесят лет назад водился в изобилии.

Не одни лишь иннуиты были в том повинны. Рыбаки, охотники, скупщики шкур и даже миссионеры хлынули на берега Лабрадора, и каждый из них считал своим долгом уложить на месте каждого увиденного медведя. К 1850 году видели их уже не столь часто и, как правило... взяв на мушку. Есть, правда, упоминание, что в южном Лабрадоре, на Скуэр-Айлендс взяли живьем двух медвежат,— значит, немногие оставшиеся в живых звери еще могли в 1850 году обзавестись потомством. Но вскоре исчезли и они.

Некогда многочисленная, полнокровная медвежья популяция по всему северо-восточному побережью Америки была уничтожена целиком. В ту пору массовое истребление белого медведя началось почти уже во всех местах его обитания. Когда практически исчез гренландский кит, добытчики ворвани в Арктике переключились на белого медведя, и последствия этого были поистине ужасны. В 1906 году команда норвежского судна, плававшего в гренландских водах, за один только летний сезон уничтожила 296 медведей. В течение «рыболовных сезонов» 1909 и 1910 годов британские китобои умертвили в арктических водах у берегов Канады 476 медведей и превратили их жир в ворвань. Тем временем китобойянки производили подобные же опустошения среди белых медведей тихоокеанского региона.

Прекращение китобойного промысла в Арктике не принесло ощутимой пользы оставшимся в живых медведям. Промысловики — норвежцы, шотландцы и жители Ньюфаундленда,— добывавшие гренландского тюленя и тюленя-хохлача у берегов Ньюфаундленда, Лабрадора и Гренландии, не пропускали ни одного медведя. И это была не единственная напасть. Уже к 1820-м годам Европой и Америкой овладела настоящая мания исследования Арктики; экспедиция за экспедицией отправлялись на далекий Север. Одни — в поисках легендарного Северо-западного или Северо-восточного прохода, другие — пытаясь достичь Северного полюса; одни — во имя науки, другие — ради спортивного азарта. И каждая считала само собой разумеющимся, что с любым живым существом, встреченным на пути, люди вольны поступать как им только заблагорассудится.

Вот что сказал об этом в 1909 году Эрнест Сетон-Томпсон: «Арктические путешественники взяли за правило убивать всех попадающихся на их пути белых медведей. Не имеет значения, нужно ли им мясо или нет. В последние годы этих бессмысленных убийств стало еще больше, потому что на север устремляется все больше людей и оружие их становится все более смертоносным. Один арктический путешественник рассказал мне, что собственноручно застрелил 200 полярных медведей, а использовал лишь несколько туш».

Типичным можно назвать и поведение Роберта Пири, одного из двух американских исследователей, стремившихся достичь Северного полюса. Он использовал таких

[1] Иннуиты — общее название для большинства эскимосских племен арктической Америки.

крупных животных, как северные олени, моржи, овцебыки и медведи, в качестве главных источников пищи, обогрева и одежды в своем громоздком экспедиционном хозяйстве, а на заключительных этапах путешествия насильственно привлекал к себе на службу целые отряды иннуитов с сотнями упряжных собак. Более того, он принуждал и своих людей, и иннуитов ставить капканы либо отстреливать всех пушных зверей, шкуры которых можно было продать в США; в их числе были и белые медведи.

Масштабы уничтожения арктическими экспедициями млекопитающих (и прежде не столь многочисленных в местном животном мире) на северо-западной оконечности Гренландии и на острове Элсмир были таковы, что в целых регионах совсем не осталось крупных животных — и в результате множество иннуитов умерло от голода. Одни лишь экспедиции Пири привели к гибели не менее двух тысяч медведей.

Можно сказать, что рекордное число убитых белых медведей стало считаться особым достижением для множества любителей-путешественников. На собственных яхтах либо арендованных судах богатые охотники-убийцы из Европы и Америки проникали чуть ли не во все потаенные убежища, где еще скрывались белые медведи, отстреливая всех подряд. Некоторые живописали героизм и отчаянную храбрость охотников на «свирепого белого убийцу с Севера», и это тоже способствовало нарождению новой моды. Сменяли друг друга десятилетия XX века. и вот уже стало «престижным» обладать шкурой белого медведя—соответствующим образом обработанной, с головой, со злобно ощеренной клыкастой пастью,— что в свою очередь заново разожгло интерес к коммерческой охоте на этого зверя. Такая охота ведется и в наши дни, и быть может, еще интенсивнее, чем прежде, настолько она доходна. В 1964 году хорошая невыдубленная медвежья шкура стоила 1000 долларов. Теперь она значительно подорожала. К 1964 году обе разновидности охоты — коммерческая и «трофейная» — с использованием самолетов, снабженных лыжами, и машин-вездеходов привели к столь трагическим результатам, что даже в тупых мозгах иных представителей правящей бюрократии зашевелилась смутная тревога: что же ожидает в ближайшем будущем медведя, ставшего п о л я р н ы м уже фактически, а не только по названию? Если не считать равнины у Гудзонова залива, то полярные регионы остались единственным местом, где медведям пока удается выжить.

В следующем, 1965 году было созвано Первое международное совещание по охране белого (полярного) медведя: его организовали страны, где обитает это животное,— Канада, США, Советский Союз, Дания (от имени Гренландии) и Норвегия (от Шпицбергена),— чтобы выяснить, есть ли реальные основания для тревоги. Среди веских заключений, к которым пришли эксперты, было следующее: «Интенсивная охота на белых медведей, которую начиная с XVII века вели китобои и добытчики тюленя, вероятно, привела к сокращению популяции». Участники совещания не пришли к единому мнению в вопросе о том, насколько сократилась популяция, а также — что важнее — какое количество белых медведей сохранилось в настоящее время. Американские ученые предположительно определили их число в 19 000, советские назвали другую цифру — 8000.

Еще более расплывчатыми оказались статистические данные о количестве убиваемых ежегодно медведей. Канадская делегация заявила, что на ее территории их может быть «примерно 600». В США, где спортсмены и коммерсанты-добытчики шкур используют самолеты, отстреливая медведей над паковым льдом у берегов Аляски,— «около 1000». Норвежские эксперты признались, что не имеют понятия, сколько медведей убивают их соотечественники.

Ни одна из стран, за единственным исключением, не считала, что само существование животного находится под угрозой. Исключением был Советский Союз, где еще за десять лет до этого ученые пришли к убеждению, что белому медведю грозит опасность, и с 1957 года государство приняло его под свою защиту. В последующее десятилетие уничтожение белых медведей продолжалось в неубывающих масштабах на Аляске, в Гренландии, в Канаде и на Шпицбергене, а более всего — на льду в международных водах. К 1968 году уже называлось число убитых медведей — 1500 в год, но в действительности оно, вероятно, превысило и 2000. Подобный урон, наносимый ежегодно виду животных, самки которых дают потомство лишь через два года на третий, а общая популяция во всем мире не превышает 20 000, грозит полным его уничтожением. И все же большая часть стран, где обитает белый медведь, не высказывает ни малейшей озабоченности по этому поводу.

Совсем еще недавно, в 1976-м, правительство Канады опубликовало предназначенный для широкой общественности документ, в котором утверждалось, что белые медведи и теперь сохраняются «в изобилии... и в адекватных количествах... Несмотря на международные дискуссии относительно уменьшения их популяции, в Канаде по-прежнему возможен промысел этого зверя ввиду его избытка». Однако же, в раздраженном тоне продолжают составители документа, Канада испытывает все возрастающие трудности в экспортировании ценных медвежьих шкур из-за ограничений, установленных другими странами (имеется в виду эмбарго на ввоз шкур животных, существование которых находится под угрозой; к их числу многие западные государства причисляют теперь и белого медведя). «Канада считает,— говорится в заключение этого документа,— что хозяйственная деятельность, базирующаяся на принципе здравого смысла, важнее, чем жесткие формы охраны животного мира».

А руководитель Отдела охраны белого медведя Канадской службы охраны диких животных присовокупил к этому и свое мнение, согласно которому запрещение охоты на белых медведей было бы «чрезмерной протекционистской реакцией». Выбор подобного курса, разъясняет он, создаст помехи для ученых, производящих полез-

ные исследования, так как лишит возможности пополнять коллекции биологических образцов (читай: умерщвленных медведей). Он подчеркнул, что в данное время именно Канада имеет все основания определять, какая будущность ожидает белого медведя.

К чему эта будущность сводится, ясно из другого, опубликованного тогда же документа. Недубленые медвежьи шкуры, торжествующе сообщает этот документ, идут на международном рынке по цене от 500 до 3000 долларов за штуку. Следовательно, ежегодный допустимый, по рекомендациям канадских ученых, состоящих на государственной службе, «урожай» в 630 белых медведей приносит свыше миллиона долларов дохода — стоимость одних только шкур; к этому надо прибавить еще полмиллиона в виде платы за обслуживание охотников из США, Европы, Японии и стран Ближнего Востока. Здравый экономический смысл в сотрудничестве со «здравомыслящей» наукой диктует необходимость и впредь собирать этот «урожай». И его собирают по-прежнему. Хотя в 1972 году США запретили уничтожение белых медведей на Аляске (кроме охотничьего промысла местных жителей, необходимого для их существования), а годом позже Норвегия по примеру Советского Союза запретила всякую охоту на медведя на своей территории, Канада и Гренландия продолжают собирать медвежью «жатву». С 1973 года они весьма эффективно используют свою монополию на коммерческий отстрел белого медведя. Монополия эта весьма прибыльна. В 1984 году на долю Канады придется «дозволенное» истребление около 700 медведей, а в Гренландии их будет убито 300. Японцы, ныне скупающие до 95 процентов этих «модных» шкур, за самые лучшие будут платить по 5000 долларов, а Южная Корея — до 3000 долларов за высушенный желчный пузырь медведя, который там используют в медицинских целях. И сверх всего этого спортсмены-охотники заплатят по 15 000 долларов каждый за разрешение убить белого медведя [1].

Есть, впрочем, и хорошие новости. В канадской провинции Онтарио, в ведении которой находится значительная часть равнины у Гудзонова залива, создан на западной стороне залива Джеймс парк-заповедник белого медведя; обитающие там медведи взяты под полную охрану. Провинция Манитоба, пользующаяся теперь хорошим доходом от туристов, которые приезжают в Черчилл поглядеть на белых медведей, разрешает охоту на них только коренным жителям-индейцам. В Советском Союзе произошло столь резкое увеличение числа белых медведей, что в некоторых районах, например на острове Врангеля, оно уже, возможно, приблизилось к первоначальному уровню. Эмблема с изображением большого белого медведя как бы символизирует в Советском Союзе просвещенный взгляд на дело охраны живой природы,— ведь и там, как и повсюду, люди, убежденные, что внечеловеческие формы жизни имеют право на существование, спорят с теми, кто считает: животные существуют на нашей планете лишь на потребу злоупотребляющего своей властью человека.

На северо-восточном побережье американского континента белый медведь ныне не более чем исчезающий призрак. С 1960 года десятка два медведей двигалось к югу по паковому льду, но не менее пятнадцати были перехвачены добытчиками тюленей и застрелены «в целях самозащиты». Весной 1962-го медведь, которому удалось спастись от охотников, вошел в портовый поселок Роз-Бланш на юго-западном берегу Ньюфаундленда. Появление его со стороны сельского кладбища вызвало такую панику, что все жители разбежались по домам. Медведь не обращал на них ни малейшего внимания. Добравшись до воды, он поплыл ко входу в гавань, где встретил двух человек в рыбачьей плоскодонке. Громкими криками и ударами весел о планширы они заставили его свернуть в сторону. Тогда медведь решил плыть к противоположному берегу гавани. Но люди оказались проворней: неистово гребя, они подъехали к рыбацкому амбару, схватили ружья и успели уложить медведя наповал, пока он в нерешительности стоял у самого берега, не зная, в какую сторону направиться.

Еще один медвежий визит относится совсем уже к недавнему времени — это произошло на восточном берегу Ньюфаундленда 9 мая 1973 года. Молодой медведь, уже раненный, пришел на окраину деревни Нью-Челси близ Хартс-Контент. Он не угрожал никому и ничему, но, подобно другим своим сородичам, был встречен ружейным огнем.

Он брел по дороге словно громадный окровавленный белый призрак, вспоминал потом один из свидетелей гибели животного.

Воистину: громадный белый призрак!

Рыба покидает воду

Старинная поговорка гласит: сколько бы рыбы ни вытащили из моря, в нем всегда останется больше. И действительно, были времена, когда утверждение это соответствовало истине.

Эти времена миновали.

Десять лет тому назад Жак Кусто, выражая мысли всех, кого волнует будущее обитателей моря, поделился опасением, что примерно треть всего живого в мировом океане уже уничтожена в результате деятельности (читай: вредоносной деятельности) человека. За минувшее десятилетие ситуация стала еще хуже. Вполне вероятно, что не в столь отдаленном будущем моря превратятся в безжизненные водные пустыни.

Рыбы и морские беспозвоночные редко рождают сочувственный отклик в человеческом сердце. Тем не менее в сложнейшей вязи, которую образуют различные формы жизни на нашей планете, они являются одним из важнейших звеньев. И лишь рискуя подорвать собственные шансы на спасение от гибели, мы можем поз-

[1] К откровенному возмущению Канады, США объявили теперь белого медведя видом, находящимся под угрозой истребления, и запретили импорт медвежьих шкур, что может умерить рвение американских охотников, уничтожающих медведей в погоне за трофеями. *(Прим. авт.)*

волить себе игнорировать то зло, которое причинялось и причиняется человеком морским животным.

Еще одна важная причина вынуждает нас внимательно отнестись к этому вопросу: необходимость сказать правду. Вот уже полстолетия люди, наживающиеся на уничтожении жизни в море, энергичнейшим образом отрицают свою вину, заявляя, что «очищают» моря от рыб другие живые существа. В главе «Рыба покидает воду» названы истинные виновники происходящего и кое-что рассказано о той участи, на которую человек обрекает существа, населяющие глубины моря, истекающего кровью.

Между 1899 и 1904 годами ежегодные уловы трески (и пикши, которая на предприятиях по засолке рыбы обрабатывается так же, как и треска) достигали миллиона тонн. Один лишь Ньюфаундленд в этот период каждый год экспортировал около 1 200 000 центнеров сушеной рыбы, что соответствовало 400 000 тоннам свежей трески. К 1907 году уловы у берегов Ньюфаундленда поднялись примерно до 430 000 тонн, в водах Большой Ньюфаундлендской Банки плавало около 1600 рыболовных судов, принадлежащих разным странам.

Но к этому времени над Банкой повеяло холодом, и причина была вовсе не в туманах, почти никогда здесь не рассеивающихся. Треска стала ловиться все труднее, и каждый рыболовецкий рейс год от года оказывался немного продолжительней. Однако ни у кого не возникало и тени подозрения, что Банка истощена из-за непрерывной добычи рыбы. Вместо этого повторяли одно из стародавних рыбацких объяснений убыли рыбы: треска, мол, двинулась по другим маршрутам, надо надеяться — временно.

Тот факт, что в самом начале XIX века у лабрадорского побережья и даже в такой его северной точке, как Кейп-Чидли, были обнаружены огромнейшие косяки трески, казалось, подтверждал: иногда рыба меняет места своего обитания. На самом же деле лабрадорская треска представляла собой совершенно независимую, до той поры нетронутую популяцию. В этом состоянии она оставалась недолго. К 1845 году 200 ньюфаундлендских судов уже рыбачили на севере, а к 1880 их стало 1200. Почти тридцать тысяч ньюфаундлендских рыбаков (они именовались «плавучими», если ловили рыбу со стоящего на якоре судна, и «сухопутными», если лов шел с береговой базы) лишь на одном лабрадорском побережье засолили в 1880 году до 400 000 центнеров трески.

Лабрадорскую треску вскоре постигла плачевная участь. Уловы ее неуклонно снижались, пока к середине XX века прославленный лабрадорский рыбный промысел не потерпел полный крах. И снова была сделана попытка приписать исчезновение лабрадорской трески одной из таких мифических миграций. Однако на этот раз попытка оказалась тщетной Правда заключалась в том, что Ее Величество Треска стала встречаться все реже и реже на всем протяжении своих североатлантических владений. В 1956-м уловы на Большой Ньюфаундлендской Банке упали до 80 000 метрических тонн — одной пятой того, что добывалось всего лишь пятьдесят лет назад.

Когда в природе происходит оскудение какого-либо вида животных, то обычно сокращается и число хищников, для которых это животное служит добычей: таким образом жертвы получают возможность восстановиться количественно. Но человек индустриальной эры ставит себя вне законов природы. Чем меньше становилось трески, тем интенсивнее шла добыча. Рыболовный флот оснащался судами нового типа, вредными для окружающей среды: траление, при котором дно океана как бы выскребывается гигантской бороной, изничтожая икринки и другие живые организмы, почти вытеснило старые способы добычи рыбы. Сокращение уловов трески взвинчивало ее продажную цену, а это обстоятельство в свою очередь привлекало к промыслу все большее число рыбаков. В 1960-х годах уже целые флотилии траулеров и плавучих рыбозаводов из десятка стран Европы и Азии бороздили воды Большой Банки, в бешеном темпе истребляя последние остатки тресковых популяций. В результате между 1962 и 1967 годами добыча резко подскочила и в 1968-м превысила два миллиона тонн. А вскоре тресковый бизнес стал разваливаться по всей северо-западной Атлантике, поскольку рыба просто кончилась.

Канада расширила зону экономического контроля за промыслом до расстояния двухсот миль от берега и этим спасла треску от полного уничтожения: запасы ее, которые, по самым заниженным данным, составляли в последние годы не больше 2% первоначального уровня, начали теперь снова расти, хотя, разумеется, отнюдь не в том темпе, что был предсказан статистиками, обязанными обелять и оправдывать образ действий правительства и руководителей рыболовецкой индустрии. Ясно также, что нечего даже и помышлять о приближении к прежнему уровню запасов трески, пока не прекращена промысловая добыча мелкой рыбы, которой треска питается.

После второй мировой войны коммерческий рыболовный промысел, в котором прежде участвовали по преимуществу мелкие компании, стал обнаруживать признаки «гигантизма», захлестывавшего весь мир индустрии. К началу 60-х почти весь рыболовный бизнес оказался в руках мощных картелей либо в ведении правительств. На хищническое опустошение некогда «неисчерпаемых» запасов трески они реагировали как и подобает истинным приверженцам священного принципа — «черпай до дна!». Вместо того чтобы, используя свое богатство, власть и влияние, добиваться свертывания курса на истребление, требовать установления контроля и тем самым обеспечить будущее рыболовному промыслу, они кинулись в яростную конкурентную борьбу за добычу еще сохранившейся в море трески. А когда уловов ее оказалось недостаточно, чтобы поддержать «уровень доходности», они готовы были загрести в свои сети — буквально — все, что ни попадется, лишь бы затемнить истинное положение дел. В результате началась и продолжается самая настоящая оргия истреб-

ления, масштабы которой не превзойдены за всю долгую историю хищнической деятельности человека на море.

Если треска относится (на взгляд человека) к плебейскому племени обитателей моря, то атлантический лосось принадлежит к блистательной аристократии. Однако участь его от этого легче не стала.

С 1865 по 1910 год один канадский обыватель по имени Наполеон Комо нес службу по охране лососей, водившихся в небольшой речке Годбу, что протекает на северном берегу эстуария реки Св. Лаврентия, в двухстах милях пониже Квебека. Хозяевами его были монреальские дельцы и политиканы — несколько человек, получивших монопольное право на добычу лосося из этой реки. Сторож Наполеон должен был гарантировать полную неприкосновенность речных вод, принадлежавших самозваным «владельцам Годбу». Сорок три года подряд вместе со своими помощниками он вел нескончаемую войну в реке и ближних водах эстуария «против заклятых врагов королевского лосося: белух, морских свиней, тюленей, медведей, норок, выдр, крохалей, зимородков, скоп, гагар». Стражи обходились весьма жестко и с людьми — браконьерами, которых удавалось обнаружить, а также с коренными жителями-индейцами, чьи предки с незапамятных времен добывали лосося для своего пропитания. Комо был не только беспощадным сторожевым псом. но и верным слугой, поваром и проводником обожаемых хозяев, о которых он (или «автор-призрак», пишущий от его имени) говорил в следующих выражениях: «И пусть еще долгие годы владельцы реки Годбу, вооруженные знанием и сноровкой, занимаются этим благородным спортом, состязаясь в хитрости, проворстве и силе с царственным лососем!»

Человек пунктуальный, Комо вел строгий учет достижений «владельцев Годбу». Хотя они проводили на реке лишь по две-три недели в году и редко использовали одновременно больше шести удилищ, за годы службы Комо ими было выловлено 14 560 лососей. в среднем по 18 фунтов каждый, что составило около 260 000 фунтов «королевской рыбы».

Типичным был сезон 1903 года. За две недели господа Джон и Джеймс Мэнюэл, Джеймс Лоу и полковник Э. А. Уайтхед убили 543 крупных лосося («убить лосося» — термин, употребляемый и спортсменами и промысловиками) общим весом в 6 334 фунта; примерно по 50 фунтов из улова каждого любителя закоптили, чтобы можно было пароходом доставить в Монреаль «вещественное доказательство» спортивной доблести. Что же касается остального — трех тонн «королевской рыбы», то они остались гнить в долине реки Годбу, а частично были использованы как приманка для черных медведей, которых ловили в западню и отстреливали, дабы хищники эти не таскали из реки живую рыбу.

Нет ничего необычного в этом дошедшем до нас изображении рыболова-спортсмена в действии. Во второй половине XIX и начале XX века члены четырехсот с лишним клубов подобных любителей лосося ловили рыбу в реках северо-восточного побережья, от Мэна до Лабрадора. Многие имели лицензии на исключительное право убивать «королевскую рыбу». Членами клубов были представители социальной, финансовой, военной и политической элиты американского континента, к ним надо прибавить и визитеров из-за границы, также людей почтенных, зачастую из аристократических кругов. Все они занимались истреблением лосося с не меньшим размахом, чем «владельцы Годбу»,— по крайней мере до тех пор, пока запасы рыбы не были исчерпаны. Но, как бы то ни было, эти поздние участники бойни появились здесь уже напоследок, чуть не к шапочному разбору.

Самое первое в Северной Америке упоминание об атлантическом лососе мы находим в саге о путешествии Лейфа Эйриксона в Винланд [1] в 995 году, когда ему пришлось перезимовать где-то на ньюфаундлендском берегу. «Лососи там водились в избытке, и это были самые большие лососи, каких они когда-либо раньше видели». Лососи были здесь не только крупнее — само изобилие их не поддавалось описанию. Впрочем, судите сами: в те времена, когда начиналось нашествие европейцев на американский континент, чуть не каждая река, впадающая в Атлантический океан, со всеми ее притоками вплоть до малых ручьев, от середины Лабрадора на севере до Гудзона на юге, а также водоемы, питающие систему Св. Лаврентия на западе,— все это служило домом для кланов и бесчисленных триб лосося. Все члены каждой трибы появлялись на свет, и проводили раннюю пору жизни в своем речном доме, и сюда же возвращались, уже возмужавшие в морях, чтобы дать жизнь новому поколению. По самым скромным оценкам, не менее трехсот таких лососевых рек предоставляли тысячи нерестилищ для атлантической популяции лососей, которая по численности могла превосходить несколько, вместе взятых, его видов, обитавших на тихоокеанском побережье Северной Америки.

В конце XIX века появились безошибочные признаки исчезновения атлантического лосося. В 1898-м попался в сети последний, видимо, потомок миллионов рыб, что метали икру в реках, впадающих в озеро Онтарио, — это произошло близ Торонто. К 1900 году с лососями было успешно покончено в Коннектикуте, Массачусетсе и в большинстве рек Нью-Хэмпшира и Мэна. Где бы ни спускали в ближние водоемы свои отходы предприятия химической, металлургической и других видов промышленности, лососи там больше не появлялись. И все больше дальних рек на северном берегу залива Св. Лаврентия лишалось своих лососей, потому что нерестилища оказывались погребенными под слоями гниющих опилок, коры и щепы — мусора, сброшенного в воду лесопильными заводами и сплавщиками леса. Чем туже закручивалась спираль эксплуатации, тем яростнее был натиск рыболовов — и спортсменов и промысловиков — на последние речные прибежища лосося. Чем меньше остается рыбы, тем выше на нее цены, а значит, тем

[1] Буквально — «страна винограда», название, данное норманнами северо-восточному побережью Северной Америки.

интенсивнее идет добыча, а значит, еще меньше остается рыбы и т. д. и т. п. ...

Если подумать, что́ только пришлось и приходится выдерживать лососю, то самый факт его все еще продолжающегося существования кажется чудом жизнестойкости. Но и этого чуда недостаточно, чтобы спасти лосося от человеческой жадности.

Нет надобности подробно описывать, как шло истребление атлантического лосося в первой половине нашего века. Достаточно сказать, что вопреки разрозненным (всегда слабым и запоздалым) попыткам принять какие-то охранительные меры он неуклонно движется навстречу своей гибели. Пока спортсмены и промысловики препирались, употребляя все более резкие выражения, по поводу того, кому достанутся последние экземпляры, современная технология обрушила два сокрушительных удара на еще сохранившиеся стаи лосося.

В конце пятидесятых годов американский морской флот стал направлять на север подводные лодки, которые проходили под арктическими льдами, и одна из них сделала поразительное открытие. Под кромкой паковых льдов моря Баффина обнаружились косяки светлых рыб, которые, после некоторых колебаний и путаницы, были опознаны как атлантические лососи. Открытие имело особое значение, ведь до тех пор было совершенно неведомо, где именно зимуют лососи, покинув родную реку ради длительного пребывания в море.

Первыми воспользовались этим открытием датчане, вслед за ними — норвежцы. Вскоре целые флотилии морских сейнеров и дрифтеров начали истребление лососей на их собственных зимних квартирах. При этом погибал не только североатлантический лосось: в море Баффина собирались все еще сохранившиеся трибы, включая остатки европейских.

К этому времени почти все лососевые трибы Атлантики стягивались в канадские воды. И беда грозила им уже с двух сторон. По официальным данным, опубликованным в западной Гренландии, ежегодная добыча лосося между 1962 и 1982 годами составляла там две-три тысячи тонн, но известно, что фактически было уничтожено по крайней мере на 50% больше.

Одновременно канадские рыбаки, которые ставили ловушки на путях возвращения рыбы в реки для нереста, по берегам и в устьях рек, также добывали по две тысячи тонн лососей за год. Одно лишь это массированное наступление на уже достаточно истощенный вид было для него непомерным испытанием. Но лососю суждено было пережить еще одно катастрофическое бедствие.

В 1950-е годы руководство лесной промышленности и власти провинций начали проводить повсеместную обработку инсектицидами северо-восточного побережья Канады с воздуха. Эти смертоносные вещества, первоначально содержавшие ДДТ, до такой степени отравили реки, где происходил нерест, что погибали целые кланы выведенного за год лосося. Все расширяющееся применение пестицидов, дефолиантов и прочих химикалий ведет к опустошению лососевых рек; к гибельному воздействию химикалий надо прибавить и последствия падающих — невидимо — с небес кислотных дождей.

Всем, кто читает газеты, известно, что кислотные дожди уже превратили сотни, если не тысячи, озер в северо-восточной Америке в безжизненные водные пространства. Не приходится сомневаться, что, если кислотные дожди не прекратятся в самое ближайшее время, а вред, ими нанесенный, не будет хоть как-то компенсирован, популяции лосося будут полностью уничтожены и в тех немногих реках и ручьях, где он еще пытается выводить потомство. В жертву кислотным дождям принесены уже двенадцать лососевых рек в Новой Шотландии, и остальные находятся под серьезной угрозой.

А тем временем в Канаде, в провинции Квебек, целые подразделения полицейских брошены против индейцев племени микмак, лишенных права ловить лосося в реках, где из поколения в поколение добывали себе пищу их предки; промысловики претендуют на добычу в устьях рек, спортсмены-рыболовы — во внутренних банках. Но хотя индейцам запрещено — по формулировке представителя общества рыболовов-любителей — «рискованным, разорительным и вредным способом ловли сетью лишать себя же в будущем изобилия лосося», он стал такой редкой и дефицитной рыбой, что браконьерство превратилось в Новой Шотландии, Нью-Брансуике и ряде районов Квебека в хорошо организованный, прибыльный бизнес. Сохранившаяся еще рыба слишком драгоценна, чтобы ей было позволено жить: ведь на черном рынке за фунт лосося платят 10 долларов!

Данные, опубликованные федеральным правительством в конце 1983 года, свидетельствуют: в Мирамиши, одной из самых богатых лососем рек Канады, популяция лосося сократилась за один только год на 34%, а с 1960-х — на 87%. Нерестилища в канадских реках уменьшились в среднем на 50%, и, согласно неофициальному прогнозу, еще до конца текущего десятилетия королевская рыба исчезнет буквально из всех лососевых рек к югу от пролива Белл-Айл.

Впрочем, возможны и исключения. Одним из них может стать река Рестигуш, поскольку частью этой реки протяженностью в двадцать восемь миль владеет в высшей степени элитный Рестигушский клуб любителей ловли лосося. Его члены, среди которых были в свое время Кэботы из Бостона, Морганы, Уитни и Уинтропы из Нью-Йорка, а ныне находятся такие именитые спортсмены, как президент нефтяной «Эксон корпорейшн», вероятно, сумеют и дальше, «вооруженные знанием и сноровкой, заниматься этим благородным спортом, состязаясь в хитрости, проворстве и силе с царственным лососем». Однако же рыбу, которую они смогут уничтожать, скорей всего придется выращивать искусственно на лососевых фермах, служащих двойной цели: ублажать гурманов деликатесной пищей и содействовать тому, чтобы спортивное братство продолжало наслаждаться «спортом королей».

Многие историки придерживаются мнения, что главной приманкой, неодолимо

притягивавшей европейцев к северо-восточным берегам Америки, была треска. И хотя это вполне справедливо, когда речь идет об англичанах и, пусть в меньшей степени, о большинстве французов, первых искателей приключений — португальцев, испанцев, басков и французов с берегов Бискайского залива — привлекало нечто более существенное. А именно ворвань — жир, добываемый из морских животных.

В конце XV века в Европе остро ощущалась нехватка горючего — первое предзнаменование наступления нашей эры. В те времена горючее добывали главным образом из жира сухопутных животных или из растений. Эти ресурсы начали истощаться, и удовлетворить возрастающий спрос становилось все труднее. Но бороздившие океан мореплаватели, и прежде всего моряки с Пиренейского полуострова, знали, что запасы горючего, хранимые морем, воистину безграничны. Природа щедро наградила жиром тюленей, моржей, китов, и этот жир легко перерабатывался в горючее. На заре XVI века ворвань стала еще более ценным и необходимым продуктом, и владельцы судов юго-западной Европы постепенно сделали ее добычу своим главным источником дохода.

Прежде чем море, где сейчас царит смерть, стало тем, чем мы его сделали, оно было царством китов. Тридцать — сорок миллионов лет назад прародители современных китов жили в полной безопасности в родном океане, куда их предки вернулись после нескольких эонов пребывания на суше. За несколько столетий до появления безволосой обезьяны киты уже превратились в один из наиболее сложных и вместе с тем наиболее устойчивых видов живых организмов, населяющих нашу планету. Не появись на Земле род человеческий, киты, несомненно, остались бы царями морей, как это и было, пока европейцы не пересекли северную часть Атлантического океана и не начали завоевание Нового Света вместе с прилегающими к нему водами.

Многие из этих первых мореплавателей стремились прежде всего добыть ворвань. Их кровавые подвиги во славу корысти навлекли на китов столько бедствий, что иные жестокости, совершенные современным человеком, кажутся сравнительно безобидными.

Гренландский кит

Осенью 1947 года я недолго жил в Черчилле, в провинции Манитоба; это конечный пункт железной дороги, проложенной по берегу широкого внутреннего моря, называемого Гудзонов залив. Небольшой разбросанный городок казался раздавленным огромным бетонным элеватором, высившимся, как небоскреб, по ошибке построенный в первозданном мире всхолмленной тундры и скованных льдом морей. Но при всей величественности этого зрелища в моей памяти ярче запечатлелся иной великан.

Однажды, когда свирепый восточный ветер гнал по заливу высокие волны и тусклый день почти померк от разыгравшейся снежной бури, я укрылся в баре гостиницы. Я сидел, обхватив руками кружку пива, как вдруг в бар с громким топотом ворвался какой-то краснолицый парень.

— У правительственного пирса! — вопил он.— Сам видел! Громадина с товарный вагон! Даже больше! Валите смотреть, ребята!

Спустя двадцать минут почти все мужское население Черчилла собралось на зернопогрузочном пирсе, выступающем далеко в воду уже оледеневшей по берегам гавани. Я стоял вместе с другими, натянув на голову капюшон куртки, чтобы защититься от колючих морских брызг. Рядом со мной сутулились три иннуита. Они были родом из Понд-Инлета, маленького городка на Баффиновой Земле, откуда их привезли на пароходе; здесь, на юге, они учились на курсах водителей грузовиков и собирались потом работать на американской радиолокационной станции. Я еще раньше приметил эту троицу, парни показались мне мрачными и нелюдимыми, но сейчас иннуиты не помнили себя от радости. Я спросил, видели ли они гостя, из-за которого мы все собрались на пирсе, в ответ они замахали руками и закричали:

— Ага! Ага! А р в е к — большой гость! Смотри туда!

Вода вспучилась, и я увидел лоснящуюся, отливающую синим спину огромного, как перевернутый корабль, великана, маячившего в густом мраке в сотне футов от бетонного уступа, где мы стояли. Он был, наверное, не меньше шестидесятифутового буксира, пришвартованного у пирса. Я услышал приглушенное «хууффф», и тут же дымящиеся струи-близнецы взметнулись вверх футов на двадцать, потом они опали, послав нам тепловатое облачко с запахом тухлой рыбы. Иннуиты ликовали.

— Дыши, дыши хорошенько! Набирайся сил! Плыви на север! Передай от нас привет! — кричали они.

Еще три раза били фонтаны, наконец кит нырнул — сегмент огромного колеса покатился в морскую глубь. Снег повалил гуще, и скоро все исчезло в месиве бурана. Кит больше не появлялся, но я запомнил его — или ее, китиху,— на всю жизнь.

Иннуиты никак не могли успокоиться, они пошли вместе со мной пить пиво, и мы разговорились о неожиданном госте. Иннуиты рассказали, что кит, которого мы видели,— самое большое животное в здешних краях. Во времена их отцов арвек встречался повсюду.

— В каждой бухте, в каждом проливе... много было, много.... никто не считал.

А потом, по их словам, у берегов Баффиновой Земли появились большие корабли, и белые люди начали убивать огромных китов. Сейчас их осталось так мало, что у них в Понд-Инлете иннуит почитает себя счастливым, если за несколько лет увидит хоть одного кита.

Я тоже почитал себя счастливым. Арвек, или Balaena mysticetus, согласно терминологии ученых, или настоящий арктический, полярный или гренландский кит, как из поколения в поколение называют его ки-

тобои,— сейчас одно из редчайших животных на Земле.

Великан среди великанов, гренландский кит достигает в длину более семидесяти футов и весит ни много ни мало девяносто тонн, хотя в последнее время, обреченный нами на гибель, лишь изредка успевает дорасти до пятидесяти футов и набрать шестьдесят тонн веса. Похож он на невероятных размеров головастика, а слой жира, покрывающий его тело, толще, чем у всех других китов, и составляет иногда два фута, что позволяет получить семь тысяч галлонов горючего. Вдобавок у него самая большая «голова», дающая до двух тонн китового уса.

Киты эти такого размера, что до недавнего времени внушали благоговейный страх своим преследователям, о чем свидетельствует, например, такая запись, сделанная в XIX веке: «Представьте себе пасть вместимостью в триста баррелей... почти десяти футов высотой, вдвое большей длины и более пятнадцати футов ширины. Губы толщиной в четыре фута. Из одних только губ и глотки можно добыть шестьдесят баррелей горючего. Чтобы набрать «глоток» мелких рачков, которыми кит питается, он растягивает губы на тридцать футов и в один присест процеживает с четверть мили океанской воды. Баррели крови при температуре более 100 градусов по Фаренгейту, движимые сердцем объемом около трех баррелей, циркулируют по мощным кровеносным сосудам, самые крупные из которых достигают в диаметре около фута».

Поимка гренландского кита обещала фантастическое количество китового уса и ворвани, поэтому он считался самой желанной добычей. Как только алчные китобои узнали о его существовании, участь кита была предрешена. Но обнаружили гренландского кита на удивление поздно.

Европейцам, открывшим Новый Свет. гренландский кит долго не попадался на глаза, потому что примерно до середины XVI века большинство европейцев пересекало Атлантический океан летом. Североамериканская зима отнюдь не приводила их в восторг, так же как перспектива отдать свой парусник на растерзание осенним ветрам и бушующим волнам Северной Атлантики.

Но в конце концов — рано или поздно это должно было случиться — какие-то суда и матросы все-таки попали в лапы зимы, то ли в результате кораблекрушения, то ли потому, что оказались в ледовом плену из-за преждевременного похолодания, заставшего их где-нибудь в гавани. Достоверно известно, например, что такого рода несчастье случилось с басками на заре китобойного промысла в проливе Белл-Айл. Вполне вероятно, что большинство матросов, застигнутых зимней непогодой, просто погибли, но рассказы тех, кому, несмотря на жестокий холод, страшное истощение и цингу, удалось выжить и вернуться домой, наверняка разожгли аппетиты дельцов-китобоев.

Например, рассказы о китах невообразимых размеров, встречавшихся зимой в несметном количестве. Можно составить некоторое представление о тогдашнем изобилии китов, если вспомнить, что для их успешного истребления потребовались объединенные усилия басков, англичан, шотландцев, голландцев, немцев и американцев, и продолжалась эта охота триста пятьдесят лет подряд. После 1610 года массовое избиение китов достаточно хорошо документировано, и сопоставление имеющихся данных привело меня к выводу, что перед началом истребления популяция китов в Северной Атлантике насчитывала 150 000 голов. Если даже только половина этих животных проводила середину зимы в заливе Св. Лаврентия, декабрьский ход гренландских китов через узкий пролив между островом Ньюфаундленд и полуостровом Лабрадор представлял собой ни с чем не сравнимое зрелище.

К концу XVIII века голландцы, выручив сотни миллионов гульденов за два века безжалостного истребления китов (только между 1675 и 1721 годами они продали ворвани и китового уса на восемьдесят миллионов гульденов), ушли из пролива Дейвиса и предоставили возможность добывать гренландских китов англичанам, шотландцам и янки, яростно соперничавшими друг с другом. Американцы, однако, недолго оставались в этих водах, где теснилось слишком много китобоев.

В 1847 году американский китобой, преследуя остатки стада серых китов на севере Тихого океана, вошел в Охотское море и «обнаружил множество китов». Капитан этого судна никогда прежде не охотился на севере и не видел таких китов, но двумя годами позже китобой из Сэг-Харбор, пройдя через Берингов пролив, наткнулся на огромные стада тех же китов и установил, что они близкие родственники гренландских. Поначалу их называли полярными китами, хотя на самом деле это были типичные гренландские киты; принадлежали они к другому клану и бороздили северные воды Тихого океана, встречались в море Бофорта и Чукотском море в Северном Ледовитом океане.

Открытие неведомой прежде «золотой жилы» привлекло в эти отдаленные воды почти всех американских китобоев, и благодаря свойственным американцам отваге, изобретательности, ловкости, но прежде всего корыстолюбию здесь была устроена неслыханная резня — голландцам такое и не снилось! Всего пятьдесят лет понадобилось американцам, чтобы почти полностью истребить гренландских китов в Тихом океане. Они не знали жалости и убивали всех китов подряд, каких только могли настичь, не обращая внимания на возраст, размеры, пол. Команды некоторых судов не гнушались даже детенышами, из которых можно было добыть какие-нибудь мизерные десять баррелей горючего и ничтожное количество китового уса, да и то не всегда. В 1852 году один из американских капитанов так рассказал об этой эпопее:

«Огромная флотилия из разных судов шла на север к полюсу, в походе участвовали суда всех (наших) китобойных портов. Общими усилиями мы убивали гренландских китов и даже детенышей... Впервые я был в этих местах два года назад, с тех пор китов стало меньше... А как могло быть иначе? Посмотрите, сколько

судов охотится за китами от Кейп-Тэддиуса до (Берингова) пролива! Китов преследуют днем и ночью, им не дают ни минуты покоя... за прошлый сезон убили не меньше трех тысяч китов, но в среднем (горючего) добыли вдвое меньше, чем два года назад. К этому нечего прибавить, каждому понятно, что пройдет немного времени — и нам незачем станет плавать в Арктику».

Если говорить о ворвани, упавшей в цене из-за появления нефти, то капитан был, конечно, прав, но оставался еще китовый ус. В середине XIX века спрос на предметы, для изготовления которых требовался китовый ус,— кнуты, зонтики, шляпы, подвязки, стоячие воротнички, трости, бортики бильярдных столов, удочки, зубочистки, «волшебные прутики» для отыскания воды или залежей руды и т. д. и т. п.— непрерывно возрастал, и соответственно стремительно возрастала цена на китовый ус. В 1855 году китовый ус стоил два доллара фунт, спустя десять лет цена удвоилась. Поэтому избиение китов продолжалось, и в эти годы тысячи гренландских китов были уничтожены только ради их «усов».

Поскольку китобоям больше не нужно было тратить долгие часы на изнурительную работу — не нужно было разделывать туши и вытапливать китовый жир,— они могли посвятить почти все свое время убийству. Некоторые корабли добывали по двадцать пять тонн китового уса за одно плаванье. Это означало гибель не менее тридцати китов, потому что в то время редко какому гренландскому киту удавалось прожить достаточно долго, чтобы нарастить тонну драгоценной кости.

К 1910 году популяция гренландских китов, населявшая Берингов пролив, море Бофорта и Чукотское море, уже не представляла никакой промышленной ценности и была почти полностью уничтожена. Их восточные сородичи находились в таком же плачевном состоянии.

Около 1860 года китобойцы с паровым двигателем практически полностью вытеснили устаревшие парусники. Большинство из них принадлежали шотландцам, но к этому времени многие американские китобои, некогда опустошившие северные районы Тихого океана, снова получили возможность заняться выгодным промыслом. В 1863 году два американских паровых судна пробились сквозь весенние льды в Гудзонов залив, где наткнулись на «легионы китов... в северной части залива от Марбл-Айленда до Кейп-Фуллертона китов оказалось видимо-невидимо».

Это было не такое уж неожиданное открытие. Гренландские киты из моря Баффина и из пролива Арктики с незапамятных времен зимовали, спаривались и производили на свет детенышей в Гудзоновом заливе. Еще в 1631 году мореплаватели рассказывали, что встречали в заливе этих великанов. Один из торговцев, плававших по Гудзонову заливу, писал в 1751 году: «Таких стай китов (как в Гудзоновом заливе) не встретишь больше нигде на всем белом свете».

Дельцы из компании «Гудзонов залив» не принадлежали к тем, кто упустит случай нажить капитал, но все их попытки наладить китовый промысел терпели неудачу, видимо, потому, что во главе у них стояли «сухопутные моряки», не занимавшиеся прежде китами. Стоило, однако, появиться в заливе американским китобойным судам, как дело пошло. Для американцев это была последняя возможность заработать на китах кругленькую сумму, и они использовали ее до конца. Между 1863 и 1865 годами американцы осуществили 146 китобойных экспедиций, около ста из них с зимовками в заливе или с высадкой зимовщиков на побережье. Так как один кит давал горючего стоимостью в 30 000 долларов, да еще 15 000 можно было выручить за китовый ус, конкуренция между китобоями достигла высочайшего накала и убийцы китов действовали беспощадно.

Зимой киты обычно собирались в стаи вместе с детенышами и плавали в разводьях главным образом в северо-западной части залива. Добраться до них по воде было нелегко, но подойти пешком по кромке льда не составляло большого труда. Поэтому охотники пользовались не гарпунами, а многозарядными ружьями и разрывными пулями, вызывавшими тяжелые повреждения внутренних органов. Иногда раненый кит умирал мгновенно, а иногда уходил под лед и через некоторое время всплывал в другом месте, вне пределов досягаемости охотника, или же не всплывал вовсе. По сведениям инспектора полиции, наблюдавшего за охотой в последние несколько дней, по меньшей мере три четверти китов, пораженных разрывными пулями, так и не были найдены. Очевидно, большинство из них в конце концов погибло от ран.

В результате Гудзонов залив был опустошен до такой степени, что к 1895 году в заливе осталась только горсточка китобоев, еще находивших какой-то смысл в том, чтобы охотиться в этих водах. Последнее китобойное судно покинуло залив в 1908 году с пустым трюмом, не поймав ни одного кита.

Летом 1910 года несколько шотландских китобоев «прочесали» море Баффина и добыли все вместе восемнадцать китов. Поскольку этого было недостаточно, чтобы покрыть издержки, они решили возместить убытки, убивая любых животных, какие попадались им под руку. Среди их добычи числилось 400 небольших китов, обычно называемых белухами, 2000 моржей, 250 белых медведей и 5000 тюленей. Но и эти убийства не принесли им желанной прибыли. Игра больше не стоила свеч. К 1914 году, когда люди, забыв о животных, принялись истреблять друг друга, восторжествовало мнение, что гренландские киты, обитающие в этих водах, полностью уничтожены.

На самом деле это оказалось не совсем так, однако виноваты в этом отнюдь не китобои. Примерно сотне гренландских китов удалось избежать гибели, но и их не оставили в покое. Известно, что между 1919 и 1976 годами гренландские киты более сорока раз подвергались нападениям в восточных районах арктических вод Канады и в прибрежных водах западной

Гренландии; иногда зачинщиками травли были местные жители, но чаще приезжие — правительственные чиновники или служащие торговых компаний. При этом половину попавших под обстрел животных обычно настигала смерть, большинство остальных получали ранения. У меня нет достоверных сведений о том, что крошечное стадо, уцелевшее из всего многочисленного племени китов этого региона, понемногу восстанавливается. Вполне возможно, что оно продолжает уменьшаться.

Одно чуть большее стадо китов на севере Тихого океана избегло этой печальной участи. В 1969 году я побывал на берегу Охотского моря в Магадане, где советский зоолог сказал мне, что в предыдущую зиму воздушная разведка обнаружила в Охотском море 400 китов. По его подсчетам, общее количество гренландских китов в северных районах Тихого океана не превышает 2000. Но надеяться на увеличение численности китов, как он думает, не приходится, потому что алеуты и инуиты с северо-восточного побережья Аляски убивают слишком много животных.

Коренные жители Аляски, так же как и их чукотские собратья (и некоторые общины иннуитов в восточных районах Арктики), сотни, если не тысячи лет охотились на китов, добывая таким образом бо́льшую часть продукто́в, необходимых для поддержания жизни. Но до прихода европейцев киты водились в изобилии, а примитивные орудия охоты, которыми располагали местные жители, гарантировали сохранение этого изобилия и препятствовали хищническому истреблению китов. Сейчас все изменилось.

В наши дни, когда во всем мире, по самым оптимистическим подсчетам, сохранилось каких-нибудь несколько тысяч гренландских китов, жители Аляски истребляют их куда успешнее, чем прежде. Притом сейчас они охотятся на китов не для пропитания, но ради удовольствия и денег. Благодаря достижениям современной техники иннуиты и алеуты владеют теперь смертоносным оружием. Вместо хлипких лодок — деревянных каркасов, обтянутых кожей, и самодельных гарпунов у них есть быстроходные моторные шлюпки, ручные пулеметы со смертоносными разрывными пулями и гарпуны со взрывными устройствами. Довольно часто они нанимают самолеты и выслеживают с воздуха китов, которые по разводьям пробираются через паковый лед в море Бофорта или в Чукотское море на «летние пастбища».

Положение гренландских китов было и продолжает оставаться безнадежным. Доктор Флоид Дерхам после многолетнего изучения принятых на Аляске способов охоты на гренландских китов пришел к заключению, что в результате применения современного оружия и современных методов охоты 80% китов, подвергшихся нападению, просто-напросто тонут. Однажды он видел, как охотники-иннуиты убили тридцать китов обоего пола и разного возраста, но не смогли вытащить на берег ни одного! В 1973 году у него на глазах иннуиты убили пятидесятифутовую самку кита с новорожденным детенышем. Но не сумели разделать такую большую тушу и столкнули ее в воду, срезав не более десяти процентов драгоценного жира. А в 1977 году на Аляске вытащили на берег двадцать девять гренландских китов, но еще восемьдесят четыре бессмысленно погибли, раненные гарпунами со взрывным устройством.

Сейчас Канада и Гренландия категорически запретили охоту на китов в своих территориальных водах. С тех пор как в пятидесятых годах в Охотском море были обнаружены стада зимующих китов, Советский Союз взял их под свою защиту. Но Соединенные Штаты почему-то находят возможным потворствовать продолжающемуся разбою в водах Аляски.

Специалисты, занимающиеся проблемами охраны окружающей среды, очень встревожены вредным воздействием, которое, по всей видимости, оказывает на уцелевших гренландских китов разработка нефтяных и газовых месторождений в арктических водах. В ближайшие годы начнется усиленное движение огромных танкеров в районах, где гренландские киты обычно проводят летние месяцы. Более сотни нефтяных скважин уже дают нефть. Неизбежны и взрывы на нефтяных вышках и аварии танкеров — на это указывает статистика: по меньшей мере раз в десять лет такое несчастье может случиться. Научные исследования свидетельствуют о том, что большое нефтяное пятно на покрытых льдом арктических водах нанесет ущерб морским обитателям и связанным с ними живым организмам на порядок больше, чем ущерб, нанесенный на юге такими катастрофами, как гибель супертанкера «Торри Каньон» в 1967 году или же огромное разлитие нефти, происшедшее не так давно в результате прорыва одной из нефтяных скважин в Мексиканском заливе.

Насмешка судьбы заключается в том, что сохранившиеся гренландские киты вновь оказались в трагическом положении. Ибо, хотя современный человек отказался от преднамеренного уничтожения китов, его промышленная деятельность косвенным образом подрывает самые основы существования этих животных. Но, что еще печальнее, коренные жители той же Аляски, перенявшие традиционно западное отношение к живым существам и больше не нуждающиеся в китах для поддержания своей жизни, продолжают их истреблять.

Ластоногие

Тюлени обыкновенные, как их называют в Европе, или дотары (я предпочитаю это название, принятое на Ньюфаундленде), живут теперь небольшими семьями. Некогда они были, по-видимому, более общительны, и их многочисленные колонии встречались в заливах, устьях рек и бухтах на огромной территории, ограниченной с юга Каролинскими островами и включающей на севере арктические районы Тихого океана. Тюлени прекрасно чувствовали себя и в пресной воде. До 1800 года колония тюленей жила в озере Онтарио и зимовала ниже больших порогов в верховьях реки

Св. Лаврентия. Последний представитель этого исчезнувшего теперь сообщества был, вероятно, убит в 1824 году на южном берегу озера около Кейп-Винсента. Тюлени, несомненно, жили и в крупных реках, впадающих в Атлантический океан, пока нашествие охотников-европейцев не заставили их покинуть здешние края. Сейчас тюлени не сбиваются в большие стаи и размножаются в уединенных местах, вдали от посторонних глаз, но привычки эти появились, видимо, сравнительно недавно как защитная реакция на современное хищничество.

В первые века европейского вторжения маленькому дотару повезло больше, чем его более крупному родственнику — киту. Небольшие размеры, скромные запасы жира и разбросанность на огромной территории уберегли его от целенаправленного истребления. Хотя, конечно, не уберегли от потерь. Но по мере того, как на атлантическом побережье американского материка появлялось все больше европейских поселенцев и рыболовов, тюлени все чаще подвергались нападениям, потому что пришельцам требовалось мясо, горючее для домашних нужд и кожа для изготовления обуви и одежды. К тому же тюлени постепенно лишались укромных бухт и уютных заливов, где прежде в безопасности выводили детенышей. В довершение всех бед, когда горючее стало на вес золота, рыбаки и охотники набросились на тюленей в расчете разбогатеть. Так, в 1895 году некий капитан Фаркхар высадился с матросами на острове Сейбл и целое лето настолько успешно убивал дотаров, что в ближайшие десять лет на острове не появился ни один тюлень.

К началу XX века дотары все еще занимали свою исконную территорию, хотя численность их резко сократилась. В это время уже развернулось бурение скважин и нефть постепенно заменила горючее из животного жира почти во всех видах промышленного производства, поэтому цены на тюлений жир, естественно, упали, что обещало сохранить жизнь не только дотарам, но и небольшому количеству уцелевших серых, или длинномордых, тюленей.

Надежда эта, однако, оказалась призрачной. Как только люди перестали видеть в тюленях источник прибыли, отношение к ним изменилось: тюлени стали в их глазах источником бед. Дело в том, что к началу XX века численность лосося, некогда в невероятном количестве водившегося в Атлантическом океане, начала падать с такой быстротой, что рыбаки, чья бессмысленная жестокость явилась причиной исчезновения рыбы, хоть и с опозданием, но забеспокоились. Забеспокоившись, они решительно потребовали, чтобы политические деятели на местах и в столице приняли соответствующие меры, но не затронули при этом богоданные права рыбопромышленников, а также богатых и влиятельных рыболовов-спортсменов, то есть, несмотря ни на что, обеспечили тем и другим возможность уничтожать столько лососей, сколько им заблагорассудится.

Политические деятели и в этом случае поступили так, как привыкли поступать: они поручили своим прислужникам найти козла отпущения, то есть обвинить в сокращении уловов тех, на кого можно безнаказанно обрушить карающий меч, и тем самым снять ответственность с настоящих преступников, чья алчность привела к столь печальным результатам. Тут-то и подвернулись под руку дотары. Тюлени уже давно вызывали ненависть, так как рыбаки видели в них конкурентов, и хотя назначенные правительством эксперты прекрасно знали, что дотары редко лакомятся живыми лососями, просто потому, что им трудно поймать таких проворных и увертливых рыб, никто не спешил сообщать эти сведения широкой публике.

В 1927 году федеральное правительство Канады официально объявило, что дотары являются вредными животными, хищниками, что они повинны в истреблении лосося и за убийство их полагается вознаграждение. Первоначальная сумма — пять долларов — была по тем временам весьма щедрой платой, так как превышала рыночную стоимость дотара. А чтобы получить эти деньги, достаточно было показать «морду» тюленя инспектору рыбнадзора или другому местному чиновнику. Большинство этих ответственных лиц, естественно, не могли отличить нос дотара от носа других тюленей и равнодушно взирали на любые куски меха и хрящей, которые им предъявляли. Понятно, что охотники за наградой принялись убивать всех тюленей подряд, в том числе и серых, если эти редкие животные попадались им на глаза.

Война, объявленная дотарам, превратила большинство прибрежных жителей мужского пола в охотников за наградой: уничтожение тюленей стало для них либо приятным и полезным времяпрепровождением, либо надежным средством увеличения доходов. Приближение Великой депрессии и нищета рыбаков восточного побережья немало способствовали тому, что выгодная охота превратилась вскоре в настоящий крестовый поход против тюленей. Результаты не замедлили сказаться. К 1939 году значительные участки канадского побережья и побережья Соединенных Штатов были уже настолько опустошены, что рыбаки не могли больше добыть ни одного тюленя и жаловались, что сидят без мяса.

Тем не менее в удаленных, малодоступных районах небольшие стада дотаров и серых тюленей ухитрились выжить и просуществовать до начала второй мировой войны, давшей им возможность передохнуть от преследований и в какой-то мере восполнить потери. Тюлени использовали эту передышку как нельзя лучше: к 1945 году уже насчитывалось две-три тысячи серых тюленей и десятки тысяч дотаров, причем тюлени даже сделали попытку вернуться на свои прежние места.

Но это им не удалось. Если у кого-то и мелькала мысль, что пора положить конец недостойной войне против тюленей, ей не суждено было воплотиться в действие, потому что рыбаки восточного побережья рассматривали вознаграждение за убитого тюленя как своего рода постоянную субсидию, а политические деятели не могли с ними не считаться. Лишить рыбаков этого дохода значило бы рисковать потерей избирательных голосов. Поэтому вознаграждение не только не отменили, но удвоили. Правда, десять долларов платили теперь

только тому, кто приносил нижнюю челюсть дотара, так как стало известно, что предприимчивые охотники за долларами годами изготовляли тюленьи морды из других частей тела тюленей. Реформа привела к неожиданным последствиям. Так как челюсть взрослого серого тюленя заметно больше челюсти дотара, любители наживы перестали интересоваться серыми тюленями, и их численность продолжала медленно возрастать.

Однако высокопоставленные чиновники из министерства рыбного хозяйства в Оттаве вовсе не обрадовались, когда в 1949 году обнаружили существование серых тюленей. И очень огорчились, когда выяснилось, что за два последующих десятилетия серых тюленей стало значительно больше. Один из служащих министерства вспоминает: «Это было для нас неприятной неожиданностью. Мы докладывали, что с серыми тюленями покончено, и надеялись, что скоро разделаемся с обыкновенными, как того требовали рыбопромышленники. Возвращение серых тюленей создавало новые трудности. Мы не сразу с ними справились».

Прекрасный февральский день, свежо. Большой вертолет кружит над скалистым островком, затерянным в бесконечном просторе сверкающих глыб морского льда в нескольких милях от побережья канадской провинции Новая Шотландия. На темных скалах сто с лишним светленьких тюленьих детенышей в немом изумлении таращатся на чудовище, грохочущее над их головами. На скалах рядом с детенышами и в дымящихся разводьях между плавающими льдинами в страхе задирают лоснящиеся головы родители — серые тюлени.

Вихрь под винтом вертолета стихает, машина приземляется. Настежь распахиваются дверцы. Четыре человека в громоздких куртках военного образца соскакивают на промерзшую землю, командуют ими два одетых в форму чиновника из Управления по защите и охране окружающей среды Канады. Все шестеро вооружены ружьями большого калибра и «специальными» дубинками.

Мужчины разбегаются в разные стороны и быстро отрезают тюленей от прибрежного льда. Самки, тревожно выгнув спины, устремляются к замерзшей воде, возвращаются к раскричавшимся детенышам и толкутся в нерешительности на одном месте, пока раскатистый грохот выстрелов не обращает их в беспорядочное бегство. Шквал заградительного огня, тупоносые пули впиваются в беззащитную плоть. Десяток раненых самок прорывается к берегу; судорожно изгибаясь, они плюхаются в полыньи и исчезают в темной глуби воды. Остальные умирают на островке, некоторые — продолжая кормить детенышей.

Детеныши не успевают осмыслить внезапное побагровение их маленького мира. К разрозненным ружейным выстрелам добавляется новый звук: тупое тук... тук... тук, тошнотворный звук удара деревянного молотка по дыне — это вооруженные дубинками чиновники и наемные охотники методично раскалывают черепа тюленят... всех до одного.

Операция осуществляется умело и быстро, работают набившие руку профессионалы. Вдали от посторонних глаз такие вылазки с заданием «Найди и убей» регулярно проводились в местах лежбищ серых тюленей начиная с 1967 года. С тех самых пор, за два месяца до того, как в канадских водах начинается позорное в глазах всего мира избиение дотаров, правительство Канады тайком открывает военные действия против серых тюленей. Ответственность за эту войну несет министерство рыбного хозяйства. А избиение животных — одна из мер, принятых Канадой, чтобы «справиться с трудностями», возникшими из-за того, что серые тюлени чудом не исчезли с лица Земли.

Смерть на льду

Примерно через тысячу лет после появления в Америке скандинавского мореплавателя Карлсефни, впервые добравшегося на своем судне до Нового Света в надежде поживиться за счет несметных богатств прибрежных вод этого материка, у него нашелся близкий по духу последователь, которого тоже привело в эти воды стремление к обогащению. Но то, что удалось сделать предприимчивому Карлу Карлсену, не могло даже и присниться его далекому предшественнику.

В опустошенной войной Европе острый дефицит животных жиров фантастически взвинтил цены на ворвань, и тогда самые находчивые морские разбойники — норвежцы — быстро сориентировались в новой обстановке. Как только на море прекратились военные действия, они направили в ближайшее к ним Белое море все старые лохани, какие могли найти, и принялись уничтожать гренландских тюленей. Норвежцы проделывали это столь рьяно, что Советский Союз в конце концов вынужден был положить конец их разбою. Но норвежцы не только разбойничали, одновременно они с необычайной поспешностью строили универсальные корабли-убийцы, предназначенные для охоты на морских млекопитающих во всех морях земного шара.

По мере того как новые корабли вступали в строй, те, что первоначально использовались для охоты на тюленей, направлялись на запад. Первым пунктом их назначения были Западные льды, обширные ледяные поля, расположенные у восточного побережья Гренландии, где еще в шестидесятых годах прошлого века норвежцы опередили всех в избиении тюленей. Но они так старательно уничтожали здесь всех тюленей подряд вплоть до 1939 года, что даже военная передышка не помогла тюленям хоть в какой-то мере восполнить потери. Новый огненный смерч в мгновение ока уничтожил жалкие остатки уцелевших животных.

Быстро расправившись с тюленями, современные викинги учуяли запах нефти и денег и направили свои корабли по новому курсу дальше на запад. В результате в 1946 году в Новой Шотландии появилось некое акционерное общество. Благодаря невинному названию «Кораблестроительная компания Карлсена» это событие прошло

почти незамеченным. Лишь немногие знали, что это норвежская компания и создана она вовсе не для строительства кораблей, а для уничтожения китов и тюленей в канадских водах. И вряд ли кто-нибудь догадывался, что это был первый вестник страшного бедствия, обрушившегося на моря Нового Света, уже претерпевшие столько бедствий от рук европейцев.

Вывеска канадской компании давала Карлсену много преимуществ, — в частности, возможность получать дотации из общегосударственной и местной казны, но, главное, она позволяла норвежцам беспрепятственно хозяйничать в территориальных водах Канады и уничтожать сколько угодно китов и тюленей, особенно в почти отгороженном от океана заливе Св. Лаврентия.

Довольно скоро компания Карлсена уже располагала достаточным количеством судов — норвежского производства и под командой норвежцев, — а также базой в Блэндфорде (провинция Новая Шотландия), откуда эти суда-убийцы широкой специализации (киты, тюлени) выходили на промысел в залив Св. Лаврентия. Одновременно другой флот, базировавшийся в родной Норвегии, появился в прибрежных водах Ньюфаундленда. Поскольку находящиеся здесь места линьки и размножения тюленей считались международной территорией, ни одно государство не могло чинить препятствий норвежцам или же проводить инспекционный надзор.

Подхлестнутые присутствием чужаков на своей исконной территории, ньюфаундлендцы тоже вышли на лед, тем более что рост цен на тюлений жир хоть и с опозданием, но пробудил их алчность. К 1947 году они организовали свой небольшой флот. Правда, весьма малочисленный и убогий, так как он состоял в основном из небольших судов, которые использовались прежде для лова трески или каботажного плавания. Конечно, ньюфаундлендцы и думать не могли о том, чтобы состязаться с норвежцами: у тех было четырнадцать только что построенных кораблей, и в 1950 году они уже с успехом опустошали ньюфаундлендские воды, в то время как флот Карлсена делал то же самое в заливе Св. Лаврентия. В тот год норвежцы добыли более 200 000 тюленей. Годом позже их добыча удвоилась — избиения такого масштаба тюлени не знали с 1881 года. Пожар убийств разгорелся с новой силой.

Не довольствуясь умерщвлением тюленят, взрослых самок и самцов на льду, где тюлени устраивали лежбища, норвежцы преследовали стада тюленей и в воде. Их корабли плыли за тюленями далеко на север, входили в воды западной Гренландии и всю дорогу поливали тюленей свинцовым дождем. Животные, которых они убивали, следующей весной вернулись бы на юг выводить детенышей. Но большинству из них это не было суждено. За один только год новоявленные викинги добыли 60 000 голов тюленей, а всего они убили на льду и в воде, наверное, 300 000.

Столь мощное кровопролитие быстро свело на нет скромный прирост поголовья гренландских тюленей и тюленей-хохлачей, происшедший, очевидно, за период с 1919 по 1950 год. Согласно данным доктора Дэвида Сарджента, западная популяция гренландских тюленей сократилась к 1961 году до 1 750 000 особей, то есть вдвое по сравнению с 1951 годом.

Уступая настояниям доктора Сарджента и некоторых других лиц, обеспокоенных судьбой тюленей, например ньюфаундлендца Харолда Хорвуда, чья статья «Трагедия на льду» была одним из ранних тревожных сигналов, правительства Канады и Норвегии сделали первый шаг во имя «защиты и охраны» тюленей [1]. Они установили дату начала охоты на тюленей с таким расчетом, чтобы обеспечить появление на свет максимального количества детенышей, и объявили, что охота на взрослых тюленей должна прекращаться 5 мая. Однако эта мера оказалась совершенно бесполезной, так как к маю норвежцы и так оставляли в покое уплывавших на север тюленей. Да и охота велась теперь в основном не на взрослых тюленей, а на их белошерстных детенышей.

В конце пятидесятых годов норвежские химики открыли наконец секрет обработки белых шкурок новорожденных тюленей, при котором мягкая шелковистая шерсть не вылезала. Шкурки, обработанные новым способом, привели в восторг любителей модных новинок в богатых западных странах. Если в 1952 году убитый тюленек, доставленный в порт, стоил всего около доллара—ценился главным образом жир,— то к 1961 году за него уже давали пять долларов, и четыре из них стоила сама шкурка. Так как один охотник мог беспрепятственно убить и освежевать на лежбище около сотни тюленят в день, дело это сулило воистину баснословные прибыли. В 1962 году, когда бессмысленная мода на тюлений мех разожгла аппетиты ненасытных цивилизованных женщин и была подхвачена модными салонами Европы и Америки, цена на белую шкурку подскочила до семи с половиной долларов. В результате весной 1962 года толпы охотников устремились на лед, и лежбища тюленей в восточной Канаде превратились в кровавые бойни: в ту весну охотники освежевали 330 000 тюленей, в основном — более 200 000 — белошерстных детенышей.

Так как последующее нам уже известно, справедливости ради надо отметить, что до этого времени канадцы играли незначительную, главным образом подсобную, роль в послевоенном истреблении тюленей. Обычно их использовали как мясников и тягловую силу; в качестве таких низкооплачиваемых исполнителей они и помогали грабить свою страну. В этом не было ничего нового. Канада всегда охотно раздавала направо и налево свои природные богатства в обмен на то, что ее гражданам позволяли работать водоносами или дровосеками.

Канадские власти — федеральные и местные — изо всех сил старались помочь норвежцам. Предоставляли в их распоряже-

---

[1] До 1949 года Ньюфаундленд был независимым островом. Начиная с 1949 года Ньюфаундленд считается провинцией Канады и, следовательно, ответственность за охоту на тюленей в прибрежных водах острова несет федеральное правительство. *(Прим. авт.)*

ние авиацию, чтобы облегчить поиски тюленей. Направляли ледоколы канадской береговой службы в помощь норвежским судам. Но эффективнее всего помог норвежцам отказ федерального правительства принять соответствующие законодательные меры и тем самым положить конец разнузданной погоне за прибылью на прибрежном льду своей страны.

В шестидесятые годы так называемая охота на тюленей превратилась в настоящую оргию истребления, и дельцы, одержимые желанием разбогатеть за один день, закружились, будто ястребы, над плавучими льдинами. Сравнение это уместнее, чем может показаться на первый взгляд. Ибо весной 1962 года некоторые суда начали использовать вертолеты для переброски охотников на удаленные льдины и доставки тюленьих туш обратно на суда. На следующий год, когда цена белой шкурки подскочила до десяти долларов, на лежбища были сброшены десятки воздушных десантов, доставленных в залив Св. Лаврентия легкими самолетами, снабженными лыжами или резиновыми шинами для посадки на лед.

Самолеты обычно принадлежали самим пилотам, настоящим воздушным разбойникам; они ничего не понимали в тюленях, но отлично понимали выгоду быстрых «деловых» убийств. Пилоты нанимали местных жителей на островах Магдален или на острове Принца Эдуарда, высаживали их рано утром на лежбище и целый день курсировали между лежбищем и самодельным аэродромом на побережье, куда доставляли шкуры забитых тюленей.

Жестокое соперничество между воздушными, береговыми и морскими охотниками превратило ледяные поля Канады в одно кровавое поле сражений всех против всех. Здравый смысл, жалость — все было забыто. Воздушные пираты не останавливались даже перед тем, чтобы похищать шкуры, заготовленные на льду командами судов, и довольно часто возвращались на свои береговые базы со следами пуль на фюзеляже и крыльях. Лежбища гренландских тюленей, их «детские ясли» превратились в устрашающие скотобойни. Один пилот, принимавший участие в охоте на тюленей на льду залива Св. Лаврентия, весьма красочно обрисовал мне эту эпопею:

«Всем хотелось не упустить своего и добыть побольше, опередить других. В дело годился любой, лишь бы хватило сил замахнуться дубинкой или всадить нож. Я слетал в Шарлоттаун, обошел пивные бары и сколотил отряд из дюжины бездельников. В тюленях они ни черта не смыслили, им бы только заработать побыстрее немного деньжат, а на остальное наплевать.

Над заливом кружилось столько самолетов, будто в кино про войну... плюхались на первую попавшуюся льдину, лишь бы удержала. По-моему, ни одна тюлениха не уцелела, хоть бы и с детенышем. Всем было на это начхать. Нам-то нужна была только малышня, а этих жирненьких тюленят там было видимо-невидимо.

Я высадил свою команду около восьми утра и ждал первой партии. Господи боже, ну и идиоты мне достались! Размозжить щенку голову — это они пожалуйста, а шкура? Ни один, наверное, апельсин-то не умел толком очистить, не то что тюленя освежевать. Пол-утра я проканителился, пока научил, и все равно половину шкур испортили.

Торопились все, будто спятили. Главное — обогнать других. Некоторые даже не останавливались, чтобы снять шкуру: трахнет щенка по голове и бегом к следующему, а то достанется кому-нибудь еще. Кто не видел сам, не поверит.

Однажды я приземлился на подтаявшую льдину и чуть не утопил самолет. Пришлось взлетать — пулей взлетел! — и садиться в другом месте, где уже орудовала какая-то банда. Они мне махали, чтобы я не садился, но я все равно сел. В жизни такого не видел. Они даже и не думали убивать щенков. Прижимали к земле ногой и вспарывали шкуру на брюхе, а потом сдирали. Жуть! Щенки извивались как ошпаренные, шкуру, конечно, протыкали в двадцати местах, никому такая не нужна. Ну и что? Всаживай нож в следующего тюленёнка и начинай сначала, может, повезет.

Такое не забудешь. Вы видели, как освежеванный щенок старается выбраться из воды, куда его спихнули охотнички? Чего уж там говорить, конечно, в том сезоне я загреб кучу денег, только на следующий год все равно отказался. Для меня это чересчур».

Но большинство пилотов от этого не отказались, и к ним присоединилось много новичков, потому что выручка за две недели трудной, рискованной жизни превышала иногда 10 000 долларов. В 1964 году цена на белую тюленью шкурку подскочила до двенадцати с половиной долларов за штуку, что, конечно, подлило масла в огонь, и чудовищная вакханалия убийств перехлестнула все мыслимые пределы. Той весной в заливе Св. Лаврентия охотились 65 самолетов и десяток вертолетов, не считая сотен охотников на берегу и судов на воде. Соперничество не знало границ, охотники не знали жалости. Даже лучшие из них превратились в механическое приспособление на конвейере смерти: в слепой жажде опередить друг друга они убивали подряд всех детенышей, а недобитых бросали на произвол судьбы.

Восемьдесят одну тысячу белых шкурок добыли охотники весной 1964 года в заливе Св. Лаврентия. А сколько всего животных убили, мы уже никогда не узнаем, но те, кто участвовал в этой бойне, считают, что новое поколение тюленей в тот год было уничтожено подчистую. В открытом море, где нельзя было использовать легкие самолеты, дело обстояло ничуть не лучше. Норвежские рыбаки уничтожили здесь примерно 85% новорожденных тюленей. Единственное утешение, если это можно назвать утешением, состояло в том, что здесь, по крайней мере, работали профессионалы, и бессмысленные потери были сравнительно невелики.

Время шло, и тюлений мех находил все новое применение. В моду вошли женские комнатные туфли из серебристого меха взрослых тюленей (особенно приятные после лыжных прогулок), мужские башма-

ки и спортивные куртки из того же меха, поэтому, когда пропал интерес к белошерстным тюленям, снова началось избиение взрослых животных. Возобновилась даже ловля тюленей сетями, особенно на южном побережье Лабрадора. Рыбаки, никогда прежде не проявлявшие к тюленям ни малейшего интереса, начали ловить первогодков и взрослых животных на огромные крючки с наживкой. Хуже того, мужчины и подростки отплывали от берега большими группами на любых лодках, какие могли достать, и открывали огонь по молодым тюленям из легких ружей двадцать второго калибра. Только прямое попадание в мозг даровало быструю смерть, даже первогодкам. Один бухгалтер с рыбозавода на севере Ньюфаундленда тоже подхватил охотничью лихорадку и сам бил тюленей из ружья; он рассказал мне, что соотношение между убитыми и ранеными животными составляло примерно один к десяти.

С середины XIX века не знали тюлени таких жестоких преследований. По официальным данным, в 1963 году норвежцы совершили в северо-западной Атлантике 352 000 высадок на лед, при этом официальные цифры, по всеобщему убеждению, были, конечно, занижены. Отсюда следовало, что по самым скромным подсчетам они убили всего 500 000 тюленей. Следующей весной тюлени понесли примерно такие же потери.

К лету 1964 года все, кто занимался тюленьим промыслом, уже прекрасно понимали, что тюлени обречены на коммерческое, если не на фактическое истребление. Потому что от первоначальной популяции в десять миллионов голов (оценка не вполне точная) в западном стаде гренландских тюленей осталось чуть больше миллиона. Что же касается Западных льдов, то здесь выжило не больше 200 000 животных.

В Норвегии, Канаде и Советском Союзе соответствующие министерства, занятые вопросами регулирования рыбной ловли и охраны окружающей среды, были полностью в курсе событий. Ученые этих стран подробно докладывали о создавшемся положении, и справедливости ради надо сказать, что большинство из них предупреждало о катастрофе, грозящей тюленям, если кровопролитие немедленно не прекратится.

Норвегия и Канада оставили эти предупреждения без внимания, Советский же Союз осенью 1964 года закрыл Белое море для судов-охотников. В ответ на предложение последовать этому примеру представитель канадского министерства рыбного хозяйства заявил, что поголовье гренландских тюленей не только не уменьшается, а напротив, растет. К этому он прибавил, что правительство Канады ни под каким видом не станет покушаться на право свободного предпринимательства и мешать кому-нибудь получать законную прибыль, «разумно используя в своих интересах природные ресурсы страны, что чрезвычайно важно для канадской экономики».

Норвежцы указали в своем ответе, что, поскольку тюлени, которых они ловят на ледяных полях, обитают в международных водах, их суда имеют право проводить охоту так, как считают нужным. И Норвегия, естественно, не потерпит никаких посягательств на ее право свободно «отлавливать» тюленей в открытом море.

До этого времени широкая публика практически ничего не знала об истреблении тюленей. Вполне возможно, что при сложившейся ситуации западноатлантические тюлени так и прекратили бы свое бренное существование, но судьба выкидывает иногда странные штуки. В 1964 году небольшая монреальская компания «Артек» заключила с квебекским управлением по туризму контракт на съемку нескольких телевизионных фильмов, дабы привлечь внимание публики к красотам Квебека. Засняв традиционные достопримечательности, режиссер вдруг решил, что его детищу не хватает «изюминки» и потому надо заснять что-нибудь необычное. Один из его помощников, уроженец островов Магдален, рассказал об охоте на тюленей, которая каждую весну происходит на островах, и режиссеру показалось, что это как раз то, что нужно. В марте 1964 года съемочная группа приехала на острова и засняла эпизоды, которые собиралась показать как сцены из древней, но всегда волнующей истории битвы человека с природой,— так сказать, старый Квебек во дни своей молодости.

Фильм получился волнующий, но чересчур кровавый. Режиссер запечатлел не только белые ледяные поля с алым месивом талого снега — опознавательный знак тюленьей бойни,— но и охотников, вооруженных палками со стальными наконечниками, забивающих насмерть, наверное, самых трогательных детенышей в царстве животных, а в добавление к этим устрашающим кадрам еще показал крупным планом, как с одного из этих прелестных зверьков живьем сдирают шкуру.

Демонстрация фильма по франкоязычной программе канадского телевидения произвела такое ошеломляющее впечатление, что было решено сделать английские субтитры и показать фильм по общенациональной программе. Впрочем, о субтитрах можно было не беспокоиться. Ужасающие сцены, показанные на экране, говорили сами за себя, так что слова были излишни.

Зрители, включая и многих американцев, видевших передачу канадского телевидения, не скрывали негодования и возмущения. Местные отделения Общества борьбы против жестокого обращения с животными и Общества в защиту животных заказали копии фильма и устраивали просмотры в клубах, школах, церквах. Члены парламента и министерство рыбного хозяйства были завалены тысячами писем возмущенных людей, требовавших немедленно прекратить избиение тюленьих детенышей. Квебекское управление по туризму в панике попыталось изъять фильм из обращения. Но было уже поздно.

Копии фильма попали в Европу, где их переснимали и широко демонстрировали. В Западной Германии доктор Бернхард Гржимек, прославленный зоолог из Франкфуртского зоопарка, не только организовал телевизионный показ этого фильма для всех европейских стран, но и стал во главе

мощного общественного движения, требовавшего, чтобы канадское правительство «прекратило эти неслыханно жестокие убийства». Растерянные сотрудники канадских посольств оказались в осажденной крепости: у зданий посольств собирались пикетчики, почта доставляла кипы гневных писем. По словам одного раздосадованного и не склонного к каламбурам защитника тюленьего промысла, кровь тюленей поставила на карту кровные интересы деловых людей.

И это была сущая правда. Хотя канадское и норвежское правительства поддерживали дельцов, благо дельцы поддерживали свои правительства, все попытки официальных лиц заглушить негодующие крики только подливали масла в огонь. Потому что, как объяснил один государственный служащий, когда этих милых маленьких тюленят у тебя на глазах превращают в кучу окровавленных потрохов, выброшенных на лед, к этому нельзя относиться спокойно... факты и цифры тут не помогают. Можно оправдываться, когда убиваешь только что явившихся на свет червей, но не новорожденных тюленят!

Затравленные канадские чиновники перешли в контрнаступление. Они называли тех, кто возмущался убийством тюленей, обманутыми простаками, мягкосердечными слепцами, любителями саморекламы. Министерство рыбного хозяйства дало указание своим специалистам убедительно опровергнуть «так называемые подлинные факты». В согласии с этими указаниями представители министерства отрицали, что торговля тюленьими шкурами влечет за собой какую бы то ни было жестокость, они утверждали, что «подобные обвинения являются злостной клеветой на честных тружеников-рыбаков», и без устали повторяли, что разумно и гуманно организованная охота на тюленей является жизненно необходимым и чрезвычайно важным элементом канадской экономики.

Министр рыбного хозяйства, поспешно вводя первые ограничения в истории тюленьего промысла, заявил, что «лов тюленей проводится в соответствии с установленными правилами». Он объявил, что с весны 1965 года охота на тюленей сократится, так как вводится система лицензий, и отныне каждый судовладелец или владелец самолета должен будет заплатить 25 долларов за право «отлова» тюленей. Далее, с целью защиты поголовья тюленей с 1965 года в заливе Св. Лаврентия разрешается добывать ежегодно не более 50 000 тюленей, и министерство рыбного хозяйства будет назначать специальных уполномоченных для наблюдения за охотой и строгим следованием законам. И наконец, чтобы опровергнуть обвинения в жестокости, на лед залива Св. Лаврентия будут доставлять представителей обществ защиты животных, и они смогут увериться сами и уверить других в том, что тюленей убивают не как-нибудь, а по всем правилам.

Введение лицензий было смехотворной мерой. Даже если установленная плата имела бы какое-нибудь практическое значение, лицензии мало что изменили бы в сложившейся ситуации, так как их выдавали в неограниченном количестве. Надзор представителей министерства рыбного хозяйства состоял в том, что чиновники пересчитывали шкуры, доставленные на берег самолетами и кораблями, причем никакой строгости они не проявляли, и в 1965 году квота была превышена примерно на 4000 белых шкурок. Посещение представителей обществ защиты животных в том же сезоне было благоразумно запланировано на вторую неделю «охоты» и, естественно, оказалось бесполезным, так как десяток больших кораблей и шестьдесят, если не больше, самолетов успели опустошить тюленьи лежбища и полностью «собрать урожай» за первые четыре дня разбоя.

Наконец, квота в 50 000 белых шкурок относилась только к заливу Св. Лаврентия и касалась лишь больших кораблей и самолетов. Жители побережья, владельцы маленьких судов, охотники, вооруженные ружьями и крючками, могли безнаказанно истреблять всех тюленей подряд — молодых и старых. Что же касается охоты на тюленей в прибрежных льдах, то по взаимному соглашению между Канадой и Норвегией она продолжалась без всякого надзора и каких-либо — настоящих или мнимых — ограничений.

Туманные заверения и ловкие увертки министра рыбного хозяйства, наверное, принесли бы достойные плоды, не вмешайся в судьбу тюленей один упрямец. Его звали Брайан Дэвис. Этот тридцатипятилетний валлиец, эмигрировавший в Канаду, работал в 1964 году в школе в качестве учителя-практиканта и по совместительству выполнял поручения нью-брансуикского отделения Общества защиты животных.

Дэвис видел пресловутый фильм и был потрясен, но не мог поверить, что подобные жестокости совершаются в стране, ставшей его родиной. Как узнать, что в этом фильме правда, а что нет? Очевидно, одним-единственным способом. И Дэвис отправился на лед.

«Может быть, это слишком высокопарно, но то, что я увидел, перевернуло мою жизнь,— сказал он мне несколько лет спустя. — Вам надо было там побывать. Увидеть самому, что там творится. Словами про такое не расскажешь. Невозможно было допустить, чтобы все это продолжалось. Кто-то должен был положить этому конец. Я не колебался ни минуты, у меня просто не было выбора».

Так, на долгие годы Дэвис обрек себя на роль жертвы, пригвожденной к позорному столбу: правительственные чиновники, наживавшиеся на тюленях дельцы и многие журналисты называли его не иначе как своекорыстным и самовлюбленным фанатиком с сомнительными моральными и нравственными принципами. Но одновременно он стал чуть ли не божеством для всех, кто любил животных,— в их глазах он был современным Франциском Ассизским. Дэвис боролся за спасение тюленей, используя главным образом средства массовой информации, но делал это так умело, что ему удалось практически в одиночку превратить образ белошерстного тюленёнка с добрыми темными глазами в общенациональный символ протеста против издавна сложившегося безжалостного и

эгоистического отношения человека к жизни всех остальных существ на земле. Пренебрегая доводами рассудка, Дэвис откровенно взывал к чувствам людей, хорошо понимая, что у него нет иной возможности одолеть своих могучих противников. А противники отвечали не только злобными поношениями Дэвиса и его сторонников, они старались утопить их, а заодно и правду об избиении тюленей в мутном потоке издевательских шуток.

Совершенно ясно, кому принадлежит заслуга или — в зависимости от точки зрения,— кто повинен в значительном сокращении масштабов кровопролития на ледяных полях. Добились этого, конечно, многочисленные организации, занимающиеся защитой животных, потому что именно они подняли мощную волну протеста в самых разных странах и направили ее удары на всех, кто имеет отношение к тюленьему промыслу, в том числе и на правительственные учреждения, которые этот промысел поддерживают. После долгих тяжких лет борьбы они наконец-то победили.

Тем не менее война между защитниками тюленей и теми, кто стремится их уничтожить, никоим образом не кончена. Канадское министерство рыбного хозяйства считает, что оно проиграло всего лишь одну битву, и готовится к новым сражениям. Чтобы добиться передышки — власти надеются, что с течением времени протесты стихнут и прекратятся вовсе, так как сознание одержанной победы усыпляет тревогу,— так вот, чтобы получить отсрочку, в июне 1984 года министр рыбного хозяйства объявил о создании специальной комиссии по изучению проблем тюленьего промысла.

Создание такого рода комиссий является старым, избитым приемом, позволяющим бесконечно откладывать любые решения и переключать внимание на пустяки; канадское правительство не раз прибегало к нему в трудные минуты. Такие комиссии обычно тратят несколько месяцев, а то и лет на различные исследования, конечный результат которых часто не имеет отношения к делу или успевает безнадежно устареть. Можно с уверенностью сказать, что и эта комиссия не нарушит традиции. И пока она занимается бесконечными дебатами, министерство рыбного хозяйства может на законном основании отвергать любые требования ограничить тюлений промысел. Более того, когда комиссия наконец изложит свои выводы и рекомендации, министерство еще подумает, принимать их во внимание или нет, и если принимать, то как именно — полностью или частично.

Нет никаких сомнений в том, что Канада намерена и впредь «собирать дань» не только с гренландских тюленей (и хохлачей, если их численность начнет возрастать), но и с обыкновенных, а также серых тюленей. Министр рыбного хозяйства Ньюфаундленда с благословения Оттавы отправил пробную партию в 250 шкур «заинтересованным компаниям на Дальнем Востоке, чтобы договориться о ценах». По его словам, весной 1985 года, еще до начала весеннего сезона охоты на тюленей, на Дальнем Востоке (имеется в виду главным образом Япония) должен возникнуть рынок сбыта мехов, где осенью можно будет заключить деловые торговые соглашения.

Министерство рыбного хозяйства будет продолжать кампанию злостной клеветы на тюленей и обвинять их в том, что они мешают промысловому лову рыбы. Оно будет отвергать утверждения авторитетных, независимых ученых, таких как известный зоолог Сидней Холт, прежний руководитель Отдела рыбных ресурсов при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В частности, потому, что доктор Холт недвусмысленно заявил: «Наука не располагает ни одним фактом, который, будучи объективно оценен независимыми учеными, подтвердил бы, что «отлов» морских млекопитающих оказывает благотворное влияние на увеличение рыбных ресурсов».

Когда я сдавал эту книгу в печать, у власти в Канаде стояли либералы, но удержат они свои позиции или нет, в сущности, совершенно неважно. Министерство рыбного хозяйства все равно будет следовать своим курсом, пока его действия не станут настолько невыгодны канадским политикам, что они разрушат эту бюрократическую твердыню.

Остатки тюленьих стад у северо-восточного побережья Америки может спасти, вернее, быть может, спасет, только непрерывная упорная борьба таких организаций, как Международный фонд защиты животных. Сейчас он проводит кампанию по бойкоту канадской рыбы, пытаясь помешать ее ввозу в Соединенные Штаты, и полон решимости продолжать бойкот, пока канадское правительство не даст обязательство положить конец «отлову», который уже столько лет окрашивает в багряный цвет ледяные поля арктических вод.

На этом завершается пока кровавая история тюленей.

Взгляд в будущее

Я сижу у окна своего дома на берегу Атлантического океана. Работа моя подошла к концу. Я вынужден был написать много мрачных, кровавых страниц, и вот книга кончена. Я начал ее с вопроса, и ответ теперь ясен.

Мир живой природы погибает.

Я смотрю на беспокойные воды залива, мой взгляд устремлен на юг, где смыкаются море и небо, за этой чертой волны северной Атлантики неустанно бьются о восточное побережье американского материка. Мысленно я вижу эти воды такими, какими они были когда-то.

Стая за стаей проплывают киты, выпуская из ноздрей фонтаны воды, плывут большие киты, киты поменьше, и вместе с ними то там, то здесь появляются косяки рыбы. В воздухе кружится бесчисленное множество бакланов, моёвок, еще каких-то птиц — неба не видно! Стайки отдыхающих чаек завладели каменным пальцем мыса, которым кончается длинная полоса берега под моими окнами. А на самом берегу неустанно снуют, поблескивая перышками, ржанки. В бухте залива, на дне —

царство моллюсков, мидий и омаров, а на воде сбились кучками самки гаги, и среди этих плавучих островков внезапно появляются массивные головы. На кривых клыках, будто на турецких саблях, играют солнечные зайчики... Видение исчезает.

Я вижу мир таким, как он есть.

В необъятном просторе неба, моря и прибрежных скал ни души, только чайка парит в синеве — единственная несомая ветром крупинка жизни на всей этой огромной, почти пустой сцене.

В самом начале, когда наши предки еще только осваивали американский континент, им казалось, что богатства животного мира Нового Света неисчислимы и неистощимы. Ранимость этой живой структуры, сложность и хрупкость строго определенного набора ее ячеек были за пределами их понимания. Но в защиту пионеров можно по крайней мере сказать, что они совершенно не представляли себе неизбежных последствий своего чудовищного хищничества.

В то время как нам, людям, живущим сейчас, людям, одержимым стремлением уничтожать все живое, не задумываясь о зловещих последствиях своих поступков, нечего сказать в свою защиту. Ибо современный человек имеет все больше и больше возможностей оценить сложную взаимосвязь всего живого на Земле. Считать, что незнание служит извинением, могут сейчас только те, кто умышленно хотят оставаться невеждами, потому что им это выгодно.

Пять веков подряд мы сеяли смерть на нашей земле, таковы факты, и все-таки у нас, видимо, пробудились угрызения совести и желание подумать не только о безотлагательном удовлетворении своих потребностей. Пусть с опозданием, но мы пытаемся снова вступить в сообщество живых существ, хотя мы вышли из него уже очень давно и очень долго были его смертельными врагами.

Однако могущественные институты, управляющие жизнью человечества, все еще руководствуются в своей деятельности отнюдь не благоразумием. Гораздо чаще проблески благоразумия обнаруживают отдельные личности: возмущенные бессмысленной жестокостью людей по отношению к животным, они не хотят мириться с превращением человека в зверя-убийцу.

Эти личности объединяются в группы, влияние которых постоянно растет, поэтому сильным мира сего становится все труднее пользоваться своими привилегиями и безжалостно вторгаться в мир живой природы по политическим соображениям, ради выгоды или удовольствия. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что̀ удалось сделать различным обществам защиты животных только за последние несколько лет. В качестве первого примера можно напомнить о тюленях. Сторонники прежних методов яростно сопротивляются, и тем не менее новые веяния все глубже проникают в сознание людей.

Я связываю свои надежды на возрождение и продолжение жизни на Земле прежде всего с этими новыми веяниями — со вновь возникшей решимостью человечества восстановить связь с живой природой, со стремлением признать обязанности, возложенные на нас как на самых могущественных и совершенно уникальных созданий, когда-либо существовавших на нашей планете, с тем, что мы готовы наконец не разрушать, а созидать, готовы попытаться возместить причиненный нами ущерб. Если нам удастся встать на этот новый путь, быть может, нам даже удастся сделать человека... человеком.

И тогда в море, где сейчас царит смерть, вновь восторжествует жизнь.

◆

ГРЭМ ГРИН

НИКТО НЕ ВИНОВАТ

Набросок киносценария

Перевод с английского А. МИХАЛЕВА

Предлагаемый читателям «ИЛ» набросок киносценария был написан Грэмом Грином в 1944 году для американской кинокомпании «Метро Голдвин-Майер». Замысел Грина понравился продюсерам, но работа над фильмом так и не началась. Сам Грин, вспоминая эту историю, пишет: «...когда моя заявка была представлена на рассмотрение киноцензорам, те решили не пропускать фильм, высмеивающий британскую разведку. Я надолго забыл об этом наброске, как и о многих других, но лет через десять сюжет вновь выплыл из глубин памяти: так родился роман «Наш человек в Гаване»... В Великобритании литературные произведения цензуре не подлежат; правда, позднее я узнал, что служба безопасности рекомендовала «Сикрет сервис» возбудить против меня судебное дело на том основании, что в моем романе разглашаются государственные тайны. Какие же тайны я разгласил? Может быть, идею изготовления невидимых чернил из птичьего помета? К счастью, у тогдашнего шефа «Сикрет сервис» с чувством юмора обстояло благополучнее, чем у его коллеги из службы безопасности, и я до сих пор на свободе».

1

Ричард Блефф работает представителем фирмы «Швейные машины «Зингер» в некой прибалтийской стране, столица которой напоминает, скажем, Таллин. Щуплый, безобидный, довольно застенчивый человек, Блефф страстно любит редкие марки, оперетты Гилберта и Салливана[1], а также собственную жену; он страстно предан интересам фирмы «Зингер». Блефф — тайный резидент британской «Сикрет сервис», его кодовое имя Б-720. Время действия 1938 — 1939 годы.

Миссис Блефф (ее зовут Глория) намного моложе мужа, и это ради нее, ради того, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь, Блефф дал завербовать себя в разведку. Глория искренне привязана к своему невзрачному супругу, однако чутье подсказывает Блеффу, что он должен тратить на жену суммы, значительно превышающие жалованье которое платит ему фирма «Зингер». Глория, конечно, ничего не знает о его неофициальной работе.

В лондонском Центре Блеффа считают одним из наиболее толковых резидентов: не фантазер, педантичен, уравновешен. Предполагается, что Блефф наладил разветвленную агентуру и его агенты разбро-

[1] Оперетты, написанные композитором Артуром Салливаном (1842—1900) в содружестве с поэтом Уильямом Гилбертом (1836—1911), пользовались в Англии большой популярностью в конце XIX — начале XX века.

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.)

Английский писатель. Советским читателям известен по переведенным на русский язык романам: «Тихий американец» («ИЛ», 1956, № 6—7), «Наш человек в Гаване» («ИЛ», 1959, № 3—4), «Ценой потери» («ИЛ», 1964, № 9—10), «Комедианты» («ИЛ», 1966, № 9—10), «Суть дела», повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» («ИЛ, 1982, № 6) и др. В «Иностранной литературе» напечатан также его очерк «J'Accuse». Теневая сторона Ниццы» («ИЛ», 1983, № 7). Книга «Каждый десятый», из которой взят набросок киносценария «Никто не виноват» («Nobody to Blame»), вышла в Лондоне в 1985 г. («The Tenth Man». London, The Bodley Head and Anthony Blond).

саны по всей Германии. Связь с Центром Блефф поддерживает с помощью донесений, которые регулярно посылает в Лондон правлению фирмы «Зингер» под видом деловых отчетов. Но в Центре даже не догадываются, что на самом деле никакой агентуры у Блеффа нет и не было. Все его донесения — сплошной вымысел, и когда Лондон выражает недовольство работой кого-либо из агентов, Блефф попросту заменяет в своих донесениях одно вымышленное лицо другим, столь же мало реальным. Деньги на оплату всех этих несуществующих персонажей Блефф, естественно, кладет себе в карман.

Но однажды игра воображения, того самого воображения, которое, в частности, помогло Блеффу детально описать расположенный близ Лейпцига большой подземный завод, занятый разработкой секретного оружия, дает неожиданные результаты — местная полиция настораживается. В Лондоне окольным путем узнают, что за Б-720 установлена слежка, и Центр срочно предупреждает Блеффа об опасности, но шифровка приходит слишком поздно.

Едва на сцене Англо-Латестийского культурного общества заканчивается любительский спектакль оперетты Гилберта и Салливана, в которой Блефф исполняет главную партию, как сидящий в первом ряду начальник латестийской полиции вручает Блеффу букет со своей визитной карточкой и настоятельно просит разрешения сию же минуту распить с Блеффом бутылку шампанского в его грим-уборной. Там-то он и сообщает Блеффу, что в связи с его разведывательной деятельностью посольство Германии заявило протест. Блефф во всем сознается.

Начальник полиции приходит в веселое расположение духа, он понимает, что, если Блефф останется на прежнем месте, Англия воздержится от засылки в Латестию настоящих шпионов, это обстоятельство его радует, и он принимает в дар швейную машинку «Зингер» для своей супруги. Начальник полиции решает: отныне он станет лично следить за тем, чтобы все донесения Блеффа беспрепятственно пересылались по адресу, и попутно — дабы германское посольство не поднимало шума — будет давать немцам возможность знакомиться с этими донесениями. Сразу же после этого разговора Блефф получает опоздавшую шифровку из Лондона и направляет в Центр ответную депешу с сообщением, что ему удалось завербовать самого начальника полиции; в конверт Блефф вкладывает первый материал от свежеиспеченного агента (справку о крупнейших политических деятелях Латестии) и рекомендует Центру прислать для нового сотрудника в качестве премии и первого гонорара редкую треугольную марку Южно-Африканской Республики, поскольку начальник полиции, пишет Блефф, заядлый филателист. Когда требуемая марка приходит, Блефф, естественно, приобщает ее к своей коллекции. Успех этой авантюры вдохновляет Блеффа, и вскоре директор «Сикрет сервис» в разговоре с сотрудником Центра, курирующим резидентуру Блеффа, отмечает:

— Среди его агентов удивительно много филателистов.

— Филателисты — это еще полбеды. Вспомните старину Смака: его агенты, все как один, просили высылать им парижскую порнографию.

— Кстати, Смак сейчас, кажется, сидит без работы?

— Да.

— Отправьте-ка его в Латестию с инспекционным визитом. Возможно, он сумеет дать Блеффу ряд полезных советов. Ум хорошо, а два лучше.

2

Смак — пожилой человек, значительно старше Блеффа. У него толстый, распухший красный нос, выпирающий животик и блуждающий взгляд. Блефф, конечно, понимает всю серьезность этого визита и ждет, что разоблачение последует с минуты на минуту, но очень скоро он с облегчением видит, что деликатесы и вина Латестии, а также ночная жизнь латестийской столицы интересуют Смака куда больше, чем подробное знакомство с возглавляемой Блеффом агентурной организацией. Несколько раз у Блеффа даже возникают мимолетные подозрения, что в свое время Смак, как и он, вел разведывательную деятельность исключительно с помощью воображения, но эта мысль настолько нелепа, что Блефф немедленно выбрасывает ее из головы.

В первый же вечер, когда они остаются вдвоем, Смак говорит:

— А теперь, мой друг, наведаемся в бордели. Надеюсь, вы установили там надежные контакты.

За всю свою жизнь Блефф ни разу не был в публичном доме. Он вынужден признать, что бордели как-то выпали из поля его зрения.

— Это крайне важно, мой друг. Все заезжие бизнесмены непременно посещают публичные дома. Вы обязаны туда внедриться.

Блефф отправляется со Смаком в поход по злачным местам, а когда в два часа ночи возвращается домой, супруга закатывает ему скандал. Смак отбывает в Берлин, но его идеи дали ростки в сознании Блеффа. Вымышленные агенты Блеффа в дальнейшем придерживаются курса, рекомендованного Смаком. Центр получает серию срочных запросов на утверждение кандидатур новых агентов, в число которых входит хозяйка одного великосветского «заведения», шансонетка из варьете и — пока что наивысшее достижение фантазии Блеффа за всю его шпионскую карьеру — известная латестийская киноактриса, обозначенная в донесении как любовница агента Б-720 (то есть самого Блеффа). Разумеется, Блефф даже не знаком с актрисой, и ему неоткуда знать, что на самом деле она — агент германской разведки.

3

Снова возникает критическая ситуация, на этот раз требующая более тонкого подхода, чем в случае со Смаком. В связи с нависающей над Европой угрозой войны Лондон придает первостепенное

значение работе Блеффа в Латестии. Центр решает укрепить резидентуру Блеффа квалифицированными кадрами: фирму «Зингер» уговаривают в интересах народа Великобритании расширить представительство в Латестии, и правление «Швейных машин «Зингер» сообщает Блеффу, что ему в помощь командируются секретарь-машинистка и делопроизводитель. Наивный Блефф в восторге от того, что его служба фирме дала такие плоды и что швейные машинки пользуются повышенным спросом. Но когда обнаруживается, что и делопроизводитель и машинистка — сотрудники «Сикрет сервис» и прибыли в Латестию помогать ему руководить разросшейся агентурной сетью, Блефф радуется гораздо меньше.

Делопроизводитель, еще совсем молодой человек, говорит на ужасающем кокни и с неуемным энтузиазмом боготворит подлинных героев (и героинь). Замечательные качества Блеффа — в нем он видит образец опытного разведчика и смельчака,— а также восхитительные ножки и бюст миссис Блефф в равной степени подогревают патриотический пыл делопроизводителя. Его фамилия Пупс, и за ним водится неприятная привычка задавать вопросы. Он так и говорит: «Вы не тратьте на меня время, шеф, и ничего не объясняйте. Только разрешите копать поглубже и задавать вопросы, тогда я сам до всего допру».

Машинистка — ее зовут мисс Кукиш,— усохшая сорокачетырехлетняя старая дева, ко всем и ко всему относится с подозрением. Она убеждена, что все вокруг, включая даже самых честных тружеников, служат платными осведомителями тайной полиции, и посему ее приводит в ужас пренебрежение мерами конспирации в конторе Блеффа. Она требует, чтобы промокашки запирались в сейф, а с пишущих машинок на ночь снималась лента. Это вызывает массу неудобств, потому что, как известно, вставлять ленту в пишущую машинку не умеет никто. Однажды она видит, что использованную ленту не сожгли, а бросили в мусорную корзину, и, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько опасна подобная небрежность, принимается расшифровывать оставшиеся на ленте оттиски букв. «Те губы, что алее роз, и те глаза, что неба чище»,— вот все, что ей удается прочитать. Выясняется, что это строфа из сочиненного Пупсом сонета (стихи, без сомнения, навеяны образом миссис Блефф).

— Право же, он душка,— говорит миссис Блефф.

Как скрыть тот факт, что информация для донесений черпается из несуществующих источников,— вот основная проблема, которая встает теперь перед Блеффом. Решение оказывается неожиданно простым. Блефф уходит за покупками и, вернувшись, показывает конверты, которые, как он говорит, ему вручили из-под прилавка; он устраивает целый спектакль, выискивая нацарапанные симпатическими чернилами шифровки в самых невинных письмах о поставках швейных машин; он берет Пупса с собой в город и в ресторанах то и дело показывает ему своих агентов.

— Вот тот. Очень осторожный человек. Вы сами сейчас убедитесь: он и виду не подаст, что знает меня.

Ежемесячные выплаты агентам также осложняются: мисс Кукиш категорически против того, чтобы Блефф передавал им деньги лично.

— Это нарушение всех правил, это опасно; Центр ни за что бы не разрешил.

Заботясь о душевном покое своих помощников, Блефф к этому времени вычерчивает внушительную схему структуры созданной им организации: во главе каждой агентурной подгруппы стоит ее непосредственный руководитель, агент-координатор. Мисс Кукиш требует, чтобы Блефф ограничил свои личные контакты только встречами с координаторами (в их числе и киноактриса) и чтобы, встречаясь с ними, он каждый раз менял внешность.

Бесконечный маскарад превращает жизнь Блеффа в мученье. Тяжесть ситуации усугубляется, конечно, и тем, что жена Блеффа по-прежнему ничего не знает. Мисс Кукиш проявляет дьявольскую изобретательность: широкое применение находит гримировальный набор, которым Блефф пользовался, участвуя в музыкальных постановках Англо-Латестийского культурного общества. Он и не думал, что наступит время, когда ему придется выскальзывать в рыжем парике через дверь для прислуги, а затем возвращаться в тот же дом через парадную дверь, но уже в черном парике. Мисс Кукиш заставляет его носить в карманах пальто минимум две мягкие шляпы разного цвета, чтобы он всегда мог сменить шляпу на ходу. Пиджаки Блеффа топорщатся от спрятанных в карманах очков: одна пара в роговой оправе, другая — в стальной.

Нервное напряжение дает себя знать. Блефф становится раздражительным, и миссис Блефф часто плачет. Пупс разрывается на части, не зная, кого ему боготворить: героя или героиню?

Новое осложнение: противник принимает Блеффа всерьез. Блефф замечает, что за ним неотступно следят, «хвост» увязывается за Блеффом даже на вечер камерной музыки в Англо-Латестийском культурном обществе. Мисс Кукиш слегка перестаралась по части конспирации, и немцы утрачивают возможность просматривать донесения Блеффа.

Мисс Кукиш выступает против использования начальника полиции в качестве передаточного звена и разрабатывает свой, весьма усложненный метод пересылки донесений, которые по ее настоянию пишутся теперь невидимыми чернилами на почтовых марках. (В какой-то момент у нее даже возникает робкая мысль применять для тайнописи птичий помет.) К сожалению, невидимые чернила ведут себя очень капризно: при проявлении текста отдельные слова едва успевают проступить, как тут же с удручающей быстротой исчезают вновь.

Для поддержания иллюзии, будто отпущенная ему смета расходуется полностью, и чтобы доказать Центру, что на подкуп и вербовку тратятся огромные суммы, Блефф вынужден ужинать в ресторанах по меньшей мере три раза в неделю. Но его воротит от ресторанной пищи, а кроме того, он не имеет права подвергать себя смертельному риску — не дай бог, кто-нибудь из его помощников увидит, что он ужинает в одиночестве. Поэтому Блефф снимает в пригороде комнату и три раза в неделю удаляется туда на весь вечер, чтобы в тишине и покое почитать своих любимых поэтов XVIII века или составить очередное липовое донесение (еду он прихватывает с собой из дома). После каждого такого вечера он вписывает в свой расходный гроссбух: «Ужин на три персоны (сбор политической информации), вино, сигары и т. д. Итого: 5 фунтов 10 шиллингов». До приезда помощников у Блеффа не было необходимости ходить вечерами по ресторанам, и миссис Блефф очень недовольна.

Кризис в семье достигает кульминации, когда в платежный день Блефф вынужден разыграть сцену визита в дом киноактрисы для передачи ей денег, которые она как агент-координатор должна распределить между своими подчиненными. Пупс остается возле дома «на стреме», а Блефф, наклеив фальшивые усы, поднимается по лестнице, звонит в квартиру актрисы и спрашивает, не здесь ли живет мистер Бобкинс. Ему говорят, что таких здесь нет, дверь захлопывается, Блефф поворачивается, чтобы уйти, но в это время навстречу ему по лестнице спускается миссис Блефф, навещавшая подругу, которая живет этажом выше. Блефф, запинаясь, объясняет, что пытался продать актрисе швейную машинку, но ввиду его фальшивых усов объяснение кажется миссис Блефф малоубедительным

Семейная гармония нарушается окончательно, когда Пупс, стремясь примирить боготворимых им героя и героиню, рассказывает миссис Блефф все (по крайней мере, как он считает, в с е). «Ваш муж делает это во имя Родины, миссис Блефф»,— говорит Пупс.

Миссис Блефф решает тоже удариться в патриотизм. Она тоже начинает ужинать в ресторанах, и, несмотря на законное беспокойство, Блефф пользуется этим обстоятельством, чтобы внести миссис Блефф в список агентов и сообщить в Центр, что она «внедрилась» любовницей к сотруднику министерства иностранных дел (разумеется, несуществующему).

— Этого парнишку Блеффа впору представить к ордену,— замечают в Лондоне.— Ради пользы дела готов поступиться даже собственной женой. Молодчина.

Фиктивная любовница Блеффа и фиктивный любовник его жены поставляют в Центр наиболее интересную информацию. Но, увы, миссис Блефф, конечно же, не верит, что муж изменяет ей лишь фиктивно, и посему вместо вымышленного сотрудника министерства иностранных дел в рестораны ее сопровождает вполне реальный молодой человек, работающий в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Миссис Блефф узнает о тайном убежище Блеффа и принимает решение выследить мужа. Она уверена, что застанет его в обществе киноактрисы за занятием отнюдь не государственной важности.

В лагере противника также знают о подпольной квартире Блеффа.

5

Блефф сидит, положив ноги на решетку кафельной печки, в кармане у него бутерброды с колбасой, он читает свои любимые стихи вслух монотонной скороговоркой с собачьим подвывом — поэзию он воспринимает только в таком исполнении. «Играй, ей-ей, играй смелей... застыла знать под балдахином...» Неожиданный стук в дверь удивляет его. Он открывает дверь и удивляется еще больше, увидев перед собой своего вымышленного агента-координатора, то есть киноактрису. У нее сломалась машина, он не мог бы помочь? У входа в дом в машине скрючились два злодея, готовые оглушить Блеффа ударом по голове. Третий злодей, высокий, глупый, сентиментальный немец богатырского сложения, стоит настороже в конце улицы. Блефф говорит, что совершенно не разбирается в машинах, разве что в швейных...

По улице бредет миссис Блефф. Судя по всему, она заблудилась. Блефф тем временем демонстрирует актрисе технические преимущества швейной машинки «Зингер»... Миссис Блефф замерзла, у нее несчастный вид. Она прислоняется к забору и плачет. Сентиментальный немец издали наблюдает за ней. В нем борются чувство жалости и чувство долга. Незаметно он переходит со своего наблюдательного поста поближе к миссис Блефф.

Мистер Блефф беседует с актрисой о поэзии...

Миссис Блефф рыдает на плече сентиментального немца и объясняет ему, что в эту минуту муж изменяет ей с другой, но она забыла номер дома...

Два немца, притаившихся в засаде, продрогли до костей. Они вылезают из машины и расхаживают по улице... Блефф читает актрисе свою любимую балладу: «...И капитанская рука разит наотмашь моряка...» Миссис Блефф и сентиментальный немец заглядывают в окно. Немцу не под силу сообразить, что неверный муж имеет отношение к намеченной акции. «Увезите меня отсюда»,— стонет миссис Блефф. Немец, безоговорочно повинуясь, сажает ее в машину своих коллег. Кто-то — у немца настолько разбушевались чувства, что ему все равно, кто это,— пытается его остановить, и сентиментальный немец оглушает обидчика ударом по голове. Затем он доставляет миссис Блефф к дверям ее дома.

Блефф все еще читает стихи, когда в дверь снова стучат. Один из злодеев втаскивает в комнату второго, который до сих пор без сознания. Следует сбивчивое бормотанье по-немецки.

— Он хотел починить мне машину,— объясняет актриса,— но она от него уехала.

— Я позвоню на автостанцию,— говорит Блефф. И идет в нишу, где стоит никем не замеченный телефон.

Немец и актриса готовятся ударить Блеффа тяжелым предметом.

— Не так соединили,— возмущенно говорит Блефф.— Я попал в полицию.

Когда он снова вешает трубку, они бьют его по голове, и он падает без чувств.

6

Блефф отсутствует несколько дней. Пупс и мисс Кукиш обеспокоены. Миссис Блефф взбешена и находит утешение только в личной жизни.

Очнувшись, Блефф видит, что он в германском посольстве. Немцы прилагают титанические усилия, чтобы заставить его выдать им свою агентурную сеть, но, поскольку никаких агентов у него нет, выдавать ему некого. В конце концов после долгих угроз Блеффу предлагается выбрать одно из двух: либо его будут держать под стражей в германском посольстве, пока не начнется война, а затем отдадут в руки гестапо как шпиона, либо он отправит в Лондон хитро сфабрикованное немцами донесение с компрометирующей его дезинформацией, и тогда через некоторое время его отпустят на свободу. Блеффу показывают фильмы об ужасах концлагерей, ему не дают спать; его держат в одной камере с попавшим в опалу сентиментальным немцем, и каждый раз, едва Блефф засыпает, сентиментальный немец будит его и упрекает в измене жене.

Германский посол совместно с военным атташе готовят фальшивое донесение для лондонского Центра. На один лист военный атташе выписывает сведения, которые необходимо скрыть, а именно: день и час начала войны, число дивизий и так далее. На другом листе по пунктам перечисляется дезинформация, которую необходимо сообщить в Лондон. Окно в кабинете открыто, ветерок подхватывает со стола бумаги и разбрасывает по комнате. Блеффу ошибочно вручают листок с безошибочными сведениями и требуют, чтобы он переписал их невидимыми чернилами. Под давлением Блефф уступает. Он столько раз посылал в Лондон фальшивки, что послать еще одну — не такая уж высокая плата за жизнь.

Чтобы операция прошла без накладок и чтобы в Лондоне больше не верили ни одному донесению из Латестии, немцы поручают начальнику полиции встретиться с послом Великобритании и рассказать ему о сделке с Блеффом (о том, как начальник полиции знакомил немцев с донесениями Блеффа и только потом отправлял их по назначению).

Блефф знал, что немцы читают его донесения, намекает послу начальник полиции.

Едва Блефф выходит из германского посольства, полиция берет его под арест. Блеффа привозят домой и разрешают ему собрать вещи. Миссис Блефф дома нет. Пупс показывает Блеффу расшифрованную телеграмму из Лондона: «*Устраните агента X-27* (это кодовое имя жены Блеффа). *Из перехваченного письма X-27 к школьной подруге следует, что у X-27 роман с .... из министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, а не с ... из министерства иностранных дел. Агент ненадежен*».

Блефф прощается с домом, с Пупсом, с мисс Кукиш, с гримировальным набором, подаренным ему Англо-Латестийским культурным обществом, и с томом партитур избранных оперетт Салливана и Гилберта. Он вытряхивает из карманов фальшивые усы, мягкие шляпы, очки. «Вот что довело меня до беды»,—грустно говорит он мисс Кукиш.

Полиция сажает его под конвоем на самолет, вылетающий в Англию.

В лондонском Центре Блеффа поджидает созванная к его приезду официальная следственная комиссия. Члены комиссии уже ознакомились с сообщением посла, но пока не пришли к единому мнению. Загвоздка в том, что донесения Блеффа заслужили одобрение командования Британских вооруженных сил. Если «Сикрет сервис» открыто заявит о несостоятельности сотен донесений, полученных за последние два года,— тех донесений, которые были признаны «особо ценными»,— авторитет организации будет изрядно подмочен. Это может дискредитировать всю разведслужбу, подчеркивает председатель следственной комиссии. Подумают, что любой агент «Сикрет сервис» способен проделать то же самое. И в дальнейшем никому из них не будут верить.

Секретарь сообщает, что Блефф прибыл и ждет в приемной. Самый юный член следственной комиссии, молодой щеголь с типичной внешностью дипломата-чиновника, выходит навстречу Блеффу.

— Все будет хорошо,— быстро шепчет он ему на ухо.— Отрицайте все.

— Если бы только он не послал это последнее донесение,— говорит председатель комиссии.— Потому что материал, который он передавал до этого, построен в основном на умозаключениях. Вспомните, например, донесение о подземном заводе близ Лейпцига. Завод же как-никак под землей, его не видно, и мы не можем с уверенностью утверждать, что Блефф его выдумал. Генерал Хейз очень хвалил это донесение. Даже назвал его образцовым. Мы цитировали этот материал на лекциях для будущих разведчиков. Но последнее донесение... там приводятся точные данные — день и час начала войны; более того, там со всей определенностью называется источник информации — не кто-нибудь, а сам военный атташе... Тут уж как ни крути. Согласно этому донесению, сегодня в десять часов такие-то дивизии перейдут границу. Если бы посол вовремя не предупредил нас, из штабов армии, флота и ВВС уже звонили бы нам по всем телефонам и рвали бы нас на части, допытываясь, кто, черт возьми, сообщил такую чепуху... Входите, Блефф. Садитесь. Вопрос очень серьезный. Вам известно, в чем вас обвиняют?

— Да. Я признаю все.

Молодой щеголь взволнованно шепчет:

— Нет, нет! Я же сказал, все отрицайте!

— О том, чтобы признать все, не может быть и речи,— не менее взволнованно обрывает Блеффа председатель комиссии.— Это уж мы сами решим, что вам признать, а что нет. Конечно, ваше последнее донесение...

Звонит телефон, председатель комиссии снимает трубку:

— Да, я слушаю... Господи боже мой!

Он кладет трубку и поворачивается к членам комиссии:

— Сегодня утром германские войска перешли границу Польши. Полагаю, господа, что в данных обстоятельствах нам следует горячо поблагодарить мистера Блеффа за его последнее донесение из Латестии. Очень жаль, что неуклюжая работа посольства помешала нам использовать эту информацию должным образом... Но, как вы понимаете, полномочия разведслужбы ограниченны. Тем не менее в своем кругу мы можем с полным основанием заявить, что наша организация была осведомлена о дне и часе начала войны.

Блеффа награждают орденом Британской империи. Кроме того, он получает должность старшего преподавателя на курсах для разведчиков при «Сикрет сервис». Последний раз мы видим его на экране, когда он с указкой выходит к доске. Закадровый голос представляет его курсантам: «Ричард Блефф, один из наших старейших и опытнейших сотрудников, разведчик, которому удалось заранее узнать точный день и даже час нападения Германии. Он прочтет вам лекцию на тему: «Как организовать агентурную сеть за границей».

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ВИТАЛИЯ ЗАКРУТКИНА «Матерь человеческая». «Партиздат». Книга СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА «Собеседования». Издательство «Народна култура». Повесть ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Сын полка». Издательство «Отечество» Роман АЛИМА КЕШОКОВА «Сабля для эмира». «Партиздат». Повесть ВАДИМА КОЖЕВНИКОВА «Особое подразделение». То же издательство.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Пингвин». Повесть «Живи и помни» и рассказы ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА. Издательство «Гранада».

ВЕНГРИЯ

Повесть АРКАДИЯ ГАЙДАРА «Тимур и его команда» Издательство «Мора». Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Магветё». Роман ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Издательство «Европа». Роман ЮРИЯ МУШКЕТИКА «Быль». Издательство «Магветё». Научно-фантастическая повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Неназначенные встречи». Издательство «Европа». Сборник стихов ЮВАНА ШЕСТАЛОВА. Издательство «Космос».

ВЬЕТНАМ

Книга РАСУЛА ГАМЗАТОВА «Мой Дагестан». Издательство «Так фам мой». Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». То же издательство. Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». То же издательство.

ГДР

Повести ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход». Издательство «Фольк унд вельт». Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Дело Артамоновых». Издательство «Ауфбау». Повесть ЮРИЯ КОВАЛЯ «Недопесок Наполеон III». Издательство «Киндербухферлаг». Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Фольк унд вельт». Роман ГЕОРГИЯ МАРКОВА «Грядущему веку». То же издательство.

ИСПАНИЯ

«Одесские рассказы» ИСААКА БАБЕЛЯ. Издательство «Алианса эдиториаль». Антология стихов АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Плаеа и Хонес». Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Жизнь господина де Мольера». Издательство «Монтесинос». Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Детство». Издательство «Сейкс — Барраль». Роман «Мать». Издательство «Хосе Батильо».

НОРВЕГИЯ

Сборник рассказов ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО «На Садовой большое движение». Издательство «Каппелен». Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Семнадцать мгновений весны». Издательство «Фальк».

ПОЛЬША

Сборник рассказов ЮРИЯ КОВАЛЯ «Заячьи тропы». Издательство «Наша ксенгарня». Повесть ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАТЬЕВА «Сашка». Издательство «ПИВ». Роман КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Солдатами не рождаются». Издательство «МОН».

Среди книг

По страницам произведений писателей социалистических стран

Издано в СССР

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО

Верность. Эстафета поколений. Сборник. Перевод с немецкого. Составление и предисловие В. Девекина. Москва, «Радуга», 1985.

За сорок послевоенных лет литература ГДР прошла большой путь. Каковы же корни этой литературы? На какие традиции она опирается? Как отразилась война в творчестве многих поколений писателей, сменившихся за это время? Ответ на эти вопросы мы и находим в сборнике. Кроме того, он наглядно показывает, как сочетаются преемственность и новаторство в литературном процессе.

Литература ГДР началась не с «года нуль» (das Jahr Null), как это пытается представить западное литературоведение, называя так 1945 год и отвергая связь послевоенного развития немецкой истории с периодом, предшествовавшим второй мировой войне. Литература, как и история, не возникает на пустом месте. У истоков литературы ГДР стояли писатели-антифашисты, вышедшие после победы из подполья и вернувшиеся из эмиграции.

Составителем антологии проделана большая работа по систематизации литературного наследия республики. К самому старшему из литературных поколений он относит (по году рождения) Арнольда Цвейга, Фридриха Вольфа, Людвига Ренна, Рудольфа Леонгарда, Адама Шарера, Эриха Вайнерта, Ганса Мархвицу, Иоганнеса Р. Бехера, Карла Грюнберга, то есть тех, кто родился в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века.

Председателем Союза пролетарских и революционных писателей (создан в Германии в 1928 году) был И. Р. Бехер, первым секретарем — К. Грюнберг. Бехер сыграл огромную роль в создании социалистической литературы ГДР. Молодой поэт-экспрессионист, выходец из буржуазной семьи навсегда связывает свою судьбу с борющимся рабочим классом. В антологию входит стихотворение Бехера «Привет немецкого поэта Российской Советской Федеративной Социалистической Республике».

В 20-е годы на немецкий язык переводится статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», оказавшая большое влияние на революционных писателей Германии. В тетралогии «Опыты» Бехер писал: «Для того, кто не знает трудов Ленина, загадка нашего времени останется неразгаданной»[1]. К. Грюнберг, выражая взгляды левых художников и писателей, в газете «Роте фане» пишет: «Главная задача пролетарско-революционной литературы — штурмовать вражеский фронт»[2], а Ф. Вольф в программной статье «Искусство — это оружие»[3] призывает к утверждению политической функции искусства. Ф. Вольф, Э. Вайнерт, И. Р. Бехер — авангард первого поколения писателей ГДР, и творчество их достойно представлено в антологии.

Следующее поколение — ровесники нашего века: Бертольт Брехт, Анна Зегерс, Ф. К. Вайскопф Бруно Апиц, Вилли Бредель, Ханс Лорбер, Эрих Арендт, Бодо Узе, Отто Готше. О первой мировой войне эти писатели знают лишь понаслышке, зато они активно участвуют в идейно-политической борьбе Веймарской республики.

Начало 30-х годов ознаменовалось окончательным переходом на социалистические

---

[1] И. Р. Бехер. В защиту поэзии. «Изд-во иностранной литературы». М., 1959. с. 26.

[2] Karl Grünberg. Was wir wollen. In: Zur Tradition der deutschen sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten. 4 Bände. Berlin und Weimar, 1979. Band I, S. 178.

[3] Friedrich Wolf. Kunst ist Waffe. In: Ibid., S. 22.

позиции А. Зегерс, Л. Ренна, Б. Брехта, Ф. Вольфа. На формирование эстетики социалистической литературы большое влияние оказало замечание Ф. Энгельса в письме к М. Гаркнесс: «На мой взгляд, реализм предполагает, помимо правдивости деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах».

В годы фашизма социалистическая немецкая литература проявила свои лучшие качества, и прежде всего моральную стойкость. Наперекор обстоятельствам именно в это время, а точнее, безвременье появляются яркие, талантливые произведения: «Испытание» Бределя и «Седьмой крест»,— пожалуй, наиболее популярный антифашистский роман А. Зегерс. Ф. Вольф создает в 1934 году драму «Профессор Мамлок». Тогда же написаны лучшие пьесы Б. Брехта, и сборник закономерно представляет отрывки из пьес, теоретических работ и стихи Брехта, фрагменты из романов Зегерс и Бределя.

В 30—40-е годы в литературу входит новое поколение социалистических писателей: Луи Фюрнберг, Макс Циммеринг, Ян Копловиц, Вальтер Горриш, Эдуард Клаудиус, Эрвин Штриттматтер, Куба (Курт Бартель), Стефан Хермлин, Юрий Брезан. Они тоже прошли школу антифашистской борьбы — кто в эмиграции, кто в подполье, а кто и в плену. После прихода гитлеровцев к власти Куба ищет убежища в Австрии, Югославии, в Чехословакии. Именно здесь он рождается как поэт. Почерк автора «Поэмы о человеке», переведенной Семеном Кирсановым и опубликованной в сборнике, выковывался в эти годы.

В фашистском вермахте пришлось служить Эрвину Штриттматтеру и Юрию Брезану. Брезан еще до службы успел отсидеть в Дрезденской тюрьме за нелегальную антифашистскую деятельность. Штриттматтер дезертировал в конце войны, а не надо забывать, что это каралось смертной казнью. В антологии опубликованы главы из романа «Чудодей», в котором он рассказывает историю своего побега.

Богатая событиями судьба выпала и на долю Стефана Хермлина: антифашистское подполье, эмиграция, борьба против Франко в Испании, участие в движении Сопротивления во Франции, арест, концлагерь и побег. Среди стихотворных произведений С. Хермлина, вошедших в сборник, особыми поэтическими достоинствами и гражданским пафосом отличается «Баллада о даме Надежде».

В 50-е годы на смену уходящим из жизни идет поколение Макса Вальтера Шульца, Франца Фюмана, Пауля Винса, Гельмута Заковского. Герберта Отто, Германа Канта, Гюнтера де Бройна, Бернгарда Зеегера, Дитера Нолля. Это последнее поколение, пережившее войну. Они прошли фронт, многие побывали в плену, который стал для них школой жизни. Общая для этого поколения, как и для предыдущего,— тема вины и ответственности немцев за разрушительную войну, принесшую столько несчастий народам С творчеством многих из этих писателей, например романом Д. Нолля «Приключения Вернера Хольта», нас познакомил журнал «Иностранная литература». М. В. Шульца советский читатель знает как автора романа «Мы не пыль на ветру». Оба произведения сходны по проблематике, но в отличие от Вернера Хольта главный герой Шульца порывает с фашизмом и пересматривает свои взгляды, о чем говорит жизнеутверждающий подзаголовок «Роман о непотерянном поколении».

Широкое признание в СССР получили романы Г. Канта «Актовый зал», «Выходные данные», «Остановка в пути», а также его рассказы. Главная коллизия «Остановки в пути» — прозрение молодого солдата, лишь в плену постигающего сущность фашизма,— сходна с романами Д. Нолля и М. В. Шульца. В основу произведения положен автобиографический материал.

Хорошо известен у нас и Франц Фюман. На русский язык переведена его книга «Двадцать два дня, или Половина жизни» и многие рассказы. Расчету с прошлым, с войной, посвящена его повесть «Однополчане», вошедшая в антологию.

Мы знакомимся и с поколением писателей, родившихся в 30-е годы: Вольфгангом Кольхаазе, Эриком Нойчем, Хайнцем Калау, Эберхардом Паницем, Иоахимом Новотным, Бригиттой Райман, Ульрихом Пленцдорфом, Рольфом Флоссом, Фолькером Брауном. Трое из них — Э. Паниц, И. Новотный и Ф. Браун — представлены в сборнике. Это поколение не знало войны. Оно помнит ее лишь по детским впечатлениям, и все же след ее в душе очень глубок. Ощущение покоя, мира, пришедшего на смену ужасам войны, прекрасно передано в рассказе И. Новотного «Новость». Мальчик Домель часто прибегает к рассказчику, чтобы сообщить об очередном несчастье, принесенном войной. «И вот я опять вижу, как маленький Домель бежит ко мне. Он размахивает руками и кричит, борется с ветром и снежной завирухой, первой в эту зиму... Я думаю: опять случилось что-нибудь ужасное, почему я не слышал взрывов? Но маленький Домель уже рядом со мной, он поднимает руки к небу, запрокидывает голову, хочет что-то сказать, но у него прерывается дыхание, он пыхтит и, беззвучно шевеля губами, что-то говорит. И происходит чудо — я все понимаю.

«Снег,— говорит маленький Домель,— снег идет!»

И лицо его светится счастьем.

Все это я вижу во сне, в этом месте я всегда просыпаюсь и думаю: вот что значит мир».

И наконец, писатели, родившиеся в 40-е годы. Среди них — Харальд Герлах, Бернд Ширмер, Йон Эрпенбек, Иоахим Вальтер, Ангела Стахова.

«Трудно еще оценить их как поколение,— пишет в предисловии В. Девекин,— но оно уже родилось».

Итак, главная мысль антологии — эстафета поколений, передача из рук в руки жизненного и литературного опыта, традиций подлинно демократической литературы, закладывавшихся еще в 20-е годы. Рассмотрение пути развития литературы ГДР в аспекте преемственности и новаторства делает антологию интересной и познавательной.

И. КИВЕЛЬ

СТАРЫЙ ДОБОШ И ДРУГИЕ

Чехословацкая повесть. 70—80-е годы. Перевод с чешского и словацкого. Составление и предисловие С. Шерлаимовой. Москва, «Радуга», 1984.

Четыре повести чешских и словацких писателей, входящие в сборник,— четыре среза общественной жизни современной Чехословакии. В «Сборе винограда» Яна Костргуна это чешская деревня, ее люди, житейские — большие и малые — проблемы. Сюжет «Вана Стипхоута» Любомира Фельдека — становление характера молодого редактора многотиражки на крупном словацком заводе, история, слегка пародирующая авантюрный роман. «Скальпель, пожалуйста!» — повесть, в которой автор Валя Стиблова с большим знанием дела и очень подробно рассказывает о самоотверженной, искусной работе чешских нейрохирургов. И наконец — творческий портрет звезды телеэкрана... козы, которая является, можно сказать, главным действующим лицом «одноименной» повести Владо Беднара.

В «Козе» Беднар продолжает на словацкой почве традиции сатирической прозы Чапека, Гашека, Ильфа и Петрова. В повести подмечены смешные и уродливые стороны мира кинотеледеятелей. Автор смело идет на художественные преувеличения, поднимаясь порой до настоящего гротеска — такова сцена «похорон козы» (здесь явно прослеживаются корни карнавального народного действа). Однако, к сожалению, автор чаще сбивается на скороговорку, в которой преобладает фельетонная интонация, конкретное же действие останавливается, едва начавшись. Отсюда впечатление некоторой пунктирности сюжетной линии. В иные моменты, когда автор слишком торопится, игнорируя важные коллизии, хочется сказать словами самого же Беднара: «Здесь снимают фильм, но в чем там дело, угадать нелегко».

Что автор повести «Скальпель, пожалуйста!» — врач-хирург, можно легко догадаться: с таким профессионализмом, так детально написать о сложнейших операциях, право, не сумел бы ни один сторонний — пусть даже самый внимательный — наблюдатель. Описания операций и в целом жизни клиники — самые сильные страницы повести. Не только потому, что доскональное знание автором предмета всегда подкупает. Стиблова пишет о своей профессии увлеченно, герои ее «в деле» предстают живыми людьми — каждый со своими особенностями характера, внутренними противоречиями, сложностями взаимоотношений. Стиблова сумела органично передать то естественное душевное (а подчас и физическое) напряжение, которое не может не сопутствовать любой сложной операции — ведь речь почти всегда идет о жизни и смерти

Меньше удалось автору изображение личной жизни героев. Семейные отношения главного персонажа повести, блестящего нейрохирурга, и его жены-невролога развернуты довольно пространно и подробно, но тем не менее в их обрисовке есть некая идеализация и схематичность. Несколько мелодраматично выглядит и коллизия с бывшим одножашником профессора, Митей,— отношения между ними в молодости были не очень гладки, к тому же выясняется, что у Мити тогда был роман с Иткой, будущей женой профессора, а теперь профессор должен Митю оперировать.

Чрезмерная увлеченность специальной терминологией (уместной в описании истории болезни) приводит к тому, что и в изображении психофизического состояния персонажа автор не может удержаться от соответствующих определений. Например, об уставшем после тяжелого дня накануне ответственной операции профессоре автор пишет: «Желудок сжимали тупые спазмы, и сердце предупреждающе дало несколько экстрасистол».

История молодого поэта и редактора многотиражки Ивана Рене, героя повествования, неразрывно связана с производственной жизнью крупного словацкого предприятия по изготовлению телевизоров «Тесла Орава». В основе повести — недавнее прошлое завода, конец 50-х — начало 60-х и перечень важнейших событий со дня его основания. Для воплощения этой серьезной (но для кого-то, может быть, и скучноватой) темы автор находит очень живую, можно сказать «смешливую», интонацию. Тон задается уже самим эпиграфом, взятым из первого крупного словацкого романа XVIII века «Юноши Рене приключения и испытания» Йозефа Игнаца Байзы. Эпиграф, заимствование имен главных героев, шутливый параллелизм некоторых формальных приемов повести Фельдека с этим авантюрным романом (названия глав) — своеобразная озорная литературная игра, привносящая оттенок шутливой пародийности и добродушной иронии; не снимая серьезности темы, это придает повествованию динамичность и легкость. Лукавый розыгрыш можно усмотреть и в названии «Ван Стипхоут» — ведь центральным персонажем повести является Иван Рене, а его приятель Ван Стипхоут — лишь эпизодическое лицо, и главного своего «предназначения» он не выполняет. Он исчезает, не написав обещанную хронику завода, «передоверив» это обязательство самому автору; ведь повесть и есть своеобразная хроника завода «Тесла Орава» «в духе Ван Стипхоута» — без излишне «серьезной мины», по выражению самого Фельдека, то есть исполненная юмора. Задача написать «легко о трудном» Фельдеку в целом удалась. Правда, иногда возникает ощущение некоторой облегченности и упрощенности жизненной картины, однако жанровая стилистика выдержана последовательно и убедительно. Юмористическая авторская интонация скрашивает чрезмерное изобилие производственных и технологических подробностей, и важно, что эта авторская интонация в русском переводе передана Н. Шульгиной органично и ярко.

Пожалуй, наиболее цельное художественное впечатление остается от повести Костргуна «Сбор винограда» в переводе И. Ивановой. О самых обыкновенных земных вещах рассказывается очень поэтич-

но, с мягким юмором, за которым порой таится печаль. В основном события и люди даны в восприятии старика Добеша. Недавно он ушел на пенсию, и у старика оказалось непривычно много свободного времени — теперь он невольно приглядывается внимательней, чем раньше, к окружающему и к себе. Нет, не все понимает и принимает он из того, что видит вокруг,— появляется иногда в повести насмешливая, по-стариковски ворчливая интонация. Вот как в его сознании, скажем, преобразуются газетные сообщения: «Природного газа полно, и в то же время его не хватает. Продолжительность жизни увеличилась, но инфарктов прибавилось».

Придирчивость старого Добеша, его особенный взгляд на мир заставляют и нас посмотреть по-новому на многое, что считается в порядке вещей. «Странные мы, странные...— размышляет Добеш.— Возле мертвых ходим на цыпочках и с благоговением, а живых обижаем и при этом нередко готовы лопнуть от гордости». Добеш требователен не только к окружающим, но и к себе. Главный предмет его забот в начале повести — виноградник и предстоящий сбор винограда, из которого получится отличное вино. Однако весь урожай дед Добеш скармливает скворцам только потому, что боится выстрелом своей карбидной «пушки» разбудить и напугать спящего внука. Нелегко дается Добешу такая жертва. «Дед спрятал лицо в ладони, а когда он снова поглядел на свет божий, из ладоней вылился ручеек. Виноградник был похож на безутешную вдову над могилой супруга». Потеря винограда (туча скворцов уничтожила его в считанные минуты) — трагедия для старого виноградаря, но этот неожиданный для него самого поступок возвышает и очищает его, стоящего на пороге смерти, готового пожертвовать всем для своего маленького Еника.

Отношения деда и внука — смысловой стержень повести. Поначалу Еник, которого навязали деду занятые родители,— обуза для старого Добеша: не хочет он становиться нянькой, у него хватает забот и с виноградом. Но чем дальше, тем больше Добеш привязывается к мальчику, а тот к нему, все явственней ощущаем мы родство двух душ — старого и малого,— которое крепнет в их совместной тяге к природе, ко всему живому, естественному. «Шесть лет или шестьдесят — это одна и та же капля росы»,— размышляет Костргун (или старик Добеш?).

Предчувствие скорого ухода из жизни заставляет Добеша многое пересмотреть, переоценить, осмыслить — и в себе и в других. «Да, милый,— рассуждает Добеш (или Костргун?) — на свете все продолжается не больше мгновенья, а радости жизни мы к тому же портим себе собственной глупостью»

Элегическая тема ухода из жизни людей, дорогих сердцу Добеша,— глубинный подтекст повести — раскрывается как бы исподволь, без излишней сентиментальности. Полны грустного юмора эпизоды в кондитерской. И сама кондитерская случайно «задержалась» в нынешней деревне, как «пережиток прошлого»; и кондитерша в платье давно увядшей молодости, и смешная, но трогательная пани Броускова, любительница пирожных, чуть ли не единственная посетительница кондитерской,— все это «обломки» уходящих, «патриархальных» отношений. Умирает Броускова тут же, в кондитерской, с кусочком пирожного в руке, умирает старик Добеш, но повесть кончается нотой светлой печали, потому что последним в поле нашего зрения остается маленький Еник. У него только что закончился первый школьный день, он ждет деда — и уже не дождется его, но то светлое и доброе, что старый Добеш успел ему дать, останется навсегда.

В. КЛИМОВСКИЙ

«...ВОЗВОЖУ ВРЕМЯ»

Тадеуш Ружевич. Стихотворения и поэмы. Перевод с польского. Составление и предисловие В. Британишского. Москва, «Художественная литература», 1985.

Эту строчку из стихотворения «Не выскажешь» можно поставить эпиграфом ко всему творчеству Тадеуша Ружевича — поэта, которого судьба наделила щедрым даром: умением чутко вслушиваться в ход времени, запечатлевать его в образах точных и зримых. Ружевич принадлежит к поколению тех, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»,— вот уже несколько десятилетий их называют в Польше «Колумбами». Однако поэт осмысливает свою «родословную» несколько иначе — он говорит не просто от имени поколения, но от имени уцелевших в войне — их несравнимое меньшинство. Наверное, поэтому основная тема лирики Ружевича разных десятилетий — верность своему человеческому и поэтическому долгу.

Я домик для умерших
обретших в нем
последний приют

ко мне
тянутся руки
возьми меня
возьми с собою
не гони...

(Перевод Б. Слуцкого)

Когда 1 сентября 1939 года на Польшу обрушился первый удар второй мировой войны, Ружевичу было 18 лет. С этого момента начался крах не только привычных жизненных норм, но — что самое важное — принципов, понятий, на которых воспитывается каждый человек, в которых протекает наше взросление.

В программном стихотворении «Уцелевший» Ружевич пишет об этом жестко и сильно:

Человека убивают так же как скот
я видел:
фургоны людей порубленных на части
людей которые не спасутся...
Одинаково весят добро и зло
я видел:
человека который был одновременно
преступник и праведник.

(Перевод В. Британишского)

Стихи 1945 — 1946 годов, собранные в первой книге Тадеуша Ружевича «Беспокойство», казалось, кричали о самом страшном из возможных на земле преступлений — о надругательстве над юной душой, о выхолащивании понятий добра и зла. И все же в «Беспокойстве» обозначились со всей очевидностью попытки поэта вырваться из горького круга пережитого, найти себе место в новой жизни, сначала — просто в жизни.

В предисловии к сборнику, предельно лаконичном и одновременно емком по смыслу, Владимир Британишский пишет о том, каким образом шел Ружевич к идее восстановления человечности человека. Это долгий путь, в начале которого лежит воскрешение культуры и гуманности. Потому что, как пишет В. Британишский, поэту необходимо было познать и заново воссоздать «человека как высшую меру всех вещей... Эстетическое не может существовать без этического. Ведь и у древних греков, напоминает Ружевич, не было идеала красоты как таковой — был идеал добра и красоты».

Однако в конце 40-х годов, после Освенцима и Треблинки, идеал античности, по Ружевичу, нуждается в некоем уточнении — сами понятия добра, красоты, гармонии стали в чем-то намного сложнее, в чем-то проще, приземленнее, и начать необходимо с постижения их простоты и обыденности. Об этом многие стихи Тадеуша Ружевича конца 40-х — середины 50-х годов. Об этом же, пожалуй, одно из самых прозрачных по ритму и умиротворенных по интонации стихотворений «Как хорошо»:

Как хорошо Могу я собирать
в лесу малину
я думал
что ни леса нет ни ягод.

Как хорошо Могу я возлежать
под тенью листьев
я думал
что нет тени у деревьев.

Как хорошо Ведь я сейчас с тобою
и сердце бьется
я думал
нет у человека сердца.

(Перевод Н. Глазкова)

И польские и советские критики часто говорят о тех специфических чертах, которые внес в послевоенную поэзию Тадеуш Ружевич. Именно здесь находят зачастую общность между Ружевичем и Маяковским — убедительно пишет об этой параллели и В. Британишский. Думается, сопоставление некоторых моментов поэзии и драматургии этих во многом схожих художников многое бы прояснило в творчестве их обоих да и в том явлении, которое мы называем *поэтическим реализмом* нашего столетия. В переломные исторические периоды эта поэзия становится особенно значительной, наполняясь и сатирой, и гротеском, и поразительным по силе откровения лиризмом...

Однако в лирике Тадеуша Ружевича с самого начала и с необыкновенной силой выявилась черта, резко отделяющая его от многих молодых поэтов (в том числе и раннего Маяковского). Ружевич начал не с отрицания старой культуры, а с пристального вчувствования, вживания в вековой опыт и традиции.

«Новый реализм» Тадеуша Ружевича потому, вероятно, и поражает так сильно, приобщает к себе столь властно — ведь он зиждется на тех гуманистических, культурных основах, которые близки и понятны каждому. С годами все чаще и органичнее стали возникать в поэзии Ружевича образы Данте и Толстого, Гейне и Достоевского, Рубенса и Пикассо, Акутагавы и Шекспира. Они помогают поэту в его трудном деле «создавать поэзию после Освенцима» («Я видел потрясающего монстра». *Перевод А. Эппеля).*

Эта афористически емкая фраза — прямой вызов «катастрофическим» настроениям, которые были столь обычны на Западе сразу после войны, да и сегодня продолжают существовать. Вспоминается другой афоризм, принадлежащий видному западногерманскому философу Теодору Адорно: «После Освенцима невозможна никакая поэзия». Вот с этой позицией неустанно спорит Тадеуш Ружевич, восставая против нее всем творчеством.

О чем бы ни писал Ружевич, как бы далеко во времени ни отходил от своего военного прошлого, война всегда остается для поэта «драматической материей лирики и поэм» (В. Британишский). Часто она возникает внезапно, на первый взгляд совершенно непредсказуемо, как, например, в книге «Ничто в плаще Просперо» или в поэме «Et in Arcadia ego», посвященных разоблачению буржуазного прогресса, цивилизации автоматов и марионеток.

В одном из ранних стихотворений «Обещание» Ружевич пишет:

Я создам для вас новую картину
заполненную жизнью и теплом

(Перевод Б. Слуцкого)

Что же включает Ружевич в понятие «новая картина»?

По мысли поэта, возрожденная Польша должна стать совершенно новой страной, в которой понятия «добро и зло», «правда и ложь» обретут свой истинный смысл, и от прошлого останется прежде всего культура — прекрасная и вечная. Поэтому таким едким сарказмом, такой неприкрытой ненавистью к «дамочкам в розовых чулочках» и «темновельможным панам» звучали стихи 40-х годов, написанные поэтом, который говорил от имени «павших на поле брани непорочных юных героев» («Расчет». *Перевод В. Британишского).*

Поэтому такая горечь, прорывающаяся сквозь убийственную иронию, живет в поздних стихах Ружевича, написанных под впечатлением зарубежных поездок. Не утративший с годами способность смотреть вокруг себя и заглядывать в самого себя глазами уцелевшего, Тадеуш Ружевич с неподдельной болью взирает на сегодняшний буржуазный мир. Как это страшно, когда уроки истории не стали подлинным Уроком, когда словно не было смерти, крови, насилия.

70-е годы привнесли в поэзию Тадеуша Ружевича новую интонацию — его стихи стали камернее, в каком-то смысле даже

лиричнее, что обусловлено не только, например, воспоминаниями об ушедших друзьях и близких. Теперь обращение Ружевича к великим предшественникам наполнилось иным смыслом: в Толстом, Пикассо поэт ищет и находит не вопросы, которыми они задавались, и не ответы, которые рождались порой в мучительной борьбе со временем и собой, а то обыденное, «земное», что на первый взгляд не отличает их от каждого человека. За строками Ружевича встают раздумья поэта над дневниками и письмами великого русского писателя, над черновиками и окончательными вариантами его бессмертных произведений, личные впечатления от яснополянского дома, старого парка... В стихах Тадеуша Ружевича перед нами — старец, но этим великим старцем не может быть никто, кроме самого Льва Толстого в тяжелые годы его глубокого духовного кризиса.

Эта черта творческого почерка Ружевича снова заставляет вспомнить о Маяковском, поздняя лирика которого была отмечена поиском обыденного, чисто человеческого в великом и сложном...

Иначе, наверное, и невозможно для такого замечательного поэта, прозаика, драматурга, как Тадеуш Ружевич, сказавшего о себе просто и гордо: «...возвожу время».

НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ

НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ

Грозные годы. Сборник. Перевод с сербскохорватского. Москва, «Военное издательство», 1983.

Тема народно-освободительной борьбы — одна из ведущих в современной югославской литературе. Она неизменна для творчества многих и многих писателей Югославии старшего поколения, прошагавших по партизанским горным и лесным тропам тысячи километров, к ней обращаются более молодые, для которых опыт войны связан с воспоминаниями детства. Но каждая новая книга о войне, будь то роман маститого писателя или повесть начинающего литератора, обогащает читательское сознание и расширяет социальную память о минувшем, которое нельзя забыть. Это еще раз подтвердил сборник «Грозные годы».

Открывает его повесть «Игманский марш» Джурицы Лабовича, который стал писателем в послевоенные годы.

В декабре 1941 года, когда над извилистой горной рекой Лим поднимался туман, а лужи на дорогах покрылись льдом, в маленьком боснийском городке Рудо произошло событие, оказавшее решающее влияние на весь ход народной борьбы в Югославии. 22 декабря 1941 года здесь была сформирована Первая пролетарская бригада — основа регулярных соединений Народно-освободительной армии Югославии. Об этом событии, о судьбах «пролетарцев», о молодом борце Гавро Гавриче, которого все называли Гаврошем, его друзьях, о Рите — первой девушке-комиссаре партизанского отряда, любимой книгой которой была «Как закалялась сталь» Н. Островского,— и рассказывает Джурица Лабович. Романтический пафос повести, эмоциональность стиля, страстная авторская «вовлеченность» подкрепляются строгой документальностью, пристальным вниманием к историческим фактам.

К осени 1941 года действовавшие в различных районах страны и руководимые коммунистами партизанские отряды накопили опыт борьбы, однако их локализация вела к распылению народных сил, лишала отряды маневренности, позволяла врагу оперативно перебрасывать войска из одного района в другой, добиваться численного превосходства. Верховный штаб партизанского движения принял решение: не довольствуясь партизанскими отрядами, приступить к созданию не только крупных, но и мобильных бригад, способных вести борьбу в любых условиях и на той территории, где необходимо.

Д. Лабович с документальной точностью запечатлевает исторический декабрьский день в Рудо. Никогда еще на протяжении почти четырехсотлетней истории существования этого восточнобоснийского городка на его улицах не было так шумно и многолюдно. Здесь собрались и партизаны со всех концов страны, и многочисленные горожане. На страницах повести словно оживает фотография, вошедшая в учебники по истории, ставшая хрестоматийным документом, иллюстрацией к Народно-освободительной войне. Автор фотографии «Строй в Рудо» — партизан-фотограф, после войны — известный югославский кинорежиссер Ж. Скритин. Вот оно, воплощенное единство и братство борющихся против фашизма: «...на площади собрались сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, албанцы, македонцы, несколько русских, немцев, венгров... В едином строю стояли рабочие, студенты, учителя и крестьяне, художники и шахтеры, офицеры и гимназисты...» Пестрота одежды бойцов дополнялась необычайным разнообразием оружия — югославские и немецкие карабины, охотничьи ружья, итальянские винтовки, ручные пулеметы всех систем. Всего 1119 бойцов, из них больше половины — члены КПЮ и Союза коммунистической молодежи Югославии. Перед выстроившейся с красным знаменем бригадой — Верховный главнокомандующий И. Броз Тито, комиссар бригады Филип Кляич и другие руководители.

В Рудо начался боевой путь легендарной бригады, с боями прошли «пролетарцы» по оккупированной территории Югославии, в лютый мороз преодолевали заснеженный перевал горы Игман, отбивая ожесточенные атаки гитлеровских войск. Народная армия рождалась в боях и лишениях, впереди ее ждали новые походы и решительные бои совместно с частями Советской Армии за полное освобождение страны от фашистских оккупантов.

В отличие от Джурицы Лабовича, тяготеющего к историзму и документальности, Милорад Гончин в коротких, окрашенных трагическими и лирическими тонами рассказах не претендует на широкие исторические обобщения, а показывает войну че-

рез конкретные, частные эпизоды. В его рассказах судьбы людей определяются сиюминутными обстоятельствами, за которыми, однако, просматривается вся глубина и значимость народной борьбы против фашистского порабощения, реально проступает коренная причина войны — смертельная борьба двух миров: с одной стороны, мир свободы и социализма, с другой — фашистского рабства и человеконенавистничества.

В рассказе «Ты отомстил...» партизан Гайо должен расстрелять по приказу командира пленного врага, Радана, который не только совершил преступление против народа, он и убийца сестер Гайо — его личный враг, достойный ненависти и презрения. И все же: «Я не могу стрелять в связанного»,— говорит Гайо.

В рассказе «Волчица» партизаны в разгар жестокой схватки с эсэсовцами приметили уходившую из опасной зоны волчицу с пятью волчатами, один из которых был ранен. Волчица металась около, пытаясь помочь, и партизаны сочувственно наблюдали за ней. «Я вижу не волчицу, а мать»,— сказал один из них. А вот реакция эсэсовцев: «Партизаны — тоже волки! Сегодня мы должны их уничтожить».

В рассказах М. Гончина, несмотря на их предельную напряженность и трагизм, звучат жизнеутверждающие мотивы и вера в новую жизнь, которую можно и нужно завоевать в борьбе с врагом. Стоит только умолкнуть грохоту боя — и начинают звучать шутки и смех, обычная человеческая жизнь вступает в свои права. Вот бойцы приводят в село пленного итальянца («Тревожная ночь»), и командир предупреждает, что с пленными надо гуманно обращаться. «Старики и молодежь окружили пленного. Все с любопытством его разглядывали, а Джокица даже набрался храбрости и дотронулся до его одежды. Наибольшее удивление вызвала его каска с торчащим пучком перьев, что говорило о принадлежности к берсальерам, горным стрелкам. «Эта штука очень похожа на хвост моего петушка,— сказала Анджа, покачивая хныкающего ребенка».

Крестьяне недоверчивы — перед ними враг, но они незлобивы, и женщины даже приносят итальянцу поесть — «его ведь тоже где-то ждет мать», а дед Михайло угощает его табаком — «он ведь, в конце концов, тоже человек...»

Автор «Трех рассказов о любви» Михайло Реновчевич Невен известен советскому читателю по роману «Шолая». Написаны им также роман «Один», повесть «Адский поединок», рассказы и пьесы, получившие широкую известность в Югославии.

М. Реновчевич — участник народно-освободительной борьбы, и его произведения отражают то, что сам автор испытал на собственном нелегком опыте партизанского комиссара. Он стремится показать нравственные основы народно-освободительной борьбы, подчеркнуть ее общенародный характер. Герои М. Реновчевича мужественны и порой суровы, но, как и всем добрым людям, им присущи простодушие и бесхитростность, они отзывчивы на чужое горе, готовы помочь человеку в беде и искренне разделить с ним радость. Таковы взводный Чутурило, который благодаря своей смелости приобрел легендарную известность, и храбрый юный боец, прозванный Рыжиком.

В этих рассказах М. Реновчевича проявились также и свойственные ему поэтичность и юмор. В рассказе «Медведица и пулеметчик»[1] партизан-пулеметчик, богатырь Тараба, получает от командира отряда задание помочь старому крестьянину избавиться от зверя, который почти ежедневно хозяйничает на его клочке земли, лакомится спелыми помидорами и вытаптывает посевы. Ведь если так будет продолжаться, медведица оставит старика без куска хлеба. Тараба уверен, что, вооруженный ручным пулеметом, он легко справится с медведицей. Но все получилось не так, как он предполагал. В доме старика жила его сноха, а сын пропал на войне. Красивая молодая женщина произвела неизгладимое впечатление на храброго пулеметчика, их тайные свидания с наступлением темноты могли продолжаться до тех пор, пока ходит на свободе медведица. Но задание командира надо выполнять. Тараба — дисциплинированный боец, и приказ для него — закон. Несколько дней он щадил проказницу-медведицу, несколько раз подстерегал ее в засаде, но не решался убить.

«Ах, если бы вы знали, какая это была медведица! — с грустью говорил он потом своим товарищам по отряду».

Сборник «Грозные годы» вызывает несомненный интерес прежде всего потому, что расширяет наши представления о героическом периоде в истории братского народа, плечом к плечу с советским народом боровшегося против общего врага на протяжении всей войны. Подкупает искренняя непосредственность и правдивость в изображении народного подвига, в раскрытии личных судеб людей. Югославские авторы, представленные в сборнике, исторически правдиво и, можно сказать, бережно, с чувством патриотической пристрастности рассказывают о больших и не столь больших событиях народно-освободительной борьбы, художественно фиксируют и тем самым сохраняют для будущих поколений то, что не подлежит забвению.

Ю. БРАГИН

ЛИЦОМ К ПРАВДЕ

Средний возраст. Современная китайская повесть. Перевод с китайского. Составление и предисловие Б. Рифтина. Москва, «Радуга», 1985.

Советский Союз всегда питал интерес к Китаю. Этому интересу как нельзя лучше отвечают усилия советских китаеведов, изучающих и переводящих китайскую литературу. Как свидетельствует китайская пресса, страна постепенно выходит из состояния длительного паралича, к творчеству возвратился ряд переживших разгул хунвэй-

[1] См. рассказ «Пулеметчик и медведь». К сожалению, в переводе медведица «превращена» в медведя.

биновщины писателей старшего и среднего поколений, на литературной арене появилось значительное число молодых талантливых авторов. Советский читатель имеет возможность, что называется, из первых уст узнать правду о жизни китайского народа, о выпавших на его долю тяжелых бедствиях в период «большого скачка» и «великой культурной революции», о преодолении их последствий и о трудностях, возникающих в процессе «залечивания ран» в ходе осуществляемых перемен к лучшему.

Недавно вышел в свет сборник повестей китайских писателей «Средний возраст» [1], названный по одному из произведений, включенных в сборник. Безусловно талантливая повесть писательницы Шэнь Жун, получившая в 1983 году первую премию,— своеобразная летопись жизни той части интеллигенции среднего возраста, что в пятидесятые годы вступила на трудовой путь с искренней верой в идеалы социализма и горячим стремлением строить новый Китай. Однако вскоре на честных борцов были наклеены ярлыки «правых» и «контрреволюционеров», они оказались не у дел и пострадали от произвола и насилия. А ведь именно в годы активной деятельности этого поколения, в первое десятилетие после освобождения страна быстро шла на подъем, именно это поколение лучше всего известно советским людям, помнящим о плодотворном советско-китайском сотрудничестве.

С глубоким волнением следишь за судьбой главной героини повести — хирурга Лу Вэньтин и восхищаешься ее беспредельной преданностью делу. Скромная до самозабвения, она в то же время находит в себе смелость выставить за дверь орду цзаофаней, когда те врываются в операционную и требуют не возвращать зрения «ренегату». Но вот однажды от чрезмерного перенапряжения Лу Вэньтин тяжело заболела, и администрация не удосужилась доставить ее на машине в клинику. Повесть звучит и как упрек, и как призыв пересмотреть предвзятое отношение к интеллигенции, вселить в нее уверенность в завтрашнем дне. Ведь будущее зависит от степени участия в делах страны и представителей среднего поколения, ибо, как замечает один из персонажей повести, теперь на среднем возрасте «держится государство: что́, какую линию ни проводи, без него не обойтись».

Одна из бесчисленных жертв «десятилетней смуты» — научный сотрудник Института истории У Чжунъи из повести Фэн Цзицая «Крик». В обращении к советским читателям, предваряющем повесть, автор говорит: «...мне хотелось правдиво запечатлеть действительность определенного исторического периода, чтобы о ней не забыли. Если забыть о зле, оно может вновь появиться, в другом обличье...»

Повесть написана в 1979 году по свежим следам трагических событий «культурной революции». Невозможно без душевной боли следить за злоключениями рядового сотрудника института, вовлеченного вместе со своими коллегами в «свирепый водоворот» очередной кампании «борьбы и критики» и превращенного в «птицу, которая вздрагивает при одном виде лука». Царящая в институте атмосфера страха, взаимных подозрений и доносов властно вторгается в судьбы людей, доводит их до одичания и морального падения. Торжествуют люди, подобные начальнику политотдела института, «владеющему множеством способов заставить человека вывернуть себя наизнанку», «чья специальность — травить других людей». Не выдержав шантажа и запугиваний, У Чжунъи в конце концов попадает в сети организаторов кампании, идет на «саморазоблачение» и предательство близких, когда-то в пылу полемики обронивших несколько критических фраз.

Повесть заканчивается описанием прихода весны, символизирующей обновление не только в природе, но и в жизни общества, и вновь авторское предостережение: «...чтобы путь вперед был прямым и ровным, чтобы снова не попасть в «колесо» страданий, нужно многое делать и еще больше, еще серьезнее размышлять...»

В сборник включена повесть «Чалый» одного из популярных ныне в Китае писателей Ван Мэна. В своеобразной форме путевых зарисовок, воспоминаний и размышлений рассказывается о судьбе музыканта Цао Цяньли, сосланного на трудовое воспитание в далекий Синцзян. Человек с высшим образованием, влюбленный в музыку и профессию музыканта, работает теперь учетчиком в коммуне, а по существу влачит бессмысленное существование в отрыве от родной среды и любимых занятий, в каждодневном общении с тощей клячей, с которой ведет, объезжая владения коммуны, разговор о смысле земного бытия. Но Цао не сломлен, он имеет счастье быть «честным и порядочным китайцем». Грустное в своей основе повествование заканчивается на мажорной ноте — рассуждением героя о том, что прошлое уже никогда не вернется, что он вместе со всеми устремится в светлое завтра.

Повесть Чжан Игуна «История преступника Ли Тунчжуна», пожалуй, впервые с такой откровенностью обнажает пагубные последствия политики волюнтаризма, игнорирования объективных законов социально-экономического развития в период «большого скачка» и создания народных коммун и так остро обличает бюрократизм, демагогию и прочие пороки партийного аппарата уездного и окружного звена. Здесь бесконечно заседают, не знают положения на местах, довольствуются липовыми сводками о сверхурожаях и сверхблагополучии. В одной из коммун начался голод. И вот тогда секретарь партячейки большой сельскохозяйственной бригады Ли Тунчжун, честный и принципиальный коммунист, решается на крайний шаг: он санкционирует раздачу зерна крестьянам из государственного склада. Спасая коммунаров от голодной смерти, сам он умирает в больнице от хронического недоедания.

Это случилось в 1960 году, и девятнадцать лет на нем лежало пятно государственного преступника. На самом деле пре-

[1] Повести «Средний возраст» и «Крик» были опубликованы в «Библиотеке» журнала «ИЛ».

ступны действия тех (об этом ярко и образно говорится в повести), кто «глядел на все вокруг через стекло автомобиля», кто «во исполнение решений свыше» выжимал последние соки из сельских тружеников и под грохот гонгов и барабанов возвещал о мнимых «победах». Показательно запоздалое самобичевание секретаря окружного комитета партии Тянь Чжэнышаня, едущего в джипе на митинг, посвященный реабилитации Ли Тунчжуна. «Пора издать еще один закон,— думал Тянь,— который предусматривал бы наказания для закоренело неисправимых — тех, кто бахвалится ради карьеры, заставляет людей лгать, заниматься очковтирательством в отчетах и сводках, завышает контрольные цифры заготовок сельскохозяйственных продуктов...»

Действие нашумевшей в свое время повести Лу Яньчжоу «Сказание Заоблачных гор» происходит уже после «культурной революции». Главный герой Ло Цюнь, в прошлом ответственный партийный работник, комиссар комплексного исследовательского отряда, заклеймен как контрреволюционер за несогласованные, хотя и правильные, действия по преобразованию района Заоблачных гор. И вот государственный человек, «исполненный горячей любви к партии и народу», автор ценнейших трудов и научных исследований, все еще работает возчиком, живет в нищете и лишениях. Ему противостоит карьерист и приспособленец У Яо, тормозящий реабилитацию Ло Цюня.

Справедливость в конце концов торжествует. Ло Цюнь восстановлен в партии, он возглавит битву за модернизацию Заоблачного района и пусть с двадцатилетним запозданием, но осуществит свои замыслы. И снова вывод: надо учиться отличать правду от лжи, сделать все, чтобы избежать прошлых ошибок.

Последние две повести сборника, «Вертикальная развязка» Лю Синьу и «Директор Цяо приходит на завод» Цзян Цзылуна, также обращены к дням сегодняшним. Герои первой — простые труженики столицы с их повседневными делами и заботами. Три поколения семьи Хоу ютятся в неимоверной тесноте, поэтому возникают неурядицы и ссоры, порой с трагическим исходом: ведь на десятилетие было прекращено жилищное строительство, и никто не заботился о благе народа. Но вот в Пекине уже возводятся административные здания, гостиницы, жилые дома, идет подготовка к строительству магистрали с транспортной развязкой как раз там, где живут Хоу. Значит, скоро снесут их ветхий дом и есть надежда получить квартиру в новом районе; пока это — лишь надежда, преуспевают же ловкачи вроде самодовольного спекулянта Гэ Юханя.

Повесть «посвящается всем, кто трудится во имя расширения жизненных и духовных горизонтов человека», и читателю, проникшемуся чувством симпатии к простым честным труженикам, хочется верить, что им тоже улыбнется счастье.

Однако перед страной стоят не только жилищные, но и многие другие, не менее важные и сложные проблемы, например модернизация экономики. Как на практике решается задача перестройки промышленности, мы узнаем из повести «Директор Цяо приходит на завод». Директор Цяо мужественный, смелый, профессионально хорошо подготовленный руководитель, прошедший закалку в схватках с хунвэйбинами и цзаофанями, умеющий повести за собой коллектив. В свое время он учился в Советском Союзе, проходил стажировку на заводе «Электросила», а по возвращении на родину зарекомендовал себя на производстве с самой лучшей стороны. Оказавшись в годы репрессий в коровнике, он не растерял своих знаний и энтузиазма. После реабилитации он «добровольно бросил легкую телегу на наезженной дороге и впрягся в тяжелый воз» — вызвался возглавить отстающий завод. На заводе же люди ни во что не верят, ни во что не ставят авторитеты, не испытывают никакой гордости за свой труд, за предприятие в целом: слишком долго рабочих обманывали, ругали и дурачили. Цяо прекрасно понимает, что модернизация производства — это не просто обновление технологии, это в первую очередь обновление сознания масс.

Повесть, несмотря на ряд очевидных в художественном отношении недостатков, читается с интересом: это попытка откликнуться на животрепещущие проблемы современности, создать образ положительного героя, умного, делового и опытного руководителя, пришедшего на смену мастакам по проведению абстрактных политических кампаний.

В заключение хотелось бы отдать должное авторам собранных в «Среднем возрасте» повестей: они стремились правдиво изобразить действительность, без предвзятости оценить происшедшие в КНР более чем за тридцать лет события.

М. БАСМАНОВ

СЧАСТЛИВЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Нгуен Кхай. Встреча в конце года. Роман. Перевод с вьетнамского. Предисловие Е. П. Глазунова. Москва, «Прогресс», 1985.

Круговорот светил, чередование урожаев, грозное противоборство стихий... Что-то вечное, исполненное таинственности мнится в зоморфном кольце древневьетнамского месяцеслова, восходящего к исконным для Азии лунным циклам. Чередование пассатов и муссонов. Набеги тайфунов. Гнилой ветер джунглей тионг и жаркое, иссушающее дыхание лаосского вихря. Многое переменилось на нашей земле, но по-прежнему владычица ночи управляет приливной волной и сокровенным ритмом зарождения жизни, подсказывает крестьянину сроки полевых работ и дарует детям беззаботную радость в дни праздников Вот почему во Вьетнаме, наряду с привычным нам Новым годом, до сих пор торжественно отмечают Тет — Новый год по лунному календарю.

Это одновременно и общенародный и сугубо семейный праздник, когда все собираются вокруг стола, усыпанного цветами чампы и мирта, чтобы отведать традиционный пирог баньтинг. Приготовленный из клейкого риса и затейливо завернутый в ароматные листья зонга, он символизирует дары счастливой Луны. К нему по обычаю подают особый чай текхо, который варят с медом и мелкой фасолью маш, напиток забвения. В волшебную ночь Тета, расцвеченную фейерверком, люди становятся на год старше. Они прощают друг другу былые обиды, стремятся расквитаться с долгами, загадывают судьбу. Детям дарят новенькие монеты, всевозможные игрушки, сласти. До утра не затихает праздничное веселье на улицах, где на каждом углу продаются фантастические маски, петарды, воздушные змеи. Это праздник детей и поэтов, потому что настоящий поэт до седых волос остается в душе ребенком.

Действие романа Нгуена Кхая «Встреча в конце года» ограничено считанными часами, остающимися до наступления Тета, когда заканчиваются последние приготовления к ужину и один за другим появляются долгожданные гости. Ничего особо примечательного не происходит в столь жестко отмеренных рамках, да в сущности и не может произойти. Только разговоры, обмен репликами, за которыми угадывается накопившаяся горечь, раздражение, а более всего — полнейшая растерянность перед непроглядной далью грядущего.

«И вообще, нет никакого нового года и нет старого, как нет вчера или завтра,— меланхолично отмечает автор, от чьего лица ведется повествование,— все дни похожи один на другой, только люди увядают да радостные вести слышишь все реже и реже, но жить все же надо, и, слава богу, все живы, в самом деле, за эти прошедшие пять лет никто из многочисленной родни не умер».

В этом признании — ключ к постижению глубинной сути романа, в котором (чисто внешне) так ничего и не случается. Уходят последние минуты года Козы, готовой уступить свое место непоседливой Обезьяне. В переводе с древневьетнамской системы на грегорианскую мы получаем истекающий 1979-й, соответственно, неотвратимо приближающийся 1980-й. Отбросив назад пять лет, определяем заявленную автором исходную точку: 1975 год. Речь, очевидно, идет о великом дне 30 апреля, когда рухнул проамериканский марионеточный режим и в Южном Вьетнаме установилась народная власть. Сколь многое свершилось в стране за такой ничтожный по меркам традиционной истории срок! Север наконец-то воссоединился с Югом, и близкие люди, разлученные на три долгих десятилетия, смогли хоть что-то узнать друг о друге. А то и свидеться, наперекор всем капризам судьбы. Дожили до того долгожданного дня далеко не все. Сколь многие пали на полях сражений совсем еще молодыми. Сколько детей осталось под обломками разбомбленных домов. Сколько узников не дождались освобождения, сгинув без следа в «тигровых» клетках Пулокондора...

Воистину, «странный предстоит ужин: никто не ждет ничего нового, все лишь собираются стариться». И это в такую эпоху! Когда по быстроте и всеохватности перемен один лишь год равен иным столетиям. Дабы не быть голословным, приведу еще одну точную дату: 2 июля 1976 года, когда в Ханое открылась первая сессия Национального собрания единого Вьетнама, провозгласившая создание Социалистической Республики Вьетнам. Сама история подвела итог 117-летнему империалистическому господству на древней земле вьетов. Даже город, в котором живет сестрица Хоанг, созвавшая родню на новогодний вечер, необратимо и закономерно сменил свое имя: стал Хошимином, вместо Сайгона.

Однако хозяйка дома, где еще остаются последние слуги, но уже распродается обстановка, сознательно отгораживается от любых веяний внешнего, коренным образом изменившегося мира. «Хватит, хватит разговоров о политике! — воскликнула она.— Последние пять лет в этом доме только о ней и говорят. Мало ли других проблем, непременно нужно во все мешать еще и политику». Но поистине жалкими выглядят те убогие ширмы, которыми она и ей подобные пытаются отгородиться от реалий нового мира, властно вступившего в свои права: карты, астрологические гадания по «земным» и «небесным» ветвям лунного календаря, бесконечные сплетни и вздохи о былых привилегиях.

За словесной пикировкой и шпильками собравшихся на встречу Тета родственников порой явственно угадываются их жизненные ориентиры, навсегда утраченные с победой нового общественного строя. Потрясенные и потерянные, они утратили вместе с прогнившим и рухнувшим в одночасье режимом и те нравственные устои, без которых немыслима жизнь человека.

Читая роман, я мысленно возвращался к дням, проведенным во Вьетнаме, к беседам с писателями, художниками, философами. Это были совершенно разные по характерам и темпераменту люди, но всех их объединяло одно: непреходящее ощущение личной ответственности за судьбу страны. Особенно остро ощущалось оно в суровые годы войны. Собственно, именно тогда мне посчастливилось впервые ступить на землю вьетнамского Юга.

По колышущейся понтонной переправе, проложенной рядом с искалеченными фермами разбомбленного моста, мы форсировали — это точное слово, потому что в трех километрах шел бой и была слышна канонада,— пограничную реку Бенхай. Пересекли начиненную рваным металлом, опаленную напалмом легендарную семнадцатую параллель.

Никогда не забуду рукопожатия, которым, прежде чем обняться, обменялся с пограничником возле бамбукового КПП, осененного красно-синим с золотой звездой флагом революционного Юга.

Мы с писателем-фронтовиком Овидием Горчаковым хорошо понимали, какая честь оказана нам, первым советским писателям, ступившим на освобожденную землю. Не только мы, но и наши вьетнамские друзья не догадывались тогда, что

окончательная победа уже так близка. Все верили в нее, хоть и называли разные сроки. Но революция опередила самые оптимистические прогнозы: не прошло и трех лет, как Вьетнам стал единым.

Медленно ехал наш безотказный вездеход по узкому грейдеру через минное поле. Еще дымились железобетонные обломки взятой штурмом военной базы, горела по обочинам техника, и саперы с миноискателями успели проложить лишь первый проход в этой жуткой пустыне, начиненной зубами дракона — рассыпными, выпрыгивающими и прочими «хитрыми» минами. Мы продвигались к югу, вслед за весной. Вместе с нами шла в освобожденные районы старая женщина в традиционном красно-коричневом наряде. Другие беженцы везли с собой нехитрый домашний скарб, бамбуковые жерди, циновки, клетки с птицей и поросятами — все, чем снабдили их для первоначального обзаведения братья на севере. У этой женщины в корзинах на бамбуковом коромысле лежали лишь несколько клубней батата и маниоки да три-четыре пучка рисовой рассады.

— У вас там дом? Близкие? — спросил я.

— Ничего у меня не осталось,— покачала она головой, не отрывая напряженного взгляда от того берега.— Ничего, кроме родины. Я жила сразу за рекой, в деревне Суан Хоа...

Суан Хоа по-вьетнамски означает «добрая весна». Это название показалось мне символическим. Добрая, мирная весна пришла на героическую землю Вьетнама. Я вспомнил об этой встрече во время исторического первомайского парада 1973 года, состоявшегося впервые за девять лет. Я вспомнил о той женщине и ее деревне, любуясь невиданным по красоте праздничным фейерверком первого победного Тета. Я думал о ней, когда попал наконец вместе с Инессой Зимониной, переводчиком романа «Встреча в конце года», в освобожденную столицу Юга.

Казалось бы, какое это имеет отношение к роману Нгуена Кхая, роману, который так и останется незаконченным, ибо с боем новогодних часов прервется его заранее ограниченное течение?

Мне представляется, что имеет, притом самое непосредственное. Героям «Встречи в конце года» предстоит сделать окончательный выбор. Одни из них, вероятно, так и останутся в плену ностальгических воспоминаний и призрачных надежд хотя бы на «частичную» реставрацию прежних порядков. Зато другие, я в этом твердо уверен, обретут свое место в общем строю созидателей новой жизни. Пусть с кровью и болью, перешагнув через предрассудки и уязвленное самолюбие, но все-таки обретут.

Таков категорический императив всех великих революций. Таково, наконец, отношение вьетнамца к родине, если он хочет остаться самим собой. Наконец, именно к такому решению подводит нас автор:

«Мы принялись пожимать друг другу руки, желать всего самого лучшего, самого приятного. Была ли это неожиданность? Пожалуй, нет, мы сделали это не сговариваясь, одновременно, исполненные самых радужных надежд».

Встреча нового года Обезьяны для героев романа не просто традиционный праздник. Это последняя, быть может, возможность принять сегодняшний день родной страны. Не случайно даже сама Хоанг, несмотря на браваду в стиле «ретро», так и не решилась, вопреки объявленному намерению, принять снотворное, чтобы «пропустить» символическую границу между прошлым и будущим.

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ

◆

Из месяца в месяц

АЛЖИР

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ АЛЖИРСКОЙ ПРОЗЕ

Алжирским издательством «Аль-муассаса аль-джазаирийя лиль-китаб» выпущена книга литературного критика Амера Махлуфа «Непродолжительный опыт и большие проблемы». В ней рассматриваются произведения алжирских романистов и новеллистов, опубликованные в 70-е годы. Среди них книги известных прозаиков Абд аль-Хамида Бен Хаддуги, Ат-Тахира Ваттара, Джалали Халласа, Аль-Хабиба ас-Саиха, Ахмеда Мнаввара и других.

Называя 70-е годы «годами демократических преобразований», критик подчеркивает верность большинства произведений, созданных в этот период, исторической действительности и в то же время отмечает значительные успехи писателей в совершенствовании художественной формы романов и рассказов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОВЫЙ СПРАВОЧНИК ПО АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Вышел из печати новый «Оксфордский справочник по английской литературе», подготовленный известной романисткой и критиком Маргарет Дрэббл. Работа над этим изданием, по объему значительно превышающим предыдущий «Оксфордский справочник», заняла более пяти лет. Как сообщается в издательской аннотации, не только объем отличает эту книгу от предшествовавших ей. Новый справочник характеризует иная, более глубокая и в целом более проблемная подача материала. В справочнике, в частности, отражены судьбы не только отдельных писателей и книг, но и литературных направлений, школ, группировок.

Высокую оценку справочнику дал рецензент литературного приложения «Таймс», выделив статьи об английской средневековой литературе, о «сердитых молодых людях», о ведущих тенденциях в британской поэзии XX в.

Особую сложность, читаем мы в издательской аннотации, представлял при подготовке справочника отбор материала. Критерии такого отбора нелегко установить, когда речь идет о британских литераторах, и вопрос еще более усложняется при освещении литератур других стран. «Степень влияния на английскую словесность» — так скупо определила Маргарет Дрэббл критерий, по которому включала (или же не включала) в справочник того или иного писателя, поэта, драматурга, критика. Но этот критерий, продолжает рецензент, выдерживается на страницах справочника далеко не всегда. Что. впрочем, и понятно. У каждого составителя есть свои литературные пристрастия, есть они и у Маргарет Дрэббл. Трудно говорить, к примеру, о прямом «влиянии на британскую словесность» творчества Аксакова или Тютчева, но статьи об этих выдающихся представителях русской культуры есть в справочнике, так как Маргарет Дрэббл считает их «первоклассными мастерами слова». Вообще статьи по русской литературе, отмечается в аннотации, принадлежат к лучшим в этом справочнике.

Конечно, в таком солидном труде неизбежны и просчеты. Может быть, сетует критик, стоило больше внимания уделить современной английской литературе, охватить большее количество имен. Правда, явления, которые еще не успели отстояться, особенно трудны для отражения в энциклопедическом издании.

В целом же, по мнению рецензента, этот справочник будет полезен и литераторам-профессионалам, и переводчикам — всем, кто занимается изучением английской литературы.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

«Казалось, наследие Барбары Пим,— пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Миранда Сеймур,— уже давно изучено — напечатаны даже те романы, что были отвергнуты издателями в 40—50-е годы».

В Бодлианской библиотеке, куда был передан архив Барбары Пим, ее сестра Хилари обнаружила рукопись романа под названием «Крэмптон Ходнет», видимо созданного в 40-е годы. По жанру «Крэмптон Ходнет» — так называемый университетский роман, в котором в комической форме рассказывается о нравах и обычаях Оксфорда в предвоенные годы.

«Веселая, жизнеутверждающая атмосфера романа, — пишет рецензент,— отличает его от других, грустно-элегических книг писательницы. Можно только удивляться,— продолжает М. Сеймур,— что Пим написала такую оптимистическую книгу в ту пору, когда получала от издателей отказ за отказом. В них говорилось, что ее проза скучна, старомодна и вряд ли сможет заинтересовать публику. Однако Барбару не покидала уверенность в том, что ее книги когда-нибудь найдут своего читателя».

Хотя у найденного романа Пим есть и недостатки, заключает М. Сеймур, но все они окупаются неоспоримыми достоинствами: писательской наблюдательностью, умением понять скрытые причины поведения людей, остроумием, живостью диалога.

ВЕНГРИЯ

ПРЕМЬЕРА ВЕСПРЕМСКОГО ТЕАТРА

«Мать обещает мне легкие сны» — так называется спектакль, поставленный театром города Веспрема по одноименному роману Андраша Шютё — венгероязыч-

Сцена из спектакля по роману А. Шютё «Мать обещает мне легкие сны».

(Журнал «Синхаз»)

ного писателя, живущего в Румынии (см. «ИЛ», 1975, № 10).

В статье «Театральные вечера в Веспреме», опубликованной на страницах журнала «Синхаз», критик Лайош Саколцаи, анализируя спектакль, отмечает, что обращение режиссера Йожефа Сабо к роману Шютё продиктовано актуальностью темы: судьбы героев романа, борющихся за лучшую жизнь, и сегодня глубоко волнуют читателей и зрителей. Становление социалистических форм хозяйствования на селе — настолько важный этап в истории страны, что тема эта всегда будет значительной. Недаром роман Шютё по уровню художественного мастерства критики сравнивают с известной книгой Дюлы Ийеша «Люди пусты», подчеркивает Саколцаи.

По мнению критика, автор венгерской инсценировки Йожеф Сабо сумел воплотить на сцене волнующий рассказ Шютё о людях деревни, о законах их крестьянского бытия, их труда на земле.

Главная роль в спектакле отведена рассказчику — писателю, работающему над книгой о родной деревне: являя понимание и уважение к односельчанам, которые по-разному ведут себя в нелегкое время общественных бурь и противоречий, он заражает их своей верой в перспективу коллективного хозяйствования и тем самым объединяет их.

Не все однозначно в этой интересной инсценировке, в актерской трактовке отдельных образов, но в целом спектакль передал смысл и подлинную народность романа, его неповторимую лирическую интонацию, заключает Л. Саколцаи.

ГДР

ХРЕСТОМАТИЯ МИРА

«Художник нарисовал голубя, и он стал символом мира, перечеркнувшего войну, не позволившего поставить перед старыми страшными словами «мировая война» цифру 3 — третья.

Навсегда ли? Я, лично, верю, что навсегда. Но одновременно я думаю, что главная задача в том и состоит, чтобы превратить эту веру в необратимую реальность.

Пусть дети считают по пальцам до трех — до трех яблок, трех елочных свечей, трех апельсинов, и пусть они никогда не считают до трех мировых войн. Пальцы им не для этого!»

Этими словами Константина Симонова (автограф русского текста воспроизведен на обороте титульного листа) открывается сборник, выпущенный в ГДР издательством «Фольк унд вельт». Название сборнику — «Прочный и хрупкий» — дала строка из стихотворения датского поэта и прозаика Клауса Рифбьёрга.

Литературная критика ГДР встретила этот сборник с большим интересом. Рецензент газеты «Нойес Дойчланд» Ирмтрауд Гучке пишет: «80 авторов из 30 различных стран говорят в этой книге о мире — говорят, пользуясь различными художественными средствами, выступая с различных позиций. Объединяет этих авторов стремление отдать все силы для сохранения величайшей человеческой ценности — мира».

Публицистическая статья соседствует в книге с письмом, рассказ — с отрывком из романа, эссе — со стихотворением. Перекличка жанров рождает новые впечатления, ассоциации, мысли. Благодаря «искусству контекста» сборник обрел свою индивидуальность, неповторимость.

В 1983 году Михаил Шолохов обратился к писателям мира с призывом поднять свой голос против гонки атомного вооружения. На это обращение ответили писатели из многих стран. В антологии приводятся ответы Картара Сингха Дуггала (Индия), Нгуена Нгока (Вьетнам), Айи Квеи Армы (Гана), Джеймса Олдриджа (Великобритания), Хосе Луиса Балькарселя (Гватемала), Филлипа Боноски (США), Фаиза Ахмада Фаиза (Пакистан), напечатанные впервые в журнале «Иностранная литература».

Писатели, которым, возможно, не доводилось встречаться лично, в сборнике вступают в диалог. Аргентинец Хорхе Луис Борхес разоблачает в «Немецком реквиеме» попытки оправдать фашистских палачей. Ему вторит австриец Альфред Польгар в своей гневно-сатирической «Беседе с фрау Кох». Кажется, будто один автор отвечает другому, дополняет его, задает новые вопросы, продолжая взволнованный разговор о прошлом и будущем; мемуаристика уступает место фантастике, фантастика — злободневной публицистике.

«Чужого горя не бывает» — эти слова Константина Симонова могли бы стать эпиграфом ко многим произведениям о трагедии войны. О страшных судьбах детей блокадного Ленинграда повествуют Алесь Адамович и Даниил Гранин. Шведская писательница Сара Лидман и болгарка Блага Димитрова рассказывают о детях Вьетнама. Француз Жан Жене вспоминает о палестинском лагере в Шатиле: он побывал там вскоре после чудовищной резни, ответственность за которую несет израильская военщина.

В сборник, подготовленный к публикации редакторским коллективом издательства «Фольк унд вельт», включены материалы разных лет, но практически все они опубликованы в ГДР впервые, многие переданы издательству в рукописи, как, например, рассказы Чингиза Айтматова и Станислава Лема, повесть анголь-ского писателя Пепетелы или стихи западногерманского автора Рольфа Хохгута. Завершает эту «хрестоматию мира» отрывок из речи Уильяма Фолкнера, произнесенной им при получении Нобелевской премии: «Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность — которые составляли славу человека в прошлом, — помочь ему выстоять. Поэт должен не просто создавать летопись человеческой жиз-

Студия ДЕФА выпустила новый фильм «Двойник» (режиссер Вернер Вальрот). «Эта гротескная комедия остро ставит вопросы морали и семейных отношений», — отмечает газета «Нойес Дойчланд».
На снимке: кадр из фильма «Двойник».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ни; его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить».

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ В ГДР И ФРГ

Еженедельник «Зоннтаг» сообщил о подготовке нового, необычного издания произведений Бертольта Брехта. Эльмар Фабер, директор издательства «Ауфбау» (ГДР), и Зигфрид Унзельд, возглавляющий издательство «Зуркамп» во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), назвали свою инициативу «смелым издательским предприятием».

Совместное берлинское и франкфуртское издание произведений Брехта в 30-ти томах с комментариями преследует и научные цели. Поскольку пьесы и стихи Б. Брехта зачастую претерпевали многочисленные изменения, издатели публикуют первый печатный вариант и дополняют его основными последующими вариантами. Таким образом читатель получает представление о брехтовском стиле мышления, методе его работы. Выпуск идентичных изданий в обоих немецких государствах намечено завершить в 1990 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Национальные премии за 1985 год присуждены писателям: Карлу Мундштоку — «за все творчество в целом», Хайнцу Калау — «за все творчество, в особенности за лирику», поэту-песеннику и певцу Курту Деммлеру.

Премии вручены также известному художнику Вальтеру Вомаке — «за выдающиеся достижения в живописи». Герхарду Фойгту — «за искусство плаката», актеру и режиссеру Ульриху Тайну — «за воплощение на телеэкране образов Иоганна Себастьяна Баха и Мартина Лютера».

ГРЕЦИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ

Заметным событием в культурной жизни Греции явился V поэтический симпозиум «Поэзия и общество», состоявшийся в июле 1985 года в г. Патры на побережье Ионического моря. Как и предыдущие праздники поэзии, он был организован университетом города.

В работе симпозиума приняло участие около 600 человек: студенты, рабочие, служащие, люди разных политических взглядов и убеждений.

С большим интересом на симпозиуме был выслушан доклад литературоведа Георгия Ладоянни о влиянии исторического материализма на поэтическое творчество лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Костаса Варналиса (1884—1974). Оживленную дискуссию вызвал доклад известного греческого философа-марксиста Костаса Москова «История в поэзии К. Кавафиса и В. Маяковского. Типологические связи». На ряде конкретных примеров докладчик обосновал свою концепцию типологического родства поэзии этих крупнейших художников XX века, убедительно показав глубину и цельность постижения сложнейших исторических процессов в их творчестве. Профессор филологии Аристотелис Скиадас ознакомил участников симпозиума с результатами своих исследований по проблеме «Роль мифа в древнегреческой трагедии и в современной греческой поэзии».

Подводя итоги работы симпозиума «Поэзия и общество», профессор университета г. Патры Михалис Мераклис отметил высокую гражданственность современной греческой поэзии. «Большинство поэтических сборников, выходящих в наше время, проникнуты духом борьбы за лучшее, демократическое будущее, вдохновлены идеалами мира, свободы, независимости, — сказал М. Мераклис. — Греческих поэтов, работающих в разной манере, в разных жанрах, объединяет чувство ответственности за судьбы своей многострадальной родины».

ДАНИЯ

«ЖАН ДЕ ФРАНС» — СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ

В газете «Ланд ог фольк» опубликована рецензия критика Ранди Педерсена на спектакль Датского театра «Жан де Франс», поставленный по комедии драматурга XVIII века Людвига Хольберга.

Глупый, самовлюбленный отпрыск богатых копенгагенских буржуа отправляется в Париж. И заболевает ... галломанией. До такой степени, что начинает, как

Сцена из спектакля «Жан де Франс». Лене Васегор в роли матери Жана, Хенрик Кофод в роли Жана де Франса.

(Газета «Ланд ог фольк»)

обезьяна, подражать всему французскому — модам, танцам, манерам, презирает родной язык, обычаи, нравы своей страны. «Мне смерть как противно смотреть на эти датские рожи!» — восклицает Ганс Франдсен, взявший себе новое имя — Жан де Франс. В прощальном письме, адресованном отцу, он заявляет: «За границей я привык к обходительности и галантности и потому не в состоянии терпеть грубых, пошлых людей, из которых состоит моя семья. Я не вернусь... Я решил в течение ближайших месяцев вовсе отучиться от датского языка».

Но, как это часто случается в комедиях Хольберга, главного героя одурачивают — хитрая служанка Марта, выдавая себя за знатную французскую даму, заманивает в свои сети помешанного на всем чужеземном Жана де Франса.

Пьеса, созданная Людвигом Хольбергом два столетия назад, и по сей день звучит современно. Рецензент отмечает оригинальную трактовку образов в спектакле, яркие костюмы и декорации, высокий уровень музыкального и хореографического исполнения. Возможно, пишет Р. Педерсен, спектаклю еще недостает темпа, динамики, но у театра есть все возможности добиться более точного воплощения драматургического замысла.

ИНДИЯ

ФИЛЬМ, ПОДСКАЗАННЫЙ ЖИЗНЬЮ

Коррупция — застарелая болезнь, с которой давно и упорно ведет борьбу индийское правительство, получая полную поддержку всех честных людей, всех прогрессивных сил страны. Коррупцию разоблачают журналисты, предают осмеянию писатели и поэты, ее изобличению посвящают свои фильмы деятели индийского кинематографа. Одной из таких лент является новый, только что вышедший на экраны индийской столицы фильм «Действительность», который рецензирует кинообозреватель газеты «Джан юг». Картину поставил известный индийский режиссер Рамарао.

В центре картины — образ человека по имени Арджун. Он служит в полиции. Видя, как некоторые чины полиции идут на сговор с воротилами преступного мира, Арджун вступает в неравную схватку. Начальство косится на него, заправилы мафии встревожены. За Арджуном начинается в подлинном смысле охота.

Фильм приоткрывает завесу над многими негативными явлениями, существующими в современной индийской действительности. Поставленный в жанре детектива, он до самых последних кадров смотрится с огромным интересом.

Кадр из фильма «Две жизни Маттиа Паскаля».

(Журнал «Ля ревю дю синема»)

«Ля ревю дю синема» журналистка Шанталь де Бешад. «Две жизни Маттиа Паскаля», как и многие комедии Моничелли, фильм, имеющий большой успех у публики», — отмечает Ш. де Бешад.

В роли Маттиа Паскаля снялся Марчелло Мастроянни.

ИТАЛИЯ

ПИРАНДЕЛЛО НА ЭКРАНЕ

В последние годы итальянские кинематографисты уделяли большое внимание творчеству Луиджи Пиранделло. Его произведения экранизировали такие известные режиссеры, как Марко Беллокьо, снявший фильм по пьесе «Генрих IV», Паоло и Витторио Тавиани, поставившие для телевидения «Новеллы». К наследию выдающегося соотечественника обратился и «отец» так называемой «комедии по-итальянски» Марио Моничелли. Роман «Покойный Маттиа Паскаль» был выбран Моничелли не случайно. «Написанная в 1904 году, эта история неприметного человека, задавшегося целью придумать себе «другую жизнь», вполне современна; перенесение действия в наши дни не повлекло за собой значительных изменений в сюжете», — отметил режиссер в интервью, данном корреспонденту итальянского еженедельника «Панорама» Фабрицио Коралло.

Фильм Моничелли — третья экранизация романа после одноименной картины Марселя Л'Эрбье (1925), пригласившего на главную роль знаменитого актера немого кино Ивана Мозжухина, и ленты Пьера Шеналя «Человек ниоткуда» (1937). «В противоположность психологичности, трагизму, мрачноватой атмосфере французских киноверсий романа я стремился подчеркнуть в первую очередь гротесковость персонажей, придать постановке фарсовую окраску»,— сказал режиссер в интервью, опубликованном во французском журнале

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ЛЕВЫХ СИЛ

В Риме начал выходить новый журнал «Оридзонти» («Горизонты»). Объясняя смысл этого названия, главный редактор «Оридзонти» Итало Авеллино пишет во вступительной статье: «Наша цель — предложить иной, более широкий взгляд на события, как бы раздвинуть горизонт и сделать более доступной ту часть информации, которая, как правило, остается неизвестной читателю вследствие сложившихся в итальянской прессе критериев отбора».

Структура журнала необычна — информация подобрана не по тематике, а по геополитическим секторам: «Север» (страны Западной Европы), «Юг» (развивающиеся страны), «Запад» (капиталистические страны) и «Восток» (страны социализма). В специальном разделе «Италия» основное внимание уделено проблемам профсоюзного и коммунистического движения. Здесь же напечатаны воспоминания о Луиджи Лонго, Энрико Берлингуэре, других деятелях ИКП.

Освещение различных аспектов международной жизни свидетельствует о четкой антиимпериалистической позиции, занимаемой журналом. Немало материалов рубрики «Запад» посвящено разоблачению военной стратегии США в Западной Европе, а также навязываемых миру — в том числе Италии — планов «звездных войн». Большую тревогу выражает журнал по поводу заметной активизации фашизма и расизма в Европе,

роста безработицы среди молодежи, увеличения числа неграмотных в развитых капиталистических странах.

Весьма подробная, непредвзятая, а главное — малодоступная в Италии информация о жизни стран социализма (прежде всего Советского Союза) дается в разделе «Восток», причем помимо материалов по таким важным событиям, как проведение XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов или подготовка к XXVII съезду партии, в каждом номере журнала итальянскому читателю предлагают новости экономики и культуры союзных республик и даже различных областей РСФСР (собственный корреспондент «Оридзонти» в Москве — известный журналист Карло Бенедетти, прежде сотрудничавший в газете «Унита»).

Особая роль в журнале отводится рубрике «Азимут»: на ее страницах предполагается развернуть широкую теоретическую дискуссию по социально-экономическим проблемам современности. Итало Авеллино представляет читателям новый журнал как «еще одну трибуну левых сил», и не случайно в «Оридзонти» есть подзаголовок — «Вопросы левых».

Пока журнал выходит два раза в месяц, но уже в ближайшее время редакция планирует сделать его еженедельником.

ЙЕМЕН

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ИМАМОВ

Бейрутское издательство «Дар аль-адаб» выпустило книгу известного йеменского поэта и литературоведа доктора Абд аль-Азиза аль-Мукалиха «Первые опыты литературной критики в Йемене (1939—1948)».

В книге рассказывается о том, как в Йемене были заложены основы литературной критики. Страна в те годы жила как бы «вне времени»: ее тогдашние правители-имамы долгие годы жестоко подавляли любые проявления свободомыслия и сознательно держали народ в состоянии невежества и изоляции от всего остального мира; официальная литература была представлена поверхностными писаниями, проникнутыми духом раболепия перед тиранами и презрением к их подданным.

В работе над книгой аль-Мукалих использовал немногие сохранившиеся номера двух изданий, выходивших в Йемене в тот период. Это «Аль-хикма» («Мудрость») — журнал публиковался с 1938 по 1941 год — и «Аль-барид аль-араби» («Литературная почта»), распространявшаяся в рукописном варианте вплоть до 1945 года. Именно эти журналы положили начало литературной критике в Йемене.

КАНАДА

АНТОНИН МАЙЕ ПИШЕТ ПО-АКАДИЙСКИ

Лауреат Гонкуровской премии 1979 года франкоязычная писательница Канады Антонин Майе пользуется у себя на родине большим признанием, в ее честь даже названа одна из улиц Монреаля. Французам же творчество А. Майе «открыло» акадийский язык, на котором говорят в Канаде потомки французских переселенцев XVII века (полная драматизма история акадийцев отражена Майе в романе «Пелажи-тележка»).

Любопытно интервью, данное писательницей газете «Юманите»: «Вначале я старалась писать на классическом французском языке, но против моей воли из-под пера то и дело появлялись акадийские словечки и выражения. С третьей своей книги я перешла полностью на акадийский. Я первой начала писать по-акадийски. Раньше этот язык существовал только в форме устной речи. Изобретая орфографию, я исходила из правил французского языка времен средневековья (ведь именно его принесли в Северную Америку переселенцы) или же просто записывала, полагаясь на слух».

На вопрос, почему акадийский язык не эволюционировал, а «законсервировался» на уровне XVII века, Майе дает такое объяснение: «Мы ведь не имели никаких контактов с Францией, у нас не было ни Малерба, ни Французской академии, «надевших узду» на французский язык. И слава богу, акадийский остался таким же богатым, как и в средние века. Подумать только: словарь Рабле насчитывает 100 тысяч слов, в то время как у Расина, веком позже, их всего пять тысяч. Куда же подевались остальные 95 тысяч? Они сохранились лишь в нашем акадийском языке».

Разумеется, писательница испытывает определенные трудности, создавая свои произведения на языке довольно ограниченного по численности национального меньшинства (в сегодняшней Канаде насчитывается лишь 300 тысяч человек, говорящих на акадийском). Однако появление в последнее время акадийских певцов и актеров, основание акадийского издательства свидетельствуют о том, что этот своеобразный старофранцузский язык было бы неправильно, что называется, списывать со счета.

КИПР

ПОЭТ КИПРСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

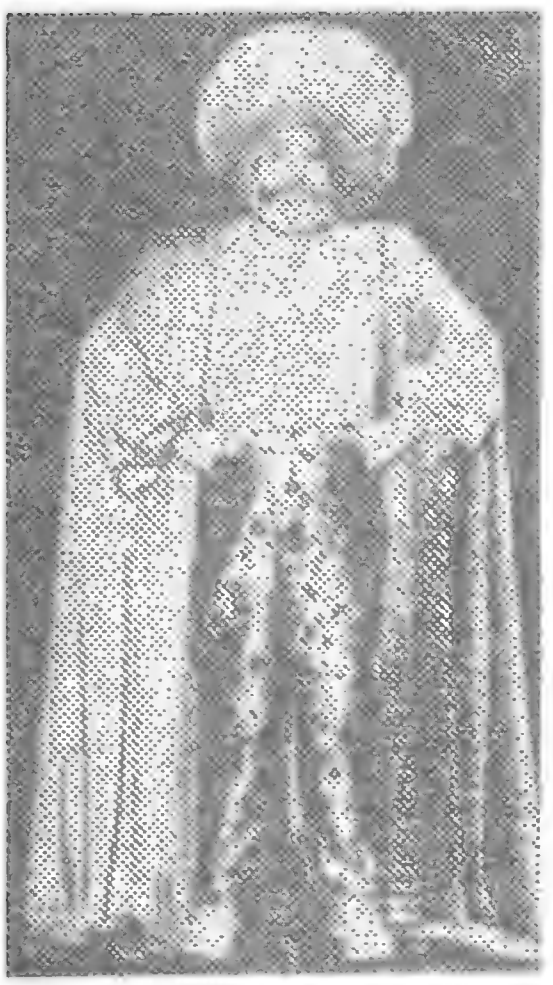
На экранах Кипра и Греции демонстрируется документальный фильм «Буранные ветры» молодого кипрского режиссера Янниса Иоанну, несколько лет назад окончившего режиссерский факультет ВГИКа.

В своей первой большой киноработе Я. Иоанну рассказал о главных событиях кипрской истории последних десятилетий: об английском колониальном владычестве, национально-освободительной борьбе против британского империализма, о спровоцированных внутренней и международной реакцией вооруженных столкновениях между греческим и турецким населением острова, о кровавом фашистском путче летом 1974 года, о последовавшей за ним турецкой интервенции, в результате которой страну рассекли на две части — греческую и турецкую...

Примечательно, что Я. Иоанну делает основой фильма не кадры кинохроники, а подкупающий своей искренностью диалог двух старых женщин, в судьбах которых, как в зеркале, отразилась сама история многострадального Кипра. Гречан-

Кадр из фильма «Буранные ветры» режиссера Я. Иоанну.

(Газета «Ризоспастис»)



«Кипрское театральное общество» было создано в 1972 г. Сегодня спектакли этой труппы хорошо известны на Кипре и за его пределами. Большое место в репертуаре занимает древнегреческая классика.
На снимке: популярный кипрский актер Спирос Ставринидис в роли Кнемона в спектакле «Брюзга» по пьесе Менандра.

(Газета «Харавги»)

ка Клеоники Зографу и турчанка Фатьма Мехмет всю свою жизнь жили бок о бок в деревне Айос-Зозоменос, жили одними и теми же горестями и радостями, заботами о доме и семье. Обе потеряли своих сыновей: сын турчанки погиб в автомобильной катастрофе, сын гречанки был убит во время кровавых июльских событий 1974 года. Когда же туркам-киприотам пришлось покинуть родные места и переселиться в северную часть острова, Фатьма осталась среди греков. В фильме ее судьба символизирует историческую неразрывность традиционных, веками складывавшихся связей между греческой и турецкой общинами Кипра.

При всей жанровой определенности фильм «Буранные ветры» необычен по стилистике. В него включены элементы игрового кино, что придает документальному кинорассказу глубину художественного обобщения. Когда рассказчицы на время замолкают, на экране возникает символическая картина: измученные лошади тянут по берегу повозку, в которой сидят два музыканта и народный сказитель-пиитарий. Музыканты на лютне и скрипке играют турецкую народную мелодию, а пиитарий по-гречески поет грустную песню о превратностях жизни и человеческой судьбы. Это символ преемственности кипрской культуры, неизменно сохранявшей свою самобытность.

«Мой фильм,— говорит в одном из интервью Я. Иоанну, — кроме всего прочего направлен против пассивности обывателей. Известные, набившие оскомину истины я пытаюсь представить в неожиданном свете, чтобы заставить людей думать, переживать, искать выход... Герои «Буранных ветров» — рассказчицы, музыканты, пиитарий — воплощают в себе надежду нашего народа на лучшее, достойное его будущее».

Фильм Я. Иоанну получил высокую оценку зрителей, а также греческой и кипрской кинокритики. Газета греческих коммунистов «Ризоспастис» назвала молодого режиссера «поэтом кипрского кинематографа».

КОНГО

«ЛЕОПОЛИС» СИЛЬВЕНА БЕМБЫ

Журнал «Агекоп-льезон», издаваемый в Париже для франкоязычных стран Западной Африки и при их сотрудничестве, поместил рецензию на роман известного драматурга из Народной Республики Конго Сильвена Бембы «Леополис».

Мисс Нора Нортон, темнокожая американская преподавательница университета, приезжает в Конго, «на родину предков», и влюбляется в своего гида-африканца, тоже преподавателя университета. Тот как будто отвечает ей взаимностью, но когда Нора собирается улетать обратно в Америку, ее возлюбленный даже не приходит проститься с ней. Разумеется, пишет рецензент, любовная интрига — далеко не самое главное в романе, она лишь «оживляет» его. Молодые люди говорят не только о любви. Бродя по музеям, они часто вспоминают не столь далекое прошлое — период борьбы за независимость. Это позволяет автору романа воссоздать отдельные моменты жизни погибшего конголезского лидера, в котором без труда узнается Патрис Лумумба. С. Бемба показывает африканского лидера то на трибуне, выступающим с пламенной речью перед многочисленной толпой, то в светском салоне, в обществе дам, то во время переговоров с представителями американской администрации.

Рецензент пишет, что Лумумба предстает в романе «более живым», он совсем не похож на героя сказки или эпического сказания, каким его нередко изображают в других произведениях африканской поэзии и прозы. Роман «Леополис» — одна из первых попыток в африканской литературе создать именно «земной» образ вождя конголезской революции.

В романе есть еще одно важное «действующее лицо» — вымышленный город Леополис, прототипом которого явился Леопольдвиль — некогда чудовищный город-государство на земле Конго, носивший имя бельгийского короля, жестокого поработителя страны (за время его господства население Конго сократилось в два раза). Именно с Леопольдвилем так героически сражался Лумумба. Теперь города с таким названием не существует: он переименован в Киншасу (ныне — столица Республики Заир). Но улицы, дома, музеи, люди хранят память о кровавых событиях 1961 года, о бурной деятельности и слишком короткой жизни героя национально - освободительной борьбы конголезского народа Патриса Лумумбы. Роман Сильвена Бембы — и об этом тоже.

ПОЛЬША

ФЕСТИВАЛЬ В ГДАНЬСКЕ

В сентябре 1985 года в Гданьске прошел очередной, X фестиваль польских художественных фильмов. На конкурс было представлено 33 художественных кино- и телефильма, на внеконкурсный показ — 10. «Гран-при» получил фильм Станислава Ружевича «Женщина в шляпе», отмеченный на XIV Московском кинофестивале серебряным призом. Польская кинокритика признает эту картину «мастерски сделанной, мудрой, гуманной, благородной». Героиня фильма — молодая актриса Эва, горячо влюбленная в театр. Она играет эпизодические роли и мечтает о Корделии в «Короле Лире». Цельная и чистая натура, Эва не идет на компромиссы ни в театре, ни в жизни (исполнительница главной роли — Ханна Микуч).

Приз жюри за дебют получил фильм Радослава Пивоварского «Yesterday», уже завоевавший главный приз на фестивале в Сан-Себастьяне и премию ФИПРЕССИ в Венеции. Он рассказывает о четырех молодых людях из провинциального городка, влюбленных в музыку «Битлз». Они берут себе имена парней из Ливерпуля — Ринго, Джон, Пол и Джордж, организуют джазовый ансамбль. Патриархальный городок, естественно, осуждает их. На фоне этого конфликта и построен рассказ о большой любви и преданной дружбе.

РУМЫНИЯ

ЕЩЕ РАЗ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РОМАНА

В издательстве «Минерва» вышла первая книга (буквы A — F) трехтомника «Румынский роман в интервью», включающего различного рода высказывания — выступления, статьи, ответы на анкеты, интервью — румынских писателей XX века, посвященные искусству романа. Высокую оценку книге

На конкурсе румынских фильмов для молодежи, проходившем летом 1985 г., отмечена премией кинокартина «Шаг вдвоем» (автор сценария и режиссер Дан Пица). Как отмечает рецензент газеты «Ромыния литерарэ», фильм убедительно показывает пути духовных поисков современной румынской молодежи.
На снимке: Анда Онеса в фильме «Шаг вдвоем».

(Газета «Ромыния литерарэ»)

дают старейший литературный критик Румынии Ш. Чокулеску и известный критик Н. Манолеску. По их общему мнению, румынские прозаики в своих высказываниях выделяют то главное, что характеризует румынский роман сегодня. «Жанр романа — самый популярный, — говорит Дж. Бэлэица, — романы читают все, ибо в них — сама жизнь».

А. Бузура уверен, отмечает в своей рецензии Н. Манолеску, что читатель видит в романе не только возможность развлечься или уйти от обыденности; сейчас, как никогда, читатель ценит стремление к правде, ведь романист — «репортер действительности». Слова А. Бузуры, подчеркивает Н. Манолеску, выражают общее мнение румынских писателей. Далее рецензент цитирует рассуждения Н. Бребана о том, что современные романисты стараются избегать натурализма, разрабатывают в своих произведениях сложные, актуальные проблемы, ищут новые формы и структуры. Это, по словам писателя, предполагает и обращение к опыту великих мастеров романа в мировой литературе, в частности Ф. М. Достоевского. «Показательно, что авторы особо выделяют социальный аспект писательской профессии. Никогда раньше,— пишет Н. Манолеску, — романист не сознавал в такой мере свою ответственность перед обществом».

США

ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИКА

Под таким названием еженедельник «Нью-Йорк ревью оф букс» опубликовал эссе Джона Апдайка, в основу которого лег текст его выступления весной прошлого года на торжественном открытии коллоквиума, посвященного Герману Мелвиллу. В этом эссе Апдайк не только анализирует книги выдающегося американского романиста, но и говорит о предназначении искусства, о судьбе писателя и его произведений. Апдайк рассматривает эти извечные вопросы в «вертикальном» срезе нашей цивилизации — от античной культуры до культуры наших дней, развитие которой, пишет Апдайк, определяется не столько талантом художника, сколько стандартизированными средствами массовой информации.

Апдайк напоминает о конфликте между устремлениями серьезного писателя, ставящего в своих произведениях вопросы остросоциального и общефилософского характера, и притязаниями публики, считающей, что искусство должно развлекать. Апдайк убежден, что такому писателю в конце концов придется идти на компромисс. Он приводит строки из письма Мелвилла: «Эту работу,— писал тот по поводу своих романов «Редберн» и «Белый бушлат»,— я сделал ради денег, потому что меня вынудили к этому обстоятельства. Я просто писал, как другие, например, пилят дрова». Философский роман «Марди», который автор считал своей «главной книгой», успеха не имел... Мелвиллу, рассказывает Апдайк, грозила финансовая катастрофа — нечем было расплатиться с издателем, не на что жить. В Америке XX века профессиональные писатели — явление редкое: Купер, к примеру, был землевладельцем, Лонгфелло — преподавателем университета, Уитмен издавал газету, а Готорн служил на таможне. Мелвилл надеялся, что ему не придется «писать книги только для того, чтобы купить табаку, чтобы в пустом кошельке появилось несколько монет». Мелвилл не мог рассчитывать на популярность у буржуазного читателя, пишет Апдайк, не хотел заискивать перед публикой, и та отвернулась от него.

Но во времена Мелвилла, продолжает Апдайк, война между художником и публикой не была «тотальной». Его современник Диккенс доставлял радость своему читателю и без особого насилия над собственным воображением развивал сюжетную линию согласно желанию какой-нибудь читательницы. «В викторианскую эпоху писатель, как и другие художники, услаждал читателя и зрителя, это было главное назначение творчества. Стендаль утверждал, что пишет для читателей будущего. И только Флобер явил своим творчеством новое искусство, независимое от буржуазной публики, даже эпатирующее ее».

Апдайк излагает свою точку зрения на историю искусства начиная с далеких времен, «когда искусство и жизнь были нерасчленимы, как физическое и духовное здоровье человека на заре цивилизации... Сегодня,— замечает Апдайк, — мы тоже наблюдаем иногда единение художника и публики: например, когда на концерте рок-звезды ее завываниям вторят беснующиеся юные поклонники». В наше время, полагает Апдайк, люди чаще всего ходят в театры, музеи, на концерты, читают книги, потому что так поступают «приличные люди»: искусство стало, в некотором роде, «символом социального преуспеяния».

ФРАНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал «Кензен литтерэр» предпринял попытку проанализировать положение франкоязычных писателей в мире. На страницах двух номеров получили возможность высказаться около тридцати писателей и поэтов Бельгии, Швейцарии, Канады, Туниса, Алжира, Сенегала, Конго, Заира, Антильских островов, Гаити, Мартиники...

Лауреат премии «Фемина» Анн Эбер выразила тревогу за судьбу канадской франкоязычной литературы, не выдерживающей натиска англо-американской культуры. Бельгиец Юбер Жуэн и Клод Фрошо из Швейцарии сетуют на то, что в Париже их страны считаются «культурной провинцией». Чикайя У'Тамси из Конго говорит о том, что африканский автор, пишущий по-французски, практически не может найти издателя на своем континенте. Марокканский писатель Тахар Бен Джеллун приветствует новую тенденцию в странах Магриба: издательство «Серес» начало переводить на арабский написанные на французском языке романы Р. Буджедры, К. Ясина, которые таким образом находят на родине путь к широкому кругу читателей.

Гаитянец Ж. Метеллюс, Н. К. Эбони с Берега Слоновой Кости, канадец Ноэль Оде, швейцарец Этьен Барилье... У каждого из них — свои проблемы, вызванные различными социально-историческими условиями их стран. Но, как бы то ни было, пишет «Кензен литтерэр», мировая франкоязычная литература успешно доказывает свою жизнеспособность. Свидетельство этому — множество интересных произведений, которые ежедневно присылают со всех концов света в парижские издательства. Франкоязычная литература становится объектом исследования в университетских курсах многих стран, но интеллектуалы с берегов Сены часто игнорируют ее. Тем не менее значительность тем, затрагиваемых «периферийными» авторами, оригинальность их мышления обогащают «коренную» французскую литературу, дают ей возможность соприкоснуться с другими культурами. Вероятно, в ближайшие де-

Кадр из фильма «Теорема Архимеда».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

сять лет эти писатели займут ведущее место во французской литературе. «Пришло время их признать,— заключает «Кензен литтерэр».— Мы нуждаемся в них точно так же, как они нуждаются в нас».

МЕХДИ ШАРЕФ — ПИСАТЕЛЬ И КИНОРЕЖИССЕР

Несколько лет назад 30-летний Мехди Шареф, работавший тогда точильщиком на заводе, написал киносценарий о трудной судьбе детей рабочих - эмигрантов во Франции. Привлечь внимание продюсеров было нелегко, и молодому автору посоветовали сделать из киносценария повесть и попробовать ее опубликовать. Так на прилавках магазинов появилась книга с несколько загадочным названием «Теорема Архимеда». «Мне хотелось показать, как живущие бок о бок французская и мусульманская общины сталкиваются с одними и теми же трудностями», — рассказывает автор. Французский парень Пат и его арабский друг Маджид ищут работу. После долгих поисков они устраиваются на небольшую фабрику. Однако юноши не выдерживают тяжелого, отупляющего труда. Суждена им доля изгоев общества или удастся удержаться над пропастью? Этот вопрос в книге остается открытым.

Повесть Мехди Шарефа вызвала самые благожелательные отклики у критики, а известный кинорежиссер Коста Гаврас решил ее экранизировать. Однако, узнав, что у молодого автора есть готовый сценарий и давнее желание сделать фильм, предоставил ему такую возможность. Кинодебют М. Шарефа оказался удачным: на последнем фестивале в Каннах фильм был удостоен премии имени Жана Виго. Автор «Теоремы Архимеда» намеревается продолжить работу в кино: «Здесь одним взглядом или жестом можно выразить то, на что уходит целая глава книги. Перед чистым листом бумаги порой остро ощущаешь свое одиночество. В кино же работаешь вместе с людьми, огорчаешься и радуешься вместе с ними».

«ВИНОВНЫЙ»

Сюжет повести молодого писателя Жана-Дени Бредена внешне прост: во время разгона студенческой демонстрации кто-то ранил полицейского. В покушении на блюстителя порядка обвинили случайно задержанного Али. Заурядное дело, которое могло бы закончиться для героя Ж. -Д. Бредена относительно благополучно, не вздумай Али отрицать свою вину.

Правосудие действует как хорошо отлаженный механизм. Показания Али «переводят» на юридическо-канцелярский жаргон, и подсудимый перестает понимать свои собственные заявления в чужой передаче. Суд не проявляет явной расовой неприязни к молодому алжирцу, но нет и интереса к его судьбе. Али приговаривают к нескольким месяцам тюремного заключения: похоже, он легко отделался. Но юноша потрясен — он был уверен, что его оправдают. На следующий день надзиратель тюрьмы находит тело Али, покончившего с собой.

Французская критика дает книге положительную оценку, отмечая сходство с «Посторонним» Камю. «Эта история вымышлена, — пишет журнал «Нувель обсерватёр».— Однако во французских тюрьмах сотни таких, как Али. Большинство из них преодолеет это испытание, но никто не сможет его забыть».

ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ГЕНРИХА БЁЛЯ

Свой последний роман «Женщины на фоне речного пейзажа» (книга вышла в свет уже после смерти писателя) Генрих Бёль посвятил «родным и близким, где бы они ни были». В своей последней прижизненной публикации он обратился к сыновьям («Письмо сыновьям» см. в «ИЛ», 1985, № 12). Последнее стихотворение Бёля посвящено его внучке. Писатель как бы прощался с родными и близкими.

Возможно, не случайно «Письмо сыновьям» Бёль начал писать 8 мая 1985 года. В тот же день он написал и свое последнее стихотворение. В письме Бёль завещал помнить важнейший урок немецкой и мировой истории, за который человечество заплатило столь дорогой ценой. Стихотворение, посвященное внучке, проникнуто верой в то, что этот урок не будет забыт.

Замайе

Мы идем издалека,
моя девочка,
и идти нам еще далеко.
Не бойся,
с тобою все,
кто был до тебя,—
твоя мать, твой отец,—
и все, кто были до них,
давным-давно.
Все с тобою,
не бойся.
Мы идем издалека,
моя девочка,
и идти нам еще далеко.

Твой дед
8 мая 1985 года

(Перевод Б. Хлебникова)

Стихотворение Генриха Бёля опубликовано в западногерманском журнале «Культурхроник».

Генрих Бёль (11.XII.1917—16.VII.1985)

(Журнал «Культурхроник»)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Рассмотрев итоги работы журнала «Иностранная литература» в 1985 году и учитывая полученные редакцией отклики читателей, редакционная коллегия приняла решение отметить как наиболее значительные публикации года работы следующих переводчиков зарубежной литературы и авторов статей:

Н. БУНИНА — перевод романа Стефана Цвейга «Кристина Хофленер».

А. ГЕЛЕСКУЛА — перевод стихов Федерико Гарсиа Лорки.

Ф. ДВИН — перевод фрагментов книги М. Антониони «Тот кегельбан над Тибром».

Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО — перевод стихов Шриканта Вармы.

А. СТАРОСТИНОЙ — перевод рассказов Аны Бландианы.

Л. ЭЙДЛИНА — перевод цикла стихов «Человек в китайской классической поэзии».

С. АПТА — статья «Время и переводчик».

К. МЯЛО — статья «Молодежь Запада в 80-е годы: контрасты стиля и бытия».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул. д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.11.85. Подписано в печать 16.12.85. А 07357. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 27,40.

Тираж 485.000 экз. (1-й завод 1—435.000 экз.) Зак. 4055.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ № 1

«Двор на Фишерштрассе»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394